

Май 20
бек

Май 20
бек

Анатолий Мариенгоф

«Бессмертная трилогия»

Анатолий Мариенгоф 1



ВАГРИУС

Анатолий Марингоф

Май 20
Бек

*Мой 20
век*

**АНАТОЛИЙ
МАРИЕНГОФ**

**«Бессмертная
трилогия»**



ВАГРИУС

**АНАТОЛИЙ
МАРИЕНГОФ**

**«БЕССМЕРТНАЯ
ТРИЛОГИЯ»**

МОСКВА • ВАГРИУС •
1998

УДК 882-94
ББК 84Р7
М 26

Печатается по тексту
следующих изданий:

Мой век, мои друзья и
подруги: Воспоминания
Мариенгофа, Шершеневича,
Грузинова. — М.: Московский
рабочий, 1990.

Мариенгоф А. Это вам,
потомки! — Спб.: ПЕТРО-
РИФ, 1994.

В книге использованы
фотографии:

Государственного
Литературного музея,
Российского государственного
архива литературы и искусства,
Российской государственной
библиотеки по искусству.

העמותה לקליטת עליה בחיפה

רח'י ל. פרץ 20 חיפה 33041

ספרייה

3224

מס'

5967/

SBN 5-7027-0569-6

© Издательство «ВАГРИУС», 1998
© М.Козаков, предисловие, 1998
© Е.Вельчинский, дизайн серии, 1998
© Н.Вельчинская, художник, 1998

«“Роман без вранья”, “Мой век, мои друзья и подруги” и эту рукопись (“Это вам, потомки!”) я хотел бы издать под одной обложкой.

“Бессмертная трилогия”.

Вот название. Вероятно, сделать это придется уже после меня...

Не могу слухавить, что это приводит меня в восторг. Приятно было бы взглянуть на эту книгу, подержать ее в руках, поперелистывать и важно поставить на полку, получив с издательства тысяч сто».

Так писал Анатолий Борисович Мариенгоф, когда о выпуске подобной книги не могло быть не только речи — мысли!

Мемуарная проза Мариенгофа, равно как и его романы, стихи и пьесы, долгие годы оставались неизвестными для читателей. Лишь в последнее десятилетие они стали издаваться. Но «Бессмертная трилогия», заветное желание Мариенгофа, так и не стала книгой. Мемуары выпускались по частям и никогда — в едином томе.

Пусть запоздало, но мы решили исправить это недоразумение. Впервые мемуарная проза Мариенгофа представлена читателю так, как задумывал это автор. А блестящий стиль, острая наблюдательность, яркая образность языка и вправду позволяют считать мемуарную трилогию Мариенгофа бессмертной.

Автор не вошел в число «литературных гигантов» нашего столетия (во многом это зависело не от него). Но он стал «великолепным очевидцем» ушедшей эпохи (так говорил о себе соратник и друг Мариенгофа В. Шершеневич, но это в полной мере применимо и к самому Анатолию Борисовичу).

Современные мемуаристы вспоминают Мариенгофа редко. Свидетельства о нем разрозненны. Поэтому мы решили предпослать книге эссе народного артиста России Михаила Козакова, дающее, на наш взгляд, несколько дополнительных штрихов к портрету Мариенгофа.

Но сам автор и его неповторимое время — в «Бессмертной трилогии».

О ДЯДЕ ТОЛЕ МАРИЕНГОФЕ

Он не был мне дядей в буквальном смысле этого слова, не был родственником. Но он был как родственник, как любимый родственник. И он, и его жена — актриса Анна Борисовна Никритина, тетя Ньюша.

Сколько я помню себя с того довоенного ленинградского детства, столько и с тех пор я помню дядю Толю и тетю Ньюшу. Помню их дом, квартиру с мебелью красного дерева, с бюстом А. С. Пушкина, с картинами, эскизами их друга Тышлера, с двумя борзыми собаками (они были лишь до войны), с фотографиями Сергуна, С. А. Есенина (он и дядя Толя в цилиндре), с деревянным креслом на кухне — стилизация а-ля русс начала века... Смутно помню их сына Кирилла, он дружил с моим старшим братом Вовкой... Уже после войны я узнал, что Кирка — красавец, чемпион Ленинграда по теннису среди юношей, талантливый поэт — покончил с собой в 17 лет... Когда Вовка услышал эту страшную новость, он вскочил с кресла, где читал какую-то книгу (скорее всего, своего любимого Толстого), и в сердцах воскликнул: «Ну и дурак!..» Пройдет всего пять лет, и Вовка погибнет на войне в возрасте 21 года — в марте 1945-го под Штеттином... Самоубийство Кирки Мариенгофа всегда будет незримо витать в нашем доме на канале Грибоедова и, конечно, в доме Мариенгофов — Никритиных на Бородинке, где они жили после войны.

Повесился друг Сергун. Повесился сын Кирилл...

Страшная рифма в судьбе поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Означает встречу впереди...

Означает ли? Вот в чем вопрос. Самый главный вопрос, вопрос вопросов... Очень хочется верить, что все-таки означает... И обещает всем нам встречи. Этим и жив человек при жизни, человек, которому было дано любить кого-то как себя, больше, чем себя...

Мой отец Михаил Эммануилович Козаков и Анатолий Борисович Мариенгоф были соавторами нескольких пьес: «Преступление на улице Марата», «Золотой обруч», «Остров великих надежд». Пьесы — временки. Спектакль по лучшей — «Преступление», шедший после войны в Театре им. Комиссаржевской с треском и Постановлением закрыли в 1946 году. «Золотым обручем» в Москве в режиссуре Майорова открылся Театр на Спартаковской (впоследствии Драматический театр на Малой Бронной). Этот, прошедший около трехсот раз, подкормил после войны семьи Мариенгофов — Козаковых. На «Остров великих надежд» в Питере в режиссуре Г. А. Товстоногова в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола Мариенгоф и отец возлагали действительно большие надежды. В пьесе и спектакле действовали Ленин, Сталин, Черчилль, Рузвельт... Спектакль вышел в 1951 году. Папа и дядя Толя решили «лизнуть». Положение их в литературе и в жизни было отчаянное. Не печатали, не переиздавали, не платили...

Но, как будет сказано впоследствии у Александра Галича: «Ох не шейте вы, евреи, ливреи...» Хотели лизнуть одно место, и оказались в этом самом месте. Спектакль был разгромлен в «Правде» и попал в Постановление о драматургии... Лизать тоже надо уметь. Ни отцу, ни дяде Толе этого было не дано.

Ленинградский БДТ, где тогда, еще до Товстоногова, играла тетя Нюша, находился на гастролях в Одессе. Я, школьник, закончивший 9 класс и мечтавший об актерской карьере, играл в массовках этого театра. Идя на спектакль, я на заборе прочитал статью в «Правде» и, прибежав в театр, взволнованно рассказал об этом Никритиной. Она побледнела. После спектакля мы сидели с тетей Нюшей и дядей Толей в снимаемой ими квартирке. Тетя Нюша строго сказала: «Миня, ты собираешься стать актером. Запомни навсегда: перед спектаклем никогда не приноси новостей актеру, не читай газет, не читай даже писем...» Мариенгоф меня защищал. А чего это ему стоило в тот злополучный день — Бог ведает.

Прозвище дяди Толи — «Длинный». Он и в самом деле был длинный и худой. Папа маленький и округлый. Пат и

Паташон. После войны у них были темные выходные костюмы из материала в полоску. Когда папа умер, он лежал в гробу в этом своем лучшем костюме, а дядя Толя, приехавший с тетей Нюшей из Питера в Москву проститься с другом, тоже был в своем лучшем. Потом он сказал: «Это только я так мог, оказаться в том же...»

У дяди Толи было много друзей: Таиров, Качалов, Эйхенбаум, Тышлер, Берковский, Шостакович, Образцов...

В те послевоенные годы Мариенгоф был не только не в чести, но на него многие смотрели как на человека прошлого, ненужного, давно прошедшего...

«Роман без вранья» называли враньем без романа. О «Циниках» не слышал даже я... Пьеса в стихах «Шут Балакирев» нигде не шла. Стихи поэта-имажиниста, о котором Ленин сказал: «Больной мальчик», не то что не печатались — не упоминались. Как он жил, как они жили? Не понимаю. И еще умудрялись смеяться, шутить, радоваться жизни, иногда выпивать, ухаживать, слушать музыку, рассуждать о Чехове, Толстом, Дос Пасосе, ходить в кино, любить театр, искусство и друг друга...

Лучшей пары, чем Мариенгоф — Никритина я никогда не видел, не знал и, наверное, не увижу и не узнаю. Уже после смерти Анатолия Борисовича тетя Нюша мне сказала: «Миня, а знаешь, как бы нам с Толечкой не было плохо днем, вечером мы выпивали по рюмашке, забирались в свою семейную постель и говорили друг другу: “Мы вместе, и это счастье...”».

Мариенгоф, когда Товстоногов перевел Никритину на пенсию (она еще вполне могла играть, но не стала товстоноговской актрисой нового БДТ), писал для нее «маленькие пьески»: «Кукушка», «Мама» и др. Никритина с молодой тогда Ниной Ольхиной и молодым Игорем Горбачевым их играли на эстраде. В конце 50-х и я играл с тетей Нюшей «Кукушку» в Москве на разных концертных площадках, став популярным актером после фильма Ромма «Убийство на улице Данте», возил ее с собой по городам и весям нашей необъятной...

Каждый раз приезжая в Питер, я, разумеется, бывал в доме покойного Мариенгофа.

И вот уже в 70-х Анна Борисовна открыла бюро красного дерева и дала мне заветное. К тому времени уже было опубликовано кое-что из мемуаров Мариенгофа в журнале «Октябрь», отрывки из «Романа с друзьями». Но оставались за-

ветные, написанные от руки тетради А. Б. и вышедший за границей роман «Циники».

Мы с женой едва уговорили уже престарелую Никритину дать нам возможность перепечатать тетради. Страх, это проклятое рабское наследие, еще давал о себе знать. Уговорили и перепечатали. Я давал это читать в Москве друзьям.

Мне кажется, что в жанре мемуаристики XX века Мариенгоф — из лучших в России. Он дал непривычный тон. Стиль. Интонацию. В этом он опередил свое напыщенное и фальшивое время. И много выиграл. Теперь он с нами. И после нас, мой любимый дядя Толя.

Михаил Козаков

РОМАН
БЕЗ ВРАНЬЯ

*Экземпляр для переиздания примерно через четверть века.
20 ноября 1954.*

*Переиздадут быстрее.
А. М. 10 октября 1960.
(Надписи на обороте обложки «Романа без вранья»)*

В Пензе у меня был приятель: чужак-человек. Поразил он меня с первого взгляда бряцающими, как доспехи, целлулоидовыми манжетами из-под серой гимназической куртки, пенсне в черной оправе на широком шнуре и длинными поэтическими волосами, свисающими, как жирные черные сосульки, на блистательный целлулоидовый воротничок.

Тогда я переводился в Пензенскую частную гимназию из Нижегородского Дворянского института.

Нравы у нас в институте были строгие — о длинных поэтических волосах и мечтать не приходилось. Не сходишь, бывало, недельку-другую к парикмахеру, и уж ловит тебя инспектор в коридоре или на мраморной розовой лестнице. Смешной был инспектор-чех. Говорил он (произнося мягкое «л» как твердое, а твердое — мягко) в таких случаях всегда одно и то же:

— Древние греки носили длинные вольсы для красоты, скифы — чтобы устрашать своих врагов, а ты для чего, мальчик, носишь длинные вольсы?

Трудно было в нашем институте растить в себе склонность к поэзии и быть баловнем муз.

Увидев Женю Литвинова — целлулоидовые его манжеты и поэтическую шевелюру, — сразу я понял, что суждено в Пензенской частной гимназии пышно расцвести моему стихотворному дару.

У Жени Литвинова тоже была страсть к литературе — замечательная страсть, на свой особый манер. Стихов он не писал, рассказов также, книг читал мало, зато выписывал из Москвы почти все журналы, толстые и тонкие, альманахи и сборнички, поэзию и прозу, питая особую склонность к «Скорпиону», «Мусагету» и прочим такого же сорта, самым деликатным и модным тогда в столице издательствам. Все, что получалось из Москвы, расставлялось им по полкам в не-

разрезанном виде. Я захаживал к нему, брал книги, прочитывал — и за это относился он ко мне с большой благодарностью и дружбой.

Жене Литвинову и суждено было меня познакомить с этим Сергеем Есениным.

Случилось это летом тысяча девятьсот восемнадцатого года, то есть года через четыре после моего появления в Пензе. Я успел окончить гимназию, побывать на германском фронте и вернуться в Пензу в сортире вагона первого класса. Четверо суток провел, бодрствуя на стульчаке и тем возбуждая зависть в товарищах моих по вагону, подобно мне бежавших с поля славы.

Женя Литвинов, увлеченный политикой (так же, как в свое время литературой), выписывал чуть ли не все газеты, выходящие в Москве и Петрограде.

Почти одновременно появились в левозеровском «Знамени труда» «Скифы» и «Двенадцать» Блока и есенинское «Преображение» с «Инонией».

У Есенина тогда «лаяли облака», «ревела златозубая высь», Богородица ходила с хворостиной, «скликаая в рай телят», и, как со своей рязанской коровой, он обращался с Богом, предлагая ему «отелиться».

Радуясь его стиху, силе слова и буйствующему крестьянскому разуму, я всячески силился представить себе поэта Сергея Есенина.

И в моем мозгу непременно возникал образ мужика лет под тридцать пять, роста в сажень, с бородой, как поднос из красной меди.

Месяца через три я встретился с Есениным в Москве.

Хочется еще разок, напоследок, помянуть Женю Литвинова.

В двадцатом году мельком я увидел его на Кузнецком.

Он только что приехал в Москву и привез с собой из Пензы три дюжины столовых серебряных ложек.

В этих ложках сосредоточился весь остаток его, немалою когда-то, достояния. Был он купеческий сынок — каменный дом их в два этажа стоял на Сенной площади и всякого добра в нем вдоволь.

Приехал Женя Литвинов в Москву за славой. На каком поприще должна была прийти к нему слава, он так хорошенько и не знал. Казалось ему (по мне судя и еще по одному своему

гимназическому товарищу, Молабуху, разъезжавшему в качестве инспектора Наркомпути в отдельном салон-вагоне), что на пензяков в Москве слава валится прямо с неба.

Ежедневно, ожидая славы, Женя Литвинов продавал одну столовую ложку. Последний раз я встретил его в конце месяца со дня злосчастливого приезда в Москву. У него осталось шесть серебряных ложек, а слава все не приходила. Он прожил в столице еще четыре дня. На последние две ложки купил обратный билет в Пензу.

С тех пор я больше его не встречал. Милая моя Пенза! Милые пензяки!

2

Первые недели я жил в Москве у своего двоюродного брата Бориса (по-семейному: Боб) во 2-м Доме Советов (гостиница «Метрополь») и был преисполнен необычайной гордости.

Еще бы: при входе на панели — матрос с винтовкой, за столиком в вестибюле выдает пропуск красноармеец с браунингом, отбирают пропуск два красноармейца. Должен сознать, что я даже был несколько огорчен, когда чай в номер внесло мирное существо в белом кружевном фартучке.

Часов в двенадцать ночи, когда я уже собирался натянуть одеяло на голову, в номер вбежал маленький легкий человек со светлыми глазами, светлыми волосами и бородкой, похожей на уголок холщовой скатерти.

Его глаза так весело прыгали, что я невольно подумал: не играл ли он перед тем, как войти сюда, на дворе в бабки, бил чугунок без промаха, обобрал дочиста своих приятелей и явился с карманами, оттопыренными от козен и медяков, что ставили «под кон». Одним словом, он мне очень понравился.

Бегая по номеру, легкий человек тот наткнулся на стопку книг. На обложке верхнего экземпляра жирным черным шрифтом было тиснуто: «ИСХОД» — и изображен некто звероподобный (не то на двух, не то на четырех ногах), уносящий голубыми лапищами в призрачную даль бахчисарайскую розу величиной с кочан красной капусты.

В задание художника входило отразить мировую войну, Февральскую революцию и октябрьский переворот.

Мой незнакомец открыл книжку и прочел вслух:

Милая,
Нежности ты моей
Побудь сегодня козлом отпущения.

Трехстишие называлось поэмой, и смысл, вложенный в эту поэму, превосходил правдивостью и художественной силой все образы любви, созданные мировой литературой до сего времени. Так, по крайней мере, полагал автор.

Каково же было мое возмущение, когда наш незнакомец залился самым непристойнейшим в мире смехом, сразу обнаружив в себе человека, ничего не смыслящего в изящных искусствах.

И в довершение, держась за животики, он воскликнул:

— Это замечательно... Я еще никогда в жизни не читал подобной ерунды!

Тогда Боб, ткнув пальцем в мою сторону, произнес:

— А вот и автор.

Незнакомец дружески протянул мне руку.

Когда, минут через десять, он вышел из комнаты, унося с собой первый имажинистский альманах, появившийся на свет в Пензе, я, дрожа от гнева, спросил Бориса:

— Кто этот идиот?

— Бухарин! — ответил Боб, намазывая вывезенное мною из Пензы сливочное масло на кусочек черного хлеба.

В тот вечер решила моя судьба. Через два дня я уже сидел за большим письменным столом ответственного литературного секретаря издательства ВЦИК, что помещалось на углу Тверской и Моховой.

Стоял теплый августовский день. Мой стол в издательстве помещался у окна. По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано:

МЫ ТРЕБУЕМ МАССОВОГО ТЕРРОРА.

Меня кто-то легонько тронул за плечо:

— Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константину Степановичу Еремееву?

Передо мной стоял паренек в светлой синей поддевке. Под ней белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, желтые, с

золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно (но очень нарочно) падал на лоб. Завиток придавал ему схожесть с молоденьким хорошеньким парикмахером из провинции. И только голубые глаза (не очень большие и не очень красивые) делали лицо умнее: и завитка, и синей поддевички, и вышитого, как русское полотенце, ворота шелковой рубашки.

— Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин.

3

В Москве я поселился (с гимназическим моим товарищем Молабухом) на Петровке в квартире одного инженера.

Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные канделябры и портреты «предков» — так называли мы родителей инженера, развешанных по стенам в тяжелых рамах.

Надежд инженера мы не оправдали. На другой же день по переезде стащили со стен засиженные мухами портреты «предков», навалили их целую гору и вынесли в кухню.

Бабушка инженера после такой большевистской операции заподозрила в нас тайных агентов правительства и стала на целые часы прилипать старческим своим ухом к нашей замочной скважине.

Тогда-то и порешили мы сократить остаток дней ее брэнной жизни.

Способ, изобретенный нами, поразил бы своей утонченностью прозорливый ум основателя иезуитского ордена.

Развалившись на плюшевом диванчике, что спинкой примыкал к замочной скважине, равнодушным голосом заводили мы разговор такого приблизительно содержания:

— А как ты думаешь, Миша, бабушкины бронзовые «канделяберы» пуда по два вытянут?

— Разумеется, вытянут.

— А не знаешь ли ты, какого они века?

— Восемнадцатого, говорила бабушка.

— И будто бы работы знаменитейшего итальянского мастера?

— Флорентийца.

— Я так соображаю, что, если их приволочь на Сухаревку, пудов пять пшеничной муки отвалят.

— Отвалят.

— Так вот, пусть уже до воскресенья постоят, а там и поташим.

— Поташим.

За стеной в этот момент что-то плюхалось, жалобно стонало и в безнадежности шаркало туфлями.

А в понедельник заново заводили мы разговор о «канделяберах», сокращая ничтожный остаток брэнной бабушкиной жизни.

Вскоре мы раздобыли себе и сообщников на это гнусное дело.

Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Завелись толки о новой поэтической школе образов.

Несколько раз в нашем издательстве я перекинулся о том мыслями и с Сергеем Есениным.

Наконец было условлено о встрече для сговора и, если не разбредемся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста.

Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая со лба пот. Стал рассказывать, как бегал он вместо Петровки по Дмитровке, разыскивая дом с нашим номером. А на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь; он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться.

У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов, и каверзы, которые против него будто бы замыслили, и сплетни, будто бы про него распространяемые.

Мужика в себе он любил и нес гордо. Но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения.

Все это, разумеется, было сплошной ерундой, и щетинился он понапрасну.

До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства «Песни песней», «Калевалы» и «Слова о полку Игореве».

У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл *заставками*, динамические, движущиеся — *корабельными*, ставя вторые несравненно выше первых; говорил об орнаменте нашего алфавита, о символике образной в быту, о коньке на крыше крестьянского дома — увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке.

Формальная школа для Есенина была необходима. Да и не только для него одного. При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает.

Один умный писатель на вопрос: «Что такое культура?» — рассказал следующий нравоучительный анекдот:

— В Англию приехал богатейший американец. Ездил по стране и ничему не удивлялся. Доллар делал его скептиком. И только один раз, пораженный необыкновенным газоном в родовом парке английского аристократа, спросил у садовника, как ему добиться у себя на родине такого газона. «Ничего нет проще, — отвечает садовник, — вспашите, засейте, а когда взойдет, стригите его машинкой и два раза в день поливайте. Если это будете делать, через триста лет у вас будет такой газон».

Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского.

Не ворчать надо, когда писатель учится форме, а радоваться.

Перед тем как разбрестись по домам, Есенин читал стихи. Оттого ли, что кричал он, ввергая в звон подвески на наших «канделяберах», а себя величал то курицей, снесшейся золотым словесным яйцом, то пророком Сергием; от слов ли, крепких и грубых, но за стеной, где почивала бабушка, что-то всхлипнуло, простонало и в безнадежности зашаркало шлепанцами по направлению к ватерклозету.

4

Каждый день приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол, заваленный рукописями, желтый тюречок с солеными огурцами.

Из него на стол бежали струйки рассола.

В зубах хрустело огуречное зеленое мясо и сочился соленый

сок, расплзаясь фиолетовыми пятнами по рукописным страницам.

Есенин поучал:

— Так, с бухты-барухты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику.

И, тыкая в меня пальцем:

— Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботинках и с пробором волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брюках из-под утюга! Кто этому поверит? Вот смотри — Белый. И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского однотомного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят... Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?

И Есенин весело, по-мальчишески, захохотал.

— Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? — Ввел. Клюев ввел? — Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? — Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев... к нему я, правда, первому из поэтов подошел — скосил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а уже он тоненьким таким голосочком: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах...» — и, ухватив меня под руку, поволол от знаменитости к знаменитости, свои «ахи» расточая тоненьким голоском. Сам же я скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!

Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский ботинок (к тому времени успел он навсегда расстаться с поддевкой, с рубашкой, вышитой, как полотенце, с голенищами в гармошку) и по-хорошему чистосердечно (а не с деланной чистосердечностью, на которую тоже был мастер) сказал:

— Знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил, и поддевки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду бочки в Ригу катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия

моя грузчиков подберется. А какие там бочки — за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом... Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: «Не надо ли чего покрасить?..» И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: «Так-де и так». Явился сам барин. Зовет в комнаты — Клюев не идет: «Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю, и пол вощенный наслежу». Барин предлагает садиться. Клюев мнет-ся: «Уж мы постоим». Так, стоя перед баринком в кухне, стихи и читал.

Есенин помолчал. Глаза из голубых обернулись в серые, злые. Покраснели веки — будто кто простегнул по их краям алую нитку.

— Ну а потом таскали меня недели три по салонам — похабные частушки распевать под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочту два-три — в кулак прячут позевотину, а вот похабшину хоть всю ночь зажаривай... Ух, уж и ненавижу я всех этих Сологубов с Гиппиусами!

Опять в голубые обернулись его глаза. Хрупнул в зубах огурец. Зеленая капелька рассола упала на рукопись. Смахнув с листа рукавом огуречную слезу, потеплевшим голосом он добавил:

— Из всех петербуржцев только люблю Разумника Васильевича да Сережу Городецкого — даром, что Нимфа его (так прозывали в Петербурге жену Городецкого) самовар заставляла меня ставить и в мелочную лавку за нитками посылала.

5

На Тверской, неподалеку от Газетного, актеры фореггеровского театра «Московский балаган» соорудили столовку.

Собственно, если говорить не по-сегодняшнему, а на языке и милыми наивными понятиями девятнадцатого года, то назвать следовало бы тот кривобокенький полутемный коридор, заставленный трехногими столиками (из допотопной пивной, что процветала некогда у Коровьего вала), не пренебрежительно «столовкой», а рестораном самого что ни на есть первого разряда.

До этого прародителя неповских заведений питались мы с Есениным в одном подвале, достойном описания.

Рыжий повар в сиянии торчком торчащих волос (похожий на святого со старой новгородской иконы); красного кирпича плита величиной в ампировскую кровать; кухонные некрашенные столы, деревянные ложки и тарелки из дворцовых сервизов, с двуглавыми золотыми орлами.

Рыжий повар всякую неудобоваримую дрянь превращает в необыкновеннейшие пловы, бефы и антрекоты.

Фантасмагория неправдоподобнейшая.

Ели и плакали: от чада, дыма и вони.

Есенин сказал:

— Сил моих больше нет. Вся фантасмагория переселилась ко мне в живот.

Тогда решили перекочевать из гофманского подвала в столовку форегтеровского «Московского балагана».

Ходили туда вплоть до весны, пили коричневую бурдохлыстину на сахарине и ели нежное мясо жеребят.

На Есенине короткая меховая кофтенка и высокие, очень смешные черные боты — хлопает ими и шаркает. В ноги посмотришь — человек почтенного возраста. Ничто так не старит, как наша российская калоша. Влез в калошу и будто прибавил в весе и характером стал положительен.

В ресторанчике на каждого простого смертного по полдюжине знаменитых писателей.

Разговоры вертятся вокруг стихотворного образа, вокруг имажинизма. В газете «Советская страна» только что появился манифест, подписанный Есениным, Шершеневичем, Рюриком Ивневым и мной.

Австрийский министр иностранных дел Оттокар Чернин передает в своих остроумных мемуарах разговор с Иоффе в Брест-Литовске во время мирных переговоров.

« — В случае, если революция в России будет сопровождаться успехом, — говорил дипломат императора Карла, — то Европа сама не замедлит присоединиться к ее образу мыслей. Но пока уместен самый большой скептицизм, и поэтому я категорически запрещаю всякое вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Господин Иоффе, — пишет далее Чернин, — посмотрел на меня своими мягкими глазами, а потом произнес дружественным и почти просящим тоном:

— Я все же надеюсь, что нам удастся устроить и у вас революцию».

Вот и Есенин смотрел мягко и говорил почти умоляюще.

После одной из бесед об имажинизме, когда Пимен Карпов шипел, как серная спичка, зажженная о подошву, а Петр Орешин не пожалел ни «родителей», ни «душу», ни «Бога», Есенин, молча отшагав квартал по Тверской, сказал:

— Жизнь у них была дошлая... Петька в гробах спал... Пимен лет десять зависть свою жрал... Ну и стали, как псы, которым хвосты рубят, чтобы за ляжки кусали...

В комнате у нас стоял свежий морозный воздух.

Есенин освирепел:

— А талантишка-то на пяточок сопливый... ты попомни, Анатолий, как шавки за мной пойдут... подтягивать будут.

6

В ту же зиму прислал Есенину письмо и Николай Клюев.

Письмо сладкоречивое, на патоке и елее. Но в патоке клюевской был яд не пименовскому чета и желчь не орешинская.

Есенин читал и перечитывал письмо. К вечеру знал его на зубок от буквы до буквы. Желтел, молчал, супил брови и в гармошку собирал кожу на лбу.

Потом дня три писал ответ туго и вдумчиво, как стихотворение. Вытачивал фразу, вертя ее разными сторонами и на всякий манер, словно тифлисский духанщик над огнем деревянные палочки с кусками молодого барана. Выволакивал из темных уголков памяти то самое, от чего должен был так же пожелтеть Миколушка, как пожелтел сейчас Миколушкин «сокол ясный».

Есенин собирался вести за собой русскую поэзию, а тут наставляющие и попечительствующие словеса Клюева.

Долго еще по привычке критика подливала масла в огонь, величая Есенина «меньшим клюевским братом». А Есенин уже твердо стоял в литературе на своих собственных ногах, говорил своим голосом и носил свою есенинскую «рубашку» (так любил называть он стихотворную форму).

После одной — подобного рода — рецензии Есенин победил в типографию рассыпать набор своего старого стихотворения с такими двумя строками:

Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.

Но было уже поздно. Машина выбрасывала последние листы.

7

Еще об есенинском *обхождении* с человеком.

Было у нас, у имажинистов, в годы военного коммунизма издательство свое, книжная лавочка и «Стойло Пегаса».

Из-за всего этого бегали мы немало по разным учреждениям, по наркомам, в Московский Совет.

Об издательстве, лавочке и «Стойле» поподробнее расскажу ниже — как-никак, а связано с ними и немало наших дней, мыслей, смеха и огорчений.

А сейчас хочется еще несколько черточек добавить, пятнышек несколько. Не пятнающих, но и не льстивых. Только холдная, чужая рука предпочтет белила и румяна остальным краскам.

Обхождение — слово-то какое хорошее.

Есенин всегда любил слово нутром выворачивать наружу, к первоначальному его смыслу.

В многовековом хождении затрепались слова. На одних своими языками вылизало время прекраснейшие метафорические фигуры, на других — звуковой образ, на третьих — мысль, тонкую и насмешливую.

Может быть, от такого прислушивания к нутру всякого *слова* и пришел Есенин к тому, что надобно человека обхаживать.

В те годы заведующим Центропечати был чудесный человек — Борис Федорович Малкин. До революции он редактировал в Пензе оппозиционную газетку «Чернозем». Помнится, очень меня обласкал, когда я, будучи гимназистом, притащил к нему тетрадочку своих стихов.

На Центропечати зиждилось все благополучие нашего изда-

тельства. Борис Федорович был главным покупателем, оптовым.

Сидим как-то у него в кабинете. Есенин в руках мнет заказ: требовалась на заказе подпись заведующего. А тогда уже были мы Малкину со своими книгами что колики под ребро. Одно-го слова «имажинист» пугались, а не только что наших книг.

Глядит Малкин на нас нежными и грустными своими глазами (у Бориса Федоровича я не видел других глаз) и, увлекаясь, что-то рассказывает про свои центропечатские дела. Есенин поддакивает и восторгается. Чем дальше, тем больше. И наконец, весьма хитро придя в совершеннейший восторг от административного гения Малкина, восклицает:

— А знаешь, Борис Федорович, ведь тебя за это, я так полагаю, медалью похвалят!

В те годы никаких медалей еще не существовало и ордена не превращали человека в рождественскую елку.

От такой есенинской высокой награды добрейший Малкин добрел еще больше.

Глядишь — и подписан заказ на новое полугодие.

Есенин же, сообразив немедля наивное обаяние своего трюка, припрятал его в памяти на подходящие случаи жизни. А так как случаев подобных, благодаря многочисленным нашим «предприятиям», представлялось немало, то и раздача есенинских медалей шла бойко.

Как-то, недельки через четыре после того, выйдя из кабинета Малкина, я сказал сердито Есенину:

— Сделай милость, Сережа, брось ты, пожалуйста, свою медаль. Ведь за какой-то месяц ты Борису Федоровичу третью штуку жалуешь.

Есенин сдвинул брови:

— Оставь! Оставь! Не учи.

К слову: лицо его очень красили темные брови — напоминали они птицу, разрубленную пополам — в ту и другую сторону по крылу. Когда, сердясь, сдвигал брови — срсталась широко разрубленная темная птица.

А когда в Московском Совете надобно было нам получить разрешение на книжную лавку, Есенин с Каменевым говорил на олонецкий, клюевский манер, округляя «о» и по-мужицки на «ты»:

— Будь милОстив, Отец рОдной, Лёв БОрисович, ты уж этО сделай.

К отцу, к матери, к сестрам (обретающимся тогда в селе Константинове Рязанской губернии) относился Есенин с отдышкой от самого живота, как от тяжелой кладки.

Денег в деревню посылал мало, скупно и всегда при этом злясь и ворча. Никогда по своему почину, а только — после настойчивых писем, жалоб и уговоров.

Иногда из деревни приезжал отец. Робко говорил про нужду, про недороды, про плохую картошку, сгнившее сено. Крутил реденькую конопляную бородку и вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза. Есенин слушал речи отца недоверчиво, напоминал про дождливое лето и жаркие солнечные дни во время сенокоса, о картошке, которая почему-то у всех уродилась, кроме его отца, об урожае Рязанской губернии, не ахти плохом. Чем больше вспоминал, тем больше сердился:

— Знать вы там ничего не желаете, а я вам что мошна... сдохну — поплачете о мошне, а не по мне.

Вытаскивал из-под подушки книгу и в сердцах вслух читал о барышнике, которому локомотивом отрезало ногу. Несут того в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и беспокоится, как бы в сапоге, на отрезанной ноге, не пропали спрятанные двадцать рублей.

— Все вы там такие...

Отец вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза, щипал на подбородке реденькую размохрявленную рогожку и молчал.

Под конец Есенин давал денег и поскорей выпроваживал старика из Москвы.

После отъезда начинал советоваться, как быть с сестрами — брать в Москву учиться или нет. Склонялся к тому, чтобы сейчас погодить, а может быть, и насовсем оставить в деревне. Пытался в этом добросовестно убедить себя. Выдумывал доводы, в которые сам же не верил. Разводил философию по гамсуновскому «Пану» о счастье на природе и с землей, о том, что мало-де радости трепать юбки по панелям и делать аборты.

— Пусть уж лучше хлев чистят да детей рожают.

Сам же бесконечно любил и город, и городскую культуру, и городскую панель, исшарканную и заплыванную. За четыре года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свое Константиново. Собирался прожить там недели полторы, а прискакал через три дня обратно, отплевываясь, отбрыкиваясь и рассказывая, как на другой же день поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски.

Сестер же своих не хотел везти в город, чтобы, став «барышнями», они не обобычили его фигуры. Для цилиндра, смокинга и черной крылатки (о которых тогда уже он мечтал) каким превосходным контрастом должен был послужить зипун и цветистый ситцевый платок на сестрах, корявая соха отца и материн подойник.

9

В памяти — один пожар в Нижнем. Горели дома по съезду. Съезд крутой. Глядишь: и как это не сковырнутся домишки. Под глиняной пяткой съезда, в вонючем грязном овраге — Балчуг: ларьки, лавчонки, магазинчики со всякой рухлядью. Большие страсти и копейная торговля.

Когда вспыхнул съезд, а ветер, вздымая клубами красную пыль, понес ее к Балчугу, огромная черная толпа, глазающая на пожар, дрогнула. Несколько поодаль стоял человек почти на голову выше ровной черной стены из людей. Серая шляпа, серый светлый костюм, желтые перчатки и желтые лаковые ботинки делали его похожим на иностранца. Но глаза, рот и бритые, мягко округляющиеся скулы были нашими, нижегородскими. Тут уже не проведешь никаким аглицким материалом, никакими перчатками — пусть даже самыми желтыми в мире.

Стоял он, как монумент из серого чугуна. И на пожар-то глядел по-монументовски — сверху вниз. Потом снял шляпу и заложил руки за спину. Смотрю: совсем как чугунный Пушкин на Тверском бульваре.

Вдруг кто-то шепотом произнес его имя — оно обежало толпу. И тот, кто соперничал с чугуном, стал соперничать с пламенем.

Люди отворачивались от пожара, заглядывали бесцеремон-

нейшим образом ему в глаза, тыкали пальцем в его сторону и перешептывались.

Несколькими часами позже я встретил мой монумент на Большой Покровке — главной нижегородской улице. Несколько кварталов прошел я по другой стороне, не спуская с него глаз. А потом месяца три подряд писал штук по пять стихотворений в сутки, чтобы только приблизить срок прекрасной славы и не лопнуть от нетерпения, ожидая дня, когда и в мою сторону станут тыкать бесцеремонным пальцем.

Прошло много лет.

Держась за руки, мы бежали с Есениным по Кузнецкому мосту.

Вдруг я увидел *его*. Он стоял около автомобиля. Опять очень хороший костюм, очень мягкая шляпа и какие-то необычайные перчатки. Опять похожий на иностранца... с нижегородскими глазами и бритыми, мягко округляющимися нашими русапетскими скулами.

Я подумал: «Хорошо, что монументы не старятся!»

Так же обгоняющие тыкали в его сторону пальцами, заглядывали под шляпу и шуршали языками:

— Ш а л я п и н.

Я почувствовал, как задрожала от волнения рука Есенина. Расширились зрачки. На желтоватых, матовых его щеках от волнения выступил румянец. Он выдавил из себя задышающимся (от ревности, от зависти, от восторга) голосом:

— Вот так слава!

И тогда, на Кузнецком мосту, я понял, что этой глупой, этой замечательной, этой страшной *славе* Есенин принесет в жертву свою жизнь.

Было и такое.

Несколько месяцев спустя мы катались на автомобиле: Есенин, скульптор Сергей Коненков, я.

Коненков предложил заехать за молодыми Шаляпиными (Федор Иванович тогда уже был за границей). Есенин обрадовался предложению.

Заехали. Есенин усадил на автомобиле рядом с собой некрасивую веснушчатую девочку. Всю дорогу говорил ей ласковые слова и смотрел нежно.

Вернулись мы усталые и измученные — часов пять летали

по ужасным дорогам Подмосковья. Есенин сел ко мне на кровать, обнял за шею и прошептал на ухо:

— Слушай, Толя, а ведь как бы здорово получилось: Есенин и Шаляпина... А?.. Жениться, что ли?..

10

Случилось, что весной девятнадцатого года я и Есенин остались без комнаты. Ночевали по приятелям, по приятельницам, в неописуемом номере гостиницы «Европа», в вагоне Молабуха. Словом, где, на чем и как попало.

Как-то разбрелись на ночь. Есенин поехал к Кусикову на Арбат, а я примостился на диване в кабинете правления знаменитого когда-то и единственного в своем роде «Кафе поэтов».

На Тверской, ниже немного Камергерского, помещалась эта «колыбель славы».

А кормилицей, вынянчившей и выходявшей немалую семью скандальных и знаменитых впоследствии поэтов, был толсторожий (ростом с газетный киоск) сибирский шулер и буфетчик Афанасий Степанович Нестеренко.

Когда с эстрады кафе профессор Петр Семенович Коган читал двухчасовые доклады о революционной поэзии, убаюкивая бледнолицых барышень в белых из марли фартучках, вихрастых красноармейцев и грустных их дам с обезлюдевшей к этому часу Тверской, когда от монотонного голоса соловели даже веселые забористые надписи на стенах кафе и подвешенный к потолку рыжий дырявый сапог Василия Каменского, — тогда сам Афанасий Степанович Нестеренко подходил к одному из нас и, положив свою львиную лапу на плечо, спрашивал:

— Как вы думаете, товарищ поэт, кто у нас сегодня докладчик?

— Петр Семенович Коган.

После такого неуместного ответа буфетчик громыхал:

— Не господин Коган-с, а Афанасий Степанович Нестеренко сегодня докладчик, да-с! Из собственного кармана, извольте почувствовать.

В такие дни нам не полагалось бесплатного ужина.

Но вернемся же к приключению.

Оставшись ночевать в Союзе, я условился с Есениным, что поутру он завернет за мной, а там вместе на подмосковную дачу к одному приятелю.

Солнце разбудило меня раньше. Весна стояла чудесная.

Я протер глаза и протянул руку к стулу за часами. Часов не оказалось. Стал шарить под диваном, под стулом, в изголо-
вье... Сперли!

Погрустнел.

Вспомнил, что в бумажнике у меня было денег обедов на пять — сумма изрядная.

Забеспокоился. Бумажника тоже не оказалось.

— Вот сволочи!

Захотел встать — исчезли ботинки...

Вздумал натянуть брюки — увы, натягивать было нечего.

Так, постепенно я обнаруживал одну за другой пропажи: часы... бумажник... ботинки... брюки... пиджак... носки...
пantalоны... галстук...

Самое смешное было в такой постепенности обнаружива-
ний, в чередовании изумлений.

Если бы не Есенин, так и сидеть мне до четырех часов дня в чем мать родила в пустом, запертом на тяжелый замок кафе. Сообщения наши с миром поддерживались через окошко.

Куда пойдешь без штанов? Кому скажешь?

Через полчаса явился Есенин. Увидя в окне мою растеря-
нную физиономию и услыша грустную повесть, сел он прямо на панель и стал хохотать до боли в животе, до кашля, до слез.

Потом притащил из «Европы» свою серенькую пиджачную пару. Есенин мне до плеча, есенинские брюки выше щиколо-
ток. И франтоватый же имел я в них вид!

А когда мы сидели в вагоне подмосковного поезда, в окно влетел горящий уголек из паровоза и прожег у меня на есе-
нинских брюках дырку величиной с двугривенный.

Есенин перестал смеяться и, отсадив меня от окна, при-
крыл газетой пиджак свой на мне. Потом стал ругать Антан-
ту, из-за которой приходится черт знает чем топить паровозы; меня за то, что сплю, как чурбан, который можно вынести, а он не услышит; приятеля, уговорившего нас — идиотов — на кой-то черт тащиться к нему на дачу.

А из дырки — вершка на три повыше колена — выглядывал розовый кусочек тела.

Я сказал:

— Хорошо, Сережа, что ты не принес мне и подштанников, а то бы и их прожег.

11

Сидел я как-то в нашем кафе и будто зачарованный следил за носом Вячеслава Павловича Полонского, который украшал в эту минуту эстраду, напоминая собой розовый флажок на праздничной гирлянде.

Замечательный нос у Вячеслава Павловича Полонского! Нет ему подобного по всей Москве!

Под стеклом на столике в членской комнате СОПО хранилась карикатура художника Мака: нарисован был угол дома, из-за угла нос и подпись: «За пять минут до появления Полонского».

Я подумал: «А ведь даже и мейерхольдовский нос короче без малого на полвершка. Несправедливо расточает природа свои дары!».

В эту самую минуту я получил толчок под ребро и вышел из оцепенения.

Рядом стоял Есенин. Скосив вниз куда-то глаза, он произнес:

— Познакомься, Толя, мой первейший друг — Моисей.

Потом чуть слышно мне на ухо:

— Меценат.

О меценатах читывал я во французских романах, в собрании старинных анекдотов о жизни и выдумках российских чудачков, слышал от одного обветшалого человека о «Черном лебеде» Рябушинского, о журнале «Золотое руно», издававшемся по его прихоти на необыкновеннейшей бумаге, с прокладками из тончайшей папиросной, золотыми буквами и на нескольких языках сразу, а в сущности, и одного отечественного языка для «Золотого руна» слишком много, так как не было у него других читателей, кроме самих поэтов, удостоенных золотых букв.

Но чтобы жи-во-го ме-це-на-та, да еще в дни военного коммунизма, да в красной Москве, да вдобавок такого, который на третью минуту нашего знакомства открутил у меня жилетную пуговицу — нет! о таком меценате не приходилось мне грезить ни во сне ни наяву.

Был он пухленький, кругленький и румянький, как молодая картошка, поджаренная на сливочном масле. На голове нежный цыплячий пух. Их фамилия всяческие имела заводы под Москвой, под Саратовом, под Нижним, и во всех этих городах — домищи, дома и домики. Ростом же так мал, что стоило бы мне подняться слегка на цыпочки, а ему чуть подогнуть коленки, и прошел бы он промеж моих ног, как под Триумфальной аркой. Позднее, чтоб не смешить людей, никогда не ходили мы с ним по улице рядом — всегда ставили Есенина посередине.

Еще примечательнее была его речь: шипящие звуки он произносил как свистящие, свистящие как шипящие, горловые как носовые, носовые как горловые; краткие удлинял, длинные укорачивал, а что касается до ударений, то здесь уже не было никаких границ его фантазии и изобретательности.

И при всем этом обожал латинских классиков, новейшую поэзию и певца «Фелицы» — Державина.

Сидя спиной на кресле (никогда я не видел, чтобы сидел он тем местом, которое для сидения предназначено природой), любил говорить:

— Короли были не так глупы, когда окружали себя поэтами... Сережа, прочти «Березку».

Устав мотаться без комнаты, мы с Есениным перебрались к нему в квартиру.

После номера в «Европе», инквизиторского дивана в Союзе, ночевок у приятелей на стульях, составленных и расползающихся под тобой во время самого сладкого сна, наконец, у приятельниц, к которым были холодны сердцем, — его мягкие волосяные матрацы, простыни тонкого полотна и пуховые одеяла примирили нас со многими иными неудобствами, вытекающими из его нежной к нам дружбы.

Помимо любви к поэзии он страдал еще от преувеличения своих коммерческих талантов, всерьез считая себя несравненным комбинатором и дельцом самой новейшей формации.

Есенин — искуснейший виртуоз по игре на слабых человеческих струнках — поставил себе твердую цель раздобыть у него денег на имажинистское издательство.

Начались уговоры — долгие, настойчивые, соблазнительные. Есенин рисовал перед ним сыгинскую славу, память в истории литературы как о новом Смирдине и... трехсотпроцентную прибыль на вложенный капитал.

В результате — в конце второй недели уговариваний — мы получили двенадцать тысяч керенскими.

В тот достопамятный день у нашего «капиталиста» обедал старый человек в золотых очках. Не так давно он еще был «самым богатым евреем в России». Теперь же не комбинировал, не продавал своих домов, реквизируемых советской властью, и не помещал денег в верные дела с трехсотпроцентной прибылью.

«Наш друг», покровительственно похлопывая его по коленке, говорил:

— В отставку вам, Израиль Израильевич! Что же делать, если уже нет коммерческой фантазии.

И тут же рассказал, как вот он — новейшей формации человек — сейчас проделал комбинацию с таким коммерчески безнадежным материалом, как два поэта:

— Почему не заработать двадцать четыре тысячи на двенадцать... Как говорит русская пословица: «У пташечки не болит живот, если она даже помаленьку клюет».

Умный старый еврей поблескивал золотыми очками, поглаживал седую голову и мягко улыбался.

Месяца через три вышла первая книжка нашего издательства.

Мы тогда жили с Есениным в Богословском, в бахрушинском доме, в собственной комнате.

Неожиданно на пороге появился «меценат».

Есенин встретил его с распростертыми объятиями и поднес совсем свежую, вкусно пахнущую типографской краской книжку с трогательной надписью.

Тот поблагодарил, расцеловал и попросил тридцать шесть тысяч.

Есенин обещал через несколько дней лично занести ему на квартиру.

Недели через три у нас вышел сборник.

И снова на пороге комнаты мы увидели «мецената».

Ему немедленно вручили вторую книгу с еще более трогательной надписью.

На сей раз он соглашался простить нам двенадцать тысяч и заработать всего каких-либо сто процентов.

Есенин крепко пожал ему руку и поблагодарил за широту и великодушие.

Перед Рождеством была третья встреча. Он поймал нас на

улице. Мы шли зеленые, злые — третьи сутки питались мукой, разведенной в холодной воде и слегка подсахаренной. Клейстер замазывал глотку, ложился комом в желудке, а голода не утолял.

Крепко держа обоих нас за пуговицы, он говорил:

— Ребята, я уже решил: мне не надо ваших прибылей. Возьмите себе ваши двадцать четыре, а я возьму себе свои двадцать... Что?.. По рукам?..

И мы ударили своими холодными ладонями по его теплой. О последней встрече не хотел и вспоминать...

Стоял теплый мартовский день. Болтая ногами, мы тряслись на ломовой телеге, переправляя из типографии в Центропечать пять тысяч экземпляров новой книги.

Вдруг вынырнул он.

Разговор был очень короткий. Есенин нехотя слез с книжных кип. Я последовал его примеру. Телега свернула за угол и вместо Центропечати поехала в Камергерский переулок топить стихами его замечательную мраморную ванну.

У меня неприятно щекотало в правой ноздре. Я старался уверить себя, что мне очень хочется чихнуть, — было бы малодушно подумать другое. На прощанье круглый человек с цыплячьим пухом на голове мне напомнил:

— А ведь я, Анатолий, знал твоего папу и маму — они были очень, очень порядочные люди.

Я взглянул на Есенина. Когда телега с нашими книгами скрылась из виду, с его ресниц упала слеза, тяжелая и крупная, как первая дождевая капля.

Вчера я перелистывал Чехова. В очаровательном «Крыжовнике» я наткнулся на купца, который перед смертью приказал подать себе тарелку меда и съел все свои деньги и выигранные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось.

Над Большим театром четыре коня взвились на дыбы. Рвут вожжи и мускулы на своих ногах. И всё без толку: толстоколонный домище — недвижим.

Есенин посмотрел вверх:

— А ведь мы с тобой вроде этих глупых лошадей. Русская литература будет потяжелее Большого театра.

И он в третий раз стал перечитывать статейку в журнале.

Статьейка последними словами поносила Есенина. Где полагается, стояла подпись: *Олег Леонидов*.

Я взял из рук Есенина журнал, свернул его в трубку и положил в карман:

— О Пушкине и Баратынском тоже писали, что они прыщи на коже вдовствующей российской литературы.

Есенин ловил ухом и прятал в памяти каждое слово, сказанное о его стихах. Худое и лестное. Ради десяти строк, напечатанных о нем в захудалой какой-нибудь газетенке, мог лететь из одного конца Москвы в другой. Пишущих или говорящих о нем плохо как о поэте считал своими смертельными врагами.

В одном футуристическом журнале в тысяча девятьсот восемнадцатом году некий Георгий Гаер разнес Есенина.

Статья была порядка принципиального: урбанистические начала столкнулись с крестьянскими.

Футуристические позиции тех времен требовали разноса.

Года через два Есенин ненароком обнаружил под Георгием Гаером — Вадима Шершеневича.

И жестким стал к Шершеневичу, как сухарь. Я отдувался. Извел словесного масла великое множество — пока сухарь пообмяк с верхушки.

А по существу, так до конца своих дней и не простил он от полного сердца Шершеневичу его статьи.

Рыча произносил:

— Георгий Гаер!..

12

Стояли около «Метрополя» и ели яблоки. На извозчике мимо с чемоданами — художник Дид Ладо.

— Куда, Дид?

— В Петербург.

Бросились к нему во весь дух. На лету вскочили, догнав клячонку.

— Как едешь-то?

— В пульмановском вагоне, братцы, в отдельном купе красного бархата.

— С кем?

— С комиссаром. Страшеннейший! Пистолетами и кинжалами увешан. Башка что обритая свекла.

По паспорту Диду было за пятьдесят, по сердцу — восем-

надцать. Англичане хорошо говорят: костюму столько времени, на сколько он выглядит.

Дид с нами расписывал «Страстной монастырь», переименовывал улицы, вешал на шею чугунному Пушкину плакат: «Я с имажинистами».

В СОПО читал доклады по мордографии, карандашом доказывал сходство всех имажинистов с лошадьми: Есенин — вятка, Шершеневич — орловский, я — гунтер.

Глаз у Дида был верный.

Есенина в домашнем быту так и звали мы — Вяткой.

— Дид, возьми нас с собой.

— Без шапок-то?..

— А на кой они черт!

Если самому «восемнадцать», то чего возражать?

— Деньжонки-то есть?..

— Не в Америку едем.

— Валяй садись.

Поехали к Николаевскому вокзалу.

На платформе около своего отдельного пульмановского вагона стоял комиссар.

Глаза у комиссара круглые и холодные, как серебряные рубли. Голова тоже круглая, без единого волоска, ярко-красного цвета.

Я шепнул Диду на ухо:

— Эх, не возьмет нас «свекла»!

А Есенин уже ощупывал его пистолетину, вел разговор о преимуществе кольта над наганом, восхищался сталью кавказской шашки и малиновым звоном шпор.

Один кинорежиссер ставил картину из еврейской жизни. В последней части в сцене погрома должен был на крупном плане плакать горькими слезами малыш лет двух. Режиссер нашел очаровательного мальчугана с золотыми кудряшками. Началась съемка. Вспыхнули юпитеры. Почти всегда дети, пугаясь сильного света, шипения, черного глаза аппарата и чужих «дядей», начинают плакать. А этому хоть бы что: мордашка веселая, и смеется во все горлышко. Пробовали и то и се — малыш ни в какую. У оператора опустились руки. Тогда мать неунывающего малыша научила расстроенного режиссера:

— Вы, товарищ, скажите ему: «Мойшенька, сними башмачки!» Очень он этого не любит и всегда плачет.

Режиссер сказал — и павильон огласился пронзительным

писком. Ручьем полились горькие слезы. Оператор завертел ручку аппарата.

Вот и Есенин, подобно той матери, замечательно знал для каждого секрет «мойшенькиных башмачков»: чем расположить к себе, повернуть сердце, вынуть душу.

Отсюда его огромное обаяние.

Обычно любят — за любовь. Есенин никого не любил, и все любили Есенина.

Конечно, комиссар взял нас в свой вагон, конечно, мы поехали в Петербург, и спали на красном бархате, и пили кавказское вино хозяина вагона.

В Петербурге весь первый день бегали по издательствам. Во «Всемирной литературе» Есенин познакомил меня с Блоком. Блок понравился своею обыкновенностью. Он был бы очень хорош в советском департаменте над синей канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями дня, над большими входящими и исходящими книгами.

В этом много чистоты и большая человеческая правда.

На второй день в Петербурге пошел дождь.

Мой пробор блестел, словно крышка рояля. Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени.

Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам «без ордера» шляпу.

В магазине, по счету десятом, краснощекий немец за кассой сказал:

— Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.

Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку.

А через пять минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза, «ирисники» гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал документы.

Вот правдивая история появления на свет легендарных и единственных в революции цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами.

13

К осени стали жить в бахрушинском доме. Пустил нас на квартиру Карп Карпович Коротков — поэт, малоизвестный читателю, но пользующийся громкой славой у нашего брата.

Карп Карпович был сыном богатых мануфактурщиков, но еще до революции от родительского дома отошел и пристрастился к прекрасным искусствам.

Выпустил он за короткий срок книг тридцать, прославившихся беспримерным отсутствием на них покупателя и своими восточными ударениями в русских словах.

Тем не менее расходились книги довольно быстро, благодаря той неопишуемой энергии, с какой раздавал их со своими автографами Карп Карпович!

Один веселый человек пообещал даже два фунта малороссийского сала оригиналу, у которого бы оказалась книга Карпа Карповича без дарственной надписи.

Риск был немалый.

В девятнадцатом году не только ради сала, но и за желтую пшенку неделями кормили собой вшей в ледяных вагонах.

И все же пришлось веселому человеку самому съесть свое сало.

Комната у нас была большая, хорошая.

14

Силы такой не найти, которая б встрясла из нас, россиян, губительную склонность к искусствам: ни тифозная вошь, ни уездные кисельные грязи по щиколотку, ни бессортирье, ни война, ни революция, ни пустое брюхо.

Можно сказать, тонкие натуры.

Возвращаюсь поздней ночью от приятеля. В небе висит туча вроде дачного железного рукомоиника с испорченным краном — льет проклятый дождь без передыха, без роздыха.

Тротуары Тверской — черные, лоснящиеся. Совсем как мой цилиндр.

Собираюсь свернуть в Козицкий переулок. Вдруг с противоположной стороны слышу:

— Иностранец, стой!

Смутил простаков цилиндр и деллюсовское широкое пальто. Человек пять отделилось от стены.

Жду.

— Гражданин иностранец, ваше удостоверение личности!

На голой кляче ковылял извозчик по расковыренной мостовой. Глянул в нашу сторону — и ну нахлестывать своего бу-

цефала. А тот не будь дурак — стриканул карьером. У кафе «Ли́ра» подремывал сторож. Смотрю — шмыг он в переулок, — и будьте здоровы!

Ни живой души. Ни бездомного пса. Ни тусклого фонаря. Спрашиваю:

— По какому, товарищи, праву вы требуете у меня документ? Ваш мандат.

— Мандат?..

И парень в студенческой фуражке и с лицом, помятым, как не взбитая после ночи подушка, помахал перед моим носом пистолетиной:

— Вот вам, гражданин, и мандат!

— Может быть, от меня требуется не удостоверение личности, а пальто?

— Слава тебе Господи... догадался.

И, слегка помогая разоблачаться, парень с помятой физиономией стал сзади меня, как швейцар в хорошей гостинице.

Я пробовал шутить. Но было не очень весело. Пальто только что сшил. Хороший фасон и добротный английский драп.

Помятая физиономия смотрела на меня меланхолически.

И когда с полной безнадежностью я уже вылезал из рукавов, на выручку мне пришла та самая, не имеющая пределов любовь россиян к искусству.

Один из теплой компании, пристально взглядевшись в мое лицо, спросил:

— А как, гражданин, будет ваша фамилия?

— Мариенгоф...

— Анатолий Мариенгоф?..

Приятно пораженный обширностью своей славы, я повторил с гордостью:

— Анатолий Мариенгоф!

— Автор «Магдалины»?

В этот счастливый и волшебнейший момент моей жизни я не только готов был отдать им деллосовское пальто, но и добровольно приложить брюки, лаковые ботинки, шелковые носки и носовой платок.

Пусть дождь! Пусть не совсем принято возвращаться домой в подштанниках! Пусть нарушено равновесие нашего бюджета! пусть! тысяча раз пусть! — но зато какая сложная, лакомая и обильная жратва для честолюбия — этого прожорливого Фальстафа, которого мы носим в своей душе!

Должен ли я говорить, что ночные знакомцы не тронули моего пальто, что главарь, обнаруживший во мне Мариенгофа, рассыпался в извинениях, что они любезно проводили меня до дому, что, прощаясь, я крепко жал им руки и приглашал в «Стойло Пегаса» послушать мои новые вещи.

А спустя два дня — еще одно подтверждение тонкости расейских натур.

Есенин зашел к сапожнику. Надо было положить новые подметки.

Сапожник сказал божескую цену. Есенин не торгуясь оставляет адрес, куда доставить: «Богословский, 3, 46 — Есенину».

Сапожник всплескивает руками:

— Есенину!

И в восторженном порыве сбавляет цену наполовину.

А вот из истории: правда, ситуация несколько иная, но тоже весьма примечательная.

1917 год. В Гатчине генерал Краснов, командующий войсками Керенского, заключает бесславное для себя соглашение с большевистскими отрядами.

Входят адъютант Керенского и Лев Давидович Троцкий. Вслед за ними казачонок с винтовкой, казачонок уцепился за рукав Троцкого и не выпускает его.

Троцкий обращается к Краснову:

— Генерал, прикажите казаку отстать от нас.

Краснов делает вид, что не знает Троцкого в лицо:

— А вы кто такой?

— Я — Троцкий.

Казачонок вытягивается перед Красновым:

— Ваше превосходительство, я поставлен стеречь господина офицера (адъютанта Керенского), вдруг приходит этот еврейчик и говорит: «Я — Троцкий, идите за мной». Я часовой. Я за ними. Я его не отпущу без разводящего.

— Ах, как глупо! — бросает Троцкий и уходит, хлопнув дверью.

А ведь генерал Краснов обращается к столпившимся офицерам с фразой, достойной бессмертия. Он говорит:

— Какая великолепная сцена для моего будущего романа!

Россияне! Россияне!

Тут безвозвратный закат генеральского солнца. Поражение под Петербургом. Судьбы России. А он, командующий арми-

ей (правда, в две роты и девять казачьих сонет, но все же решающей — быть или не быть), толкует о сцене для романа. А? Как вам это понравится?

15

В те дни человек оказался крепче лошади.

Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Человек находил силу донести себя до конюшни, и, если ничего не оставалось больше, как протянуть ноги, он делал это за каменной стеной и под железной крышей.

Мы с Есениным шли по Мясницкой.

Число лошадиных трупов, сосчитанных ошалевшим глазом, раза в три превышало число кварталов от нашего Богословского до Красных ворот.

Против почтамта лежали две раздувшиеся туши. Черная туша без хвоста и белая с оскаленными зубами.

На белой сидели две вороны и доклеывали глазной студень в пустых орбитах. Курносый «ирисник», в коричневом котелке на белобрисой головенке, швырнул в них камнем. Вороны отмахнулись черным крылом и отругнулись карканьем.

Вторую тушу глодала собака. Протрусивший мимо извозчик вытянул ее кнутом. Из дыры, над которой некогда был хвост, собака вытащила длинную и узкую, как отточенный карандаш, морду. Глаза у нее были недовольные, а белая морда окровавлена до ушей.словно в красной полумаске. Собака стала вкусно облизываться.

Всю обратную дорогу мы прошли молча. Падал снег.

Войдя в свою комнату, не отряхнув, бросили шубы на стулья. В комнате было ниже нуля. Снег на шубах не таял.

Рыжеволосая девушка принесла нам маленькую электрическую грелку. Девушка любила стихи и кого-то из нас.

В неустанном беге за славой и за тормозливостью дней мы так и не удосужились узнать кого. Вспоминая об этом после, оба жалели: у девушки были большие голубые глаза.

Грелка немало принесла радости.

Когда садились за стихи, запирали комнату, дважды повернув ключ в замке, и с видом преступников ставили на стол грелку. Радовались, что в чернильнице у нас не замерзали чернила и писать можно было без перчаток.

Часа в два ночи за грелкой приходил Арсений Авраамов. Он доканчивал книгу «Воплощение» (о нас), а у него в доме Нирнзее, в комнате тоже мерзли чернила и тоже не таял на калошах снег. К тому же у Арсения не было перчаток. Он говорил, что пальцы без грелки становились вроде сосулек; попробуй согнуть, и ломаются.

Электрическими грелками строго-настрого было запрещено пользоваться, и мы совершали преступление против революции.

Все это я рассказал для того, чтобы вы внимательнее перечли есенинские «Кобыльи корабли» — замечательную поэму о «рваных животах кобыл с черными парусами воронов»; о «солнце, стынувшем, как лужа, которую напрудил мерин»; о «скачущей по полям стуже» и о «собаках, сосущих голодным ртом край зари».

Много с тех пор утекло воды. В бахрушинском доме работает центральное отопление; в доме Нирнзее газовые плиты и ванны, нагревающиеся в несколько минут, а Есенин на другой день после смерти догнал славу.

В академическом издании третья главка «Кобыльих кораблей» заканчивается строками:

Злой октябрь осыпает перстни
С коричневых рук берез.

Первоначально было:

Славься тот, кто оденет перстень
Обручальный овце на хвост.

Так еще печатали в «Харчевне зорь».

Есенин очень боялся «зыбкости» в построении фразы. Слово «обручальный» размер загнал не в ту строку. Оно «плавало», темня смысл и требуя переделки.

Перемытарствовав немалую толику часов в приемной Московского Совета, наконец получили мы от Льва Борисовича Каменева разрешение на книжную лавку.

Две писательские лавки уже существовали. В Леонтьевском переулке торговали Осоргин, Борис Зайцев, поэт Владислав Ходасевич, профессор Бердяев и еще кто-то из старого Союза писателей.

Фирма была солидная, хозяева в шевелюрах и с собственным местом на полочке истории российской изящной словесности.

Провинциальные интеллигенты с чеховскими бородками выходили из лавчонки со слезой умиления — точь-в-точь как стародревние салопницы от чудотворной Иверской.

В Камергерском переулке за прилавком стояли Шершеневич и Кусиков.

Шершеневич все делает профессионально: стихи, театр, фельетоны; профессионально играет в теннис, в покер, влюбляется, острит, управляет канцелярией и — говорит (но как-как говорит!).

Торговал он тоже профессионально. Посетителей своего магазина делил на «покупателей» и «покопателей».

А вот содержатель буфета в «Стойле Пегаса» Анатолий Дмитриевич Силин разбивал без всякой иронии посетителей кафе на «несерьезных» и «серьезных». Относя к «несерьезным» всю пишущую, изображающую и представляющую братию (словом, «пустых» на языке шпаны), а к «серьезным» — сухаревцев, охотнорядцев, смоленскорынцев, отъявленных казнокрадов и неприщученных налетчиков с их веселыми подругами.

Получив от Каменева разрешение на магазин, стали мы с Есениным рыскать по городу в поисках за помещением и за компаньонами.

В кармане у нас была вошь на аркане. Для открытия книжной лавки, кроме нее, требовался еще такой пустяк, как деньги и книги.

Помещение на Никитской взяли с бою.

У нас был ордер. У одного старикашки из консерватории (помещение в консерваторском доме) — ключи.

В совдепартаменте нас предупредили:

— Раздобудете ключи — магазин ваш, не раздобудете — судом для вас отбирать не будем. А старикашка, имейте в виду, злостный и с каким-то мандатом от Анатолия Васильевича Луначарского.

Принялись дежурить злосчастного старикашку у дверей ма-

газина. На четвертые сутки, тряся седенькими космами, вставил он ключ в замок.

Тычет меня Есенин в бок:

— Заговаривай со старикашкой.

— Заговаривать?.. — И глаза у меня полезли на лоб: — Боюсь вихрастых!.. Да и о чем я с ним буду заговаривать?

— Хоть о грыже у кобеля, растяпа!

Второй толчок был убедительнее первого, и я не замедлил снять шляпу:

— Извините меня, сделайте милость... но, видите ли... обязали бы очень, если бы... о Шуберте или, допустим, о Шопене сообразовали в двух-трех словах...

— Что-с?

— Извольте понять, еще интересуюсь давно контрапунктом и...

Есенин одобрительно кивал головой.

— И... бе-молями.

Бухнул.

Ключ в замке торчал только то короткое мгновение, в которое космочки сочувственно протянули мне свою руку.

— Готово! — буркнул Есенин.

Злостный старикашка пронзительно завизжал и ухватил его за полу шубы, в кармане которой уже покоился ключ.

Есенин сурово отвел его руку и, вытащив из бумажника ордер, ткнул ему в нос фиолетовую печать.

В тот день спустили мы на воду угловое суденышко нашего благополучия.

За компаньонами дело не стало.

17

В самую суету со спуском «углого суденышка» нагрянули к нам на Богословский гости.

Из Орла приехала жена Есенина — Зинаида Николаевна Райх. Привезла она с собой дочку: надо же было показать отцу.

Танюшке тогда года еще не минуло.

А из Пензы появился наш закадычный друг Михаил Молабух.

Зинаида Николаевна, Танюшка, няня ее, Молабух и нас двое — шесть душ в четырех стенах!

А вдобавок — Танюшка, как в старых писали книжках, «живая была живулечка, не сходила с живого стулечка»: с няниных колен — к Зинаиде Николаевне, от нее — к Молабуху, от того — ко мне. Только отцовского «живого стулечка» ни в какую она не признавала. И на хитрость пускались, и на лесть, и на подкуп, и на строгость — все попусту.

Есенин не на шутку сердился и не в шутку считал все это «кознями Райх».

А у Зинаиды Николаевны и без того стояла в горле слеза от обиды на Таньку, не восчувствовавшую отца.

И рядом примостилось смешное. Не успели еще вытащить из мешка мясных и мучных благ, как Молабух спросил:

— А знаете ли, ребята, почему в Пензе соль?

— Почему?

— Семь тысяч.

— Неужто?!

— Вам говорю.

Часа через два пошли обедать. В Газетном переулке у Надежды Робертовны Адельгейм имелся магазинчик старинных вещей. В первой комнате стояла шифоньерка красного дерева и пыльная витрина. Под тусклым стеклом на вытертом бархате: табакерка, две-три камеи и фарфоровые чашки семидесятих годов (которая треснута, которая с отбитой ручкой, которая без блюдца). А во второй, задней комнате очаровательная Надежда Робертовна кормила нас обедами.

За кофе Молабух опять спросил:

— А знаете ли, почему в Пензе соль?

— Почему?

— Девять тысяч.

— Ого!

— Вот тебе и «ого».

Вечером Танюшкина няня соорудила нам самовар. Ставила самовар забором. Теперь — дело прошлое — могу признаться: во дворе нашего дома здоровеннейшие тополя без всякого резона были обнесены изгородью. Мы с Есениным, лежа как-то в кровати и свернувшись от холода в клубок, решили:

— Нечего изгороди стоять без толку вокруг тополей! Не такое нынче время.

И начали самовар ставить забором. Если бы не помогли соседи, хватило бы нам его на всю революцию.

В вечер, о котором повествую, мы пиршествовали пензенской телятиной, московскими эклерами, орловским сахаром и белым хлебом.

Посолив телятину, Молабух раздумчиво задал нам тот же вопрос:

— А вот почему, смекаете, соль в Пензе?

— Ну, а почему?

— Одинадцать тысяч.

Есенин посмотрел на него смеющимися глазами и как ни в чем не бывало обронил:

— Н-да... за один только сегодняшний день на четыре тысячи подорожала.

И мы залились весельем.

У Молабуха тревожно полезли вверх скулы:

— Как так?

— Очень просто: утром семь, за кофе у Адельгейм — девять, а сейчас к одиннадцати подскочила.

И залились заново...

С тех пор стали мы прозывать Молабуха — Почем-Соль.

Парень он был чудесный, только рассеянности невозможной и памяти скоротечной. Рассказывая об автомобиле, бывшем в его распоряжении на германском фронте, всякий раз называл новую марку и другое имя шофера. За обедом вместо водки по ошибке наливал в рюмку воду из стоящего рядом графина. Залихватски опрокинув рюмку, крякал и с причмоком закусывал селедкой.

Скажешь ему:

— Мишук, чего крякаешь?

— Что?

— Чего, спрашиваю, крякаешь?

— Хороша-а!

— То-то хороша-а... отварная небось... водичка-то.

Тогда он невообразимо серчал, подолгу отплеывался и с горя вконец напивался до белых риз.

А раз в вагоне — ехали мы из Севастополя в Симферополь — вместо вина выпил полный стакан красных чернил. На последнем глотке расчухал. Напугался до того, что, переодевшись в чистые исподники и рубаху, в благостном сосредоточении лег на койку отдавать Богу душу. Души не отдал, а животом промучился.

Нежно обняв за плечи и купая свой голубой глаз в моих зрачках, Есенин спросил:

— Любишь ли ты меня, Анатолий? Друг ты мне взаправдашний или не друг?

— Чего болтаешь!

— А вот чего... не могу я с Зинаидой жить... Вот тебе слово, не могу... Говорил ей — понимать не хочет... Не уйдет, и всё... ни за что не уйдет... Вбила себе в голову: «Любишь ты меня, Сергун, это знаю и другого знать не хочу...» Скажи ты ей, Толя (уж так прошу, как просить больше нельзя!), что есть у меня *другая* женщина.

— Что ты, Сережа... Как можно!

— Друг ты мне или не друг?.. Вот... А из петли меня вынуть не хочешь... Петля мне ее любовь... Толюк, милый, я похожу... пойду по бульварам к Москве-реке... а ты скажи, она непременно спросит, — что я у женщины... С весны, мол, путаюсь и влюблен накрепко... Дай я тебя поцелую...

Зинаида Николаевна на другой день уехала в Орел.

В Риме, во дворце Поли, княгиня Зинаида Волконская устроила для русской колонии литературный вечер. Гоголь по рукописи читал «Ревизора». Народу было много. Но, к ужасу Волконской, после первого действия половина публики покинула зал. Гоголь прочел второй акт — и в зале стало еще просторнее. Та же история повторилась и с третьим. Автор мемуаров заключает, что «только обворожающей убедительности княгини удалось задержать небольшой круг самых близких и сплотить их вокруг угрюмого чтеца».

Человеческая тупость бессмертна.

Явились к нам в книжную лавку два студента: шапки из собачьего меха, а из-под шуб синие воротники. Гляжу на носы: юридические. Так и есть: в обращении непринужденность и в словах препротивнейшая легкость.

— Желательно бы повидать поэтов Есенина и Мариенгофа.

У меня сыздетства беспричинная ненависть к студенческой фуражке: «Gaudeamus» ввергало в бешенство. В старших клас-

сах гимназии, считая наших студентов тупее армейского штабс-капитана, мечтал высшее получить за границей.

И разве не справедливо течение судеб русского студенчества, заполнявшего в годы войны школы прапорщиков и юнкерские училища и ставшего доподлинными *юнкерами* и *прапорщиками*. В дни Керенского на полях Галиции они подставляли собственный лоб под немецкую пулю ради воодушевления не желающих воевать солдат. (Я нежно люблю анекдот про еврея, который, попав на позиции, спросил первым словом: «А где здесь плен?»)

В октябре за стенами военных училищ они отстреливались до последнего патрона и последней пулеметной ленты. А в решительный час пошли в «Ледяной поход», сменив при Корнилове текинцев, с которыми тот бежал из Быховской тюрьмы. В пути к станицам генералу приходилось уговаривать своих казаков следующим образом: «Расстреляйте сначала меня, а потом сдавайтесь большевикам. Я предпочту быть расстрелянным вами». А студентов и уговаривать не пришлось.

Синие воротники рылись в имажинистских изданиях, а мы с Есениным шептались в углу.

— К ним?.. В клуб?.. Выступать?.. Ну их к чертям! Не пойду, Сережа.

— Брось, Анатолий, пойдем... неловко... А потом все-таки приятно — студенты.

На Бронной во втором этаже длинный узкий зал с желтыми окнами и низким потолком. Человек к человеку, как книга к книге на полке, когда соображаешь: либо втиснешь еще одну, либо не втиснешь. Воротников синих! Воротников!..

И как это на третий год революции локотков они на тужурках своих не протерли?

На эстраду вышел Есенин. Улыбнулся, сузил веки и, по своей всегдашней манере, выставил вперед завораживающую руку. Она жила у него одной жизнью со стихом, как некий ритмический маятник с жизнью часового механизма.

Начал:

Дождик мокрыми метлами чистит...

Что-то хихикнуло в конце зала.

Ивняковый помет по лугам...

Перефыркнулось от стены к стене и вновь хихикнуло в глубине.

Плюйся, ветер, охапками листьев...

Как серебряные пяточки, пересыпались смешки по первым рядам и тяжелыми целковыми упали в последних.

Кто-то свистнул.

Я люблю, когда синие чаши,
Как с тяжелой походкой воле,
Животами, листвою хрипящими,
По коленкам марают...

Слово «стволы» произнести уже не удалось. Весь этот ящик, набитый синими воротниками и золотыми пуговицами, орал, вопил, свистел и грохотал ногами об пол.

Есенин по-детски улыбнулся. Недоумевающе обвел вокруг распавшимися веками. Несколько секунд постоял молча и, переступив с ноги на ногу, стал отходить за рояль.

Я впервые видел Есенина растерявшимся на эстраде. Видимо, уж очень неожидан был для него такой прием у студентов.

У нас были боевые крещения. На свист Политехнического зала он вкладывал два пальца в рот и отвечал таким пронзительным свистом, от которого смолкала тысячеголовая беснующаяся орава.

Есенин обернул ко мне белое лицо:

— Толя, что это?

— Ничего, Сережа. Студенты.

А когда вышли на Бронную, к нам подбежала девушка. По ее пухлым щекам и по розовенькой вздернутой пуговичке, что сидела чуть ниже бровей, текли в три ручья слезы. Красные губошлепочки всхлипывали:

— Я там была... Я... я... видела... Товарищ Есенин... товарищ Мариенгоф... вы... вы... вы...

Девушке казалось, что прямо с Бронной мы отправимся к Москве-реке искать удобную прорубь.

Есенин взял ее за руки:

— Хорошая, расчудесная девушка, мы идем в кафе... Слышите, в кафе... Тверская, 18... Пить кофе и кушать эклеры.

— Правда?

- Правда.
- Честное слово?
- Честное слово...

Эту девушку я увидел на литературной панихиде по Сергею Есенину. Встретившись с ней глазами, припомнил трогательное наше знакомство и рассказал о нем чужому, холодному залу.

Знаешь ли ты, расчудесная девушка, что Есенин ласково прозвал тебя «мордovorотиком», что любили мы тебя и помнили во все годы?

20

— Пропадает малый... Смотреть не могу — пла-а-а-а-кать хочется. Ведь люблю ж я его, стервеца... Понимаешь ты, всеми печенками своими люблю.

— Да кто пропадает, Сережа? О чем говоришь?

— О Мишуре тебе говорю. Почему-Соль наша пропадает... Пла-а-а-а-кать хочется...

Есенин стал пространно рассуждать о гибели нашего друга. И вправду без толку текла его жизнь. Волновался не своим волнением, радовался не своей радостью.

— Дрыхнет, сукин кот, до двенадцати... прохлаждается, пока мы тут стих точим... гонит за нами без чутья, как барбос за лисой: по типографиям, в лавку книжную за чужой славой... Ведь на же тебе — на Страстном монастыре тоже намалявал: Михаил Молабух...

Это когда мы своими богоборческими стихами расписали толстые монастырские стены.

Есенин сокрушенно вздохнул:

— И ни в какую — разэнтакий — служить не хочет. Звезды своей не понимает. Спрашиваю я его вчера: «Ведь ездил же ты, Почему-Соль, в отдельном своем вагоне на мягкой рессоре — значит, может тебе Советская Россия идти на пользу?» А он мне ни бе ни ме... Пла-а-а-а-кать хочется.

И, чтобы спасти Почему-Соль, Есенин предложил выделить его из нашего кармана.

Суровая была мера.

Больше всего в жизни любил Почему-Соль хорошее общество и хорошо покушать. То и другое — во всей Москве —

мог обрести он лишь за круглым столом очаровательнейшей Надежды Робертовны Адельгейм.

Как-то, с карандашом в руках прикинув скромную цену обеда, мы с Есениным порядком распечалились — вышло, что за один присест каждый из нас отправлял в свой желудок по 250 экземпляров брошюрки стихов в 48 страниц. Даже для взрослого слона это было бы не чересчур мало.

Часть, выделенная на обед Почем-Соли, равнялась 100 экземплярам. Приятное общество Надежды Робертовны было для него безвозвратно потеряно.

В пять, отправляясь обедать, добежали мы вместе до угла Газетного. Тут пути расходились. Каждый раз прощание было трагическим. У нашего друга, словно костяные мячики, прыгали скулы. Глядя с отчаянием на есенинскую калошу, он чуть слышно молил:

— Добавь, Сережа! Уж вот как хочется вместе... Последний раз — свиную котлетку у Надежды Робертовны...

— Нет!

— Нет?..

— Нет!

Вслед за желтыми мячиками скул у Почем-Соли начинала прыгать верхняя губа и зрачки — черные мячики. Ах, Почем-Соль!

Во время отступления из-под Риги со своим баннным отрядом Земского союза он поспал ночь на мокрой земле под навесом телеги. С тех пор прыгают в лице эти мячики, путаются в голове имена шоферов, марки автомобилей, а в непогоду и ростепель ноют кости.

Милый Почем-Соль, давай же ненавидеть войну и обожать персонаж из анекдота. Ты знаешь, о чем я говорю. Мы же вместе с тобой задыхались от хохота.

Некий провизор крутил в аптеке пилюли и продавал клистиры. Война. Привезли его под Двинск и посадили в окоп. Сидит несолоно хлебавши. Бац! — разрыв. Бац! — другой. Бац! — третий. В воронке: мясо, камень, кость, тряпки, кровь и свинец. Вскрикивает провизор и, размахивая руками, орет немцам: «Сумасшедшие, что вы делаете?! Здесь же люди сидят».

Но тебе, милый Почем-Соль, не до анекдотов. Тебе хочется плакать, а не смеяться.

Мы, «хамы», идем к Надежде Робертовне есть отбивные на

косточке, а тебя («Тоже друзья!») посылаем из жадности («Объешь нас») глотать в подвальчике всякую пакость («У самих небось животы болели от той дряни»).

Почем-Соль говорит почти беззвучно — одними губами, глазами и сердцем:

— Ну, Сережа, последний раз...

У Есенина расплеснулись руки:

— Н-н-н-е-т!

Тогда зеленая в бекеше спина Почем-Соли ныряла в ворота и быстро-быстро бежала к подвальчику, в котором рыжий с нимбом повар разводил фантазмагорию.

А мы сворачивали за угол.

— Пусть его... пусть... — И Есенин чесал затылок. — Пропадает ведь парень... пла-а-а-кать хочется.

За круглым столом очаровательная Надежда Робертовна, как обычно, вела весьма тонкий для «хозяйки гостиницы» разговор об искусстве, угощала необыкновенными слоеными пирожками и такими свиными отбивными, от которых Почем-Соль чувствовал бы себя счастливейшим из смертных.

Я вернул свою тарелку Надежде Робертовне.

Она удивилась:

— Анатолий Борисович, вы больны?

Половина котлеты осталась нетронутой. Прошу помнить, что дело происходило в 1919 году.

— Нет... ничего...

Жорж Якулов даже оборвал тираду о своих «Скачках» и, вскинув на меня пушистые ресницы, сочувственно перевел глаз (похожий на косточку от чернослива) с моей тарелки на мой нос:

— Тебе... гхе, гхе... Анатолий, надо — либо... гхе, гхе... в постель лечь... либо водки выпить.

Есенин потрепал его по плечу:

— Съедем, Жорж, по второй?

— Можно, Сережа, гхе, гхе... можно. Вот я и говорю... когда они, сопляки, еще цветочки в вазочках рисовали, Серов, простояв час перед моими «Скачками», гхе, гхе, заявил...

— Я знаю, Жорж.

— Ну, так вот, милый мой, — я уж тебе раз пятьдесят... гхе, гхе... говорил и еще сто скажу... милый мой... гхе, гхе... что все эти французы... Пикассо ваш, Матисс... и режиссеры

там разные... гхе... гхе... Таиров — с площадочками своими... гхе, гхе... «Саломей» всякие... гхе, гхе... и гениальнейший Мейерхольд, милый мой, все это мои «Скачки»... «Скачки», да-с! Весь «Бубновый валет», милый мой...

У меня защемило сердце.

Ах, Почем-Соль! В эту трагическую минуту, когда голова твоя, как факел, пылает гневом на нас; когда весь мир для тебя окрашен в черный цвет вероломства, себялюбия и скаредности; когда померкло в твоих глазах сияние прекрасного слова «дружба», обратившегося в сальный огарок, чадящий изменами и хладнодушием, — в эту минуту тот, которого ты называл своим другом, уплетает вторую свиную котлету и ведет столь необыкновенные, столь неожиданные и столь «зернистые» (как любила говорить одна моя приятельница) разговоры о прекрасном!..

Прошло дней десять. Мы с Есениным, провожая Почем-Соль, стояли на платформе Казанского вокзала, серой — мешочниками и грустью. Наш друг уезжает в Туркестан, в отдельном вагоне на мягкой рессоре, в сопровождении пома с наганом в желтой кобуре и секретаря в шишаке с красной звездой величиной с ладонь Ивана Поддубного.

Обняв Молабуха, я говорю:

— Дурында, благодари Сергуна за то, что на рельсу тебя поставил.

Они целуются долго и смачно, сдабривая поцелуй теплым матерным словом и криком, каким только крикают мясники, опуская топор в кровавую бычью тушу.

21

Тайна электрической грелки была раскрыта. Мы с Есениным несколько дней ходили подавленные. Часами обсуждали — какие кары обрушит революционная законность на наши головы. По ночам снилась Лубянка, следовательно с ястребиными глазами, черная железная решетка. Когда комендант дома амнистировал наше преступление, мы устроили пиршество. Знакомые пожимали нам руки, возлюбленные плакали от радости, друзья обнимали, поздравляя с неожиданным исходом. Чай мы пили из самовара, вскипевшего на Николаеве: не было у нас угля, не было лучины — пришлось

нащипать старую икону, что смирнехонько висела в углу комнаты. Только Почем-Соль отказался пить божественный чай. Отодвинув соблазнительно дымящийся стакан, сидел хмурый, сердито пояснив, что дедушка у него был верующий, что дедушку он очень почитает и что за такой чай годика три тому назад погнали б нас по Владимирке.

Есенин в шутливом серьезе продолжил:

Не меня ль по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шею
Полюбить тоску...

А зима свирепела с каждой неделей.

После неудачи с электрической грелкой мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба, и превосходным книжным шкафом с полными собраниями сочинений Карпа Карповича, и завидным простором нашего ледяного кабинета ради махонькой ванной комнаты.

Ванну мы закрыли матрасом — ложе; умывальник досками — письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами.

Тепло от колонки вдохновляло на лирику.

Через несколько дней после переселения в ванную Есенин прочел мне:

Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь.

Действительно: приходилось зубами и тяжелым замком отстаивать открытую нами «ванну обетованную». Вся квартира, с завистью глядя на наше теплое беспечное существование, устраивала собрания и выносила резолюции, требующие: установления очереди на житье под благосклонной эгидой колонки и на немедленное выселение нас, захвативших без соответствующего ордера общественную площадь.

Мы были неумолимы и твердокаменны.

После Нового года у меня завелась подруга. Есенин супил брови, когда исчезал я под вечер. Приходил Кусиков и под-

ливал масла в огонь, намекая на измену в привязанности и дружбе, уверяя, что начинается так всегда — со склонности легкой, а кончается... И напевал приятным своим маленьким и будто сердечным голосом:

Обидно, досадно,
До слез, до мученья...

Есенин хорошо знал Кусикова, знал, что он вроде того чеховского мужика, который, встретив крестьянина, везущего бревно, говорил тому: «А ведь бревно-то из сухостоя, трухлявое»; рыбаку, сидящему с удочкой: «В такую погоду не будет клевать»; мужиков в засуху уверял, что «дождей не будет до самых морозов», а когда шли дожди, что «теперь все погниет в поле».

И все-таки Есенина нервило и дергало кусиковское «обидно, досадно».

Как-то я не ночевал дома. Вернулся в свою «ванну обетованную» часов в десять утра. Есенин спал. На умывальнике стояла пустая бутылка и стакан. Я понюхал — ударило в нос сивухой.

Растолкал Есенина. Он поднял на меня тяжелые красные веки.

— Что это, Сережа?.. Один водку пил?

— Да. Пил. И каждый день буду... ежели по ночам шляться станешь... С кем хочешь там хороводься, а чтобы ночевать дома.

Это было его правило: на легкую любовь он был падок, но хот в четыре или в пять утра, а являлся спать домой.

Мы смеялись:

— Бежит Вятка в свое стойло.

Основное в Есенине: страх одиночества.

А последние дни в «Англетере»? Он бежал из своего номера, сидел один до жидкого зимнего рассвета в вестибюле, потом стучал в дверь устиновской комнаты, умоляя впустить его.

22

«Ванны обетованной» мы все-таки не отстояли. Пришлось отступить в ледяные просторы нашей комнаты.

Стали спать с Есениным вдвоем на одной кровати. Навали-

вали на себя гору одеял и шуб. По четным дням я, а по нечетным Есенин первым корчился на ледяной простыне, согревая ее теплотой тела.

Одна поэтесса просила Есенина помочь устроиться ей на службу. У нее были розовые щеки, круглые бедра и пышные плечи.

Есенин предложил поэтессе жалованье советской машинистки с тем, чтобы она приходила к нам в час ночи, раздевалась, ложилась под одеяло и, согрев постель («пятнадцатиминутная работа!»), вылезала из нее, облекалась в свои одежды и уходила домой.

Дал слово, что во время всей церемонии мы будем сидеть к ней спинами, уткнувшись носами в рукописи.

Три дня мы ложились в теплую постель.

На четвертый день поэтесса ушла от нас, заявив, что она не намерена дольше продолжать своей службы. Когда она говорила, голос ее захлебывался от возмущения, а гнев расширил зрачки. Глаза из небесно-голубых стали черными, как пуговицы на наших лаковых ботинках.

— В чем дело?.. Мы свято блюдем условия.

— Именно!.. Но я не нанималась греть простыни у святых.

— А!..

Но было уже поздно: перед моим лбом так бабахнула входная дверь, что все шесть винтов английского замка вылезли из своих нор.

23

В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа Политехнического музея, Колонного зала, литературных кафе и клубов.

Еще до эпатажа имажинистов, во времена «Инонии» и «Преображения» печать бросила в него этим словом, потом прицепилась к нему, как к кличке, и стала повторять и вдальливать с удивительной методичностью.

Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя «хулиганом» в поэзии и в жизни.

Я помню критическую заметку, послужившую толчком для написания стихотворения «Дождик мокрыми метлами чи-

стит», в котором он впервые в стихотворной форме воскликнул:

Плюйся, ветер, охапками листьев, —
Я такой же, как ты, хулиган.

Есенин читал эту вещь с огромным успехом. Когда выходил на эстраду, толпа орала:

— «Хулигана»!

Тогда совершенно трезво и холодно он решил, что это его дорога, его «рубашка».

Есенин вязал в один веник свои поэтические прутья и прутья быта.

Он говорил:

— Такая метла здоровше.

И расчищал ею путь к славе.

Я не знаю, что чаще Есенин претворял: жизнь в стихи или стихи в жизнь.

Маска для него становилась лицом и лицо маской.

Вскоре появилась поэма «Исповедь хулигана», за нею книга того же названия, потом — «Москва кабацкая», «Любовь хулигана» и т. д., и т. д. во всевозможных вариациях и на бесчисленное число ладов.

Так Петр сделал Иисуса — Христом.

В окрестностях Кесарии Филипповой Иисус спросил учеников:

— За кого почитают меня люди?

Они заговорили о слухах, распространившихся в галилейской стране: одни считали его воскресшим Иоанном Крестителем, другие — Илией, третьи — Иеремией или иным из воскресших пророков.

Иисус задал ученикам вопрос:

— А вы за кого меня почитаете?

Петр ответил:

— Ты Христос.

И Иисус впервые не отверг этого наименования.

Убежденность простодушных учеников, на которых не раз сетовал Иисус за малую просвещенность, утвердила Иисуса в решении пронести себя как Христа.

Когда Есенин как-то грубо, в сердцах оттолкнул прижавшуюся к нему Изадору Дункан, она восторженно воскликнула:

— Ruska ljubov!

Есенин, хитро пожевав бровями свои серые глазные яблоки, сразу хорошо понял — в чем была для Дункан лакомость его чувства.

Невероятнейшая чепуха, что искусство облагораживает душу.

Сыно- и женоубийца Ирод — правитель Иудеи и ученик по эллинской литературе Николая Дамасского — одна из самых жестокосердых фигур, которые только знает человечество. Однако архитектурные памятники Библоса, Баритоса, Триполиса, Птолемаиды, Дамаска и даже Афин и Спарты служили свидетелями его любви к красоте. Он украшал языческие храмы скульптурой. Выстроенные при Ироде Аскалонские фонтаны, бани и Антиохийские портики, шедшие вдоль всей главной улицы, приводили в восхищение. Ему обязан Иерусалим театром и гипподромом. Он вызвал неудовольствие Рима тем, что сделал Иудею спутником императорского солнца.

Ни в одних есенинских стихах не было столько лирического тепла, грусти и боли, как в тех, которые он писал в последние годы, годы сердечного распада и ожесточенности.

Как-то, не дочитав стихотворения, он схватил со стола тяжелую пивную кружку и опустил ее на голову Ивана Приблудного — своего верного Лепорелло. Повод был настолько мал, что даже не остался в памяти. Обливающегося кровью Приблудного увезли в больницу.

У кого-то вырвалось:

— А вдруг умрет?

Не поморщив носа, Есенин сказал:

— Меньше будет одной собакой!

24

Собственно говоря, зазря выдавали нам *дивиденд* наши компаньоны по книжной лавке.

Давид Самойлович Айзенштат — голова, сердце и золотые руки «предприятия» — рассерженно обращался к Есенину:

— Уж лучше, Сергей Александрович, совсем не заниматься с покупателем, чем так заниматься, как вы или Анатолий Борисович.

— Простите, Давид Самойлович, — душа взбурлила.

А дело заключалось в следующем: зайдет в лавку человек и спросит:

— Есть у вас Маяковского «Облако в штанах»?

Тогда отходил Есенин шага на два назад; узил в щелочки глаза и презрительно обмерял ими, как аршином, покупателя:

— А не прикажете ли, милостивый государь, отпустить вам Надсона?.. Роскошное имеется у нас издание в парчовом переплете и с золотым обрезом.

Покупатель обижался:

— Почему ж, товарищ, Надсона?

— А потому, что я так соображаю: одна дрянь!.. От замены того этим ни прибыли, ни убытку в достоинствах поэтических... переплетец же у господина Надсона несравненно лучше.

Налившись румянцем, как анисовое яблоко, выкатывался покупатель из лавки.

Удовлетворенный Есенин, повернувшись носом к книжным полкам, вытаскивал из ряда поапетитнее книгу, нежно постукивал двумя пальцами по корешку и отворачивал последнюю страницу:

— Триста двадцать.

Долго потом шевелил губой, что-то в уме прикидывая, и, расплывшись в улыбку, объявлял со счастливыми глазами:

— Если, значит, всю мою лирику в одну такую собрать, пожалуй что, на триста двадцать потяну.

— Что!

— Ну, на сто шестьдесят.

В цифрах Есенин был на прыжки горазд и легко уступчив. Говоря как-то о своих сердечных победах, махнул:

— А ведь у меня, Анатолий, женщин было тысячи три.

— Вятка, не бреши.

— Ну, триста.

— Ого!

— Ну, тридцать.

— Вот это дело.

Вторым нашим компаньоном по лавке был Александр Мелентьевич Кожебаткин — человек, карандашом нарисованный остро отточенным и своего цвета.

В декадентские годы работал он в издательстве «Мусaget», потом завел собственную «Альциону», коллекционировал поэтов пушкинской поры и, вразрез всем библиофилам

мира, зачастую читал не только заглавный лист книги и любил не одну лишь старенькую виньетку, вековой запах книжной пыли и сентябрьскую желтизну бумаги, но и самого старого автора.

Мелентьич приходил в лавку, вытаскивал из лысого портфеля бутылку красного вина и, оставив Досю (Давида Самойловича) разрываться с покупателями, распивал с нами вино в задней комнате.

После второго стакана цитирует какую-нибудь строку из Пушкина, Дельвига или Баратынского:

— Откуда сие, господа поэты?

Есенин глубокомысленно погружается в догадку:

— Из Кусикова!..

Мелентьич удовлетворен. Остаток вина разлит по стаканам. Он произносит торжественно:

— Мы лени-и-вы и нелюбопы-ы-ытны!

Больше всего в жизни Кожебаткин не любил менять носки. Когда он приходил в лавку мрачным и не спрашивал нас: «Откуда сие, господа поэты?» — мы уже знали, что дома по этому поводу он дал баталию.

Его житейская мудрость была проста:

— Дело не уйдет, а хорошая беседа за бутылкой вина может не повториться.

Еще при существовании лавки стали уходить картины и редкие гравюры со стен квартиры Александра Мелентьевича. Вскоре начали редеть книги на полках.

Случилось, что я не был у него около года. Когда зашел, сердце у меня в груди поджало хвост и заскулило: покойник в доме то же, что пустой книжный шкаф в доме человека, который живет жизнью книги.

Теперь у Кожебаткина дышится легче: описанные судебным исполнителем и проданные с торгов шкафы вынесены из квартиры.

Когда мрачная процессия с гробом короля испанского подходит к каменному Эскуриалу и маршал стучит в ворота, монах спрашивает:

— Кто там?

— Тот, кто был королем Испании, — отвечает голос из похоронного шествия.

Тяжелые ворота открываются перед «говорившим» мертвым телом:

Монах в Эскуриале обязан *верить* собственному голосу короля. Этикет.

Когда Александру Мелентьевичу звонят из типографии с просьбой немедленно приехать и подписать к печати срочное издание, а Жорж Якулов предлагает распить бутылочку, милый романтический «этикет» обязывает Кожебаткина *верить* своей житейской мудрости, что «не уйдет дело», и свернуть в грузинский кабачок.

А назавтра удвоенный типографский счет «за простой машины».

25

В раннюю весну мы перебрались из Богословского в маленькую квартирку Семена Федоровича Быстрова в Георгиевском переулке у Патриарших прудов.

Быстров тоже работал в нашей лавке.

Началось беспечальное житье.

Крохотные комнатухи с низкими потолками, крохотные оконца, крохотная кухонька с огромной русской печью, дешевенькие обои, словно из деревенского ситца, пузатый комод, классики в издании приложения к «Ниве» в цветистых переплетах — какая прелесть!

Будто моя Пенза. Будто есенинская Рязань.

Милый и заботливый Семен Федорович, чтобы жить нам как у Христа за пазухой, раздобыл (ах, шутник!) — горняшку.

Красотке в феврале стукнуло девяносто три года.

— Барышня она, — сообщил нам из осторожности, — предупредить просила.

— Хорошо. Хорошо. Будем, Семен Федорович, к девичьему ее стыду без упрека.

— Вот, вот!

Звали мы барышню нашу «бабушкой-горняшкой», а она нас: одного — «черным», другого — «белым».

Семену Федоровичу на нас жаловалась:

— Опять ноне привел белый...

— Да кого привел, бабушка?

— Тьфу! сказать стыдно.

— Должно, знакомую свою, бабушка.

— Тьфу! Тьфу!.. к одинокому мужчине, бессовестная. Хоть бы меня, барышню, постыдилась.

Или:

— Уважь, батюшка, скажи ты черному, чтобы муку не сыпал.

— Какую муку, бабушка?

Знал, что разговор идет про пудру.

— Смотреть тошно: муку все на нос сыплет. И пол мне весь мукой испакостил. Метешь! Метешь!

Всякий раз, возвращаясь домой, мы с волнением нажимаем пуговку звонка: а вдруг да и некому будет открыть двери — лежит наша бабушка-барышня бездыханным телом.

Глядь: нет, шлепает же кожаной пяткой, кряхтит, ключ поворачивая. И отляжет камешек от сердца до следующего дня.

Как-то здорово нас обчистили: и шубы вынесли, и костюмы, и штiblеты. Нешуточное дело было в те годы выправить себе одежду-обувку.

Лежим в кроватях чернее тучи.

Вдруг бабушкино кряхтенье на пороге.

Смотрит она на нас лицом трагическим:

— А у меня сало-о-оп украли.

А Есенин в голос ей:

— Слышишь, Толька, из сундука приданое бабушкино выкрали.

И, перевернувшись на животы, уткнувшись носами в подушки, стали кататься мы в смехе, непристойнейшем для таких сугубо злокозненных обстоятельств.

Хозяйственность Семена Федоровича, наивность квартирки, тишина Георгиевского переуллка и романтичность нашей домоуправительницы располагали к работе.

Помногу сидели мы за стихами, принялись оба за теорию имажинизма.

Не знаю, куда девалась неоконченная есенинская рукопись. Мой «Буян-Остров» был издан Кожебаткиным к осени.

Работа над теорией завела нас в фантастические дебри филологии.

Доморощенную развели науку — обнажая и обнаруживая диковинные подчас *образные* корни и стволы в слове.

Бывало, только продерешь со сна веки, а Есенин кричит:

— Анатолий, к р ы с а!

Отвечаешь заспанным голосом:

— Грызть.

— А ну: производи от зерна.

— Озеро, зрак.

— А вот тоже хорош образ в корню: рука — ручей — река — речь...

— Крыло — крыльцо...

— Око — окно...

Однажды, хитро поведя бровью, спросил:

— Валяй производи от сора.

И, не дав пораскинуть мозгами, проторжествовал:

— Сортир!..

— Эх, Вятка, да ведь *sortir*-то слово французское.

Очень был обижен на меня за такой оборот дела. Весь вечер дулся.

Казалось нам, что, доказав *образный* рост языка в его младенчестве, сделаем мы нашу теорию неоспоримой навечно.

Поэзия что деревенское одеяло, сшитое из множества пестроцветных лоскутов.

А мы прицепились к одному и знать больше ничего не желали.

Так, один сельский поп прилепился со всем пылом своего разума к йоду. Несокрушимую возымел веру в целительность и всеврачающую его благодать.

Однажды матушка, стирая пыль со шкафчика, сронила большую боржомную бутылку с йодом.

Словно расплавленная медь разлилась по полу.

Батюшка заголосил:

— Ах, Господи Иисусе! ах, Господи Иисусе! несчастье-то какое, Господи Иисусе!

И живым манером, скинув порты и задрав рясу, сел пышными своими ягодицами в лужу йода, приговаривая при этом:

— И чтоб добро такое, Господи Иисусе, не пропадало!

Матушку тоже приглашал:

— Садись и ты, Марфа Петровна, органами благодать впитывать!

Смех смехом, а правота правотой.

Стою на Акуловой горе в Пушкине. На закорках у меня двухгодовалый пострел мой — Кирилка. Смотрим оба на пламенно-красное заходящее солнце.

Кирилл протягивает ручонку в закат и говорит:

— М я я т ь (мяч).

Еще посмотрел и, покачав головенкой, переменял решение:

— С а а л (шар).

И наконец, ухватив меня пребольно за нос, очень, очень уверенный в своей догадке, произнес решительно:

— Н е т ь. Н е т ь... т и с ы (часы).

Каковы образы! Какова наглядность — нам в подтверждение — о словесных формированиях.

26

У Семена Федоровича где-то в Тамбовской губернии были ребятишки. Сообразил он их перевезти в Москву и по этому случаю начал присматривать нам другую комнату.

Сказал, что в том же Георгиевском хотели уплотниться князя В.

Семена Федоровича князь предупредил:

— Жидов и большевиков не пушу.

На другой день отправились на осмотр «тихой пристани».

Князю за шестьдесят, княгине под шестьдесят — оба маленькие, седенькие, чистенькие. И комнатка с ними схожая. Сразу она и мне и Есенину приглянулась. Одно удивило, что всяческих столиков в комнате понаставлено штук пятнадцать: круглые, овальные, ломберные, чайные, черного дерева, красного дерева, из березы карельской, из ореха какого-то особого, с перламутровой инкрустацией, с мозаикой деревянной — одним словом, и не перечислить всех сортов.

Есенин скромненько так спросил:

— Нельзя ли столиков пяточек вынести из комнаты?

Князь и княгиня обиделись. Оба сердито замотали головами и затуркали ножками.

Пришлось согласиться на столики. Стали прощаться. Князь, протянув руку, спрашивает:

— Значит, вы будете жить?

А Есенину послышалось вместо «жить» — «жид».

Говорит испуганно:

— Что вы, князь, я не жид... я не жид!

Князь и княгиня переглянулись. Глаза их метнули недоверчивые огоньки.

Сердито захлопнулась за нами дверь.

Утром, за чаем, Семен Федорович передал князев ответ, гласящий, что «рыжий» (Есенин) беспрерывно жид и большевик, а насчет «высокого» они тоже не вполне уверены — во всяком случае, в дом свой ни за какие деньги не пустят.

Есенин чуть блюдечко от удивления не проглотил.

27

В весеннюю ростепель собрались в Харьков. Всякий столичанин тогда мечтал о белом украинском хлебе, сале, сахаре, о том, чтобы хоть недельку-другую поработало брюхо, как в осень мельница.

Старая моя нянька так говорила о Москве:

— Уж и жизнь! уж и жизнь! В рот не бери и на двор не ходи.

Весь последний месяц Есенин счастливо играл в карты. К поездке поднаобирались деньги.

Сначала садились за стол оба — я проигрывал, он выигрывал.

На заре вытрясем бумажники: один с деньжищами, другой пустой.

Подсчитаем — все так на так.

Есенин сказал:

— Анатолий, сиди дома. Не игра получается, а одно бабство. Только ночи попусту теряем.

Стал ходить один.

Играл свирепо.

Сорвет ли чей банк, удачно ли промечет, никогда своих денег на столе не держит. По всем растычет карманам: и в брючные, и в жилеточные, и в пиджачные.

Если карта переменится — кармана три вывернет, скажет:

— Я пустой.

Придет домой, растолкает меня и станет из остальных уцелевших карманов на одеяло выпотрашивать хрусткие бумажки:

— Вот, смекай, как играть надо!

Накануне отъезда у нас в Георгиевском Шварц читал свое «Евангелие от Иуды».

Шварц — любопытнейший человек. Больших знаний, тон-

кой культуры, своеобразной мысли. Блестящий доцент Московского университета с вдохновенным цинизмом проповедовал апологию мещанства. В герани, канарейке и граммофоне видел счастливую будущность человечества.

Когда вкусовые потребности одних возрастут до понимания необходимости розовенького цветочка на своем подоконнике, а изощренность других опростится до шелканья желтой птички — наступит золотой век.

На эстраде всегда Шварц был увлекателен, едок и остро словен.

Как несправедливо, что маленькая черная фигурка с абсолютно круглой бледной головой и постоянным в глазу моноклем на широком шнуре ушла, не оставив после себя следа.

Походил он на палку черного дерева с шаром из слоновой кости вместо ручки.

Шварц двенадцать лет писал «Евангелие от Иуды».

Впервые его прочесть решил у нас — тогда самых молодых, самых «левых», самых бесцеремонных к литературным богам и божкам.

Объяснил:

— Мне нос важен. Чтобы разнюхали: с тухлятинкой или без тухлятинки. А на сей предмет у этих носы самые подходящие.

На чтение позвали мы Кожебаткина и еще двух-трех наших друзей.

«Евангелие» Шварцу не удалось.

Видимо, он ожидал, что три его печатных листика, на которые положено было двенадцать лет работы, поразят громом «Войны и мира».

Шварц кончил читать и в необычайном волнении выплюнул из глаза монокль.

Есенин дружески положил ему руку на колено:

— А знаете, Шварц, ерунда-а-а!.. Такой вы смелый человек, а перед Иисусом словно институточка с книксочками и приседаньями. Помните, как у апостола сказано: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Вот бы и валяли. Образ-то какой можно было закатить. А то развел патаку... да еще «от Иуды».

И, безнадежно махнув рукой, Есенин нежно заулыбался.

Этой же ночью Шварц застрелился.

Узнали мы о его смерти утром.

В Харьков отходил поезд в четыре. Хотелось бежать из Москвы, заткнув кулаками уши и придушив мозг.

На вокзале нас ждали. В теплушке весело потрескивала железная печка. В соседнем вагоне ехали красноармейцы.

Еще с Москвы стали они горланить песни и балагурить. Один, голубоглазый, с добрыми широкими скулами, ноздрями, расставленными как рогатка, и мягким пухлым ртом, чудесно играл на гармошке.

На какой-то станции я замешкался с кипятком. Поезд тронулся. Насилу вскочил в вагон к красноармейцам.

Не доезжая Тулы, поезд крепко пошел.

Вдали по насыпи бежала большая белая собака, весело виляя хвостом.

Голубоглазый отложил гармонь и, вскинув винтовку, неожиданно выстрелил.

Собака, только что весело вилявшая хвостом, ткнулась носом в землю, мелькнула в воздухе белыми лапами и свалилась с насыпи в ров.

Довольный выстрелом, красноармеец повернул ко мне свое широкоскулое лицо с пухлым ртом, расплзшимся в добродушную улыбку:

— Во как ее...

И еще одна подобная же улыбка, как заноза, застряла у меня в памяти.

Во дворе у нас жил водопроводчик. Жена его умерла от тифа. Остался на руках неудачливый (вроде как бы юродивенький) мальчонка лет пяти.

Водопроводчик все ходил по разным учреждениям, по детским домам пристраивать мальчика.

Я при встречах интересовался:

— Ну как — пристроили Володюху?

— Обещали, Анатолий Борисович, в ближайшем будущем.

В следующий раз сообщал:

— Просили наведаться через недельку.

Или:

— Сказали, чтоб маненько повременил.

И все в том же духе.

Случилось, что встретил я водопроводчика с другим ответом:

— Пристроил, Анатолий Борисович, пристроил моего Володюху.

И с тою же улыбкой — в ласковости своей хорошо мне знакомой — рассказал, каким образом пристроил: взял на Ярославском вокзале билет, сел с Володюхой в поезд, а в Сергиеве, когда мальчонка заснул, тихонько вышел из вагона и сел в поезд, идущий в Москву.

А Володюха поехал дальше.

28

Идем по Харькову — Есенин в меховой куртке, я в пальто тяжелого английского драпа, а по Сумской молодые люди щеголяют в одних пиджаках.

В руках у Есенина записка с адресом Льва Осиповича Повицкого — большого его приятеля.

В восемнадцатом году Повицкий жил в Туле у брата на пивоваренном заводе. Есенин с Сергеем Клычковым гостили у них изрядное время.

Часто потом вспоминали они об этом гощенье, и всегда радостно.

А Повицкому Есенин писал дурашливые письма с такими стихами Крученых:

Утомилась, долго бегая,
Моя вороха пеленок,
Слышит: кто-то, как цыпленок,
Тонко, жалобно пищит:
«Пить, пить».
Прислонивши локоток,
Видит: в небе без порток
Скачет, пляшет мил дружок.

У Повицкого же рассчитывали найти в Харькове кровать и угол.

Спрашиваем у встречных:

— Как пройти?

Чистильщик сапог наяривает кому-то полоской бархата на хромовом носке ботинка сногшибательный глянец.

— Пойду, Анатолий, узнаю у щеголя дорогу.

— Поди.

— Скажите, пожалуйста, товарищ...

Товарищ на голос оборачивается и, оставив чистильщика с повисшей недоуменно в воздухе полоской бархата, бросается с раскрытыми объятиями к Есенину:

— Сережа!

— А мы тебя, разэнтакий, ищем. Познакомьтесь: Мариенгоф — Повицкий.

Повицкий подхватил нас под руки и потащил к своим друзьям, обещая гостеприимство и любовь. Сам он тоже у кого-то уютился.

Миновали улицу, скосили два-три переулка.

— Ну, ты, Лев Осипович, ступай вперед и спроси. Обрадуются — кличь нас, а если не очень, повернем оглобли.

Не прошло и минуты, как навстречу нам выпорхнуло с писком и визгом штук шесть девиц.

Повицкий был доволен:

— Что я говорил? А?

Из огромной столовой вытащили обеденный стол и вместо него двуспальный волосяной матрац поставили на пол.

Было похоже, что знают они нас каждого лет по десять, что давным-давно ожидали приезда, что матрац для того только и припасен, а столовая для этого именно предназначена.

Есть же на свете теплые люди!

От Москвы до Харькова ехали суток восемь — по ночам в очередь топили печь, а когда спали, под кость на бедре подкладывали ладонь, чтобы было помягче.

Девицы стали укладывать нас «почивать» в девятом часу, а мы и для приличия не противились. Словно в подкованный тяжелый солдатский сапог усталость обула веки.

Как уснули на правом боку, так и проснулись на нем в первом часу дня, ни разу за ночь не повернувшись.

Все шесть девиц ходили на цыпочках.

В темный занавес своей горячей ладонью уперлось весеннее солнце.

Есенин лежал ко мне затылком.

Я стал мохрявить его волосы.

— Чего роешься?

— Эх, Вятка, плохо твое дело. На макушке плешинка в серебряный пятачок.

— Что ты?..

И стал ловить серебряный пятачок двумя зеркалами, одно наводя на другое.

Любили мы в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах: выдумывали январский иней в волосах, несуществующие серебряные пяточки, осеннюю прохладу в густой горячей крови.

Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу.

Сердцу, как и языку, приятна нежная горечь.

Прямо в кровати, с маху, почти набело (что случалось редко и было не в тогдашних правилах) написал трогательное лирическое стихотворение.

Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицам:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

В Харькове жил Велимир Хлебников. Решили его проведать. Очень большая квадратная комната. В углу железная кровать без матраца и тюфяка, в другом углу табурет. На нем обгрызки кожи, дратва, старая оторванная подметка, сапожная игла и шило.

Хлебников сидит на полу и копошится в каких-то ржавых, без шляпок, гвоздиках. На правой руке у него ботинок.

Он встал нам навстречу и протянул руку с ботинком.

Я, улыбаясь, пожал башмак. Хлебников даже не заметил.

Есенин спросил:

— Это что у вас, Велимир Викторович, сапог вместо перчатки?

Хлебников сконфузился и покраснел ушами — узкими, длинными, похожими на спущенные рога:

— Вот... сам сапоги тачаю... Садитесь...

Сели на кровать.

— Вот...

И обвел большими серыми глазами, чистыми, как у святых на иконах Дионисия Глушицкого, пустынный квадрат, оклеенный выцветшими обоями.

— Комната вот... прекрасная... только не люблю вот... мебели много... лишняя она... мешает.

Я подумал, что Хлебников шутит.

А он говорил строго, тормоша волосы, низко, под машинку остриженные после тифа.

Голова у Хлебникова узкая и длинная, как стакан простого стекла, просвечивающий зеленым.

— И спать бы вот можно на полу... а табурет нужен вместо стола... я на подоконнике... пишу... керосина у меня нет... вот и учусь в темноте... писать... всю ночь сегодня... поэму...

И показал лист бумаги, исчерченный каракулями, сидящими друг на друге, сцепившимися и переплетшимися.

Невозможно было прочесть ни одного слова.

— Вы что ж, разбираете это?

— Нет... думал вот, строк сто написал... а когда рассветло... вот и...

Глаза стали горькими.

— Поэму жаль... вот... Ну, ничего... я научусь в темноте...

На Хлебникове длинный сюртук с шелковыми лацканами и парусиновые брюки, стянутые ниже колен обмотками.

Подкладка пальто служит простыней.

Хлебников смотрит на мою голову — разделенную блестящим, как перламутр, пробором и выутюженную жесткой щеткой:

— Мариенгоф, мне нравится ваша прическа... я вот тоже такую себе сделаю...

Есенин говорит:

— Велимир Викторович, вы ведь Председатель Земного Шара. Мы хотим в городском Харьковском театре всенародно и торжественным церемониалом упрочить ваше избрание.

Хлебников благодарно жмет нам руки.

Неделю спустя перед тысячеглазым залом совершается ритуал.

Хлебников, в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками, выслушивает читаемые Есениным и мной аксафисты посвящения его в Председатели.

После каждого четверостишия, как условлено, он произносит:

— Верую.

Говорит «верую» так тихо, что мы только угадываем слово. Есенин толкает его в бок:

— Велимир, говорите громче. Публика ни черта не слышит.

Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая: «Но при чем же здесь публика?»

И еще тише, одним движением рта, повторяет:

— Верую.

В заключение, как символ Земного Шара, надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника вечера — Бориса Глубоковского.

Опускается занавес.

Глубоковский подходит к Хлебникову:

— Велимир, снимай кольцо.

Хлебников смотрит на него испуганно и прячет руку за спину.

Глубоковский сердится:

— Брось дурака ломать, отдавай кольцо!

Есенин надрывается от смеха.

У Хлебникова белеют губы:

— Это... это... Шар... символ Земного Шара... А я вот — меня... Есенин и Мариенгоф в Председатели...

Глубоковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. Председатель Земного Шара Хлебников, уткнувшись в пыльную театральную кулису, плачет большими, как у лошади, слезами.

Перед отъездом в Москву отпечатали мы в Харькове сборничек «Харчевня зорь».

Есенин поместил в нем «Кобыльи корабли», я — «Встречу», Хлебников — поэму и небольшое стихотворение:

Голгофа
Мариенгофа.
Город
Распорот.
Воскресение
Есенина.
Господи, отелись
В шубе из лис.

В пасхальную ночь на харьковском бульваре, вымошенном человеческой толпой, читали стихи.

Есенин — своего «Пантократора».

В колокольный звон вклинивал высоким голосом:

Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, Господь.

Толпа в шлемах, кепках и картузах, подобно огромной черной ручище, сжималась в кулак.

А слова падали, как медные пятаки на асфальт:

И за эти седины кудрявые,
За копейки с золотых осин
Я кричу тебе: «К черту старое!»,
Непокорный, разбойный сын.

Когда Есенин кончил, шлемы, кепки и картузы подняли его на руки и стали бросать вверх — в пасхальную ночь, в колокольный звон.

Хорошая проверка для стихов.

А у Гоголя была еще лучше.

Старый большевик М. Я. Вайнштейн рассказал мне следующий случай.

В Петропавловской крепости его соседом по камере был максималист. Над максималистом шли последние дни суда, и тюрьма ожидала смертного приговора. Воздух становился твердым как камень, а мысли в голове ворочались тупо и тяжело, как жирные свиньи.

И вдруг: из соседней комнаты, от максималиста, через толстую петропавловскую стену — широкий раскатистый смех. Такой, что идет от пупа.

Смех перед виселицей пострашнее рыданий.

Вайнштейн поднял тревогу: казалось, безумие опередило смерть.

Пришел надзиратель, заглянул в камеру к максималисту, развел руками, недоуменно покачал головой и сообщил:

— Читает.

Тогда Вайнштейн стуками оторвал соседа от книги и спросил:

— В чем дело?

Сосед ответил:

— Читаю Гоголя. «Ночь под Рождество». Про кузнеца Вакулу. Сил моих нет, до чего смешно.

31

Из всей литературы наименее по душе была нам — литература военного комиссариата.

Сначала читали внимательно все мобилизационные приказы. Читали и расстраивались. Чувствовали непрочность наших освободительных бумажек. Впоследствии нашли способ более душеспокойный — не читать ни одного. Только быстрее пробегали мимо свежерасклеенных.

Зажмурили глаза, а вести стали ползти через уши.

С перепугу Есенин побежал к комиссару цирков — Нине Сергеевне Рукавишниковой, жене поэта.

Циркачи были освобождены от обязанности и чести с винтовкой в руке защищать республику.

Рукавишникова предложила Есенину выезжать верхом на коне и читать какую-то стихотворную ерунду, сопровождающую пантомиму.

Три дня Есенин гарцевал, а я с приятельницами встречал и провожал его громовыми овациями.

Четвертое выступление было менее удачным.

У цирковой клячи зашекетало в ноздре, и она так мотнула головой, что Есенин, попривыкнувший к ее спокойному нраву, от неожиданности вылетел из седла и, описав в воздухе головокружительное сальто-мортале, растянулся на желтой арене.

— Уж лучше голову сложу в честном бою, — сказал он Нине Сергеевне.

С обоюдного согласия полугодовой контракт был разорван.

Днем позже приехал из Туркестана Почем-Соль. Вечером распили бутылку кишмишовки у одного из друзей. Разошлись поздней ночью.

На улице догорлаивали стихи и прозу о «странностях любви».

Есенин вывез из Харькова нежное чувство к восемнадцатилетней девушке с библейскими глазами.

Девушка любила поэзию. На выпряженной таратайке, стоящей среди маленького круглого двора, просиживали они от раннего вечера до зари. Девушка глядела на луну, а Есенин — в ее библейские глаза.

Толковали о преимуществах неполной рифмы перед точной, о неприличии пользоваться глагольной, о барабанности составной и приятности усеченной.

Есенину невозможно нравилось, что девушка с библейскими глазами вместо «рифма» — произносила «рыфма».

Он стал даже ласково называть ее: Рыфмочка.

Горляня на всю улицу, Есенин требовал у меня подтверждения перед Почем-Солью сходства Рыфмочки с возлюбленной царя Соломона, прекрасной Суламифью.

Я, зля его, говорил, что она прекрасна, как всякая еврейская девушка, только что окончившая в Виннице гимназию и собирающаяся на зубоврачебные курсы в Харьков.

Он восхвалял ее библейские глаза, а я — будущее ее искусство долбить зубы бормашиной.

В самом разгаре спора неожиданно раздался пронзительный свисток и на освещенном углу появились фигуры милиционеров.

Из груди Есенина вырвалось, как придыхание:

— Облава!

Только вчера он вернул Рукавишниковой спасительное цирковое удостоверение.

Раздумывать долго не приходилось.

— Бежим?

— Бежим!

Пятки засверкали. Позади дребезжали свистки и плюхались тяжелые сапоги.

Почем-Соль сделал вслед за нами прыжков двадцать. У него заломило в спине, в колене, слетела с головы шапка, а из раскрывшегося портфеля, как из голубятни, вылетели бумаги.

Схватившись за голову, он сел на мостовую.

Срезая угол, мы видели, как его пленили и повели милиционеры.

А между нами и погоней расстояние неизменно росло.

У Гранатного переулка Есенин нырнул в черные чужие во-

рота, а я побежал дальше. Редкие ночные прохожие шарахались в стороны.

Есенин после рассказывал, как обыскивали двор, в котором он прятался, как он слышал приказ «стрелять», если обнаружат, и как он вставил палец меж десен, чтобы не стучали зубы.

С час просидели мы на кроватях, дожидаясь Почем-Соли.

А он явился только в десятом часу утра. Бедняга провел ночь в милиции. Не помогли и мандаты с грозными подписями и печатями.

Ругал нас последними словами:

— Чего, олухи, побежали... Вшей из-за вас, чертей, понабрался. Ночь не спал. Проститутку пьяную в чувство приволил. Бумажник уперли...

— А мы ничего себе — спали... на мягкой постельке.

— Вот тебе, Почем-Соль, и мандат... а еще грозишь: «Имею право ареста до тридцати суток!» А самого... в каталажку... пфф...

— Вовсе не «пфф»!.. А спрашивали: «Кто был с вами?» Говорю: «Поэты Есенин и Мариенгоф».

— Зачем сказал?

— А что же, мне всю жизнь из-за вас, дьяволов, в каталажке сидеть?

— Ну?

— Ну, потом: «Почему побежали?» — «Потому, — отвечаю, — идиоты». Хорошо еще, что дежурный попался толковый. «Известно дело, — говорит, — имажинисты» — и отпустил, не составив протокола.

Почем-Соль вез нам из Туркестана кишмиш, урюк, рис и разновсякого варенья целые жбаны.

А под Тулой заградительный продовольственный отряд, несмотря на имеющиеся разрешения, все отобрал.

«Заградилка» и ее начальник из гусарских вахмистров — рыжий, веснушчатый, с носом, торчащим, как шпора, — славились на всю Россию своей лютостью.

32

В середине лета Почем-Соль получил командировку на Кавказ.

— И мы с тобой.

— Собирай чемоданы.

Отдельный белый вагон туркестанских дорог. У нас мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник.

Секретарем у Почем-Соли мой однокашник по Нижегородскому дворянскому институту — Василий Гастев. Малый такой, что на ходу подметки режет.

Гастев в полной походной форме: вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлагае. Почем-Соль железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев скромно — к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о желтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона «вне всякой очереди», у дежурного трясутся поджилки:

— Слушаюсь: с первым отходящим.

С таким секретарем совершаем путь до Ростова молниеносно. Это означает, что вместо полагающихся по тому времени пятнадцати — двадцати дней мы выскакиваем из вагона на ростовском вокзале на пятые сутки.

Одновременно Гастев и... администратор наших лекций.

Мы с Есениным читаем в Ростове, в Таганроге. В Новочеркасске после громовой статьи местной газеты за несколько часов до начала — лекция запрещается.

На этот раз не спасает ни желтая гастевская кобура, ни карта местности на полевой сумке, ни цейсовский бинокль.

Газета сообщила неправдоподобнейшую историю имажинизма, «рокамболические» наши биографии и под конец ехидно намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором разъезжают молодые люди, и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой.

С Почем-Солью после такой статьи стало скверно.

Отдав распоряжение «отбыть с первым отходящим», он, переодевшись в чистые исподники и рубаху, лег в своем купе — умирать.

Мы пробовали успокаивать, давали клятвенные обещания, что впредь никаких лекций читать не будем, но безуспешно. Он был сосредоточенно молчалив и смотрел в пространство взглядом, блуждающим и просветленным, словно врата царствия небесного уже разверзлись перед ним.

А на ночь принял касторки.

Поезд шел по кубанской степи.

К пустому пузырьку от касторки Есенин привязал веревку и, раскачивая ею, как паникадиллом, совершал отпевание над холодеющим в суеверном страхе Почем-Солью. Действия возвышенных слов службы и тягучая грусть напева были б для него губительны, если бы, к счастью, вслед за этим очень быстро не наступил черед действию касторки.

Волей-неволей Почем-Соли пришлось встать на ноги.

Тогда Есенин придумывал новую пытку. Зная любовь Почем-Соли покушать и невозможность сего в данный момент, он приходил в купе к нему с полной тарелкой нарезанных кружочками помидоров, лука, огурцов и крутых яиц (блюдо, горячо обожаемое нашим другом) и, усевшись против, начал, причмокивая, причавкивая и прищелкивая языком, отправлять в рот ложку за ложкой.

Почем-Соль обращался к Есенину молящим голосом:

— Сереженька, уйди, пожалуйста.

Причмокивания и прищелкивания становились яростней и язвительней.

— Сережа, ты знаешь, как я люблю помидоры... У меня даже начинает болеть сердце.

Но Есенин был неумолим.

Тогда Почем-Соль ложился, закрывал глаза и наваливал подушку на уши.

Есенин наклонялся над подушкой, приподнимал уголок и продолжал чавкать еще громогласней и нестерпимей.

Почем-Соль срывался с места. Есенин преследовал его с тарелкой. Почем-Соль хватал первый попавшийся предмет под руку и запускал им в своего истязателя. Тот увертывался.

Тогда жертва кричала грозно и повелительно:

— Гастев, наган!

— А я уже все съел.

И Есенин показывал пустую тарелку.

Мы лежали в своем купе. Есенин, уткнувшись во флоревскую «Мадам Бовари». Некоторые страницы, особенно его восторгавшие, читал вслух.

В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону пошел галдеж по всему составу.

Мы высунулись из окна.

По степи вперегонки с нашим поездом лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок.

Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика и разма-

живая штанами, Есенин подбадривал, подгонял скакуна. Версты две железный и живой конь бежали вровень. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из вида.

Есенин ходил сам не свой.

После Кисловодска он написал в Харьков письмо девушке, к которой относился нежно.

Оно небезынтересно.

Привожу:

Милая, милая Женя! Ради Бога не подумайте, что мне что-нибудь от Вас нужно, я сам не знаю, почему это я стал вдруг Вам учашенно напоминать о себе, конечно, разные бывают болезни, но все они проходят. Думаю, что пройдет и эта.

Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз в этих местах и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Казбека, Дарьяла и все прочее. Признаться, в Рязанской губ. я Кавказом был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности путешествий для меня. Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар? Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то, во всяком случае, что-нибудь, разрушающее чувство земного диапазона. Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого, вроде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпукление. По намекам это известно все гораздо раньше и богаче. Трогает меня в этом только грусть за уходящее, милое, родное, звериное и незыблемая сила мертвого, механического.

Вот Вам наглядный случай из этого. Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка тягательством живой силы с железной.

Простите, милая, еще раз за то, что беспокою Вас. Мне очень

грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит *тогда* эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают.

А в прогоне от Минеральных до Баку Есениным написана лучшая из его поэм — «Сорокоуст». Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.

В Дербенте наш проводник, набирая воду в колодце, упустил ведро.

Есенин и его использовал в обращении к железному гостю в «Сорокоусте»:

Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.

В Петровском порту стоял целый состав малярийных больных. Нам пришлось видеть припадки поистине ужасные. Люди прыгали на своих досках, как резиновые мячи, скрежетали зубами, обливались потом, то ледяным, то дымящимся, как кипятком.

В «Сорокоусте»:

Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

33

Забыл рассказать.

Случайно на платформе ростовского вокзала я столкнулся с Зинаидой Николаевной Райх. Она ехала в Кисловодск.

Зимой Зинаида Николаевна родила мальчика. У Есенина спросила по телефону:

— Как назвать?

Есенин думал-думал, выбирая не литературное имя, и сказал:

— Константином.

После крещения спохватился:

— Черт побери, а ведь Бальмонта Константином зовут.

Смотреть сына не поехал.

Заметив на ростовской платформе меня разговаривающим с Райх, Есенин описал полукруг на каблуках и, вскочив на рельсу, пошел в обратную сторону, ловя равновесие плавающими в воздухе руками.

Зинаида Николаевна попросила:

— Скажите Сереже, что я еду с Костей. Он его не видал. Пусть зайдет взглянет. Если не хочет со мной встречаться, могу выйти из купе.

Я направился к Есенину. Передал просьбу.

Сначала он заупрямился:

— Не пойду. Не желаю. Нечего и незачем мне смотреть.

— Пойди — скоро второй звонок. Сын же...

Вошел в купе, сдвинув брови. Зинаида Николаевна развязала ленточки кружевного конвертика. Маленькое розовое существо барахтало ножками.

— Фу... Черный... Есенины черные не бывают...

— Сережа!

Райх отвернулась к окну. Плечи вздрогнули.

— Ну, Анатолий, поднимайся.

И Есенин легкой, танцующей походкой вышел в коридор международного вагона.

34

На обратном пути в Пятигорске мы узнали о неладах в Москве: будто согласно какому-то распоряжению прикрыты и наша книжная лавка, и «Стойло Пегаса», и книги не вышли, об издании которых договорились с Кожебаткиным на компанийских началах.

У меня тропическая лихорадка — лежу пластом. Есенин уезжает в Москву один с красноармейским эшеленом.

Еще месяц я мотаюсь по Кавказу. Наш вагон прыгает, словно блоха, между Минеральными — Петровским портом — Баку.

Наконец — восвояси. Мы в хвосте скорого на Москву. Белыми простынями уже застлана земля, а горы, как подушки, в сверкающих полотняных наволоках.

В Москве случайно на улице встречаю первым Шершеневича. Я еду с вокзала. Из-под чемоданов, корзин, мешков торчит моя голова в летней светлой шляпе.

Останавливаю извозчика. Шершеневич вскакивает на подножку:

— Знаешь, арестован Сережа. Попал в какую-то облаву. Третий день. А магазин ваш и «Стойло» открыты, книги вышли.

Так с чемоданом, корзинами и мешками вместо дома несусь в Центропечать к Борису Федоровичу Малкину — нашему защитнику, палочке-выручалочке.

— Что же это такое?.. Как же это так?.. Борис Федорович, а?.. Сережа арестован!

Борис Федорович снимает телефонную трубку.

А вечером Есенин дома. На физию серой тенью легла смешная чумазость. Щеки, губы, подбородок — в рыжей милой жесткой щетине. В голубых глазах — сквозь радость встречи — глубокая ссадина, точащая обидой.

За чаем поет бандитскую:

В жизни живем мы только раз,
Когда отмычки есть у нас.
Думать не годится,
В жизни что случится.
Эх, в жизни живем мы только раз.

35

Опять перебрались в Богословский. В тот же бахрушинский дом.

У нас три комнаты, экономка (Эмилия) в кружевном накрахмаленном фартучке и борзой пес.

Кормит нас Эмилия рябчиками, глухарями, пломбирами, фруктовыми муссами, золотыми ромовыми бабами.

Оба мы необыкновенно увлечены образцовым порядком, хозяйственностью, сытым благополучием.

На брюках вытужена складка; воротнички, платки, рубашки поразительной белоснежности.

Есенин мечтает:

— Подожди, Анатолий, и типография своя будет, и автомобиль ржать у подъезда.

Три дня подряд у нас обедает Орешин.

На четвертый Есенин заявляет:

— Не к нам он ходит, а ради мяса нашего да рябчиков жрать.

Эмилия получает распоряжение «приготовить на обед картошку».

— Вот посмотрю я, как он часто после картошки будет ходить.

Словно в руку Есенину, после картофельного обеда недели две Орешин не показывает носа.

По вечерам частенько бываем на Пресне у Сергея Тимофеевича Коненкова. Маленький ветхий белый домик — в нем мастерская и кухонька. В кухоньке живет Коненков. В ней же Григорий Александрович — коненковский дворник, коненковская нянька и верный друг. Он поучает нас мудрости. У Григория Александровича лоб Сократа.

Коненков тычет пальцем:

— Ты его слушай да в коробок свой прячь: мудро он говорит: кто ты есть? А есть ты человек. А человек есть — чело века. Понял?

И, взяв гармошку, Коненков затягивает есенинское «яблочко»:

Эх, яблочко,
Цвету звонкого,
Пьем мы водочку
Да у Коненкова.

Один Новый год мы встречали в Доме печати.

Есенина упросили спеть его литературные частушки. Василий Каменский взялся подыгрывать на тальянке.

Каменский уселся в кресле на эстраде. Есенин — у него на коленях.

Начали:

Я сидела на песке
У моста высокого,

Нету лучше из стихов
Александра Блокова.

Ходит Брюсов по Тверской
Не мышой, а крысиной.
Дядя, дядя, я большой,
Скоро буду с лысиной.

Ах, сыпь! Ах, жарь!
Маяковский бездарь.
Рожа краской питана,
Обокрал Уитмена.

Ох, батюшки, ох-ох-ох,
Есть поэт Мариенгоф.
Много кушал, много пил,
Без подштанников ходил.

Сделала свистулечку
Из ореха грецкого,
Нету яре и звончей
Песен Городецкого.

И, хитро глянув на Каменского, прижавшись коварнейшим образом к его груди, запел во весь голос припасенную под конец частушку:

Квас сухарный, квас янтарный,
Бочка старо-новая,
У Васятки у Каменского
Голова дубовая.

Туго набитый живот зала затрясся от хохота. В руках растерявшегося Каменского поперхнулась гармошка.

36

Зашел к нам на Никитскую в лавку человек — предлагает недорого шапку седого бобра. Надвинул Есенин шапку на свою золотую пену и пошел к зеркалу. Долго делал ямку по-

среди, слегка бекренил, выбивал из-под меха золотую прядь и распушал ее. Важно пузыря губы, смотрел на себя в стекло, пока сквозь важность не глянула на него из стекла улыбка, говорящая: «И до чего же это я хорош в бобре!»

Потом попримерил я.

Со страхом глядел Есенин на блеск и на черное масло моих расширяющихся зрачков:

— Знаешь, Анатолий, к тебе не того... Не очень...

— А ты в ней, Сережа, гриба вроде... Березовика... Не идет...

— Ну?

Оба глубоко и с грустью вздохнули. Человек, принесший шапку, переминался с ноги на ногу.

Я сказал:

— Наплевать, что не к лицу... Зато тепло будет... Я бы взял.

Есенин погладил бобра по серебряным иглам.

— И мне бы тепло было! — произнес он мечтательно.

Кожебаткин посоветовал:

— А вы бы, господа, жребий метнули.

И рассмеялся ноздрями, из которых торчал волос, густой и черный, как на листочках для акварели.

Мы с Есениным невозможно обрадовались.

— Завязывай, Мелентьич, на платке узел.

Кожебаткин вытащил из кармана платок, серый и унылый, как мостовая в осеннюю непогоду. Я подумал: «Должно быть, платок Александра Мелентьевича — ровесник его носкам».

А у самого — замирала душа и трепыхалось сердце.

Есенин от волнения хлопал себя ладонями по бокам, как курица крыльями.

— Нну!..

И Кожебаткин протянул кулак, из которого торчали два грязных и загадочных ушка.

Есенин впился в них глазами, морщил и тер лоб, шевелил губами, что-то прикидывал и соображал. Наконец уверенно ухватился за тот, что был поморщинистей и погорбатеи.

Покупатели, что были в лавке, и продавец шапки сомкнули вокруг нас кольцо.

Узел и бобровую шапку вытащил я.

С того случая жребьеметание прочно внедрилось в нашу жизнь.

Двадцать первый год балует нас двумя комнатами: одна похуже, повыщестей обоями, постарей мебелью, другая — с министерским письменным столом, английскими креслами и аршинным бордюром в коричневых хризантемах.

Передо мной два есенинских кулака — в одном зажата бумажка.

Пустая рука — пустая судьба.

В непрекословной послушности року доходили мы до того, что перед дверью уборной (когда обоим приспичивало одновременно) ломали спичку. Счастливец, вытащивший серную головку, торжественно вступал в тронный зал.

37

Генерал Иванов, получив от царя приказ прибыть с георгиевцами для усмирения февральского Петербурга, прежде всего вспомнил о своих добрых знакомых в столице и попросил адъютанта купить в Могилеве сотенку яицек из-под курицы и с полпуда сливочного масла.

Пустячное дело! Пройдет по торцам Невского молодецким маршем георгиевский батальон под охи и ахи медных труб, и конец всем революциям.

А там — генерал отдаст яички добрым знакомым, погрееет у камелька старые ноги в красных лампасах, побрюзжит, поскрипит, потешится новым орденом, царской благодарностью — и обратно на фронт.

Но яички так и не пришли по назначению.

Март...

Любовью гимназистки влюбилась Россия в Александра Федоровича Керенского.

Ах, эта гимназическая любовь!

Ах, непостоянное гимназическое сердце!

Прошли медовые весенние месяцы.

Июнь.

Галицийские поля зацвели кровью.

Заворочался недовольный фронт.

Август.

Корнилов поднимает с фронта туземный корпус. Осетин-

ские и дагестанские полки. Генералы Крымов и Краснов принимают командование. Князь Гагарин с черкесами и ингушами на подступах к Петербургу.

Но телеграммы Керенского разбивают боевых генералов.

Начало октября. Генералу Краснову сотник Карташов делает доклад.

Входит Керенский. Протягивает руку офицеру. Тот вытягивается, стоит смиренно и не дает своей руки.

Побледневший Керенский говорит:

— Поручик, я подал вам руку.

— Виноват, господин верховный главнокомандующий, я не могу подать вам руки, я — корниловец, — отвечает сотник. Керенский не вполне угодил господам офицерам.

А рабочим и солдатам?

Еще меньше.

Они своевременно об этом его уведомили. Правда, не столь церемонно, как сотник Карташов.

Одну неправдоподобность сменяет другая — более величественная.

Девятнадцатые и двадцатые годы.

Гражданская война.

В Одесском Совете депутатов Муравьев говорит:

— В одни сутки мы восстановили разрушенный Радой сорокасаженный мост и ворвались в Киев. Я приказал артиллерии бить по самым большим дворцам, по десятиэтажному дому Грушевского. Дом сгорел дотла. Я зажег город. Бил по дворцам, по церквям, по попам, по монахам. Двадцать пятого января оборонческая Дума просила перемирия. В ответ я велел бить химическими удушливыми газами... Говоря по прямому проводу с Владимиром Ильичем, я сказал ему, что хочу идти с революционными войсками завоевать весь мир.

Шекспировский монолог.

Литературу всегда уговаривают, чтобы она поглядывала на жизнь. Вот мы и поглядывали.

Однажды имажинистам показалось, что в искусстве поднимает голову формальная реакция.

Верховный Совет имажинистов (Есенин, Шершеневич, Кусиков и я) на тайном заседании решил объявить «всеобщую мобилизацию» в защиту левых форм.

В маленькой тайной типографии мы отпечатали «приказ».

Ночью вышли на улицы клеить его на заборах, стенах, столбах Москвы — рядом с приказами военного комиссариата в дни наиболее решительных боев с белыми армиями.

Кухарки ранним утром разнесли по квартирам страшную новость о «всеобщей». Перепуганный москвич толпами стоял перед «приказом». Одни вообще ничего не понимали, другие читали только заглавие — хватались за головы и бежали как оглашенные. «Приказ» предлагал такого-то числа и дня — всем! всем! всем! — собраться на Театральной площади со знаменами и лозунгами, требующими защиты левого искусства. Далее — шествие к Московскому Совету, речи и предъявление «пунктов».

Около полудня к нам на Никитскую в книжную лавку прибежали Шершеневич и Кусиков.

Глаза у них были вытарашены и лица белы. Кусиков спросил, медленно ворочая одеревеневшим языком:

— Вы... еще... торгуете?..

Есенин забеспокоился:

— А вы?

— Нас... уже!

— Что уже?..

— Запечатали... на мобилизацию... и...

Кусиков холодными пальцами вынул из кармана и протянул нам узенькую повестку.

Есенин прочел грозный штамп.

— Толя, пойдём... погуляем...

И потянулся к шляпе.

В этот момент перед зеркальным стеклом магазина остановился черный крытый автомобиль. Из него выскочило два человека в кожаных куртках.

Есенин отложил шляпу. Спасительное «погулять» слишком поздно пришло ему в голову. Люди в черной коже вошли в магазин. А через несколько минут Есенин, Шершеневич, Кусиков и я были в МЧК.

Следователь, силясь проглотить смешок, вел допрос.

Есенин говорил:

— Отец родной, я же с большевиками... я же с Октябрьской революцией... Читали мое:

Мать моя родина,
Я большевик.

А он, — и тыкал в меня пальцем, — про вас писал... красный террор воспел:

В этой черепов груди
Наша красная месть!

Шершеневич мягко касался есенинского плеча:

— Подожди, Сережа, подожди... Товарищ следователь, к сожалению, в последние месяцы от русской литературы пошел запах буниновщины и мерзковщины...

— Отец родной, это он верно говорит... завоняла... смердеть начала...

Из-под вечного золотого следовательского пера ползли су-ровые и сердитые буквы, а палец, которым чесал он свою ма-кушку, ероша на ней белобрысый пух, был непростительно добродушен и несерьезен для такого учреждения.

— Подпишитесь здесь.

Мы молча поставили свои имена.

И через час — на радостях угощали Шершеневича и Куси-кова у себя на Богословском молодым кахетинским.

Есенин напевал:

Все, что было,
Чем сердце ныло...

А назавтра, согласно данному следователю обязательству, явились на Театральную площадь отменять мобилизацию.

Черноволосяе девушки не хотели расходиться, требуя «сти-хов», курчавые юноши — «речей».

Мы таинственно разводили руками. Отряд в десять всадни-ков конной милиции переполнил нас гордостью.

Есенин шепнул мне на ухо:

— Мы вроде Марата... против него тоже, когда он про ми-нистра Неккера написал, двадцать тысяч конницы выставили.

38

Почем-Соль уезжал в Крым. Дела наши сложились так, что одному необходимо было остаться в Москве. Тянем жре-бий. На мою долю выпадает поездка. Уславливаемся, что следующая отлучка за Есениным.

Возвращаюсь через месяц. Есенин читает первую главу «Пугачева»:

Ох, как устал и как болит нога!..
Ржет дорога в жуткое пространство...

С первых строк чувствую в слове кровь и мясо. Вдавлив в землю ступни и пятки, крепко стоит стих.

Я привез первое действие «Заговора дураков».

Отправляемся распить бутылочку за возвращение и за начало драматических поэм. С нами Почем-Соль.

На Никитском бульваре в красном каменном доме на седьмом этаже у Зои Петровны Шатовой найдешь не только что николаевскую «белую головку», перцовки и зубровки Петра Смирнова, но и старое бургундское и черный английский ром.

Легко взбегаем на нескончаемую лестницу. Звоним условленные три звонка. Отворяется дверь. Смотрю: Есенин пятится.

— Пожалуйста!.. Пожалуйста!.. Входите... входите... и вы... и вы... А теперь попрошу документы!.. — очень вежливо говорит человек при нагане.

Везет нам последнее время на эти приятные встречи.

В коридоре сидят с винтовками красноармейцы. Агенты производят обыск.

— Я поэт Есенин!

— Я поэт Мариенгоф!

— Очень приятно.

— Разрешите уйти...

— К сожалению...

Делать нечего — остаемся.

— А пообедать разрешите?

— Сделайте милость... Здесь и выпивочка найдется... Не правда ли, Зоя Петровна?..

Зоя Петровна пытается растянуть губы в угодливую улыбку. А растягиваются они в жалкую, испуганную гримасу.

Почем-Соль дергает скулами, тербит бородавку и разворачивает один за другим мандаты, каждый величиной с полотняную наволочку.

На креслах, на диване, на стульях — шатовские посетители, лишенные аппетита и разговорчивости.

В час ночи на двух грузовых автомобилях мы, компанией человек в шестьдесят, отправляемся на Лубянку.

Есенин деловито и строго нагрузил себя, меня и Почем-Соль подушками от Зои Петровны, одеялами, головками сыра, гусями, курами, свинными корейками и телячьей ножкой.

В «предварилке» та же деловитость и распорядительность. Наши нары, устланные бархатистыми одеялами, имеют уютный вид.

Неожиданно исчезает одна подушка.

Есенин кричит на всю камеру:

— Если через десять минут подушка не будет на моей наре, потребую общего обыска... Слышите... вы... граждане... черт вас возьми!

И подушка возвращается таинственным образом.

Ордер на наше освобождение был подписан на третий день.

39

Есенин уехал с Почем-Солью в Бухару. Штат нашего друга пополнился еще одним комическим персонажем — инженером Левой.

Лева на коротеньких кривых ножках, покрыт большой головой с плешью, розовой, как пятка у девушки. Глаза у него грустные, и весь он грустный, как аптечная склянка.

Лева любит поговорить об острых, жирных и сдобных яствах, а у самого катар желудка и ест одни каши, которые сам же варит на маленьком собственном примусе в собственной медной кастрюле.

От Минска и до Читы, от Батуми и до Самарканда нет такого местечка, в котором бы у Левы не нашлось родственника.

Этим он и завоевал сердце Почем-Соли.

Есенин говорит:

— Хороший человек! С ним не пропадешь — на колу у турка встретит троюродную тетю.

Перед отъездом Почем-Соль поставил Лева условие:

— Хочешь в моем штате состоять и в Туркестан ехать —

купи себе инженерную фуражку. Без бархатного околыша какой дурак поверит, что ты политехникум окончил?

Лева скуп до наивности, и такая трата ввергает его в пропасти уныния.

Есенин уговаривает Почем-Соль:

— Все равно никто не поверит.

Лева бурчит:

— Пгистал ко мне с фугажкой, как лавговый лист к заднице.

Есенин поправляет:

— Не лавровый, Лева, а банный — березовый.

— Безгазлично... Я ему, дугаку, говою... Тут фугашка пагшивая, а там тти пуда муки за эти деньги купишь.

Почем-Соль сердится:

— Ничего вы не понимаете! Мне для красоты инженер нужен... Чтоб из окошка вагона выглядывал.

— Так ты инженерскую фуражку на проводника и надень.

У Почем-Соль скулы бьют чечетку.

Лева безнадежно машет рукой:

— Чегт с тобой... пойду завтга на Сухагевку.

Денег наскребли Есенину на поездку маловато. Советуемся слевой — как бы увеличить капитал.

Лева потихоньку от Почем-Соли сообщает, что в Бухаре золотые десятирублевки дороже в три раза.

Есенин дает ему денег:

— Купи мне.

На другой день вместо десятирублевок Лева приносит кучу обручальных колец.

Начинаем хохотать.

Кольца все несуразные, огромные — хоть салфетку продавай.

Лева резонно успокаивает:

— Не жениться же ты, Сегежка, собигаешься, а пгодавать... Говою, загаботаешь — и загаботаешь.

Возвратясь, смешно мне рассказывал Есенин, как бегал Лева, высунув язык, с этими кольцами по Ташкенту, шнырял по базарам и лавочкам и как пришлось в конце концов спустить их, понесся потери... Целую неделю Лева был мрачен и, будто колдуя, шептал себе под нос холодными губами:

— Убитки!.. какие убитки!..

С дороги я получил от Есенина письмо:

Милый Толя. Привет тебе и целование.

Сейчас сижу в вагоне и ровно третий день смотрю из окна на проклятую Самару и не пойму никак — действительно ли я ощущаю все это или читаю «Мертвые души» с «Ревизором». Почем-Соль пьян и уверяет своего знакомого, что он написал «Юрия Милославского», что все политические тузы — его приятели, что у него все «курьеры, курьеры, курьеры». Лева сидит хмурый и спрашивает меня чуть ли не по пяти раз в день о том, «съел ли бы я сейчас тарелку борща мало-российского». Мне вспоминается сейчас твоя кислая морда, когда ты говорил о селедках. Если хочешь представить меня, то съешь кусочек и посмотри на себя в зеркало.

Еду я, конечно, ничего, не без настроения все-таки, даже рад, что плюнул на эту проклятую Москву. Я сейчас собираю себя и гляжу внутрь. Последнее происшествие меня таки сильно ошеломило. Больше, конечно, так пить я уже не буду, а сегодня, например, даже совсем отказался, чтобы посмотреть на пьяного Почем-Соль. Боже мой, какая это гадость, а я, вероятно, еще хуже бывал.

Климат здесь почему-то в этот год холоднее, чем у нас. Кой-где даже еще снег. Так что голым я пока не хожу и сплю, покрываясь шубой. Провизии здесь, конечно, до того «много», что я невольно спрашиваю в свою очередь Леву: «А ты, Лева, съел бы сейчас колбасу?» Вот так сутки, другие, третьи, четвертые, пятые, шестые едем, едем, а оглянешься в окно — как заколдованное место проклятая Самара.

Вагон, конечно, хороший, но все-таки жаль, что это не ровное стоячее место. Бурливой голове трудно думается в такой тряске. За поездом у нас опять бежала лошадь (не жеребенок), но я теперь говорю: «Природа, ты подражаешь Есенину».

Итак, мой друг, вспоминаю тебя, нашу милую Эмилию, и опять, опять возвращаемся к тому же: «Как ты думаешь, Лева, а что теперь кушает наш Анатолий?»

В общем, поездка очень славная. Я и всегда говорил себе, что проехаться не мешает, особенно в такое время, когда масло в Москве 16 — 17, а здесь 25 — 30.

Это, во-первых, экономно, а во-вторых, но, во-вторых, Ваня (слышу, Лева за стеной посылает Почем-Соль к священной матери), это на второе у нас полагается.

Итак, ты видишь — все это довольно весело и занимательно, так что мне без труда приходится ставить точку, чтоб поскорей отделаться от письма. О, я недаром говорил себе, что с Почем-Солью ездить очень весело.

Твой Сергун

Привет Коненкову Сереже и Дав. Самойл.

P. S. Прошло еще четыре дня с тех пор, как я написал тебе письмо, а мы еще в Самаре. Сегодня с тоски, то есть с радости, вышел на платформу, подхожу к стенной газете и зрю, как самарское лито кроет имажинистов. Я даже не думал, что мы здесь в такой моде...

40

В дни отсутствия Есенина я познакомился в шершеневической книжной лавочке с актрисой Камерного театра Анной Никритиной (в будущем моей женой).

Как-то в мягкую апрельскую ночь мы сидели у Каменного моста. Купол храма Христа плыл по темной воде Москвыреки, как огромная золотая лодка. Тараща глазища и шипя шинами, проносились по мосту редкие автомобили. Волны били свое холодное стеклянное тело о камень.

Хотелось говорить о необычном и необычными словами.

Я поднял камень и бросил в реку, в отражение кутюла храма.

Золотая лодка брызнула искрами, сверкающей щепой и черными щелями.

— Смотрите!

По реке вновь плыло твердое и ровное золото. А о булыжнике, рассекшем его, не было памяти и следа.

Я говорил о дружбе, сравнивая ее с тенью собора в реке, и о женщинах, которые у нас были, подобных камню.

Потом завязал узел на платке, окунул конец в воду, мокрым затянул еще и, подавая Никритиной, сказал:

— Теперь попробуйте... развяжите...

Она подняла на меня глаза:

— Зачем?

— Будто каменным стал узел... вот и дружба наша с Есениным такая же...

И заговорил о годах радостей общих и печалей, надежд и разубверений.

Она улыбнулась:

— В рифму и ямбом у вас, пожалуй, лучше получится.

И мне самому стало немножко и смешно и неловко от слов, расхаживающих по-индючьи важно.

Мы разошлись с Есениным несколькими годами позже. Но

теперь я знаю, что это случилось не в двадцать четвертом году, после возвращения его из-за границы, а гораздо раньше. Может быть, даже в лавочке Шершеневича, когда впервые я увидел Никритину. А может быть, в ту ночь, когда мне захотелось говорить о дружбе необычными словами.

41

Уже дымились серебряной пылью мостовые. По нашему Богословскому ходит ветхий седенький дворник, похожий на коненковского деревянного «старенького старичка». Будто не ноги передвигает он, а толстые березовые, низко подрубленные пни. В руках у дворника — маленькая зеленая леечка. Из нее он поливает дымящиеся пылью булыжники. Двигается медленно, склоняя узкую шею лейки, а та нехотя фыркает на горячий камень светлыми малюсенькими брызгами.

Когда-то «старенький старичок» был садовником и поливал из зеленой лейки нежные розовые левкой.

Тогда нужен был он и те цветы, пахнувшие хорошим французским мылом.

А булыжники, которые поливает, начинают дымиться наново раньше, чем он дойдет до конца своей мостовой длиной в десяток сажен.

Я с Никритиной возвращался с бегов.

Как по клавишам рояля, били по камню подковы рысака. Никритина еще ни разу не была у нас в доме. Я долго уговаривал, просил, соблазнял необыкновенным кулинарным искусством Эмили.

А когда она согласилась, одним легким духом взбежал три этажа и вонзил палец в звонок. Вонзив же, забыл вытащить. Обалдевший звонок горланил так же громко, как мое сердце.

Когда распахнулась дверь и на меня глянули удивленные, перепуганные и любопытные глаза Эмили, я мгновенно изобрел от них прикрытие и прозрачную ложь:

— Умираю от голода! есть! есть!

В коридоре мешки с мукой, кишмишем, рисом и урюком. Влетел в комнату. Чемоданы, корзины, мешки.

— Сергей Александрович приехали... вас побежали искать.

Я по-ребячьи запрыгал, захолопал в ладоши и схватил Никритину за кисти рук.

А из них по капелькам вытекала теплота.

В окно било солнце, не по-весеннему жаркое.

— Я пойду...

И она высвободила из моих пальцев две маленькие враждебные льдинки.

Я проводил ее до дому. Прощаясь, ловил взгляд и не мог поймать — попадались стиснутые брови и ресницы, волочащиеся по щекам, как махры старомодной длинной юбки.

Есенина нашел в «Стойле Пегаса».

И почему-то, обнимая его, я тоже прятал глаза.

Вечером Почем-Соль сетовал:

— Не поеду, вот тебе слово, в жизни больше не поеду с Сергеем... Весь вагон забил мукой и кишмишем. По ночам, прохвост, погрузки устраивал... Я, можно сказать, гроза там... центральная власть, уполномоченный, а он кишмишников в вагон с базара таскает. Я им по два пуда с Левого разрешил, а они, мерзавцы, по шесть наперли.

Есенин нагибается к моему уху:

— По двенадцати!..

— Перед поэтишками тамошними мэтром ходит... деньгами швыряется, а из вагона уполномоченного гомельскую лавчонку устроил... с урючками до седьмого пота торгуется... И какая же, можно сказать, я после этого гроза... уполномоченный...

— Скажи пожалуйста — «урюк, мука, кишмиш!»... А то, что я в твоём вагоне четвертую и пятую главу «Пугачева» написал, это что?.. Я тебя, сукина сына, обесмерчиваю, в вечность ввожу... а он — «урюк! урюк!».

При слове «вечность» замирали слова на губах Почем-Соли, и сам он начинал светиться ласково, умиротворенно, как в глухом пензенском переулке окошечко под кисейным ламбрикеном, озаренное керосиновой лампой с абажуром из розового стекла.

Когда Никритина уезжала в Киев, из какой-то теплой стесненности и смешной неудобности я не решился проводить ее на вокзал.

Она жила в Газетном переулке. Путь к Александровскому шел по Никитской мимо нашей книжной лавки.

Поезд уходил часа в три. Боясь опоздать, с половины одиннадцатого я стал собираться в магазин. Обычно никогда не приходили мы раньше часа-двух. А в лето «Пугачева» и «Заговора» заглядывали на час после обеда, и то не каждый день.

Есенин удивлялся:

— Одурел... в такую рань...

— Сегодня день бойкий...

Уставившись на меня, ехидно спрашивал:

— Торговать, значит?.. Ну, иди, иди, поторгуй.

И сам отправился со мной для проверки.

А как заявились, уселся я у окна и заерзал глазами по стеклу.

Когда заходил покупатель, Есенин толкал меня локтем в бок:

— Торгуй!.. торгуй!..

Я смотрел на него жалостливо.

А он:

— Достаньте, Анатолий Борисович, с верхней полки Шеллера-Михайлова.

Проклятый писателишка написал назло мне томов пятьдесят. Я скалил зубы и на покупателя, и на Есенина. А на зловерное обращение ко мне на «вы» и с именем-отчеством отвечал с дрожью в голосе:

— Товарищ Есенин...

И вот: когда я стоял на лесенке, балансируя кипую ростом в полтора аршина, увидел в окошко, сквозь серебряный кипень пыли, извозчика и в ногах у него знакомую мне корзину.

Трудно балансировать в таком положении. А на извозничьем сиденье — белая гамлетка, кофточка из батиста с длинным галстучком и коричневая юбочка. Будто не актриса эстетствующего в Гофмане, Клоделе и Уайльде театра, а гимназистка класса шестого ехала на каникулы в тихий Миргород.

Тут уж не от меня, а от судьбы — месть за то, что был Есенин неумолим и каменносердечен.

Вся полторааршинная горка Шеллера-Михайлова низверглась вниз, тарабана по есенинскому затылку жесткими нивскими переплетами.

Я же пробкой от сельтерской вылетел из магазина, навсегда обнажив сердце для каверзнейших стрел и ядовитейших шпилек.

43

На лето остались в Москве. Есенин работал над «Пугачевым», я — над «Заговором дураков». Чтоб моркотно не было от безалабери, до обеда закрыли наши двери и для друзей, и для есенинских подруг. У входа даже соответствующую вывесили записку.

А на тех, для кого записка наша была не указом, спустили Эмилию.

Она хоть за ляжки и не хватала, но Цербером была знаменитым.

Материал для своих исторических поэм я черпал из двух-трех старых книг, Есенин — из академического Пушкина.

Кроме «Истории Пугачевского бунта» да «Капитанской дочки», так почти ничего Есенин и не прочел, а когда начала грызть совесть, успокаивал себя тем, что Покровский все равно лучше Пушкина не напишет.

Меня же частенько уговаривал приналечь на «Ледяной дом».

Я люблю «Пугачева». Есенин умудрился написать с чудесной наивностью лирического искусства суровые характеры.

Поэма Есенина вроде тех старинных православных икон, на которых образописцы изображали Бога отдыхающим после сотворения мира на полатах под лоскутным одеялом.

А на полу рисовали снятые валенки. Сам же Бог — рыжебородый новгородский мужик с желтыми мозолистыми пятками.

Петр I предавал такие иконы сожжению как противные вере. Римские папы и кардиналы лучше него чувствовали искусство. На иконах в соборах Италии — святые шеголяют модами эпохи Возрождения.

Свои поэмы по главам мы читали друзьям. Как-то собрались у нас Коненков, Мейерхольд, Густав Шпет, Якулов. После чтения Мейерхольд стал говорить о постановке «Пугачева» и «Заговора» у себя в театре.

— А вот художником пригласим Сергея Тимофеевича, — обратился Мейерхольд к Коненкову. — Он нам здоровеннейших этаких деревянных болванов вытешет.

У Коненкова вкось пошли глаза:

— Кого?..

— Я говорю, Сергей Тимофеевич, вы нам болванов деревянных...

— Болванов?..

И Коненков так стукнул о стол стаканом, что во все стороны брызнуло стекло мельчайшими брызгами.

— Статуи... из дерева... Сергей Тимофеевич...

— Для балагана вашего... — Коненков встал. — Ну, прости, Серега... прости, Анатолий... Я пойду... пойду от «болванов» подальше.

Обиделся он смертельно.

А Мейерхольд не понимал: чем разобидел, отчего заварилась такая безделица?

Есенин говорил:

— Все оттого, Всеволод, что ты его не почувал... «Болваны»!.. Разве возможно!.. Ты вот бабу так нежно по брюху не гладишь, как он своих деревянных «мужичков болотных» и «стареньких старичков»... в мастерской у себя. Никогда не разденет их при чужом глазе... Заперемшись, холстяные чехлы снимает, как с невесты батистовую рубашечку в первую ночь... А ты — «болваны»!.. Разве возможно?..

Есенин нравовчал, а Якулов утешал Мейерхольда на свой якуловский неподражаемый манер:

— Он... гхе-гхе... Азия, Всеволод, Азия... Вот греческую королеву лепил... в смокинге из Афин приехал... из бородачи своей эспаньолку выкроил... Ну, думаю, — европейский художник... А он... гхе-гхе... пришел раз ко мне... ну... там шампанское было, фрукты, красивые женщины... гхе-гхе... Он говорит: «Поедьте ко мне на Пресню, здесь... гхе-гхе... скучно...» Чем, думаю, после архипелага греческого подивит... А он в кухню к себе привез... водки выставил... две бутылки... гхе-гхе... огурцов соленых, лук головками... А сам на печь и... гхе-гхе... за гармошку... штилеты снял... А потом... гхе-гхе... «Пойте, — говорит, — “Как мы просо сеяли, сеяли...”» Можно сказать, красивые женщины... гхе-гхе... жилет белый... художник европейский... гхе-гхе... Азия, Всеволод, Азия!

Больше всего в жизни Есенин боялся сифилиса. Выско-чит, бывало, на носу у него прыщик величиной с хлебную крошку, и уж ходит он от зеркала к зеркалу суров и мрачен.

На дню спросит раз пятьдесят:

— Люэс, может, а?.. а?..

Однажды отправился даже в Румянцевку вычитывать при-знаки страшной хворобы.

После того стало еще хуже — чуть что:

— Венчик Венеры!

Когда вернулись они с Почем-Солью из Туркестана, у Есе-нина от непрерывного жевания урюка стали слегка кровоте-чить десны.

Перед каждым встречным и поперечным он задирает губу:

— Вот, кровь идет... А?.. Не первая стадия?.. А?..

Как-то Кусиков устроил вечеринку. Есенин сидел рядом с Мейерхольдом.

Мейерхольд ему говорил:

— Знаешь, Сережа, я ведь в твою жену влюблен... в Зина-иду Николаевну... Если поженимся, сердиться на меня не бу-дешь?

Есенин шутливо кланялся Мейерхольду в ноги:

— Возьми ее, сделай милость... По гроб тебе благодарен буду.

А когда встали из-за стола, задрал перед Мейерхольдом губу:

— Вот... десна... тово...

Мейерхольд произнес многозначительно:

— Да-а...

И Есенин вылинял с лица, как ситец от июльского солнца.

Потом он отвел в сторону Почем-Соль и трагическим ше-потом сообщил ему на ухо:

— У меня сифилис... Всеволод сказал... А мы с тобой из одного стакана пили... значит...

У Почем-Соли подкосились ноги.

Есенин подвел его к дивану, усадил и налил стакан воды:

— Пей!

Почем-Соль выпил. Но скулы продолжали прыгать.

Есенин спросил:

— Может, побызгать?

И побрызгал.

Почем-Соль глядел в ничто невидящими глазами.

Есенин сел рядом с ним на диван и, будто деревянный шарик из чашечки бильбоке, выронил голову с плеч на руки.

Так просидели они минут десять. Потом поднялись и, волоча ступни по паркету, вышли в прихожую.

Мы с Кусиковым догнали их у выходной двери.

— Куда вы?

— Мы домой... у нас сифилис...

И ушли.

В шесть часов утра Есенин расталкивал Почем-Соль:

— Вставай... К врачу едем...

Почем-Соль мгновенно проснулся, сел на кровати и стал в одну штанину подштанников совывать обе ноги.

Я пробовал шутить:

— Мишук, у тебя уже начался паралич мозга!

Но когда он взъерошил на меня глаза, я горько пожалел о своей шутке.

Зрочки его в ужасе расплзались, как чернильные капли, упавшие на промокашку.

Бедняга поверил.

Есенин с деланным спокойствием ледяными пальцами завязывал галстук.

Потом Почем-Соль, забыв надеть галифе, стал прямо на подштанники натягивать сапоги.

Я положил ему руку на плечо:

— Хоть ты теперь, Миша, и «полный генерал», но все-таки сенаторской формы тебе еще не полагается!

Есенин, не повернувшись, сказал, дрогнув плечами:

— А ты все остришь!.. Даже когда пахнет пулей браунинга... И это — друг... Друг!

Половина седьмого они обрывали звонок у тяжелой дубовой двери с медной дощечкой, начищенной кирпичом.

От горничной, не успевшей еще заревые сны и телесную рыхлость упрятать за крахмальный фартучек, шел теплый пар, как от утренней болотной речки. В щель через цепочку она буркнула что-то о раннем часе и старых костях профессора, которым нужен покой.

Есенин бил кулаками в дверь до тех пор, пока не услышал в дальней комнате кашель, сипы и охи.

Старые кости поднялись с постели, чтобы прописать одному зубной эликсир и мягкую зубную щетку, а другому:

— Бром, батенька мой, бром...

Прощаясь, профессор кряхтел:

— Сорок пять лет практикую, батеньки мои, но такого, чтоб двери ломали... Нет, батеньки мои!.. И добро бы с делом пришли, а то... Большевики, что ли? То-то!.. Ну, будьте здоровы, батеньки мои.

45

«Эрмитаж». На скамьях ситцевая веселая толпа. На эстраде заграничные эксцентрики: синьор Везувио и дон Мадридо. У синьора нос вологодской репкой, у дона — полтавской дулей.

Дон Мадридо ходит колесом по цветистому русскому ковру. Синьор ловит его за шароварину:

— Фи куды пошешь?

— Ми, синьор, до дому.

А в эрмитажном парке пахнет крепким белым грибом. Как-то около забора Есенин нашел две землянички.

Я давно не был в Ленинграде. Так же ли, как и в те чудесные годы, меж торцов Невского проспекта вихрявится милая нелепая травка?

Синьора Везувио и дона Мадридо сменила знаменитая русская балерина. Мы смотрим на молодые упругие икры. Носок — подобно копыту — вонзен в дощатый пьедестал. А щеки мешочками и под глазами пятидесятилетняя одутловатость. Чудесная штука искусство!

Из гнусавого равнодушного рояля человек с усталыми темными веками выколачивает «Лебединое озеро». К нам подошел Жорж Якулов. На нем был фиолетовый френч из старых драпри. Он бьет по желтым крагам тоненькой тросточкой. Шикарный человек. С этой же тросточкой, в белых перчатках водил свою роту в атаку на немцев. А потом звенел Георгиевскими крестами.

Смотрит Якулов на нас, загадочно прищуря одну маслину. Другая щедро полита провансальским маслом.

— А хотите, с Изадорой Дункан познакомлю?

Есенин даже привскочил со скамьи:

— Где она?.. где?..

— Здесь... гхе-гхе... Замечательная женщина...

Есенин ухватил Якулова за рукав:

— Веди!

И понеслись от Зеркального зала к Зимнему, от Зимнего в Летний, от Летнего к оперетте, от оперетты обратно в парк шаркать глазами по скамьям.

Изадоры Дункан не было.

— Черт дери... гхе-гхе... нет... ушла... черт дери.

— Здесь, Жорж, здесь!

И снова от Зеркального к Зимнему, от Зимнего к оперетте, в Летний, в парк.

— Жорж, милый, здесь, здесь!..

Я говорю:

— Ты бы, Сережа, ноздрей след понюхал.

— И понюхаю. А ты — пиши в Киев цидульки два раза в день и помалкивай в тряпочку.

Пришлось помалкивать.

Изадоры Дункан не было. Есенин мрачнел и досадовал.

Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видал в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.

Спешу оговориться: губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы.

46

Почем-Соль влюбился. Бреет голову, меняет пестрые туркестанские тюбетейки, начищает сапоги американским кремом и пудрит нос. Из бухарского белого шелка сшил рубашки, длинные, на грузинский фасон.

Собственно, я виновник этого несчастья. Ведь знал, что Почем-Соль любит хорошие вещи.

А та, с которой я его познакомил, именно хорошая Вещь. Ею приятно обставить квартиру.

У нашего друга нет квартиры, но зато есть вагон. Из-за вагона он обзавелсялевой в «инженерной» фуражке.

Очень страшно, если он возьмет Вещь в жены, чтобы украсить свое купе.

Я ему от сердца говорю:

— Уж лучше я тебе подарю ковер!

А он сердится.

По вечерам мы с Есениным беспокоимся за его судьбу. Есенин, как в прошлые дни, говорит:

— Пропадает парень... пла-а-а-кать хочется!

47

Вернулась Никритина.

Холодные осенние вечера. Луна похожа на желток крутого яйца.

С одиннадцати часов вечера я сижу на скамейке Тверского бульвара против Камерного и жду. В театр мне войти нельзя. Я друг Мейерхольда и враг Таирова. Как это давно было! Теперь при встрече с Мейерхольдом еле касаюсь шляпы, а с Таировым даже немного больше, чем добрые знакомые.

Иногда репетиции затягиваются до часу, до двух, до трех ночи.

Когда возвращаюсь домой, Есенин и Почем-Соль надо мной издеваются. Обещают подарить теплый цилиндр с наушниками. Меня прозвали Брамбиллом. В Камерном был спектакль «Принцесса Брамбилла». А Никритину — Обезьянкой, Мартышкой, Мартыном, Мартышоном.

Есенин придумывает частушки.

Я считаю Никритину замечательной, а он поет:

Ах, мартышечка-душа,
Собой не больно хороша.

А когда она бывает у нас, ту же частушку Есенин поет на другой манер:

Ах, мартышечка-душа,
Собою очень хороша.

По ночам через стену слышу беспокойный шепот. Это Почем-Соль с Есениным тревожатся о моей судьбе.

Якулов устроил пирушку у себя в студии.

В первом часу ночи приехала Дункан.

Красный хитон, льющийся мягкими складками, красные, с отблеском меди, волосы, большое тело.

Ступает легко и мягко.

Она обвела комнату глазами, похожими на блюда из синего фаянса, и остановила их на Есенине.

Маленький нежный рот ему улыбнулся.

Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.

Она окунула руку в его кудри и сказала:

— Solotaia golova!

Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два.

Потом поцеловала его в губы.

И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:

— Anguel!

Поцеловала еще раз и сказала:

— Tschort!

В четвертом часу утра Изадора Дункан и Есенин уехали.

Почем-Соль подсел ко мне и стал с последним отчаянием набрасывать план «спасения Вятки»:

— Уведу его...

— Не поедет...

— В Персию...

— Разве что в Персию...

От Якулова ушли на заре. По пустынной улице шагали с грустными сердцами.

48

На другой день мы отправились к Дункан.

Пречистенка. Балашовский особняк. Тяжелые мраморные лестницы, комнаты в «стилях»: ампи ровские — похожи на залы московских ресторанов, излюбленных купечеством, мавританские — на Сандуновские бани. В зимнем саду — дохлые кактусы и унылые пальмы. Кактусы и пальмы так же несчастны и грустны, как тощие звери в железных клетках зоологического парка.

Мебель грузная, в золоте. Парча, штоф, бархат.

В комнате Изадоры Дункан на креслах, диванах, столах — французские легкие ткани, венецианские платки, русский пестрый ситец.

Из сундуков вытащено все, чем можно прикрыть дурной вкус, дурную роскошь.

Изадора нежно улыбулась, собирая морщинки на носу:

— C'est Balachoff... ploho chambre... ploho... Isadora fichu châle achetra... mnogo, mnogo guska châle...

На полу волосяные тюфяки, подушки, матрацы, покрытые коврами и мехами.

Люстры затянуты красным шелком. Изадора не любит белого электричества. Говорят, что ей больше пятидесяти лет.

На столике перед кроватью большой портрет Гордона Крэга.

Есенин берет его и пристально рассматривает. Потом будто выпивает свои сухие, слегка потрескавшиеся губы:

— Твой муж?

— Qu'est-ce que c'est mouje?

— Mari... époux...

— Qui, mari... bil... Kreg ploho mouje, ploho mari... Kreg pichet, pichet, travaillait, travaillait... ploho mouje... Kreg génie.

Есенин тычет себя пальцем в грудь:

— И я гений!.. Есенин гений... Гений — я!.. Есенин — гений, а Крэг — дрянь!

И, скроив презрительную гримасу, он сует портрет Крэга под кипу нот и старых журналов:

— Адью!

Изадора в восторге:

— Adieu!

И делает мягкий прощальный жест.

— А теперь, Изадора, — и Есенин пригибает бровь, — танцуй!.. Понимаешь, Изадора?.. Нам танцуй!

Он чувствует себя Иродом, требующим танец у Саломеи.

— Tansoui?.. Bon!

Дункан надевает есенинские кепи и пиджак. Музыка чувственная, незнакомая, успокаивающая.

Апаш — Изадора Дункан. Женщина — шарф.

Страшный и прекрасный танец.

Узкое розовое тело шарфа извивается в ее руках. Она ломает ему хребет, судорожными пальцами сдавливая горло. Беспощадно и трагически свисает круглая шелковая голова ткани.

Дункан кончила танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера.

Есенин впоследствии стал ее господином, ее повелителем. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней.

И все-таки он был только партнером, похожим на тот кусок розовой материи, — безвольный и трагический.

Она танцевала.

Она вела танец.

49

А наш друг Саша Сахаров, завзятый частушечник, уже горлодранил:

Толя ходит неумыт,
А Сережа чистенький —
Потому Сережа спит
С Дуней на Пречистенке.

Нехорошая кутерьма захлестнула дни.

Розовый полусумрак. С мягких больших плеч Изадоры стекают легкие складки красноватого шелка.

Есенин сует Почем-Соли четвертаковый детский музыкальный ящичек:

— Крути, Мишук, а я буду кренделя выделывать.

Почем-Соль крутит проволочную ручку. Ящик скрипит «Барыню»:

Ба-а-а-рыня, барыня-а!
Сударыня барыня-а!

Скинув лаковые башмаки, босыми ногами на пушистых французских коврах Есенин «выделывает кренделя».

Дункан смотрит на него влюбленными синими фаянсовыми блюдами.

— C'est la Russie... ça c'est la Russie...

Ходуном ходят на столе стаканы, расплескивая теплое шампанское.

Вертуном крутятся есенинские желтые пятки.

— Mitschatelno!

Есенин останавливается. На побледневшем лбу крупные холодные капли. Глаза тоже как холодные, почти бесцветные злые капли.

— Изадора, сигарет!

Дункан подает Есенину папиросу.

— Шампань!

И она идет за шампанским.

Есенин выпивает залпом стакан и тут же наливает до краев второй.

Дункан завязывает вокруг его шеи свои нежные и слишком мягкие руки.

На синие фаянсовые блюда будто проливается чай, разбавленный молоком.

Она шепчет:

— Essenin krepkii!.. Oschegne krepkii.

Таких ночей стало тридцать в месяц.

Как-то я попросил у Изадоры Дункан воды.

— Qu'est-ce que c'est «vodi»?

— L'eau.

— L'eau?

Изадора Дункан говорит, что она забыла, когда последний раз пила «l'eau».

Шампань, коньяк, водка.

В начале зимы Почем-Соль должен был уехать на Кавказ. Стали обдумывать, как вытащить из Москвы Есенина. Соблазнили и соблазнили Персией.

На горе, Есенин опоздал к поезду.

Почем-Соль пожертвовалевой в инженерской фуражке.

После третьего звонка беднягу высадили из вагона с тем, чтобы, захватив Есенина, догонял вместе с ним вагон в Ростове.

Выбрались они дней через семь.

Из Ростова я получил открытку:

Милый Толя. Черт бы тебя побрал за то, что ты меня вляпал во всю эту историю.

Во-первых, я в Ростове сижу у Нины и ругаюсь на чем свет стоит.

Вагон ваш, конечно, улетел. Лева достал купе, но в таких купе ездить все равно, что у турок на колу висеть, да притом я совершенно

разуверился во всех ваших возможностях. Это все за счет твоей молодости и его глупости. В четверг еду в Тифлис и буду рад, если встречу с Мишей, тогда конец всем этим мукам.

Ростов — дрянь невероятная, грязь, слякоть и этот «Сегежа», который торгуется со всеми из-за 2 копеек. С ним всюду со стыда сгорить. Привет Изадоре, Ирме и Илье Ильичу. Я думаю, что у них воздух проветрился теперь и они, вероятно, уже забыли нас. Ну, да с глаз долой и из сердца вон, плакать, конечно, не будем.

И дурак же ты, рыжий!

Да и я не умен, что послушался.

Проклятая Персия.

Сергей

А на другой день после получения этого письма заявился обратно в Москву и Есенин самолично.

50

В маленький белый вагон туркестанских дорог вошла Вещь. У Вещи нос искусной формы и мягкие золотистые волосы, губы хорошо нарисованы яркой масляной краской, а глаза — прозрачной голубой акварелью. Они недружелюбные, как нежилая нетопленая комната.

Одновременно с большой Вещью в вагоне поселилось множество маленьких вещей: голубенькие скатерочки, плюшевые коврики, ламбрикенчики, серебряные ложки, вазочки, пельницы, флакончики.

Когда Почем-Соль начинал шумно вздыхать, у большой Вещи на носу собирались сердитые складочки:

— Пожалуйста, осторожней! Ты разобьешь мое баккара.

В таких случаях я не мог удержаться, чтобы не съязвить:

— А пузырьчики вовсе не баккара, а Брокáра.

До революции была такая фирма парфюмерная.

Вещь собирала губы в мундштучок:

— Конечно, Анатолий Борисович, если вы никогда в жизни не видели хорошего стекла и фарфора, вы можете так говорить... Вот у вас с Есениным на кроватях даже простыни бумажные, а у нас в доме кухарка, Анатолий Борисович, на таких спать постыдилась бы.

И Вещь, продев в игольное ушко красную нитку, сосре-

дотоchenно начинала вышивать на хрустящем голландском полотне витиеватую монограмму, переплетая в ней начальные буквы имени Почем-Соли и своего.

В белом вагоне с каждым днем все меньше становилось нашего воздуха.

Вещи выдыхали свой — упрямый, въедливый и пахучий, как земляничное мыло.

У Почем-Соли стали округляться щеки, а мягонький набалдашник на носу — розоветь и чиновно салиться.

51

Есенин почти перебрался на Пречистенку.

Изадора Дункан подарила ему золотые часы. Ей казалось, что с часами он перестанет постоянно куда-то торопиться; не будет бежать от ампировских кресел, боясь опоздать на какие-то загадочные встречи и неведомые дела.

У Сергея Тимофеевича Коненкова все человечество разделялось на людей с часами и людей без часов.

Определяя кого-нибудь, он обычно буркал:

— Этот... с часами.

И мы уже знали, что если речь шла о художнике, то рассуждать дальше о его талантах было бы незадачливо.

И вот, по странной игре судьбы, у самого что ни на есть племенного «человека без часов» появились в кармане золотые, с двумя крышками и чуть ли не от Буре.

Мало того — он при всяком новом человеке стремился непременно раза два вытянуть их из кармана и, шелкнув тяжелой золотой крышкой, полюбопытствовать на время.

В остальном часы не сыграли предназначенной им роли.

Есенин так же продолжал бегать от мягких балашовских кресел на неведомые дела и загадочные несуществующие встречи.

Иногда он прибежал на Богословский с маленьким свертком.

В такие дни лицо его было решительно и серьезно. Звучали каменные слова:

— Окончательно... так ей и сказал: «Изадора, адью!»

В маленьком свертке Есенин приносил две-три рубашки, пару кальсон и носки.

На Богословский возвращалось его имущество.

Мы улыбались.

В книжной лавке я сообщал Кожебаткину:
— Сегодня Есенин опять сказал Изадоре:

Адью! Адью!
Давай мое белье.

Часа через два после появления Есенина с Пречистенки прибывал швейцар с письмом. Есенин писал лаконический и непреклонный ответ. Еще через час нажимал пуговку нашего звонка секретарь Дункан — Илья Ильич Шнейдер.

Наконец, к вечеру являлась сама Изадора.

У нее по-детски припухали губы и на голубых фаянсовых блюдцах сверкали соленые капли.

Она опускалась на пол около стула, на котором сидел Есенин, обнимала его ногу и рассыпала по его коленям красную медь своих волос:

— Anhel.

Есенин грубо отталкивал ее сапогом:

— Поди ты к... — и хлестал отборной бранью.

Тогда Изадора улыбалась еще нежнее и еще нежнее произносила:

— Serguei Alexandrovitsh, lublu tibia.

Кончалось всегда одним и тем же.

Эмилия снова собирала сверток с движимым имуществом.

52

Летом я встречался с Никритиной раз в сутки. После ее возвращения из Киева — два раза. Потом — три. И все-таки казалось, что мало.

Тогда она «насовсем» осталась в маленькой богословской комнате.

Случилось все очень просто: как-то я удержал ее вечером и упросил не уходить на следующее утро.

Я сказал:

— Все равно вам придется через час торопиться ко мне на свидание... Нет никакого расчета.

Никритина согласилась.

А через два дня она перенесла на Богословский крохотный тулевый лифчик с розовыми ленточками.

Больше вещей не было.

Весна. В раскрытое окно лезет солнце и какая-то незатейливая подглюповатая радость.

Я затягиваю ремень на непомерно разбухшем чемодане. Сколько ни пыхчу, как ни упираюсь коленом в его желтый фибровый живот — толку мало.

Усаживаю Никритину на чемодан:

— Постарайся набраться весу.

Она, легкая как перышко, наедается воздухом и смехом.

— Рразз!..

Раздувшиеся щеки лопаются, ремень вырывается у меня из рук, и разъяренная крышка подбрасывает «вес» кверху.

Входят Есенин и Дункан.

Есенин в шелковом белом кашне, в светлых перчатках и с букетиком весенних цветов.

Он держит под руку Изадору важно и церемонно.

Изадора в клетчатом английском костюме, в маленькой шляпе, улыбающаяся и помолодевшая.

Есенин передает букетик Никритиной.

Наш поезд на Кавказ отходит через час. Есенинский аэроплан отлетает в Кенигсберг через три дня.

— А я тебе, дура-ягодка, стихотворение написал.

— И я тебе, Вяточка.

Есенин читает, вкладывая в теплые и грустные слова теплый и грустный голос:

Прощание с Мариенгофом

Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств —
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.

Возлюбленный мой! дай мне руки —
Я по-иному не привык, —
Хочу омыть их в час разлуки
Я желтой пеной головы.

Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз —

Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.

В такой-то срок, в таком-то годе
Мы встретимся, быть может, вновь...
Мне страшно, — ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.

Другой в тебе меня заглушит.
Не потому ли — в лад речам
Мои рыдающие уши,
Как весла, плещут по плечам?

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Не зреть мне радостного дня,
Но все ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня.

Мое «Прощание с Есениным» заканчивалось следующими строками:

А вдруг —
При возвращении
В руке рука захолодеет
И оборвется встречный поцелуй.

54

А вот что писал Есенин из далеких краев:

Остенде. Июль, 9, 1922

Милый мой Толенок. Я думал, что ты где-нибудь обретаешься в краях злополучных лихорадок и дынь нашего чудеснейшего путешествия 1920 года, и вдруг из письма Ильи Ильича узнал, что ты в Москве. Милый мой, самый близкий, родной и хороший, так хо-

чется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая «северянинщина» жизни. <...>

Сейчас сижу в Остенде. Паршивейшее Гель-Голландское море и свинные тупые морды европейцев. От изобилия вин в сих краях я бросил пить и тяну только сельтер. <...>

Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший район распространения наших идей и поэзии, а отсюда я вижу: Боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может.

Со стороны внешних впечатлений после нашей разрухи здесь все прибрано и выглажено под утюг. На первых порах, особенно твоему взору, это понравилось бы, а потом, думаю, и ты стал бы хлопать себя по колену и скулить, как собака. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрее ящериц, не люди — а могильные черви, дома их гроба, а материк — склеп. Кто здесь жил, тот давно умер, и помним его только мы, ибо черви помнить не могут.

Из всего, что я намерен здесь сделать, это издать переводы двух книжек по 3 — 2 страницы двух несчастных авторов, о которых здесь знают весьма немного, и то в литературных кругах. Издаю на английском и французском. <...>

В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха. Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство. Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или как агитатор. Мне все это весело и забавно. Том свой продал Гржебину.

От твоих книг шарахаются. «Хорошую книгу стихов» удалось продать только как сборник новых стихов, твоих и моих. Ну, да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за 5 лет эмиграции. Живущий в склепе всегда пахнет мертвечиной. Если ты хочешь сюда пробраться, то потормоши Илью Ильича, я ему пишу об этом особо. Только после всего, что я здесь видел, мне не очень хочется, чтобы ты покинул Россию. Наше литературное поле другим сторожам доверять нельзя.

При всяком случае, конечно, езжай, если хочется, но скажу тебе откровенно: если я не удеру отсюда через месяц, то это будет большое чудо. Тогда, значит, во мне есть дьявольская выдержка характера, которую отрицает во мне Коган.

Вспоминаю сейчас о <...> Туркестане. Как все это было прекрасно!
Боже мой! Я люблю себя сейчас даже пьяного, со всеми своими скан-
далами...

В Самарканд да поеду-у я,
Т-там живет — да любовь моя...

<...> Толя, милый, приветы, приветы.

Твой Сергун

Дура моя — ягодка! <...>

Дюжину писем я изволил отправить к Вашей сволочности, и Ваша
сволочность — ни гу-гу.

Итак, начинаю.

Знаете ли Вы, милостивый государь, Европу?

Нет! Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как
бьется сердце... О, нет, Вы не знаете Европы!

Во-первых, Боже мой, такая гадость, однообразие, такая духов-
ная нищета, что блевать хочется. Сердце бьется, бьется самой отчаян-
нейшей ненавистью, так и чешется, но, к горю моему, один такой
ненавистный мне в этом случае, но прекрасный поэт Эрдман сказал,
что почесать его нечем. Почему нечем? <...> Я готов просунуть для
этой цели в горло сапожную щетку, но рот мой мал и горло мое узко.
Да, прав он, этот проклятый Эрдман, передай ему за это тысячу по-
целуев. <...>

Да, мой друг рыжий, да! Я писал Сереже, писал Златому, и
вы — «ни тебе, ни матери».

Теперь я понял, понял все я,
Ах, уж не мальчик я давно.
Среди исканий без покоя
Любить поэту не дано.

Это сказал В. Ш., по-английски он зовется В. Шекспиром.

О, я узнал теперь, что вы за каналы, и в следующий раз Вам как
в мечь напишу обязательно по-английски, — чтобы Вы ничего не по-
няли. <...>

Ну так вот — единственно из-за того, что Вы мне противны, за
то, что Вы не помните меня, я с особым злорадством перевел Ваши
скандальные поэмы на английский и французский языки и выпускаю
их в Париже и Лондоне. <...>

В сентябре все это Вам пришло, как только выйдут книги. <...>
Адрес мой (для того, чтобы ты не писал): <...>

С. Есенин

И Сахарову из Дюссельдорфа:

Родные мои. Хорошие.

Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, а на искусство начхать — самое высшее — музик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. <...>

Если рынок книжный — Европа, а критик Львов-Рогачевский, то глупо же писать стихи им в угоду и по их вкусу.

Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички <...> сидят, где им позволено. Ну, куда же нам с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это к <...> и навострить лыжи обратно.

Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину. <...>

Конечно, кой-где нас знают, кой-где есть стихи, переведенные мои и Толькины, но на кой <...> все это, когда их никто не читает.

Сейчас на столе у меня английский журнал со стихами Анатолия, который мне даже и посылать ему не хочется. Очень хорошее издание, а на обложке пометка: в колич. 500 экземпляров. Это здесь самый большой тираж!

Взвейтесь, кони! Неси, мой ящик... Матушка! Пожалей своего бедного сына... А знаете? У алжирского бая под самым носом шишка? Передай все это Клычкову и Ване Старцеву, когда они будут мятаться, душе моей в тот час легче станет. <...>

Твой Сергун <...>

Гоголевская приписка:

Ни числа, ни месяца...
Если б был <...> большой,
То лучше б <...> повеситься.

Мой друг, бывший артист Камерного театра, а теперь театром Макса Рейнхарда, Владимир Соколов ставил в Берлине на немецком языке с крупными немецкими актерами «Идиота» по Достоевскому.

Это было осенью 1925 года.

Я сидел в Пшор-Броу на Курфюрстендамме за полулитровой кружкой мюнхенского пива. Ждал Соколова. Со мной немецкий социал-демократ. Губы у него серые и тонкие, как веревочка. Говорит:

— Русские в Берлине любят рассказывать про нас, немцев, анекдот. Вы слышали, наверное: в каком-то городе революционное восстание. Берут вокзал. Мечутся по залам. Подбегает русский, кричит: «Почему не выходите на линию? Не занимаете платформу?» Немцы отвечают: «Касса закрыта... не выдают перронных билетов».

Я рассмеялся и подумал: «Небось о нас такой анекдотец не сложится».

Мой сосед полагает, что «перронные билеты» залог того, что немцы раньше других и самым коротким и спокойным путем придут к социализму.

Вошел Соколов. Хмурый, сердитый.

Бурчит:

— Знаешь, кажется, брошу все... Не могу... Все это как назло... Читаю, видишь ли, им первый акт «Идиота». Помнишь, как Рогожин рассказывает князю Мышкину, что валялся он пьяный ночью на улице в Пскове и — собаки его объели... Только прочел — смех... Спрашиваю: «В чем дело?» Актеры как-то неловко между собой переглядываются... Потом один говорит: «Здесь, Негг Sokolow, плохо переведено. Неправдоподобно... Достоевский так написать не мог...» — «Да что написать-то не мог?...» — «А вот насчет того, что собаки обкусали... Это совсем невозможно... Публика смеяться будет». — «Чего же смеяться-то?» — и злиться уже начинаю. «Да как же, — говорит, — собаки обкусать могут, если они в намордниках?» И ничего, понимаешь, им возражать не стал — только руками развел. Так и пришлось это место вычеркнуть...

Когда я думаю о Есенине на Западе, мне всегда приходят в голову и первый анекдот, и соколовский случай.

Есенин почувствовал себя, свой внутренний мир и свои стихи неправдоподобными и обреченными на вымарку, как та собака без намордника, которая укусила Рогожина.

Уже в кубанских степях Есенина слегка напугала железная лошаденка.

Какой же она оказалась несчастной и жалкой в сравнении с тем железным конем, которого довелось ему увидеть скачущим по другой половине земного шара.

В 1924 году я был в Париже. Как-то целый день пробродил с Кусиковым по Версальскому парку и Трианону. Устали чудесной усталостью.

Ужинали в полумиле от Версаля в маленьком ресторанчике. За разговором я сказал Кусикову:

— Знаешь, Сандро, однажды очень я рассердился, прочитав у какого-то француза в романе, что «два парижских вивера и две кокотки за одну ночь расходуют больше остроумия и грации, чем англичане, немцы, русские, американцы за целый год». А теперь...

И, не договорив, я выпил большой стакан холодного белого вина за Версаль, за французов, за романский гений.

Кусиков улыбнулся:

— А я тебе, Анатолий, кажется, еще не рассказывал, как мы сюда в прошлом году с Есениным съездили... неделю я его уламывал... Уломал... двинулись... добрались до этого самого ресторанчика... тут Есенин заявил, что проголодался... сели завтракать — Есенин стал пить, злиться, злиться и пить... до ночи... а ночью уехали обратно в Париж, не взглянув на Версаль; наутро, трезвым, он радовался своей хитрости и увертке... Так проехал Сергей по всей Европе и Америке, будто слепой, ничего не желая знать и видеть.

Я припомнил фразу из давнишнего есенинского письма о гибельности для него путешествий.

Я не знаю, — писал он, — что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар? Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то, во всяком случае, что-нибудь, разрушающее чувство земного диапазона.

В одном из лесковских романов приживалка князей Протозановых Ольга Федотовна (вскоре после похода Александра на Париж, в котором участвовал и ее князь) попадает за грани-

цу. Вернувшийся в Россию посольский дьячок про Ольгу Федотовну рассказывал:

— У нее это с Рейна началось... Как увидит развалины, сейчас вся возрадуется и пристаёт ко всем: «Смотрите, батюшка, смотрите. Это все наш князь развалил», — и сама от умиления плачет.

И, продолжая свою теорию разрушения всех европейских зданий, завела в Париже войну с французской прислугой, доказывая всем, что недостроенный в то время собор Парижской Богоматери отнюдь не недостроен, но что и его князь «развалил».

А когда княгиня приняла сторону обиженных французов, Ольга Федотовна заявила, что та «рода своего не уважает».

Пришло время признаться, что российский патриотизм, которым болели мы в годы военного коммунизма, имел большое сходство с идейным богатством Ольги Федотовны.

Не чуждо нам было и гениальное мракобесие Василия Васильевича Розанова, уверяющего, что счастливую и великую родину любить не великая вещь и что любить мы ее должны, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе... Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет и, «обглоданная евреями», будет являть одни кости — тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого...

Есенин был достаточно умен, чтобы, попав в Европу, осознать всю старомодность и ветхую проношенность таких убеждений, — и недостаточно тверд и решителен, чтобы отказаться от них, чтобы найти новый внутренний мир.

56

На лето уехали с Никритиной к Черному морю пожариться на солнышке. В августе деньги кончились. А тут еще как назло востроглазый, коричневый, будто вылепленный из глины, голопузый купец кричит раз по пять в день:

У меня, у Яшки,
У маленькой корзинке

Ал ейц у Берлине
У магазине.

К счастью: не у каждого купца столько соблазнов.

Две копейки фунт вишня!..

И пятикопеечные дыни, о которых чернокосяя синьора возвещала следующей серенадой:

Дини! Дини!
Си тихих ейш их —
Просто дим идет!.. —

делали картину нашей жизни не столь мрачной.

Мы пополняли пустоту желудков щедротами юга и писали в Москву друзьям, чтобы те потолкались в какой-нибудь мягкосердечной редакции за авансом для меня; и родичам — чтобы поскребли у себя в карманах на предмет краткосрочного займа.

Хотя, по совести говоря, плоховато я верил и в редакторское широкодушие, и в родственные карманы.

Впрочем, и родичей-то у меня близких почти что нет на белом свете. Самые кровные узы, если, скажем, бабушки наши на одном солнышке чулочки сушили. Так, кажется, говаривали старые хорошие писатели.

Вдруг: телеграфный перевод на сто рублей. И сразу вся кислятина из души выпарилась. Решили даже еще недельку поболкачать в море.

За обедом ломали головы: от кого бы такая благодать?

А вечером почтальон вручил нам догадку. Телеграмма:

Приехал Приезжай

Есенин

Ошалев, заскакал я и захлопал в ладоши.

Из желтого кожаного несессера, заменяющего колыбель, бросил в меня стыдящий взгляд шестинедельный Кирилл: «Такой, мол, дядя здоровый и козлом прыгаешь!»

Усовестясь, я помахал пальцем перед его розовенькой горошинкой с двумя дырочками:

— Ну, брат Кирилл, в Москву едем... Из невозможных Америк друг мой единственный вернулся... Понимаешь?

Розовенькая горошина сморщилась и чихнула.

— Значит, правда!

Наутро Кирилл сменил квартиру — кожаный несессер на деревянное корытце — и в скором поезде поехал в Москву.

57

— Вот и я!

— Вятчка!

Ах, какой европеец! Какой чудесный, какой замечательный европеец! Смотрите-ка: из кармана мягкого серого пиджака торчит даже блестящий хвостик вечного пера.

И, кажется, еще легче стала походка в важных белых туфлях и еще золотистой волосы из-под полей такой красивой и добротной шляпы цвета кофе на молоке.

Только вот глаза... Не пойму... странно — не его глаза.

— Мразь!

— А?

— Европа — мразь.

— Мразь?

— А в Чикаго до надземной дороги встань на цыпочки — и пальцем достанешь!.. Ерунда!..

И презрительно приподнялся на белых носках своих важных туфель.

— В Венеции архитектура ничего себе... только воняет! — И сморщил нос пресмешным образом. — А в Нью-Йорке мне больше всего понравилась обезьяна у одного банкира... Стерва, в шелковой пижаме ходит, сигары курит и к горничной пристаёт... А в Париже... Сижу это в кабаке... подходит гарсон... говорит: «Вы вот, Есенин, здесь кушать изволите, а мы, гвардейские офицеры, с салфеткой под мышкой...» — «Вы, — спрашиваю, — лакеями?» — «Да! Лакеями!» — «Тогда извольте, — говорю, — подать мне шампань и не разговаривать!..» Вот!.. Ну, твои стихи перевел... свою книгу на французском выпустил... только зря все это... никому там поэзия не нужна... А с Изадорой — адьо!..

— «Давай мое белье?»

— Нет, адьо безвозвратно... безвозвратно... Я русский... а

она... Не... могу... знаешь, когда границу переехал — пла-
кал... землю целовал... как рязанская баба... Стихи прочесть?

Прочел всю «Москву кабацкую» и «Черного человека».

Я сказал:

— «Москва кабацкая» — прекрасно. Такой лирической
силы и такого трагизма у тебя еще в стихах не было... Умуд-
рился форму цыганского романса возвысить до большого,
очень большого искусства. А «Черный человек» плохо... со-
всем плохо... никуда не годится.

— А Горький плакал... я ему «Черного человека» читал...
он плакал слезами...

— Не знаю...

Есенин не вытаскивал для печати и не читал «Черного че-
ловека» вплоть до последних дней. Насколько мне помнится,
поправки внес не очень значительные.

Вечером были в каком-то богемном кабаке на Никит-
ской — не то «Бродячая собака», не то «Странствующий энту-
зиаст».

Есенин опьянел после первого стакана вина. Тяжело и
мрачно скандалил: кого-то ударил, матерщинил, бил посуду,
ронял столы, рвал и расшвыривал червонцы. Смотрел на
меня мутными невидящими глазами и не узнавал. Одно слово
доходило до его сознания: Кирилка.

Никритина говорила:

— Сережа, Кирилка вас испугается... не надо пить... он
маленький... к нему нельзя прийти таким...

И Есенин на минутку тишал.

То же магическое слово увело его из кабака.

На извозчике на полпути к дому Есенин уронил мне на
плечи голову, как не свою, как ненужную, как холодный ко-
стяной шар.

А в комнату на Богословском при помощи незнакомого че-
ловека я внес тяжелое, ломкое, непослушное тело. Из-под
упавших мертвенно-землистых век сверкали закатившиеся бел-
ки. На губах слюна. Будто только что жадно и неряшливо ел
пирожное и перепачкал рот сладким липким кремом. А щеки
и лоб совершенно белые. Как лист ватмана.

Вот день — первой встречи. Утро и ночь. Я вспомнил по-
эму о «Черном человеке».

Стало страшно.

Может быть, не попусту плакал над ней Горький.

На другой день Есенин перевез на Богословский свои американские шкафы-чемоданы. Крепкие, желтые, стянутые обручами; с полочками, ящичками и вешалками внутри. Негры при разгрузке и погрузках с ними не очень церемонятся — швыряют на цемент и асфальт чуть ли не со второго этажа.

В чемоданах — дюжина пиджаков, шелковое белье, смокинг, цилиндр, шляпы, фрачная накидка.

У Есенина страх — кажется ему, что всякий или его обкрадывает, или хочет обокрасть.

Несколько раз на дню проверяет чемоданные запоры. Когда уходит, таинственно шепчет мне на ухо:

— Стереги, Толя!.. В комнату — ни-ни! никого!.. Знаю я их — с гвоздем в кармане ходят.

На поэтах, приятелях и знакомых мерещатся ему свои носки, галстуки. При встрече обнюхивает: не его ли духами пахнет?

Это не дурь и не скупость.

Я помню первую ночь, пену на губах, похожую на сладкий крем, чужие глаза на близком, милом лице и то, как рвал он и расшвыривал червонцы.

Раньше бывало по-другому.

Как-то Мейерхольд с Райх были у нас на блинах. Пили с блинами водку. Есенин больше других. Под конец стал шуметь и швырять со звоном на пол посуду. Я тихонько шепнул ему на ухо:

— Брось, Сережа, посуды у нас кот наплакал, а ты еще кокаешь.

Он, тайком от Мейерхольда, хитро подмигнул мне, успокоительно повел головой и пальцем указал на валяющуюся на полу неразбитую тарелку.

Дело обстояло просто. На столе среди фарфорового сервизишки была одна эмалированная тарелка. Ее-то он и швырял об пол, производя звон и треск; затем ловко и незаметно поднимал, ставил на стол и швырял заново.

Или еще: наш белый туркестанский вагон стоял в тупике ростовского вокзала. Есенин во хмелю вернулся из города. Стал буйнить. Проводник высунулся из окна вагона и заявил:

— Товарищ Молабух не приказал вас, Сергей Александрович, в этом виде в вагон пущать!

— Меня?.. не пускать?..

— Не приказано, Сергей Александрович!

— Пустите лучше!..

— Не приказано.

Тогда Есенин, крикая, стал высаживать в вагоне стекла.

Дребезжа, падали стекла на шпалы. Почем-Соль стоял в купе, бледный, в нижней рубашке и подштанниках, с прыгающей свечой в руке.

А Есенин не унимался.

После разгрома вагона прошло три дня. Почем-Соль ни под каким видом не желал мириться с Есениным. На все угрозы отвечал:

— Что ты мне говоришь: «Пьян! пьян! не в себе!..» Нет, брат, очень в себе... Он всегда в себе... Небось когда по стеклу дубасил, не голым кулаком. Он-то его в рукав прятал... чтоб не порезаться, Боже упаси... А ты: «Пьян! не в себе!..» Все стекла выставил — и ни одной на пальце царапины... Хитро, брат... А ты... «пьян... не в себе...».

В этом был Есенин.

Если бы в день первой встречи в «Бродячей собаке» он показывал червонцы, а рвал белую бумагу, я бы знал, что не так страшны и упавшие веки, и похожая на крем пена на губах, и безучастное, ломкое тело.

59

Предугаданная грусть наших «Прощаний» стала явственна и правдонастояща.

Сначала разбрелись литературные пути.

Есенин еще печатался в имажинистской «Гостинице для путешествующих в прекрасном», но поглядывал уже в сторону «мужиковствующих». Подолгу сидел он с Орешиним, Клычковым, Ширяевцем в подвальной комнате «Стояла Пегаса».

Ссорились, кричали, пили.

Есенин желал вожаковать. В затеваемом журнале «Россияне» требовал:

— Диктатуры!

Орешин злостно и мрачно показывал ему шиш. Клычков скалил глаза и ненавидел многопудовым завистливым чувством.

Есенин уехал в Петербург и привез оттуда Николая Клюева. Клюев раскрывал пастырские объятия перед меньшими своими братьями по слову, троекратно лобызал в губы, называл Есенина Сереженькой и даже меня ласково гладил по колену, приговаривая:

— Олень! Олень!

Вздыхал об олонекской избе и до закрытия, до четвертого часа ночи, каждодневно сидел в «Стойле Пегаса» среди скрипок, визжащих фокстроты, среди краснотубой, пустосердечной толпы, отыгивающей винным духом, пудрой «Леда» и мутными тверскобульварскими страстишками.

Мне нравился Клюев. И то, что он пришел путями Господними в «Стойло Пегаса», и то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромовским пивом и вобельным хвостиком, и то, что он ради мистического ряжения и великой фальши, которую зовем мы искусством, надел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти с сердцем циничным и кошунственным, холодным к любви и вере.

Есенин к Клюеву был ласков и льстив. Рассказывал о «Россиянах», обмозговывал, как из «старшего брата» вытесать подпорочку для своей «диктатуры», как «Миколаем» смирить Клычкова с Орешиним.

А Клюев вздыхал:

— Вот, Сереженька, в лапоточки скоро обуюсь... Последние штиблетишки, Сереженька, развалились!

Есенин заказал для Клюева шевровые сапоги.

А вечером в «Стойле» допытывал:

— Ну, как же насчет «Россиян», Николай?

— А я кумекаю: ты, Сереженька, голова... тебе красный угол.

— Ты скажи им — Сереге-то Клычкову и Петру — что, мол, «Есенина диктатура».

— Скажу, Сереженька, скажу...

Сапоги делались целую неделю.

Клюев корил Есенина:

— Чего Изадору-то бросил... хорошая баба... Богатая...

Вот бы мне ее... плюшевую бы шляпу купил с ямкою и сюртук, Сереженька, из поповского сукна себе справил...

— Справим, Николай, справим! Только бы вот «Россияне»...

А когда шевровые сапоги были готовы, Клюев увязал их в котомку и в ту же ночь, не простившись ни с кем, уехал из Москвы.

60

Вслед за литературными путями разбежалась у нас с Есениным дорога дружбы и сердца.

Я только что приехал из Парижа. Сидел в кафе. Слушал унылое вытье толстой контрабасной струны. Никого народу. У барышни в белом фартучке — флюс. А вторая барышня в белом фартучке даже не потрудилась намазать губы. Черт знает что такое!

А на улице непогодь; мокрядь, желтый жидкий блеск фонарей.

Я подумал, что хорошо бы эту осеннюю тоску расхлестать веселыми монпарнасскими песенками. Неожиданно вошел Есенин. Барышня с флюсом и барышня с ненакрашенными губами испуганно трепыхнулись и повели плечами. Глаз у Есенина мутный и рыхлый, как кусок сахара, полежавший в чашке горячего кофе. Одет неряшливо. Шляпа пятнистая, помятая; несвежий воротничок и съехавший набок галстук. Золотистая пена волос размылилась и посередела. Стала походить на грязноватую воду, как в корыте после стирки.

Есенин, не здороваясь, подошел к столику, за которым я сидел. Заложил руки в карманы и, не произнося ни слова, уперся в меня недобрым мутным взглядом.

Мы не виделись несколько месяцев. Когда я уезжал из России, не довелось проститься. Но и ссоры никакой не было. Только отношения похолодали.

Я продолжал мешать ложкой в стакане и тоже молча смотрел ему в глаза.

Кто-то из маленьких петербургских поэтов вертелся около. Подошла какая-то женщина и стала тянуть Есенина за рукав.

— Иди к этой матери... Видишь, с Мариенго-о-о-фом встретился!..

От Есенина пахло едким перегаром:

— Ну?..

Он тяжело опустил руки на столик, нагнулся, придвинул почти вплотную ко мне свое лицо и, отстукивая каждый слог, сказал:

— А я тебя съем!

Есенинское «съем» надлежало понимать в литературном смысле.

— Ты не Серый волк, а я не Красная шапочка. Авось не съешь.

Я выдавил из себя улыбку, поднял стакан и глотнул горячего кофе.

— Нет... съем!

И Есенин сжал ладонь в кулак.

Петербургский поэт, щупленький, черненький, с носом, похожим на восклицательный знак, и незнакомая женщина стали испуганным шепотом упрасивать Есенина и о чем-то уговаривать меня.

Есенин выпрямился, снова заложил пальцы в карманы, повернулся ко мне спиной и неровной, пошатывающейся походкой направился к выходу.

Поэт и женщина держали его под руки. Перед дверью, словно на винте, повернул голову и снял шляпу:

— Аддьоо!

И скрипнул челюстями:

— А все-таки... съем!

Поэт распахнул дверь.

Вот наша ссора. Первая за шесть лет. Через месяц мы встретились на улице и, не поклонившись, развели глаза.

61

Весной я снова уехал с Никритиной за границу. И опять вернулись в Москву в непролазь и мглу позднего октября. В один из первых дней по приезде побывали у Качаловых. В малюпатенькой их квартирке в Камергерском пили приветливое хозяйское вино.

Василий Иванович читал стихи — Блока, Есенина. Из

угла поблескивал черной короткой шерстью и большими умными глазами качаловский доberman-пинчер.

Василий Иванович положил руку на его породистую точеную морду:

— Джим... Джим... Хорош?

— Хорош!..

— Есениным воспет!

И Качалов прочел стихотворение, посвященное Джиму.

А я после спросил:

— Что Есенин?.. Погоже или худо?..

Вражда набросала в душу всякого мусора и грязи. Будто носили в себе помойные ведра.

Но время — и ведра вывернуло и мокрой тряпкой подтерло.

— Будто не больно погоже...

И Василий Иванович рассказал теплыми словами о том, что заметил за редкие встречи, что понаслышал от людей к Есенину близких и от людей сторонних.

— А где же сейчас Сережа?.. Глупо и гадко все у нас случилось... Не из-за чего и ни к чему...

До позднего часа просидели в малюпатенькой комнатке за приветливым хозяйским вином.

Прощаясь, я сказал:

— Вот только узнаю, в каких обретается Есенин палестинах, и пойду мириться.

В эту же ночь на Богословском несколько часов кряду сидел Есенин, ожидая нашего возвращения. Он колыхал Кирилкину кровать, мурлыкал детскую песенку и с засыпающей тещей толковал о жизни, о вечности, о поэзии, о дружбе и о любви.

Он ушел, не дождавшись.

Велел передать:

— Скажите, что был... обнять, мол, и с миром.

Я не спал остаток ночи. От непрошенных слез измокла наволочка.

На другой день с утра бегал по городу и спрашивал подходящих людей о есенинском пристанище.

Подходящие люди разводили руками.

А под вечер, когда глотал (чтобы только глотать) холодный суп, раздался звонок, который узнал я с мига, даром что не слышал его с полутысячу, если не более, дней.

Пришел Есенин.

Около недели суматошился я в погоне за рублем. Засуматошенный вернулся домой.

Никритина открыла дверь:

— У нас Сережа...

И встревоженно добавила:

— Принес вино... пьет...

Когда в последнее время говорила: «Есенин пьет», слова звучали, как стук костыля.

Я вошел в комнату.

Еще желтая муть из бутылок не перелилась в его глаза.

Мы крепко поцеловались.

— Тут Мартышон меня обижает...

Есенин хитро прихромнул губой:

— Выпить со мной не хочет... за мир наш с тобой... любовь нашу...

И налил в стакан непенящегося шампанского.

— Подожди, Сергун, сначала полопаем... Мартышка нас щами угостит с черной кашей... Ешь...

Есенин сдвинул брови:

— А я — мало теперь ем... почти ничего не ем...

И залпом выпил стакан.

— Весной умру... Брось, брось пугаться-то... говорю умру — значит, умру...

Опять захитрили губы.

— У меня... горловая чахотка... значит: каюк!

Я стал говорить об Италии, о том, что вместе закатимся весной к теплой Адриатике, поваляемся на горячем песке, поглотаем не эту дрянь (и убрал под стол бутылку), а чудесное палящее расплавленное золото д'аннунциевского солнца.

— Нет, умру.

«Умру» произносил твердо, решенно, с завидным спокойствием.

Хотелось реветь, ругаться последними словами, карябать ногтями холодное, скользкое дерево на ручках кресла.

Жидкая соль разъедала глаза.

Никритина что-то очень долго искала на полу, боясь поднять голову.

Потом Есенин читал стихи об отлетевшей юности и о гробовой дрожи, которую обещал он приять как новую ласку.

— К кому?

— К Есенину.

Дежурный врач выписывает мне пропуск.

Поднимаюсь по молчаливой, выстланной коврами лестнице. Большая комната. Стены окрашены мягкой, теплой краской. Мерцает синий глаз электрической лампочки.

Есенин сидит на кровати, обхватив колени.

— Сережа, какое у тебя хорошее лицо... Волосы даже снова запушились.

Очень давно я не видел у Есенина таких ясных глаз, спокойных рук, бровей и рта. Даже пооблетела серая пыль с век.

Я вспомнил последнюю встречу.

Есенин до последней капли выпил бутылку шампанского. Желтая муть перелилась к нему в глаза. У меня в комнате на стене украинский ковер с большими красными и желтыми цветами. Есенин остановил на них взгляд. Зловеще ползли секунды, и еще зловещей расползались есенинские зрачки, пожирая радужную оболочку. Узенькие кольца белков налились кровью. А черные дыры зрачков — страшным, голым безумием.

Есенин привстал с кресла, скомкал салфетку и, подавая ее мне, прохрипел на ухо:

— Вытри им носы!

— Сережа, это ковер... ковер... а это цветы...

Черные дыры сверкнули ненавистью.

— А!.. трусишь!..

Он схватил пустую бутылку и заскрипел челюстями:

— Размозжу... в кровь... носы... в кровь... размозжу...

Я взял салфетку и стал водить ею по ковру — вытирая красные и желтые рожи, сморкая бредовые носы.

Есенин хрипел.

У меня холодело сердце.

Многое утонет в памяти. Такое — никогда.

И вот: синий глаз в потолке. Узкая кровать с серым одеялом. Теплые стены. И почти спокойные руки, брови, рот.

Есенин говорит:

— Мне очень здесь хорошо... только немного раздражает, что день и ночь горит синенькая лампочка... знаешь, заворачиваюсь по уши в одеяло... лезу головой под подушку... и

еще — не позволяют закрывать дверь... все боятся, что покончу самоубийством.

По коридору прошла очень красивая девушка. Голубые большие глаза и необычайные волосы, золотые, как мед.

— Здесь все хотят умереть... эта Офелия вешалась на своих волосах.

Потом Есенин повел в приемный зал. Показывал цепи и кандалы, в которые некогда заковывали больных: рисунки, вышивки и крашеную скульптуру из воска и хлебного мякиша.

— Смотри, картина Врубеля... он тоже был здесь...

Есенин улыбнулся:

— Только ты не думай — это не сумасшедший дом... сумасшедший дом у нас по соседству.

Он подвел к окну:

— Вон то здание!

Сквозь белую снежную листву декабрьского парка весело смотрели освещенные стекла гостеприимного помещичьего дома.

64

Платон изгнал Гомера за непристойность из своей идеальной республики.

Я не Гомер.

У нас республика Советов, а не идеальная.

Можно мне сказать гадость? Совсем маленькую и не очень скабрзную? О том, как надо просить у жизни счастья.

Так вот: счастья надо просить так, как одесский беспризорный милостыню:

— Гражданка, дайте пятак. А не то плюну вам в физиономию — у меня сифилис.

65

В тюремной приемной женщина узнала о смерти мужа. Она зарыдала. Тогда к ней подошел часовой и сказал:

— Гражданка, огорчаться ступай за ворота.

31 декабря 1925 года на Ваганьковском кладбище в Москве вырос маленький есенинский холмик.

Мне вспомнилось другое 31 декабря. В Политехническом музее — «Встреча Нового года с имажинистами». Мы с Есениным молодые, веселые. Дразним вечернюю Тверскую блестящими цилиндрами. Поскрипывают саночки. Морозной пылью серебрятся наши бровные воротники.

Есенин заводит с извозчиком литературный разговор:

— А скажи, дяденька, кого ты знаешь из поэтов?

— Пушкина.

— Это, дяденька, мертвый. А вот кого ты из живых знаешь?

— Из живых нема, барин. Мы живых не знаем. Мы только чугунных.

Мой век,
мои друзья
и подруги

- Который час, Апамент?
- Час быть честным.

Шекспир

Говорят: дух, буква. В этих тетрадах все верно в «духе». Я бы даже сказал — все точно. А в букве? Разумеется, нет. Какой бы дьявольской памятью человек ни обладал, он не может буквально запомнить фразы и слова, порой сказанные полстолетия тому назад! Но суть, смысл, содержание диалогов сохранились в неприкосновенности. Такова человеческая память. В этом наше счастье, а иногда *беда*.

1

Родители одевают меня самым оскорбительным образом: я хожу не в штанах, как положено мужчине, а в платьицах — голубеньких и розовых. Волосы длинные — ниже плеч.

Мне четыре года или что-то около этого.

Живем мы на Большой Покровке, главной улице Нижнего Новгорода. Сейчас она, вероятно, называется по-другому. Да и Нижний давно не Нижний Новгород, а Горький. Как-то не довелось мне побывать в нем. Жалею ли? Да не знаю. Как будто — нет.

Мой город дорог мне, мил и люб таким, какой был при разлуке — почти полвека назад: высокотравные берега, мягкий деревянный мост через Волгу, бульжные съезды, окаймленные по весне и в осень пенистыми ручьями. Город не высокорослый, не шумный, с лихачами на дутых шинах и маленькими веселыми трамвайчиками — вторыми в России. Они побежали по городу из-за Всероссийской выставки.

Выставка в Нижнем! Трамвай! Приезд царя! Губернатор Баранов, скакавший на белом жеребце высоких арабских кровей! Губернатор сидел в своем английском седле «наоборот», то есть лицом к лоснящемуся лошадиному крупу. «Почему так?» — спросите вы. Да потому, что скакал губернатор впе-

реди императорской коляски. Не мог же он сидеть спиной к помазаннику Божию!

Вспоминая в своем кругу исторический для Нижнего Новгорода год, мама всегда говорила:

— В 1897-м и наш Толя родился. В ночь под Ивана Купала. Когда цветет папортник и открываются клады.

Для нее, конечно, из всех знаменательных событий того года мое появление на свет было наиболее знаменательным.

Нижний! Длинные заборы мышиного цвета, керосиновые фонари, караваны ассенизационных бочек и многотоварная, жадная до денег, разгульная Всероссийская ярмарка. Монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посередине города, а через реку многотысячные Сормовские заводы, уже тогда бывшие красными. Трезвонящие церкви, часовенки с чудотворными иконами в рубиновых ожерельях и дрожащие огоньки нищих копеечных свечек, озаряющих суровые лики чудотворцев, писанных по дереву-кипарису. А через дом — пьяные монопошки под зелеными вывесками.

Чего больше? Ох, монополек!

Пусть уж таким и останется в памяти мой родной город, мой Нижний. Пусть!

Не хочется мне видеть озорных друзей и звонких подруг моего отрочества. Я ведь помню их в юбочках до колен и с бантиками в пышных косах. Зачем же им, этим моим первым, вторым, третьим и четвертым любовям толстеть, сесть, морщиться и ковылять? А они теперь, разумеется, ковыляют. А некоторые, пожалуй, и отковыляли.

Жизнь!

Итак, мы живем на Большой Покровке, неподалеку от каланчи, выкидывающей красный шар, когда пожар в ее части.

Сын дворника, шестилетний Митя Лопушок, полный день гоняет по тротуару железный обруч от развалившейся бочки.

Как только я появляюсь на парадном крыльце, мама или няня выводят меня за ручку, — он кричит на всю улицу как зарезанный:

— Девчонка!.. Девчонка!..

И проносится мимо дребезжащим вихрем.

А у меня по носу текут слезы.

Никому на свете я так не завидовал, как Мите. Его зала-таннные брючки из чертовой кожи, его громадные рюжьи

штилеты, унаследованные от старшего брата, его волосы, подстриженные в кружок, как у нашего полотера, — все это было пределом моих мечтаний.

— Девчонка! Девчонка!.. — визжит Митя и чуть не перерезывает пополам своим железным обручем нашего мопса Неронку, который, кряхтя, несет в зубах мой деревянный пистолет с длинным черным дулом, заткнутым пробкой.

— Девчонка! Девчонка!..

— Экой башибузук, — незлобно ворчит няня вслед Мите.

Я креплюсь. Сжимаю губы. Смотрю в небо и делаю вид, что ужасное слово «девчонка!» не имеет ко мне никакого отношения. О, если бы знала мама, как я глубоко переживаю!

«Нет, Лопух, — говорю я себе, — ты врешь: я мальчик! мальчик! мальчик!»

И раз десять подряд повторяю это гордое слово.

Прекрасный пол обычно жалуется на свою природу. Сколько хороших женщин не раз говорило мне: «Ах, как бы я хотела быть мужчиной!» Но, право, еще никогда я не слышал от мучеников, бреющихся через день (тогда ведь еще не существовала электрическая бритва), никогда не слышал: «Черт возьми, почему я не женщина!»

А меня, видите ли, наряжали в розовые и голубые платья. За что?

Няня у меня старуха — толстая, круглая, большая. Впрочем, в те годы казались мне большими и наш двухэтажный дом с мезонином, и тощий сад в два десятка деревьев.

Няня была словно сделана из шаров: маленького (в черной кружевной наколке), внушительного (с гранатовой брошкой на груди) и очень внушительного, стоящего на чем-то воткнутом в меховые полусапоги. Эти три шара покачиваются один на другом, как это бывает в цирке у жонглеров. Старуха пахнет ладаном и вся шуршит коричневым плисом. Она — это покой, уют, тишина. Взяли ее в дом за несколько недель до моего появления на белый свет.

Несколько хуже обстояло дело с акушеркой Еленой Борисовной, которая меня принимала. Ее прямо от нас увезли в сумасшедший дом. Об этом многие годы с ужасом вспоминали мама, бабушка и все родственники.

Во время великого поста мы с няней причащались по несколько раз в день. Церквей в Нижнем Новгороде, как сказа-

но, было вдосталь, и мы попевали в одну, другую, третью. В каждой съедали кусочек просфоры — это тело Христово — и выпивали ложечку терпкого красного вина. Оно считается его кровью. Да еще «теплоту». Опять же винцо.

Ах, как это вкусно!

И оба — старуха и ребенок — возвращались домой навеселе.

Родители, само собой, ничего об этом не знали. Это была наша сокровенная тайна! Человек в четыре года очень скрытен и очень расчетлив. Только наивные взрослые все выбалтывают во вред себе.

Я играю в мячик. Как сейчас, его вижу: половинка красная, половинка синяя, и по ней тонкие желтые полоски.

Няня сидит на большом турецком диване и что-то вяжет, шевеля губами. Очевидно, считает петли.

Мячик ударяется в стену, отскакивает и закатывается под диван. Я дергаю няню за юбку:

— Мячик под диваном... Достань.

Она гладит меня по голове своей мягкой ладонью:

— Достань, Толечка, сам. У тебя спинка молоденькая, гибкая!

— Нет, ты достань!

Она еще и еще гладит меня по голове и опять что-то говорит про молоденькую спинку.

Но я упрямо твержу свое:

— Нет, ты достань. Ты! Ты!

Няня справедливо считает, что меня надо перевоспитать.

Я уже не слышу и не понимаю ее слов, а только с ненавистью гляжу на блестящие спицы, мелькающие в мягких руках:

— Достань!.. Достань!.. Достань!..

Я начинаю реветь. Дико реветь. Делаюсь красным, как бочка пожарных. Валюсь на ковер, дрыгаю ногами и заламываю руки, обливаясь злыми слезами.

Из соседней комнаты выбегает испуганная мама:

— Толенька... Толюнок... Голубчик... Что с тобой? Что с тобой, миленький?

— Убери!.. Убери от меня эту старуху!.. Ленивую, противную старуху!.. — воплю я и захлебываюсь своим истошным криком.

Мама берет меня на руки, прижимает к груди:

— Ну, успокойся, мой маленький, успокойся.
— Выгони!.. Выгони ее вон!.. Выгони!
— Толечка, неужели у тебя такое неблагодарное сердце?
— Все теперь знаю. Ты любишь эту старую ведьму больше своего сына.

А простачки считают четырехлетних детей ангелочками!

— Толечка, родной, миленький...

Мама уговаривает меня, убеждает, пытается подкупить шоколадной конфетой, грушей дюшес и еще чем-то «самым любимым на свете». Но все это я отшвыриваю, выбиваю из ее рук и упрямо продолжаю поддерживать свое отвратительное «выгони!» самыми горячими слезами. Они льются из глаз, как кипяток из открытого самоварного крана.

Слезы... О, это мощное оружие! Оружие детей и женщин. Оно испытано поколениями в бесчисленных домашних боях, больших и малых.

— Выгони!.. Выгони!..

И что же?.. Мою старую няню — этот уют и покой дома — рассчитывают, увольняют за то, что она не полезла под диван, чтобы достать мячик для противного избалованного мальчишки.

Шутка ли: единственный сынок!

Прощаясь с ней, папа говорит:

— Спасибо вам, няня, за все. Простите нас.

И, поцеловав ее, дает «наградные». Три золотые десятирублевки.

Вероятно, многие считают, что угрызения совести — это не больше чем литературное выражение, достаточно устаревшее в наши трезвые дни.

Нет, я с этим не могу согласиться!

Вот уже более полувека меня угрызает совесть за ту гнусную историю с мячиком, закатившимся под турецкий диван.

Мама провожает старушку до извозчика. Вытирая кружевным платочком покрасневшие глаза и кончик нежного носа, тоже покрасневший, она говорит с грустью:

— Ах, моя голубушка, тут уж ничего не поделаешь, ведь Толечку принимала сумасшедшая акушерка.

Утро.

Мама расчесывает белым гребешком мои длинные волосы.

В этом случае все матери на земном шаре говорят одно и то же:

— Как шелк... как шелк. Чистый шелк.

Потом мама берет мою левую руку и кладет ее на золотистый валик турецкого дивана рядом со своей тонкой рукой с длинными пальцами и ногтями, как розовые миндалинки:

— Смотри, Толя, как твои пальчики похожи на мои. И ноготки такие же. Только у тебя малюсенькие.

И целует каждый ноготок в отдельности.

— Ты, наверно, будешь знаменитым пианистом.

А у меня ни слуха ни духа. Руки, глаза, носы, подбородки, губы тонкие, как ниточка, и толстые, как сардельки, — все это врет, обманывает, право, не меньше, чем наш каверзный язык. Сколько я видел совершеннейших растяп с орлиными носами, безвольных мужчин с выдвинутыми подбородками и очень злых людей с добродушными носами картошечкой.

— Нет, — бурчу я, — нет, я буду знаменитым шарманщиком. С попугаем. Я шарманки люблю.

Маму это огорчает.

Потом она говорит:

— Все остальное у тебя папино. И такой же высокий будешь.

— А папиной бороды у меня нет.

Мама смеется. Почему? Разве я сказал что-нибудь глупое?

Обиженно морщит лоб и гордо заявляет:

— Я знаю, из чего папы делаются!

Она испуганно на меня смотрит.

— Знаю! Папы делаются из мальчиков.

Мама облегченно вздыхает.

Этот наш разговор получил нижегородскую славу. Ровно через десять лет меня спрашивал вице-губернатор Бирюков, с сыном которого я сидел на одной парте в Нижегородском Дворянском институте:

— Скажи-ка мне, Толя, из чего папы делаются?

Нашу повариху звали Катей. Говоря своими сегодняшними словами, она была пышнощекая, дородная, чернобровая, черноглазая. В ушах болтались цыганские серьги — серебряными колесиками величиной с блюдце для варенья.

— Ух и пересолила же Катенька суп! — несердито говорил папа.

Или:

— Ух и пережарила Катенька ростбиф!

Он любил ростбифы и бифштексы с кровью.

— Нынче, Боря, воскресенье, — всякий раз с улыбкой отвечала мама.

— Ах, да...

— К Катеньке с утра солдат пришел.

— Новый?

— Нет. Владимир. Очень симпатичный.

Я уже знал трех Катиных солдат. Все они внушали мне уважение, так как, на мой глаз, были большими, пожилыми, сильными, воинственными мужчинами, стреляющими из пушек по врагам. Головы круглые, стриженные под машинку. Сапоги тяжелые. Серые шинели пахли псиной.

И только значительно позже я понял, что они, эти Катинины солдаты, были не пожилыми. И даже еще не мужчинами.

— Совсем еще дети! — сказал бы я сейчас.

Им было по двадцати одному году.

Бежит, бежит время.

Я давно хожу не в голубых и розовых платящах, а в коротких, выше колен, штанишках. Не очень-то и с ними в дружбе! Еще бы: мечтаю о брюках. О суконных мужских брюках! И они уже не за горами. Оказывается: все в жизни не за горами — и юность, и зрелость, а за ней, черт побери, и старость. Я бы сказал, не столь уж мудрая, как брюзжащая и самовлюбленная.

Бог его знает, кто прав: юноши, считающие стариков романтическими глупцами, или спесивые старики, убежденные, что у юношей пусто и скучно в их расчетливых головах.

На вступительные экзамены в Дворянский институт императора Александра II меня привела Марья Федоровна Трифонова, начальница того детского пансиона, где я начал свое мученическое восхождение по проклятой тропе наук, добрая половина которых оказалась мне в жизни совершенно не нужной. К примеру: алгебра, геометрия, тригонометрия... А вот за то, что меня, шестилетнего, заставили вы зубрить таблицу умножения, я по сегодняшний день благодарен. Таковую она беспрерывную и верную службу служит!

Перед институтскими экзаменами мы страшно волнуемся. Экзаменуют в актовом зале. Я еще никогда не видел такого

паркета. В нем отражаешься, как в зеркальных витринах на Большой Покровке.

А скользкий он, как лед на Чернопрудском катке. Я уже два раза шлепнулся.

Сегодня экзамен по диктанту.

Марья Федоровна шепчет мне:

— Толя, сядь на парту у окна, выходящего в коридор.

— Хорошо, Марья Федоровна.

Неужели она собирается мне подсказывать? Кто? Сама начальница пансиона! Важная дама с лорнетом и волосами белыми, как салфетка. Суровая, как солдат на часах у губернаторского дворца. Она будет подсказывать мне, как Алеша Гриневич, которого она сама ставила за это в угол носом? Невероятно! А если и ее поставит в угол носом вон этот грозный старик в синем сюртуке с золотыми пуговицами — директор Костырко-Стоцкий? Все институтцы, как я узнал вскоре, называли его Касторка с Клецкой.

Я пишу диктант. Сердце — ледяная сосулька, а в голове чад, как на кухоньке у Мити Лопушка, где всякий день жарили на конопляном масле превкусные оладьи. Мы с Митей частенько менялись: он мне давал две оладьи, а я ему бутерброд с ветчиной и бутерброд с швейцарским сыром, которыми мне полагалось завтракать в пансионе.

Лысый педагог, коварный человек с невнятно скрипучим голосом, нарочно диктует так, чтобы я сделал как можно больше ошибок:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда...

Где писать «не», где «ни»? А как писать «птичку»? С мягким знаком или без мягкого?.. Вся надежда на Марью Федоровну. В ней мое спасение! Но в актовом зале все нижние стекла молочные, непроницаемые! А Марья Федоровна все-таки не великан, даже на своих французских каблуках. Может быть, она догадается и встанет на цыпочки, чтобы увидеть, какой кошмар творится в моей тетради?

И вдруг ее спасительный лорнет сверкнул над молочным стеклом.

Ледяная сосулька в моей груди постепенно оттаивает.

Но...

Что это?

Глаза Марьи Федоровны от ужаса вылезают из орбит. Над молочным стеклом появляется ее рука в черной кружевной митенке. Сухонький палец растерянно подает мне какие-то непонятные сигналы и знаки. Из всего этого ясно одно: я сделал ошибку... Где? Какую?.. Перечитываю. Вон она! Вот! Я написал «птичку» без мягкого знака.

Радостно исправляю: «Птичка».

И победоносно смотрю на Марию Федоровну, поднявшуюся на цыпочки. А она с искаженным от ужаса лицом в отчаянии хватается за голову и стремительно отходит от окна.

«Дура! Старая дура! — ругаюсь я. — Даже подсказать как следует не умеет!»

Ее авторитет безнадежно падает в моих глазах.

«А еще начальница пансиона!»

За диктант я получил тройку. Но меня все-таки приняли, так как все остальные предметы сдал на пять.

Итак, я институтец!

С осени уже буду расхаживать в черных суконных брюках и в длиннополом мундире с красным воротником, как у предводителя дворянства.

2

Умирает мама. Тяжело, мучительно умирает. Нет, это гипсовое лицо — не лицо моей мамы! Эти глаза — запавшие, мутные, скорбные — не ее глаза. Эти прямые поредевшие влажные волосы, утеравшие свой изумительный блеск, — не ее!

Нас, детей, двое. Сестра еще совсем маленькая. Она играет в куклы, ничего не понимая.

Наша детская комната отделена от спальни родителей просторной столовой и папиным кабинетом. В старом доме толстые стены. И все-таки зловещие звуки, несущиеся из спальни, бьют по голове.

Бьют, бьют, бьют.

Зарываюсь под одеяло. Прислушиваюсь. Холодные мурашки пробегают по телу. Холодные слезы скатываются по щекам. Я знаю: это икает мама.

Так начался тот день. Солнечный весенний день.

Мама икает. Икает час, два, три...

Шаги по коридору. Отворяется дверь. Входит папа.

— Идем, Толя, — он берет меня за руку, — мама хочет тебя видеть. Вытри слезы и будь мужчиной.

И вот мы около ее кровати.

У изголовья сидит доктор. Я смотрю с какой-то неиссякаемой злобой на его черный сюртук, на сверкающие белые манжеты с тяжелыми золотыми запонками. Руки пухлые, выхоленные. Черная борода пахнет духами и тщательно расчесана. А лицо как из сливочного масла. Важное, серьезное, горестное. Словно играет в театре. «А вот вылечить маму не можешь! У, так и убил бы! убил бы!»

Мама гладит меня по голове.

Когда на минуту прекращается зловещая икота, она говорит очень тихо:

— Что же будет... что будет со всеми вами без меня...

И плачет. И поднимает на отца свои бесконечно усталые глаза:

— Боря, запомни, пожалуйста...

И начинает объяснять, где что лежит — Борино, Толино, сестренки.

Мама умерла в девять часов вечера. У нее был рак желудка.

О, как я ругал Бога! Какими ужасными словами! Ведь с трех лет, ежевечерне на сон грядущий я горячо молился ему: «Господи, сделай, пожалуйста, так, чтобы мама, папа, сестренка, я и собачка Нерошка умерли в один и тот же день, в одну и ту же минуту».

Я в третьем классе.

Прошли рождественские каникулы. Началось второе полугодие. Мы решили издавать журнал.

Мы — это задумчивый нежный красавчик Сережа Бирюков, барон Жоржик Жомини по прозвищу Япошка и я.

Жоржик маленький, самый маленький в классе, желтый, как гоголь-моголь, и в очках! Зубки всегда оскалены. У него больше всех двоек, дерзостей и проделок. Поэтому он чаще других сидит в карцере. Мой отец говорил: «Он похож на заводную игрушку, завод которой никогда не кончается».

Будущему журналу даем название «Сфинкс». Почему? В том единственном номере, который нам удалось выпустить, ничего загадочного не было.

Сереза Бирюков сочинил рассказ о собаке. Разумеется, она была гораздо умней, добрей и порядочней человека. Так уж принято писать о собаках, что в сравнении с ними наш брат довольно противное животное.

Япощка нарисовал ядовитые карикатуры: на директора Касторку с Клецкой, сидящего в столовой ложке. Малыш в институтском мундире глядел с омерзением на это лекарство. Подпись: «Фу-у-у! Не хочу!» Вторая карикатура была на красного надзирателя Стрижа. Он порхал в нашем саду и пачкал на головы веселящихся институтцев.

Ну а я напечатал в «Сфинксе» стихотворение. Помню только две первые строчки:

Волны, пенясь, отбегали
И журчали вдалеке...

Журнал приняли в классе бурно. Он переходил из рук в руки, читался вслух, обсуждался.

Рассказ про собаку и лихие карикатуры оказались в глазах институтцев, как ни странно, не бог весть чем. Этому все поверили. Но сочинить стихотворение в правильном метре, да еще с настоящими рифмами: «Э, надувательство!»

И весь класс стал надо мной издеваться: «Поэт!.. Ха, поэт!.. Пу-у-ушкин!»

Больше всех приставал Борька Розинг, прилизанный пшютик с пробритым средним пробором:

— Ну, Анатолий, признавайся как на духу: стишок-то свой из какого календаря сдул?

Я не выдержал и дал ему в морду. Удар удался. Из носа хлынула кровь на выутюженный мундирчик.

Борька, зажав ноздри в кулак, с ревом побежал жаловаться к Стрижу. Тот доложил Касторке с Клецкой.

— В карцер его. На четыре часа. Этого Пушкина! — не поднимая голоса, презрительно сказал директор.

Так началась моя поэтическая деятельность и мои литературные страдания.

Сейчас мне за шестьдесят, но они еще не окончились.

Я влюблен в Лидочку Орнацкую.

Каждая самая обыкновенная первая любовь необыкновенна. Лидочка очень тоненькая девочка. Довольно долго мне нра-

вились исключительно «очень тоненькие». А когда повзрослел, отлично понял, что и в полненьких немало своей прелести.

У Лидочки темные волосы, пухлые розовые губки и круглые серебряные глаза, похожие на новенькие полтинники. Когда она улыбается, мне кажется, что улыбается весь Нижний Новгород, окружающий меня. А когда ее полтинники тускнеют, я уверен, что Нижний Новгород переживает великую драму.

Мы с Лидочкой вместе ходили в театр. Самой любимой нашей пьесой был «Гамлет».

Стоило только потускнеть Лидочкиным глазам (неизвестно, по какой причине — получила ли она двойку по арифметике или поссорилась с подругой из-за ленточки в косе) — и я уже сравниваю ее судьбу с судьбой безумной Офелии, утопившейся в холодной воде. А свою трагическую участь — с участью Датского принца, предательски заколотого отравленной рапирой. А Жоржика Жомини... Вернее, не его самого, а только его круглую неугомонную голову, похожую на летающий шарик бильбоке, я представлял себе в виде черепа придворного шута, «бедного Йорика». И у меня сейчас же вставал перед глазами актер Орлов-Чужбинин, любимец нижегородской публики. Вот он стоит в черном плаще перед открытой могилой и бархатным голосом говорит отполированному черепу с черными впадинами глазниц:

— Ну а теперь отправляйся в спальню к какой-нибудь цветущей красавице и скажи ей, что если она даже положит себе на лицо румян толщиной в палец, то все равно довольно скоро будет похожа на тебя.

После чего любимец нижегородской публики левой рукой довольно высоко подбрасывал этот трагический костяной мячик и почти с балетной грацией ловил его правой рукой.

Зал, конечно, гремел аплодисментами.

Слова Гамлета запомнились мне на всю жизнь. Я даже купил себе костяной череп с черными впадинами глазниц. Он стоял у меня на письменном столе.

После спектакля я провожал Лидочку домой на лихаче. Это случалось не часто. Из Москвы, от тети Нины, два раза в год я получал по сто рублей. Это являлось королевским подарком, если принять во внимание, что тетя Нина была не чернотемная помещица, а только классная дама в женском Екате-

рининском институте и жила на жалованье более чем скромное.

У нас в доме про эту «катеньку» тети Нины (на сторублевке был портрет Екатерины II) шутливо говорили:

— Это Анатолию на блеск рода.

Ах, лихачи, лихачи! Плетеные желтые сани, медвежья полость на зеленом сукне, тонконогая кобылка цвета крепкого чая под шелковой попоной. Копыта глуховато цокали по свежему снегу, такому же мягкому, как белая медвежья полость.

— Как вы думаете, Лидочка, — спросил я, нежно обнимая ее за талию, — сколько лет Гамлету?

— Девятнадцать! — весело, звонко ответила она. — Или двадцать.

Я отрицательно помотал головой:

— Увы, Лидочка, он старый.

— Старый? Гамлет старый?

Она удивленно метнула в меня свои серебряные полтинники.

— Да! Ему тридцать.

— Не может быть!

— Вы, Лидочка, вероятно, не очень внимательно слушаете разговор на кладбище. Могильщик ведь говорит, что он тридцать лет тому назад начал копать ямы для людей. Как раз в тот день, когда родился принц Гамлет.

— Неужели я это прослушала?

— Трижды, Лидочка.

— Ну и хорошо сделала! А вам, Толя, не надо мне говорить, что Гамлет старик.

— Да еще толстый и с одышкой.

— Что? Нет, уж это вы придумали!

— Ничего подобного.

— Придумали, придумали! Из ревности. Потому что знаете, как я влюблена в Гамлета.

Мне не оставалось ничего другого, как высокомерно улыбнуться:

— Вы опять, Лидочка, трижды прослушали.

— Что? Что прослушала?

— Да во время дуэли мама-королева так прямо и говорит: «Ты, мой Гамлет, тучный, поэтому задыхаешься и потеешь».

— Перестаньте, Толя!

— Честное слово!

Лидочка отвернулась, сердито надув розовые губки, которые она то и дело облизывала острым кончиком языка, чтобы они были еще розовей.

В ту эпоху четырнадцатилетние красавицы еще не мазали их помадой.

«Вот болтун! — обратился я к самому себе. — Сегодня уж тебе, идиоту, не целоваться с Лидочкой».

Мы неслись над замерзшей Волгой по откосу, где стояли дворцы купцов-миллионщиков.

Под шелковой попоной дымилась наша кобылка цвета крепкого чая.

Большими хлопьями падал снег. Падал лениво, нехотя, не торопясь с неба на землю.

Несколько поумнев — это случилось примерно лет через двадцать, — я вторично сказал самому себе: «И вправду, дружище, ты был тогда не слишком умен».

Лидочка оказалась права со своим Датским принцем. Какой же он у Шекспира тридцатилетний? Вздор! Мальчишка он у Шекспира, юноша. А сделал его тридцатилетним первый в Англии исполнитель «Гамлета» Ричард Бербедрж — главный актер театра «Глобус». Немолод, невысок, усатый, бородатый, он являлся и хозяином «Глобуса». Играл Бербедрж и старика Лира, и Ричарда III, и генерала Отелло.

Получив от Шекспира трагедию мести «Гамлет, принц Датский» и оценив по достоинству роль мстителя, Бербедрж, нимало не смутясь, подработал заманчивую роль под себя, «подмял», как сказали бы нынче.

А почему бы этого и не сделать актеру, великому не только в своих глазах, но и в глазах Англии. Кто был такой в то время по сравнению с ним, с великим Ричардом Бербедржем, какой-то драмописец мистер Шекспир? Литературная безымянная мелочь.

Вот Бербедрж со спокойной совестью и вставляет в роль Гертруды и могильщика несколько строк, вероятно, собственного сочинения.

Право, XVII век не слишком далеко ушел от нашего. Тогда тоже портили пьесы. Кто? Актеры, заказчики, королева, вельможи. Теперь их портят редакторы, завлиты, режиссеры. Только в этом и различие.

Мы с Лидочкой виделись два раза в неделю: в субботу на катке и в воскресенье в театре или на концерте. Но переписыв-

вались ежедневно. А почта у нас была своеобразная: это Константин Иванович Гастев. Он преподавал русский язык в институте и во 2-й женской гимназии, где училась Лидочка. Строгий и самоуверенный педагог являлся отменно исполнительным почтальоном — свои письма мы клали под стельку его галоши. Константин Иванович тоже разъезжал на лихаче (но без шелковой попоны), и через десять — пятнадцать минут Лидочкин продолговатый конвертик, чуть-чуть надушенный персидской сиренью, попадал в мои руки.

«Но что будет, — спрашивал я себя, — когда сойдет снег, высохнут тротуары и Константин Иванович снимет свои галоши?.. Ведь любить Лидочку Орнацкую я буду не до середины апреля, а вечно!»

У меня соперник. Это вихрастый гимназист Вася Косовотов, сын сторожа из Вдовьего дома.

Если бы я мог оценить относительно спокойно наши взаимные шансы на победу, то, вероятно, мое отроческое сердце не отбивало бы в груди трагическую барабанную дробь.

Смотрю и смотрю на себя в зеркало: «Да, у меня римский нос. Абсолютно древнеримский!.. Тонкие иронические губы... Благородно-удлиненный профиль... Как вычеканенный на античной монете (отец коллекционировал их). Интересное лицо!»

Я никогда не был повинен в чрезмерной скромности.

«А Васька? Он же типичный губошлеп! Что-то безнадежно курносое. Да еще в коричневых веснушках! Даже зимой. А что будет летом?»

Но у ревности такие же громадные глаза, как у страха. И я говорю себе: «То, что я красивей, это неоспоримо, но в его проклятой физици есть какая-то чертовская милота. Он похож на Митю Лопушка, героя моего детства. Пропади пропадом Васькина круглая морда! Вместе со своей улыбочкой — “душа нараспашку”!»

И стучит ревнивое сердце — утром, днем, вечером. Однако сплю как убитый. Четырнадцать лет!

«А главное, он замечательно катается на коньках, этот чертов сын Васька! Выкручивает на льду какие-то невероятные кренделя. Даже танцует вальс-бостон! Леший с ним! Пусть бы танцевал на своих дрянных снегурочках хоть танец самого дьявола. И раскроил о лед свою башку! Но ужас в

том, что Васька всей этой конькобежной премудрости обучает Лидочку. Мою Лидочку! Ой, а теперь они танцуют польку-бабочку!»

Я, конечно, презрительно смотрю на них прищуренными глазами и улыбаюсь печоринской улыбкой. Но коварная девица в крохотной горностаевой шапочке (раскрасневшаяся, сияющая, сверкающая серебряными глазами!) не обращает на мою печоринскую улыбку ни малейшего внимания.

«Оказывается, она — дура! Пустышка! Круглый ноль!.. А я-то ее на «Гамлета» вожу. Нашел кого! Пустышку, которой бы только крутиться на льду в каких-то кретинских танцах».

И я отворачиваюсь в сторону от «дуры», от «пустышки», от «круглого ноля».

Однако выдержки у меня маловато: опять не отрываясь гляжу на нее, на него, на них. Гляжу прищуренными глазами. То и дело сдергиваю с руки и вновь нервно натягиваю белую замшевую перчатку. Совсем как Орлов-Чужбинин в «Коварстве и любви» Фридриха Шиллера.

Наш Чернопрудский каток обнесен высокой снежной стеной. В дни, когда играет большой духовой оркестр под управлением Соловейчика, билет стоит двугривенный. Это большие деньги. На них можно купить грудку пирожных в булочной Розанова. Откуда взять такую сумму сыну сторожа из Вдовьего дома? И вот, рискуя жизнью, мой соперник всякий раз кубарем скатывается по снежной крутой стене. Раз! два! — и на льду. И уже выписывает свои замысловатые кренделя на допотопных снегурочках.

В одну прекрасную субботу я, терзаемый ревностью, говорю своей даме в крохотной горностаевой шапочке (Боже, как она к ней идет!):

— Взгляните налево, Лидочка.

И показываю ей сына сторожа из Вдовьего дома в то самое мгновение, когда он скатывается на лед. Собственная спина служит ему салазками. Фуражка слетела. Желтые вихры, запорошенные снегом, растопорщились, как шерсть на облезлом коте при встрече с собакой.

— Что это? — растерянно шепчет Лидочка.

— «Заяц!» — отвечаю я с искусственным равнодушием. — Самый обыкновенный чернопрудский «заяц». К счастью,

уборщик снега не видел, а то бы ваш кавалер получил метлой по шее.

На Лидочку это производит страшное впечатление. Она надувает губы, задирает носик и прекращает всякое знакомство с моим грозным соперником.

— Нет, — говорит она, — этот чернопрудский «заяц» мне не компания.

Я торжествую победу. И в тот же вечер всю эту историю рассказываю отцу, с которым привык делиться событиями своей жизни. У нас товарищеские отношения.

Отец снимает с носа золотое пенсне, кладет на книгу, закуривает папиросу и, кинув на меня холодный, недружелюбный взгляд, говорит негромко:

— Так. Значит, победитель? Победитель!.. А чем же это ты одолел своего соперника? А? Тем, что у тебя есть двугривенный, чтобы заплатить за билет, а у него нет?.. Н-да! Ты у меня, как погляжу, герой. Горжусь тобой, Анатолий. Продолжай в том же духе. И со временем из тебя выйдет порядочный сукин сын.

Отец не боится сильных выражений.

Я стою с пылающими щеками, словно только что меня больно отхлестали по ним.

Отец надевает на свой крупный нос золотое пенсне и берет книгу. Он перечитывает «Братьев Карамазовых».

— Иди, Анатолий. — Таким тоном он разговаривал со мной не больше одного раза в год. — Иди же! Готовь уроки.

Я медленно выхожу из его кабинета.

«Стыд, стыд, где твой румянец?» — спросил бы принц Датский.

Разумеется, в тот вечер я не приготовил уроков. Не до латинского языка мне было.

Прошло пять десятилетий. И, как видите, из моей памяти не изгладились скверные события зимнего нижегородского дня.

Лидочка Орнацкая... Вася Косоворотов... Первая любовь. Первая ревность. Ну?.. И первая мерзость, что ли?.. Стоп, стоп! Пожалуй, не первая. А история с мячиком, закатившимся под диван?

Нет, друзья мои, я не считаю, что угрызения совести — это всего-навсего устаревшее литературное выражение. Чувства и страсти не так уж быстро выходят из моды. Это ведь не штаны и шляпы.

Нижегородское футбольное поле раскинулось в полуверсте от города, влево от Арзамасского шоссе, обрамленного с обеих сторон тенистыми дедовскими березами. Божии странники с посошками из можжевельника и странницы в белых платках под этими березами хоронились от солнца, от дождя, полудничали, вечерничали и занимались любовью.

Трехэтажный Вдовый дом в розовую штукатурку тогда являлся последним городским зданием. Его приходилось огибать футболистам.

Ножной кожаный мяч я обожал почти с той же горячностью, как поэзию символистов и трагедии Шекспира.

В роковое майское воскресенье с фибровым чемоданчиком для бутс в руке я возбужденно отшагивал на ответственный матч между нашим КЛФ (кружок любителей футбола) и 1-й сборной Нижнего Новгорода.

Вдруг возле высоких железных ворот Вдовьего дома я увидел Васю Косоворотова. В яркой сатиновой рубашке навыпуск, в синем картузике на веселых вихрах. Он стоял в куче вдовьедомских ребят в таких же ярких сатиновых рубашках, подпоясанных либо широким ремнем, либо плетеными шнурами с кисточками на концах. Ребята были несколько повзрослей моего бывшего соперника.

Заметив меня, бывший соперник что-то сказал ребятам, и те выстроились в подлинную стенку. А он, надвинув на брови картузик, грозно зашагал мне навстречу.

«Ух, плохо твое дело!» — мысленно сказал я себе.

И скосил глаз на стенку: «Вон ведь какие верзилы...»

Ребята в стенке так же, как Вася Косоворотов, воинственно надвинули на брови свои картузы и засунули руки в карманы штанов.

Бывший соперник быстро шел мне наперерез.

Пришлось напрячь всю свою мальчишескую волю, чтобы бессмысленно не пуститься наутек. Но ходу я все-таки понабавил. Тут сами ноги действовали, а не расчетливая голова, в которой прыгала все та же мысль: «Плохо дело. Ой, плохо!».

Секунды шли как часы.

Не мигая я смотрел вперед, только вперед.

«Уф-ф!»

И в то же мгновение бывший соперник, превратившийся в лютого врага, со всего размаха ударил меня ладонью по щеке.

Да, именно — не съездил в морду, а ударил по щеке. Дал пощечину, звонкую, как в цирке.

«Вот оно!»

У меня запылала левая часть лица и свалилась на землю фуражка с красным дворянским околышем.

Ее надо было поднять. Нагнуться, поднять и надеть на голову. Мне показалось это самым унижительным.

А вдруг он даст мне еще пинок по заду и я растянусь, как жалкий клоун в цирке, — губами и носом прямо в загаженный песок дороги. Потом буду отряхиваться, вытирать лицо и выплевывать песок. А лютый враг захохочет надо мной, и все вдовьедомские ребята тоже захохочут.

«О-о-ой!» — простонало внутри.

Но пинка по заду я не получил. Пощечина осталась пощечиной, оскорблением. Совсем как в великосветском романе.

Я поднял фуражку, надел ее и молча зашагал по дороге, позорно не дав сдачи. Ведь Васька со своими ребятами в картузах, воинственно надвинутых на брови, сделали бы из меня «кашу-размазню», как говорила уличная детвора.

«Ишь, семеро на одного!»

Быть побежденным в жизненной схватке одинаково тяжело, обидно, горько во всех возрастах.

В тот день я отвратительно играл в футбол.

И почти не спал ночь.

«Вызвать его на дуэль?.. Господи, какое идиотство!.. Гусары в таких случаях выходили из полка... Застрелиться?»

И я заплакал. Уж очень стало себя жалко.

Эта пощечина была первой и, к счастью, последней в моей жизни.

Отцу я не рассказал о ней.

Я либо читаю, либо пишу стихи. Пишу и читаю днем, ночью, дома и в институте на уроках. Читаю из-под парты, положив себе на колени декадентскую книжку.

Вслед за мной добрая половина институтцев распевает на все лады Валерия Брюсова:

О, закрой свои бледные ноги!

Писать стихи — это значит еще и бормотать их в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте: на улице,

за обедом, во время общей молитвы в актовом зале, в уборной и даже стоя в воротах футбольного поля в качестве голкипера.

Вот юродивое сословие эти сочинители рифмованных строк!

В ранней юности над ними измываются приятели, иронизируют трезвые подруги, подтрунивают тети и дяди, смеется хорошенькая горничная; несколько позже сердятся жены, если они из богатого и делового дома. И скажем честно: сердятся на полном основании. Из бормочущего мужа ничего путного не выйдет. Ни вице-губернатора не выйдет, ни председателя Казенной палаты, ни члена правления солидного банка.

Отец, как правило, возвращается из клуба после трех часов ночи. В клубе он бывает ежедневно. Даже после концерта или театра он едет туда «выкурить папироску». Так говорится.

Глубокая ночь.

Я пишу жестокую поэму о своей первой любви. Себя не щажу. В этом суровом приговоре есть доля кокетства. И немалая. Ах, как приятно не щадить себя!

Входит отец.

— Батюшки! А ты все еще не спишь? Ложись, брат, ложись. Завтра рано вставать.

— Я, папа, завтра не пойду в институт.

— Почему?

— Кончаю поэму.

— Ну, как? Вытанцовывается?

— Не знаю. Скоро тебе прочту.

— Жду с нетерпением. Ну, пиши, пиши. Я оставлю Дуняше записку, чтобы тебя не будила.

— Спасибо, папа. Спокойной ночи.

И целую у него руку. А в детстве я любил засыпать, положив себе под голову эту большую ласковую руку, которая не дала мне ни одного шлепка.

Весной меня не допустили к переходным экзаменам: три годовые двойки — по алгебре, по геометрии и по латыни.

«Сел! Второгодник!»

Огорчился я смертельно.

Отец меня утешал:

— Экой вздор! Ну, кончишь институт на год позже. Зато, мой друг, ты написал две поэмы и несколько десятков стихотворений. Из них, по-моему, три-четыре хороших.

Но Дворянский институт мне окончить не довелось. Дела

сложились так, что мы должны были осенью того же года уехать из Нижнего.

Отец принял представительство на Пензу и Пензенскую губернию английского акционерного общества «Граммфон» («Пишущий Амур») с процентами от оборота, довольно значительного, так как общество давало широкий индивидуальный кредит на аппараты и пластинки.

К средней школе у меня была лютая ненависть.

— Я, папа, не имею ни малейшего желания сидеть лишний год за проклятой партой.

— Что же делать, мой друг?

— Буду заниматься летом, — ответил я. — А осенью в Пензе держать экзамен по всем предметам в следующий класс.

— Недурная мысль. Но я думал, что мы поедем месяца на два в Швейцарию, — сказал отец.

Он еще в декабре задумал этот променад. Из Москвы, Берлина и Женева выписывал путеводители и читал их с превеликим увлечением.

— Нет, папа, мне, к сожалению, не до путешествия.

— Ну, тогда мы и не поедем. Я буду тебе подыскивать хорошего репетитора.

Он снял пенсне.

— По моим сведениям, в Пензе имеется частная гимназия некоего Пономарева. Вот, значит, и сыпь туда — полегче будут экзаменовать. Особенно воспитанника Дворянского института. Я этих пономаревых, этих интеллигентов из поповского племени, немного знаю: на них гипнотически действуют ваши дурацкие фуражки с красными околышами и с геральдическими гербами.

Отец оказался прав: экзаменовали меня кое-как, наспех — словно боялись, что я возьму да и срежусь. Даже по геометрии и по алгебре я получил пятерки.

Моя фуражка с дворянским околышем да красный воротник мундира действительно зачаровали господина Пономарева.

Начало занятий. Первый день.

Я подавлен пономаревской гимназией: облупившиеся крашенные полы, как в небогатых кухнях; темные потолки с потрескавшейся штукатуркой; плохо вымытые оконные стекла. «Чтобы жизнь казалась потускней!» — говорю я себе.

А уборная!.. Зашел и выскочил. Защемило сердце. Вспом-

нилась институтская: зеркала, мрамор, писсуары, сверкающие январской белизной; горячая медь умывальников; мягкие махровые полотенца. Эх-хе-хе!

Как только я появился в классе, ко мне подошел плотный гимназист на коротких ногах и с большой головой.

— Сергей Громан, — представился он.

У гимназиста были волосы ежиком и мыслящие глаза. Даже чересчур мыслящие. А рот этакий девический, капризный, с припухлыми, как у Лидочки Орнацкой, розовыми губками.

— Хотите, Анатолий, сидеть со мной на парте?

— Буду очень рад.

— А теперь разрешите вас познакомить с товарищами по классу: Синебрюхов... Васильев... Петров... Никаноров... Коган...

Я пожал тридцать шесть рук.

Всклопоченный щетинистый «дядька» позвонил в колокол, давно не чищенный мелом. Мы вошли в класс.

— Вот наша парта, — сказал Сережа Громан с гордой ноткой в голосе.

Ух, в первом ряду! Все погибло. Теперь и не посочинять стихи во время геометрии, и не почитать из-под парты Александра Блока на латинском уроке.

Блоком я бредил и наяву и во сне. Даже восьмилетняя сестренка вслед за мной истомно тянула с утра до вечера:

Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи...

А за обедом она страстно убеждала отца, что Александр Блок «гениальней Пушкина», сказки которого уже прочла.

Большая перемена.

Мы с Громаном ходим под ручку по «обжорному залу». Так называется большая комната с ненатертым паркетом. В ней широкобедрая грудастая бабуся, с лицом, обсыпанным бородавками и бородавочками, торгует холодными пирожками, плюшками и бутербродами с вареной колбасой без горчицы.

— А вы знаете, Анатолий, где я родился? — спрашивает Громан.

— Где?

— В тюрьме. В одной камере сидела мама, в другой папа.

И складывает губки кокетливым бантиком.

«Вот так бал!» — грустно думаю я.

— А кто ваш отец теперь?

— Теперь у него *бюро*.

Я смотрю на своего нового друга искоса: чуждое занятие! В молодости, значит, папочка с мамочкой людей грабили и резали, за что и угодили в тюрьму, а теперь они их по первому разряду хоронят. Им, вероятно, принадлежит Бюро похоронных процессий на Московской улице против аптеки Маркузона.

Возвращаюсь домой с насупленными бровями и вытянутым носом.

— Что с тобой, Толя?

— Да вот, папа, новым другом обзавелся. Очень приятная семья! В недалеком прошлом его папочка и мамочка уголовные преступники. Сам он родился в тюрьме.

— Любопытно!

— Теперь они зарабатывают деньги на покойниках.

— То есть?

— Ты, наверно, заметил на Московской улице против аптеки большую черную вывеску Бюро похоронных процессий. Такими бодрыми золотыми буквами написано:

ВЕЧНОСТЬ

— Видел.

— Их предприятие.

Отец, улыбнувшись, закуривает толстую душистую папиросу:

— Это тебе новый друг рассказал? Сам рассказал?

— Конечно. Всю большую перемену мы с ним под ручку ходили. Пока меня не стошнило. Трусами, понимаешь ли, от него пахнет.

— Пылкая поэтическая фантазия!

Я сердито возражаю:

— Ничего подобного!

— Папочка, — хнычет сестра, — я ку-у-шать хочу.

Отец звонит в колокольчик, чтобы Настя подавала.

— У твоего нового друга, Толя, очень интересная биография. Тебе повезло как будущему писателю.

— Безумно! — бурчу я. — Сплошное везенье! Как тебе в карты.

Отец постоянно проигрывал.

— Расскажи еще что-нибудь.

— Пожалуйста, с наслаждением.

И я рассказываю о сортире в пономаревской гимназии.

Теперь уже тошнит сестренку.

— Хватит, Толя! Прекрати! — обрывает отец. — Как-нибудь переживешь и это несчастье.

— Легко сказать — «переживешь». Мне, папа, в этом заведении три года учиться.

Отец протирает пенсне полоской замши и говорит, как всегда, негромко:

— Чистое полотенце в уборной — это, конечно, важно. Но все же, думается, не самое важное в жизни. А вообще сия обыкновенная российская гимназия мне куда больше по душе, чем твой безмозглый институт. Кстати, в который ты поступил из-за моей мягкотелости. Тетя Нина настояла. Ох уж эта мне аристократка!

Старая дева тетя Нина была классной дамой в московском женском Екатерининском институте, что «против Красных ворот». Так мы писали ее адрес на конвертах. Примерно с трех лет она называла меня не иначе как «Анатоль» и любила той сумасшедшей любовью, которой любят старые девы своих собачонок и кошек.

— Боб, — обращалась она к отцу деловым тоном, — я для Анатоля наметила приличную партию. Моя воспитанница, княжна Натали Черкасская. Вы, Боб, наверно, слышали — их родовое имение тоже в Арзамасском уезде.

Тетя Нина говорила «тоже», потому что она и моя мама, урожденные Хлоповы, были из-под Арзамаса, родившись и проведя раннее детство в хиленьком, разоренном именьеце.

— Вы, Боб, вероятно, знаете по истории, что у царя Алексея Михайловича была невеста Хлопова? Мы этого рода! — при каждом удобном случае лгала тетя Нина.

А дед мой по отцовской линии из Курляндии. В громадном семейном альбоме я любил его портрет: красавец в цилиндре стального цвета, в сюртуке стального цвета, в узких штанах со штрипками и черными лампасами. Он был лошажник, собачник, картежник, цыганолуб, прокутивший за свою недлинную жизнь все, что прокутить было можно и что нельзя.

— И умер, как Вильям Шекспир! — говорил отец. — После доброй попойки.

Отец был москвичом. Он воспитывался в дорогом неказенном учебном заведении, но уже по-сиротски — на чужие деньги, на деньги миллионера Коншина, неразлучного друга моего роскошного деда.

Разговоры о моей женитьбе начались, когда мне было лет двенадцать.

— Что вы на это скажете, Боб? Право, надо как следует подумать о Натали Черкасской.

— Милая Ниночка, — отвечал отец, пытаясь спрятать улыбку под мягкие золотистые усы, — а может быть, вам удастся просватать ему принцессу Гессенскую?

— Ах, Боб, — сердилась тетя, — с вами никогда нельзя поговорить серьезно!

Но я несколько отклонился от рассказа.

Всю ночь я проворочался в кошмарах: Сережа Громан запикивал меня в гроб; я сопротивлялся; меня это не очень устраивало; но он в конце концов запихнул, взгромоздил крышку и стал ее заколачивать громадными гвоздями.

— Вставайте, Анатолий Борисович. Пора! А то на урок опоздаете.

Сжалось сердце: «О Господи, идти в эту проклятую гимназию!»

А во время второй перемены выяснилось, что Владимир Густавович Громан (отец Сережи), бывший политический ссыльный, стоял во главе не безнадежной «Вечности» — похоронного бюро, а Пензенского статистического бюро, лучшего в Российской империи.

В семнадцатом году, при Керенском, он был продовольственным диктатором Петрограда.

Теплый осенний вечер. Веснушчатое небо. Высокие степные деревья нарядились в золото и пурпур, как шекспировские короли.

Мы расхаживаем с Сережей Громаном по дорожкам Поповой горы и философствуем. В этом возрасте обычно больше всего философствуешь. Впрочем, в ту эпоху русские начинали философствовать, едва вы зубрив таблицу умножения, а кончали, когда полторы ноги уже были в кладбищенской яме.

Самые сложные вопросы жизни и смерти мы с Сережей решали легко, просто и смело. Даже те, которые неразрешимы. Например: вопросы счастья, семьи, любви, верности. Значи-

тельно проще вопрос «меню». Рано или поздно человечество с ним справится: все будут не только сыты, но и есть то, что им нравится. В этом я убежден.

Внизу, под нами, светятся яркие огни в окнах одноэтажных домиков. Но самих домиков не видно. И улиц не видно. И то, что раскинулось у подошвы Поповой горы, представляется мне южным морем, бухтой, кораблями на рейде. А эти мигающие яркие точки — фонарями на мачтах.

Шагая в задумчивости, я говорю:

— Вокруг каждого огонька — человеческие жизни... Жизни, жизни и жизни! И они лепятся к этим ярким точкам, как дачная мошкара.

Я говорю не слишком просто. Это от молодости — говорить красиво и литературно гораздо легче, чем говорить просто, по-человечески.

— Но почему мошкара? — обижается Сережа за всех людей, населяющих землю.

Я упрямо повторяю:

— Однодневная мошкара со своими маленькими радостями и жалкими несчастьями.

Сережа недоволен моими словами и моей правдой. Его розовые девичьи губы складываются капризным бантиком.

— Вот мы с вами, Анатолий, и должны бороться за то, чтобы люди не крутились, как мошкара, со своими маленькими несчастьями. К черту их!

Я молчу, но про себя думаю: «Э, безнадежное занятие!»

— Человек должен парить, как орел! — говорит сын меньшевика.

И поднимает свои мыслящие глаза к небу:

— Парить в звездах!

Я морщусь. Я не переносу высоких, напыщенных слов, как пересахаренного варенья.

Сухие листья шуршат под ногами. В общественном саду оркестр вольной пожарной дружины играет вальс «На сопках Маньчжурии».

Да простят мне изощренные ценители и знатоки музыки, но я считаю, что на свете не было и нет прекрасней, трогательнее этих звуков.

— Скажите, Анатолий, вы читали «Капитал» Маркса? — обращается ко мне Громан со всей строгостью.

— Нет.

- Завтра я принесу вам оба тома.
- Толстые?
- Очень. И все-таки вам придется прочесть.
- А это не слишком скучно?

Мой новый друг, выпрямившись на бревнышках своих коротких ног, принимает величественную позу:

— Для глупцов и мерзавцев скучно!

«Погиб во цвете лет! — думаю я. — Заставит прочесть».

— Ну как же, Анатолий? Принести?

— Пожалуйста, — отвечаю ему со вздохом. — Не могу же я быть в ваших глазах глупцом или мерзавцем.

— Полагаю! — снисходительно отзывается Сережа.

«Капитал» более или менее прочитан. В это трудно поверить даже мне самому. Мало того: в потайном ящике секретера у меня лежат брошюрки в ярко-красных обложках: «Рабочий вопрос», «Аграрный вопрос», «Диктатура пролетариата».

В 1905 году эти брошюрки выходили легально. А нынче я могу за них вылететь даже из пономаревской гимназии. Это приятно щекочет самолюбие.

Перелистываю свой юношеский дневник. Фиолетовые чернила выцвели, потускнели. Вот запись тех дней: «Бездельники едят жирно и сладко, утопают в енотовых шубах и разъезжают на рысках. А те, которые на них работают, всегда полусыты и волочат ноги от усталости. Может ли с этим примириться честный человек?»

Сережа Громан приходил ко мне почти каждый вечер. Мы поселились на Казанской улице «в большом двухэтажном доме». Так говорила Настя про наш шестиоконный дом из некрашеного кирпича. На Казанской улице он действительно «большой», потому что все остальные дома деревянные, одноэтажные, не всегда с мезонинами.

Настя — тридцатилетняя вдова. У нее было все «тиколка в тиколку», как говорил отец. Тиколка в тиколку — носа, глаз, ржанных волос, бровей на спокойном белом лице с красивыми ушами какого-то особенного цвета — словно огонек спички. Только губы — толстенькие. И когда улыбалась — зубов! зубов! «Полон хлевец белых овец» — по ее собственному выражению.

Настенька не только являлась нашей поварихой, горничной

с наколкой, полновластной хозяйкой, но и нашим другом. Разговаривать с ней было одно удовольствие.

— Настенька, а почему это вы всегда уши чешете?

— Как же, Анатолий Борисович, мне их не чесать, если я к осени родилась.

И, помолчав, добавляла:

— А если подошвы чешутся — это к дороге. А когда лоб — спесивому кланяться.

И все-то она знала, все у нее было ясно, все просто.

— Самоварчик уж закипает.

— Спасибо, Настенька.

Горела керосиновая лампа «молния». Абажур напоминал громадный букет васильков.

Настя принесла нам из столовой чай с апельсином, с лимоном, с яблоком, с вареньями — и вишневым, и клубничным, и черносмородиновым. Принесла домашнее хрусткое печенье и коробку шоколадных конфет. Сережа, как женщина, любил сладкое. Он, бывало, съест всю эту фунтовую коробку один, и его не вырвет.

— Первый, стало, знак, — говорила Настенька, — что Сергей Владимирович пьяницей не будут. Пьяницы ведь на сладкое и не взглянут. Вроде как на мусорное ведро.

Она считала это утешительным, но и шоколадных конфет ей всегда было жалко, хотя ни в какой мере не отличалась скупостью.

— Кушайте на здоровье, Сергей Владимирович, — вздохнув, сказала она и придвинула коробку поближе к моему гостю.

— Спасибо, Настенька.

— А это я для барышни. Они у нас тоже сладкоежка.

И, положив две конфетки на маленькое фарфоровое блюдце, вышла из комнаты.

За окном орал мартовские коты, хотя весной еще и не пахло. Вероятно, эти измельчавшие тигры и тигрицы, не обращая внимания на погоду, живут по отрывному сытинскому календарю: если наступил март — надо заниматься любовью.

— Сережа, — спросил я, — вы читали «Воскресение» Толстого?

И взял с полки книгу, только что вернувшуюся в мягкой коричневой коже от старика переплетчика, знаменитого на всю Пензенскую губернию, которая славилась дворянскими

гнездами. А те, в свою очередь, славились библиотеками, состоящими из книг в прекрасных переплетах.

У отца тоже была страсть к хорошим переплетам... для хороших книг. Он покупал их довольно широко, но не для шкафа и полок, украшавших кабинет, а для чтения.

Отец любил рассказывать про своего кузена-биржевика, неожиданно разбогатевшего:

— Став миллионером, Лео купил дом на Каменноостровском проспекте и стал роскошно обставлять свою новую квартиру. Для кабинета, само собой, потребовалась солидная библиотека. Я как раз тогда приехал по делам в Петербург. Неожиданно ко мне в номер явился Лео: «Выручай, брат! Мне до зареза надо быстро купить тыщонку красивых книг! Составь, пожалуйста, список». Я написал, возглавив список восьмьюдесятью шестью томами «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Перед отъездом зашел к Лео проститься. Он прямо из передней, не дав снять пальто, торжественно повел меня в свой кабинет. О ужас!.. Увлечшись золотыми корешками Брокгауза и Ефрона, мой свежеиспеченный миллионер сразу купил четыре комплекта «Энциклопедического словаря». Длинная стена громадного кабинета сверкала золотом. Миллионер был в восторге.

В этом рассказе все от жизни. По-моему, тем он и прелестен.

Итак, я спросил:

— Сережа, читали ли вы «Воскресение»?

— Читал ли я «Воскресение» Льва Николаевича Толстого?.. — И Громан, поджав губки, поднял на меня взгляд укоризненный и оскорбленный. — Однако, Анатолий, вы обо мне не слишком высокого мнения.

Я себя почувствовал столь неловко, словно спросил моего друга: «А вы, Сережа, не воруете бутерброды из карманов своих товарищей?»

— Простите, Сережа, это, конечно, глупый вопрос...

И пролепетал еще что-то, смущенно оправдываясь.

Его розовые бантики снисходительно улыгнулись. Он любил извинения и покаяния, как их любят и поныне члены социалистических партий.

— Так вот, Сережа, разрешите мне вам напомнить одно место из романа.

— Пожалуйста.

Я прочел:

— «В то время Нехлюдов, воспитанный под крылом матери, в девятнадцать лет был вполне невинный юноша. Он мечтал о женщине только как о жене. Все же женщины, которые не могли, по его мнению, быть его женой, были для него не женщины, а люди». По-моему, Сережа, это все неправда. А как вы считаете?

Он медленно залился пунцовой краской от самых бровей:

— Что... по-вашему... неправда?

— Да о Нехлюдове. Будто он мечтал о женщине только как о жене. И вот это тоже неправда — что все женщины были для него не женщины, а люди. В девятнадцать-то лет! И зачем, не понимаю, Толстой говорит неправду? Ему-то уж это стыдно. Француз Руссо в этом гораздо правдивей. Вы ведь...

Я хотел спросить, читал ли он «Исповедь», но вовремя прикусил язык.

Мне вспомнилось то место из этой превосходной книги, где Жан Жак чистосердечно рассказывает, как он в восемь лет, благодаря уже развившемуся половому инстинкту, получал чувственное наслаждение, когда его порола тридцатилетняя мадемуазель Ламберсье, приходившаяся ему родной тетей.

И это написано в XVIII веке! Какая смелость! Особенно по сравнению с нашим временем. Мы ведь пишем словно для девиц с косичками. А уже и Пушкина это злило.

Сережа Громан отвел взгляд к окну, за которым орали коты, вероятно тоже юные, девятнадцатилетние, но, разумеется, не по нашему человеческому летосчислению, а по их — котиному.

Мне было приятно мучить и пытаться моего друга.

— Вот вам, Сережа, — сказал я, — только что исполнилось пятнадцать...

Тут не только его щеки, но лоб, нос и подбородок стыдливо запунцовели.

— Ну, Сережа, по правде... Вы ведь всегда говорите правду...

Он в жизни все делал «принципиально». И действительно — «из принципа» говорил только правду, хотя это было не совсем приятно окружающим и довольно трудно для него самого.

— Так вот, Сережа, «по чистой правде», для вас в пятнадцать лет, а не в девятнадцать, как было Нехлюдову, все моло-

дые привлекательные женщины — не женщины?.. А только люди?..

Он, проповедующий из принципа «чистоту до брака», взглянул на меня почти с ненавистью. Так, вероятно, при Иване Грозном смотрели пытаемые на мастера по дыбе и колесу.

— Нет... для меня... они... к сожалению... не всегда... только люди, а...

И, не договорив, громко проглотил слюну.

— А кто?

— Женщины! — ответил он, покрываясь испариной. — Мне стыдно, но это так. Может быть, я чудовище и негодяй.

— Нет, Сережа! — поспешил я утешить его. — И для меня тоже — женщины. Но я не считаю себя чудовищем. Да, не считаю. Потому что понял: это нормально, это в природе человека. И никакие тут «крылышки» мамы помочь не могут.

Хочется забежать вперед, в двадцатые годы, и рассказать про свою последнюю встречу с Сережей Громаном.

Москва. Мы с Есениным жили в коммунальной квартире.

Вечер. Раздались звонки у парадной двери: раз... два... три... четыре...

Я проскрипел челюстями, чертыхнулся, огрызнулся и, прикрыв рукопись однотомником Пушкина, раздраженно положил карандаш. «Кого еще принесла нелегкая!»

Кто-то из соседей открыл гостю дверь.

— Можно войти? — спросил чужой хриплый голос.

— Можно.

И я тут же вскочил со стула:

— Сережа!..

— Не ждали, Анатолий?

Мы, конечно, поцеловались.

— Может быть, я не вовремя?

Он, как и в далекие времена, сложил губы обиженным бантиком. Но что это был за бантик! Какой жалкий!

Я воскликнул:

— Очень удачно пришли! Страшно рад! Я валялся на кровати, поплеывая в потолок... Раздевайтесь, Сережа.

И принялся торопливо стаскивать с него облезлую оленью доху.

— А где Есенин? Вы ведь живете вместе?

— Да. Он сейчас в бане.

— Довольно способный парень, — снисходительно промолвил Громан. — К сожалению, с эсеровщиной.

Два-три года тому назад мой пензенский друг, став председателем Всероссийской эвакуационной комиссии при Совете Народных Комиссаров, разъезжал в громадной желтой машине по голодной, холодной и мужественной Москве. Мне казалось, что город похож на святого и на пророка. Его каменные щеки ввалились и худое немытое тело прикрывало рубище. Но глаза Москвы были как пылающие печи. А голос — как у бури. Выражаясь библейским языком.

В те дни Сережа Громан не расставался с толстым портфелем из крокодиловой кожи и ходил в превосходной оленьей дохе, полученной по ордеру. Она была сшита на рост Петра Великого. Председатель эвакуационной комиссии путался в ней, как мадам Сан-Жен в придворном платье со шлейфом.

— Большевики меня ценят, — говорил Сережа Громан, величаво надуваясь. — Я с ними работаю, но отношусь к ним, если хотите знать, весьма критически: европеизма товарищам не хватает. Широких плехановских обобщений.

Двадцатилетний Громан не только критиковал, но и столь же ревностно эвакуировал. Вероятно, что нужно и что не нужно. В конце концов, как нетрудно догадаться, наэвакуировался и наcritиковался до Лубянки.

Просидел он недолго, но после этого «недоразумения», как говорили все попавшие за решетку, его больше не затрудняли ответственной работой. Карьера кончилась. Вместе с ней и громадная желтая машина отошла в распоряжение какого-то другого социалистического юноши. Тогда они были на командных постах. А как был великолепен в этой машине мой пензенский друг! В своей оленьей дохе! Со своим крокодиловым портфелем, раздувшимся от важнейших бумаг, от грозных мандатов, от картонных учрежденческих папок с наклейками: «срочные», «весьма срочные», «секретные», «совершенно секретные».

Сережа Громан всегда сидел рядом с шофером и сам поминутно со всей энергией сжимал левой рукой резиновую грушу гудка, играющего, поющего и ревающего.

Скромные советские служащие шарахались во все стороны и поднимали испуганные глаза. А председатель Всероссийской эвакуационной комиссии с наслаждением читал в этих глазах

зависть, страх, уважение, а порой и ненависть. Один раз он даже услышал, как интеллигент с бамбуковой палкой, нахмурившись, проворчал: «Ишь, сильный мира сего». После этого Сережа стал еще величественней морщить брови, надувать щеки и выпячивать грудь.

Несуразный желтый автомобиль, конфискованный у охотнорядского купца, не только вихрем кружил Сережу по Бульварному кольцу и узким изломанным улицам, но еще и возносил его на ту головокружительную высоту, с которой Сережа мог смотреть сверху вниз на все человечество, не ездившее по Москве в машинах.

Войдя в комнату, Сережа Громан грузно опустился на наш единственный стул.

— Как живете, Анатолий?

— Ничего. Понемножку.

Он вставил дешевую папиросу в угол маленького рта.

— Курить стали, Сережа?

— Научился. В камере.

И выпустил сразу из обеих ноздрей серые струи.

— Может быть, Анатолий, у вас найдется стакан водки? Закуска у меня имеется.

Он вытащил большую луковицу из порыжевшего портфеля крокодиловой кожи.

— И пить стали, Сережа?

— Да! — ответил он коротко. — После МЧКа.

— А ведь раньше только апельсиновое ситро признавали. Помните, бутылки по шесть выпивали на наших гимназических балах?

— Лубянка меняет вкусы.

Он вытер лоб нечистым носовым платком и перевел разговор на другую тему:

— Мне предлагают несколько должностей на выбор. Очень ответственных. Но, знаете ли, — воздерживаюсь. Что-то не хочется идти заместителем. Привык возглавлять.

Я подумал, что он похож на пустой рукав, который инвалиды войны обычно засовывают в карман.

— Правильно, Сережа, что воздерживаетесь.

— Впрочем, возможно, и соглашусь. Я ведь работаю не на большевиков, а на Россию.

— В таком случае, Сережа, обязательно соглашайтесь, — ответил я, не глядя ему в глаза.

Вернемся в Пензу, на Казанскую улицу, в маленькую нашу гостиную, освещенную керосиновой лампой.

— Давайте, Сережа, издавать журнал, — предлагаю я. — В институте мы издавали «Сфинкс».

До сих пор почему-то мы с Сережей на «вы».

— Это, Анатолий, мысль! Я возьму на себя вводящие статьи. Журнал будет социал-демократическим. Плехановского направления. Писать без твердых знаков. Это не буква, а паразит, — стремительно, одним духом говорит он.

— Великолепно.

— А печать на гектографе. Я умею его варить. Прокламации тоже печатают на гектографе.

Потом добавляет, понизив голос до шепота:

— Журнал будет подпольным.

И берет из коробки последнюю шоколадную конфету.

А я думаю о себе с тихим восторгом: «Ну вот, брат, ты и революционер. Как Герцен».

3

— Папа, можно к тебе?

— Конечно.

Вхожу в кабинет отца. Он раскладывает «Пасьянс четырех королей». В руке коварная дама пик. Но мысль его куда-то убежала. Вероятно, в прошлое. Это я вижу по взгляду — отсутствующему, подернутому туманцем легкой грусти и неполного счастья. Грусти и счастья одновременно. Это бывает! Бывает, когда они соединяются, смешиваются, одно переходит в другое, как акварельные краски на картине хорошего художника.

Прошлое! Чем больше седин на голове, тем оно кажется милей. Все, все мило! И детство, забрызганное горькими слезами; и отрочество, омраченное надоедливими школьными зубрежками; и юность, разодранная трагедиями духа: для чего жить? как жить? чем жить? а главное — с кем? С горничной, с проституткой или с чужой женой?

На открытой книге лежит пенсне. Отец даже купается в них, а иногда и спит. Мне частенько доводилось осторожно снимать их с его крупного прямого носа. Как у всякого близорукого человека, у отца совсем другие глаза, когда они не

смотрят на мир через стекла. Они принимают другое выражение, другой оттенок, окраску, еще более мягкую, рассеянную, добрую. Они словно прикрываются тончайшим вуалем, который, как известно, делает лицо загадочным.

«Ах, какие они безвольные», — думаю я почти с раздражением. И тут же возникает глухая обида за отца. На кого? Не знаю. А в следующую минуту мне уже хочется взять его голову в руки и с мужской покровительственной лаской поцеловать в эти добрые умные глаза. Но я этого не делаю, боясь сентиментальности. Она не в чести у нас в доме.

— Папа, я написал небольшую поэму. Хочешь послушать?

— Конечно.

Он собирает маленькие атласные карты, неторопливо делает аккуратную колоду и прячет ее в старинную китайскую коробочку из слоновой кости.

— Читай, мой друг. Я весь внимание.

И заботливо придвигает ко мне поближе лампу под зеленым абажуром.

— Спасибо, папа. Я помню наизусть. Называется поэма «Гимн гетере».

— Кому?

— Гетере. Тебя это не устраивает?

— Читай, читай.

Он прячет улыбку под светлые шелковистые усы, слегка прокуренные над верхней губой.

Начинаю:

Тебе, любви поборница святая,
Тебе, наложница толпы,
Тебе, за деньги женщина нагая, —
Осанна и цветы!

Примерно после четвертой-пятой строфы отец стал слегка позевывать, всякий раз прикрывая ладонью рот.

— Тебе скучно, папа?

— Если говорить по правде, — скучновато.

— Не нравится?

— Нет, не нравится.

— Почему?

— Как тебе сказать... Видишь ли...

Он подбирает слова, пощипывая свою чеховскую бородку:

— Видишь ли, это что-то лампадное... семинарское...

Отец очень не любил попов.

— И почему «гетера»? Уж если ты хочешь писать об этих женщинах, которых, по-моему, совсем не знаешь, то называй их так, как они называются в жизни: проститутки. Есть и другое слово — простое, народное, конечно, грубоватое, но точное по смыслу. Ну и употребляй его. Пушкин в таких случаях ничего не боялся. А поэму свою так и назови: «Гимн бляди». По крайней мере, по-русски будет. А то — гетера!.. Наложница!.. Осанна!.. Семинарщина, Толя, бурсачество. И откуда бы?

Я огорчен почти до слез. Похрустывая пальцами, выдавливаю из себя:

— А Сереже Громану очень понравилось. Он говорит: идейная поэма. С направлением.

— Ага! С плехановским направлением?.. Что ж, весь ваш «подпольный» журнал с таким направлением будет?

Я сердито молчу.

— А тебе, Толя, не кажется, что Сережа ничего не понимает в поэзии? И что он очень высокопарный юноша?

Я продолжаю молчать. «Господи, только бы не зареветь!»

— Ты уж прости, пожалуйста, хоть это и твой друг, но мне думается, он не слишком умный. Как все высокопарное.

Я медленно подхожу к голландской кафельной печке и мелодраматическим широким жестом бросаю свою поэму в огонь.

— Вот и правильно. А теперь, Толя, пойдем погуляем, у меня что-то голова побаливает.

Морозный мартовский вечер. Весна запаздывает. Под ногами хрустит снег. Он кажется мне искусственным. Совсем как аптекарская вата, посыпанная бертолетовой солью.

Детство, детство! Таким аптекарским нетающим снегом покойная мама окутывала красноватый ствол рождественской елки. Она стояла посреди гостиной и упиралась в потолок своей серебряной звездой. Вокруг стройного дерева, увешанного сверху донизу всякой всячиной, мы, дети, должны были петь и скакать, хлопая в ладоши:

Зайнька вокруг елочки попрыгивает,
Лапочкой о лапочку постукивает!

Уже в пять лет эта игра казалась мне очень скучной и глупой. Тем не менее я скакал, пел и хлопал в ладоши. Что это было: лицемерие? Нет. Похвальное желание доставить удовольствие маме, которая затратила столько сил, чтобы порадовать меня.

Мы выходим с отцом на Московскую улицу, скупо освещенную редкими фонарями.

В нашей богоспасаемой Пензе (злые языки называют ее Толстопятой) главная улица упиралась в громадный собор дурной архитектуры. Отец называл такую архитектуру «комодной».

По излюбленной левой стороне (если идти от базара) с шести до восьми вечера гуляли гимназисты и гимназистки старших классов. Влюбленные ходили под ручку.

Мы появились на Московской несколько позже. Гимназистов сменили мелкие чиновники и приказчики закрывшихся магазинов. А гимназисток — проститутки.

Во втором квартале, как раз против Бюро похоронных процессий, к отцу подошла женщина с пьяными глазами, подмалеванными жженой пробкой. В зубах у нее торчала папироса.

— Господин мусье, — поцедила она сиплым голосом, — угостите даму спичкой.

— Простите, но я не курю, — солгал отец.

— А твой шенок?

— Нет, нет, не курю! — пролепетал я.

Пьяная женщина, презрительно сузив подмалеванные глаза, ни с того ни с сего матерно выругалась.

Я взял отца за рукав:

— Идем, папа... Идем!.. Идем!

Она ругалась:

— Выблядок узкорожий!

Отец сказал негромко:

— Вам, сударыня, выспаться надо.

— А жрать, думаешь, мне не надо? Ты за меня пожрешь?

Отец поспешно протянул женщине три рубля:

— Простите... Вот... пожалуйста.

— Мерси боку!

Она послала отцу воздушный поцелуй.

Я не выпускал рукава отцовской шубы:

— Папа... папа!

— Ну?

Я шептал:

— Пойдем, папа. Пойдем направо, на Дворянскую. Там очень красиво. На тополях иней...

Отец ласково надвинул мне на глаза фуражку с голубым околышем:

— Вот, Толя, это и была та самая «гетера», которой ты посвятил свой гимн.

И улыбнулся своей грустной мягкой улыбкой:

— «Осанна и цветы!..» Несчастливая женщина. Боже мой, какая жалкая и несчастная.

Лето 1914 года.

В качестве юнги я хожу на трехмачтовой учебной шхуне по Балтийскому морю.

Иностранные порты. Стокгольм, Мальме, Копенгаген... Вот она, Дания, — родина Гамлета.

Я стою под кливерами на вздыбленном носу шхуны. Нордвест воем что-то свое, а я — слова Датского принца:

Мой пульс, как твой! И мерно отбивает
Он такт, как в музыке...

Стихи подкармливают мальчишеское зазнайство. Несколько позже я его назову честолюбием.

Мы в Копенгагене.

— Отдать концы! — говорит в рупор с капитанского мостика старший офицер.

Опять распущены паруса, опять море. Но оно не серебристое, не пепельное и не бледно-голубое, как русские глаза. А черт его знает какого цвета, вернее — цветов. Какая-то пенящаяся бурда.

Ночная вахта. Юнги называют ее «собакой». Под грохот разваливающихся волн я вглядываюсь в бескрайнюю мглу, как бы пытаюсь прочесть там будущее своей жизни: «Моряк, адвокат или поэт? Один из миллионов или один на миллионы?»

А через несколько дней в открытом море, неподалеку от Ганге, куда шли для участия в торжествах по случаю отдаленной Гангутской победы, мы узнали о начавшейся войне между Россией и Германией.

Война! Какая мерзость!

А мы, дурачье, с восторгом орем:

— Ура-а-а!.. Ура-а-а!.. Ура-а-а!..

Орем до изнеможения, до хрипоты. На загорелых лбах даже вздуваются синие жилы.

Приказ командования: идти в порт Лапвик; затопить шхуну; возвращаться на родину по железной дороге.

— Чтобы немцы не торпедировали, — поясняет старший офицер.

— Нас?

— Ну, разумеется.

«Торпедировали!..» О, это звучит шикарно.

Мы возвращались через Финляндию в Петербург вместе с курортными расфуфыренными дамами в шляпах набекрень или сползших на затылки, как у подвыпивших мастеровых. Возвращались с дамами в слишком дорогих платьях, но с нечесаными волосами и губной помадой, размазанной по сальным ненапудренным подбородкам. Эти дамы, откормленные, как рождественские индюшки, эти осатаневшие дамы, преимущественно буржуазки, — дрались, царапались и кусались из-за места в вагоне для себя и для своих толстобрюхих кожаных чемоданов.

Одна красивая стерва с болтающимися в ушах жирными бриллиантами едва не перегрызла мне большой палец на правой руке, когда я отворил дверь в купе. К счастью, я уже знал назубок самый большой матросский «загиб» и со вкусом пустил его в дело.

Ехали день, ночь, день, ночь.

По горячим сверкающим рельсам навстречу гремели воинские эшелоны.

Как ныне собирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам...

Пели красные вагоны «на сорок человек и десять лошадей».

Ночь, день, ночь, день.

Пенза.

Вокзал.

Он напомнил мне липкую смертоносную бумагу от мух в базарной пивной. Эта бумага шевелилась. Она была черным-черна от будущих мушиных трупов. А какое теперь преимущество перед мухой у человека? Бедняга, он также влип. Но это я понял несколько позже.

Казанская улица. Дом. Звоню. Вбегаю. Целуюсь с сестрой, с Настенькой, с отцом. И тут же, в прихожей, заявляю:

— Папа, я уйду добровольцем на флот!

— Сними-ка, Толя, шинель... О, возмужал!

— Ты слышишь, папа?

— Конечно. Добровольцем?.. Сделай одолжение. На флот?.. Твое дело. Куда угодно, — говорит он совершенно спокойно. — На флот, в кавалерию, в артиллерию. Но... — и разводит руками, — после того, как окончишь свою гимназию.

— Как! Ждать почти целый год? Да ведь самое большее через три месяца наши войска будут в Берлине.

— Какой дурак тебе это сказал?

— Все говорят!

Он брезгливо поправляет на носу пенсне.

— Ты, папа, сомневаешься?

— По-моему, при таком количестве дураков и хвастунов будет очень трудно выиграть войну.

— Значит, вся Россия — хвастуны?

— Вся не вся, но... Словом, это не самая приятная черта нашего национального характера.

Под воинственную дробь двух барабанов по улице проходит маршевая рота.

Отец пощипывает бородку. Это помогает ему сосредоточиться, довести мысль до логического конца.

— Ох и болваны все-таки!

— Кто, папа?

— Да наши с тобой современники. И мы в их числе. Воображали, что живем в эпоху цивилизации, духовной культуры. Смешно! А сами в здравом уме «стреляем один в другого, как в куропаток, режем, как петухов. Те после этого хоть для супа годятся.

Он вынимает из портсигара папиросу и разминает в ней некрепкий душистый табак:

— Нда... совершенно неоспоримо... лет через полтора все эти наши пушки и пулеметы можно будет увидеть только в музее. А экскурсовод 2164 года, показывая их ребятишкам, будет говорить: «Вот из этих орудий дикари, населяющие нашу землю в XX веке, истребляли друг друга...» Заведи-ка, Толя, будильник.

Изящные французские часы, сделанные при Наполеоне III, будили человека не обычным трезвоном, а ревом военной трубы.

— Спокойной ночи, папа!

Я завел будильник и, не удержавшись, сыронизировал:

— О варварстве нашей эпохи ровно в девять тебе напомнят твои любимые часы.

Он буркнул:

— Я давно собирался отнести их старьевщику.

А когда я перешагнул порог, отец вдруг рассмеялся в голос. Это было ему свойственно — сердиться, улыбаться или смеяться на свою мысль.

— Чему это ты, папа?

— Да так. Вспомнил один курьез. Видишь ли, в Риме в преддверии собора Святого Петра стоит конная статуя императора Константина.

— Что же тут смешного?

— Этот Константин приказал повесить своего тестя, удавить своего шурина, зарезать своего племянника, отрубить голову своему старшему сыну и запарить до смерти в бане свою жену... Вот за это он и попал в герои! Даже в святые. И не он один.

Я вернулся в комнату, почувствовав, что отцу хочется поговорить.

Он закурил.

— Так вот, мой друг, — всякий век чрезвычайно высокого о себе мнения. Так и слышу, как говорили в восемнадцатом: «В наш век! В наше просвещенное время!» Потом в девятнадцатом: «Это вам, сударь, не восемнадцатый век!» Или: «Слава Богу, господа, мы живем в девятнадцатом веке!» И так далее, и так далее. А нынче? Бог ты мой, до чего ж расчванились! Только и трубят в уши: «В наш двадцатый век!», «В нашем двадцатом веке!». Ну и простофили!.. Дай-ка мне, пожалуйста, лист бумаги.

Я дал.

— И перо!

Я обмакнул в чернила и подал.

— Спасибо.

— Ты что, папа, завещание, что ли, писать собираешься?

Он молча положил лист на колено, согнутое под одеялом, и размашисто крупными буквами вывел:

«Я — Борис Мариенгоф — жил в XX веке. И никогда не воображал, что мой век цивилизованный. Чепуха! Еще самый дикий-предикий». И протянул мне записку, делово проставив день, число, месяц, год, город, улицу и номер дома.

— У меня, Толя, к тебе просьба: вложи это в пустую бутылку от шампанского, заткни ее хорошенько пробкой, запечатай сургучом, а потом брось в Суру.

— Слушаюсь, папа! — ответил я с улыбкой. — В воскресенье все будет сделано.

— Может быть, кто-нибудь когда-нибудь и выловит.

Он погасил папиросу и снял пенсне:

— Все-таки приятно. Прочтут и небось скажут: «У этого мужчины на плечах голова была, а не арбуз. Как у многих его современников». А?

— Пожалуй.

— Ну, спокойной ночи, мой друг.

— Спокойной ночи, папа.

Свое обещание я сдержал и почему-то до сих пор верю, что отцовская бутылка еще плавает по Каспийскому морю, в которое, как известно, впадает Волга, а в Волгу — Сура.

История историей, война войной, Пенза Пензой.

Третий месяц мы ходим в театр, в кинематограф и гуляем по левой стороне Московской улицы всегда втроем: я, Тонечка Орлова и ее лучшая подруга Мура Тропимова.

О Тонечке я уже написал веночек сонетов. Я сравнивал ее с июльским пшеничным колосом.

А ее лучшая подруга — коротенькая, широконогая, толстоносенькая и пучеглазая.

— Толя, подождем Муру, — лукаво говорит Тоня.

Я отдуваюсь:

— Уф!

— Но она очень веселая, добрая и совсем неглупая. Разве вы не согласны?

— Согласен, согласен.

«Лучшую подругу» я ненавидел лютой ненавистью только за то, что Тоня без нее шагу не делала.

— Мурка Третья!.. Прицеп!.. Хвост!

— Что это вы там бурчите?

— Так. Несколько нежных слов о Мурочке.

И спрашиваю себя мысленно: «Почему у всех хорошеньких

девушек обязательно бывают “лучшие подруги” и обязательно они дурнушки? Что за странное правило почти без исключений?.. Хитрость?.. Случай?.. Ох, нет! Только не случай!.. Расчет, расчет!.. Математически точный женский расчет».

Вдруг у Мурки Третьей стрептококковая ангина. Температура сорок и пять десятых. Я сияю. Я танцую. Я на седьмом небе.

— Вы, Толя, ужасный человек!

— Чудовище!.. А вы знаете, Тонечка, что сказал Стендаль о влюбленных?

— Нет, не знаю.

— «Влюбленные, — сказал он, — не имеют друзей».

Идет снег.

Мы целуемся на Поповой горе под деревом, пушистым, как седая голова нашего гимназического попа, когда он приходит на урок прямо из бани.

Мы целуемся.

Тонечка шепчет, закрыв глаза:

— Милый!..

— Милая! — шепчу я с открытыми глазами.

И, взявшись за руки, со смехом бежим вниз, квартал за кварталом, чтобы целоваться под самыми окнами Сережи Громана. Он ведь очень нравственный юноша и принципиально возражает против «легкомысленных поцелуев».

— Безыдейные, Сережа? Ведь поцелуи тоже должны быть идейные? С плехановским направлением?

— Я говорю серьезно, Анатолий.

И он сердито надувает губы.

Опять забегу вперед: в восемнадцатом году Сережа женился на красивой, пышной, развратной до наглости женщине, вдове жандармского полковника, расстрелянного большевиками в Петрограде. Она ему, бедняге, на многое в жизни приоткрыла глаза. Даже слишком приоткрыла. Что я, целовавшийся на Поповой горе с «открытыми»? Куда мне! Я ведь даже при военном коммунизме в Москве, в «Стойле Пегаса» ни разу не понюхал белого порошка. А вот она моего пензенского плехановца и занюханым сделала. Ко всему прочему.

Вот и окна громановской квартиры.

Тонечка томно шепчет:

— Милый!..

— Милая!..

Моя первая пензенская любовь не изобиловала длинными разговорами.

— Толя, побежим целоваться перед окнами нашей гимназии!

Эта мысль приводит меня в восторг:

— Есть, Тонечка!

И снова бежим, взявшись за руки.

— Стоп!

Тонечка уже закрыла глаза.

До войны «абитуранты», как называли тогда гимназистов последнего класса, строили всевозможные планы и пытались заглянуть в будущее. Так обычно перед началом любительского спектакля взволнованные исполнители ролей заглядывают в шелку занавеса.

А теперь?

«Ах, — сказал бы Николай Васильевич Гоголь, — все пошло, как кривое колесо».

Какие теперь планы? Какое будущее?

Вот оно, как на ладони: окончание гимназии без выпускных экзаменов, школа прапорщиков, действующая армия.

А уж разговаривать будем после войны, если только не угодим в братскую могилу. Впрочем, господа офицеры не без комфорта лежат в земле под собственным березовым крестом, если, на счастье, имеются березы поблизости. Лежат в собственной яме с нежно-розовыми червями.

Тонечка сжимает мою руку:

— Я пойду сестрой милосердия на тот фронт, Толя, где вы будете драться с немцами.

— Драться?

И убежденно повторяю слова отца:

— Я, Тонечка, не очень люблю убивать людей.

— Все равно придется.

— Вероятно.

Потом она задает мне важный вопрос:

— Толя, а какая любовь самая большая?

— Последняя.

— Почему?

— Потому, Тонечка, что всякая настоящая любовь кажется нам последней.

Отец спросил:

— Толя, ты бывал в шантане?

— Нет.

— Хочется пойти?

— Не прочь.

— Ну что ж, сегодня суббота, завтра гимназии нет, тебе можно поспать вдосталь. Пойдем в кафешантанчик.

— А меня из гимназии за это не выгонят?

— Авось не попадемся. В форме-то, конечно, не пустят. Обряжайся в мое.

— Можно, папа, в синюю тройку с искоркой?

— Валяй. И в демисезонное. Сегодня не холодно. Роста мы уже одного, да и в плечах тоже.

Наш пензенский кафешантан носил гордое имя «Эрмитаж». Помещался он на Московской, в том же квартале, что и Бюро похоронных процессий.

Половина двенадцатого мы сидели за столиком в общей зале, забрызганной розовым светом электрических лампионов, как пензяки называли тюльпановые люстры. В углах стояли раскидистые, мохнатые пальмы, такие же, как в буфетах первого класса на больших вокзалах. Но не пыльные. Стены были оклеены французскими обоями в голых улыбающихся богинях с лирами, гирляндами цветов вокруг шеи и какими-то райскими птицами на круглых плечах. Все богини, как по команде, стыдливо прикрывали левыми ручками то, что полагалось прикрывать после изгнания из рая.

Зал заполняли офицеры, преимущественно Приморского драгунского полка, черноземные помещики, купцы и «свободная профессия» — так величал простой люд врачей и адвокатов. Немногие явились с женами в вечерних платьях провинциального покроя.

Отец заказал бутылочку «Луи Редера». Во время войны был сухой закон, и шампанское нам подали в большом чайнике, как Кнурову и Вожеватову в «Бесприданнице».

Я был торжественно-напряженным и чувствовал себя, как в церкви на заутрене в светло-Христово Воскресенье.

Тучный тапер, с лицом, похожим на старый ротный барабан, яростно ударил подагрическими пальцами по клавишам фортепьяно. Сейчас же на сцену выпорхнула шансонетка.

На ней была гимназическая коричневая форма до голых пупырчатых коленок, белый фартучек, белый стоячий воротничок, белые манжеты. Вдоль спины болтались распушенные рыжие косы с голубыми бантиками.

Я маленькая Лизка,
Я ги-мна-зистка... —

запищала шансонетка.

Тру-ля-ля!
Тру-ля-ля!
А вот, а вот — мои учителя!

И она полусогнутым «светским» мизинчиком показала на громадного жирного купца в просторном пиджаке, потом на усатого пожилого помещика с многолетним загаром до половины лба, потом на длинного лысого ротмистра в желтых кантах Приморского драгунского полка.

Обучалась я прилежно
Всем урокам вашим нежным.
Тру-ля-ля!
Тру-ля-ля!
Вот, вот, вот — мои учителя!

И стала высоко задирать ноги, показывая голубые подвязки и белые полотняные панталоны, обшитые дешевыми кружевами.

У «гимназистки» было грубо раскрашено лицо: щеки — красным, веки и брови — черным, нос — белилами. От этого она показалась мне уродливой и старой, то есть лет тридцати.

— Папа, как ты думаешь, сколько ей лет?

— Восемнадцать, девятнадцать... А что?

— Так.

Мне стало грустно за «гимназистку».

Справа, через столик от нас, сидели постоянные партнеры отца по винту: пензенский златоуст — присяжный поверенный Роберт Георгиевич Вермель и его жена Маргарита Васильевна — сорокалетняя упитанная дама. Щеки у нее были как мя-

чки, а глаза — как две открытые банки с ваксой. Она поминутно обращала их в нашу сторону и что-то возбужденно шептала мужу, пожимая декольтированными пышными плечами. При этом длинные брови, похожие на земляных червей, все время шевелились.

Супруг, в знак согласия, величаво кивал большелобой головой и тоже пожимал плечами.

— Папа, здесь Вермелья.

— Я уже поздоровался с ними.

— По-моему, они здорово возмущены, что ты привел меня в кафешантан.

— Конечно, — невозмутимо ответил отец.

Я скрипочку имею,
Ее я не жалею.
И у кого хорош смычок,
Пусть поиграет тот разок, —

пищала с подмостков уже другая шансонетка — толстогрудая, толстоногая, в юбочке, как летний зонтик. Она так же, как «гимназистка», была грубо раскрашена: щеки — красным, брови и веки — черным, нос, похожий на первую молодую картошечку, — белилами.

Я брезгливо заморщился.

— Тебе не нравится? — поинтересовался отец.

— А что тут может нравиться? Бездарно, безвкусно! — хмуро ответил я.

Маргарита Васильевна, поймав взгляд отца, сделала ему знак лорнетом.

— Пойду поцелую ручку у Марго, — сказал отец.

Шансонетка пищала, задирая до подбородка толстые ноги в стираном-перестиранном розовом трико.

Я скосил глаз на Вермелей: златоуст страстно ораторствовал, а Марго то выпускала из мячиков воздух, то вновь надувала их. Черви на лице шевелились.

«У-у, попадает батьке за меня!»

Тучный тапер неожиданно перестал стучать по клавишам.

Унылый зал снисходительно похлопал в ладоши.

До меня донесся спокойный голос отца:

— Анатолий все равно бы отправился в шантан. Вот я и решил: пусть уж лучше пойдет со мной, пойдем вместе.

Тапер опять принялся неистово шуметь. Шансонетка - пищать.

Когда отец вернулся, я сказал:

— Мне что-то скучно, папа.

— Домой хочешь?

— Да, если ты не возражаешь.

— Ну иди. Я еще часок посижу с Вермелями.

И он попросил лакея, зевающего в салфетку, перенести чайник с шампанским за их столик.

Отец взял ложу на концерт известного пианиста, приехавшего из Москвы.

— Пойдем, друзья, всей компанией, — сказал он.

— Спасибо, папа, за приглашение.

С музыкой у меня были отношения довольно странные. Когда я еще шеголял с ленточками в волосах, в Нижний приехал знаменитый скрипач Ян Кубелик. Почему-то он должен был выступить днем в том клубе, где отец ежедневно играл в винт.

Мама сказала:

— Я возьму Толю в концерт.

— Отлично.

Отец возражал в самых редких случаях. А по пустякам — того и в помине не было. Поэтому дом наш совсем не знал мелких «мещанских» ссор.

Меня одели в новое шелковое платье с кружевами. «Господи, — молил я, — только бы Лопушка не встретить! Вот уж он завизжит на весь мир: “Девчонка! Девчонка!”».

Отец проводил нас до парадной двери:

— Наслаждайтесь, друзья мои.

Очевидно, из опасения, что я буду слишком громко выражать свои чувства, мама купила билеты на хоры.

Ян Кубелик играл, как мне показалось, бесконечно. Я смотрел сосредоточенно, слушал тихо. Мама была в восторге и от Яна Кубелика, и от меня. Вдруг я дернул ее за мизинец:

— Мамочка, а скоро он перепилит свой ящик?

Она посмотрела на меня с отчаянием, словно я внезапно заболел менингитом:

— Ах, Толя, какие ты задаешь странные вопросы!

Любопытно, что этому «странному вопросу» суждено было

превратиться в анекдот. Очевидно, мама рассказала папе, он своим партнерам по вину, те — своим приятелям и сослуживцам... Короче говоря, ровно через двадцать лет мой «странный вопрос» докатился до московского кафе «Стоило Пегаса». В моем присутствии Вадим Шершеневич рассказал его Всеволоду Мейерхольду. Я даже весь зарумянился от гордости. Но своей тайны открыть не решился. «Все равно эти скептики не поверят!» Поэтому лишь бросил небрежно: «У этого анекдота, Вадим, очень длинная борода».

«Ах, если бы и наша поэзия была так долговечна! — сказал я себе. — Нет, пустая надежда! Что может тягаться с глупостью? Только она бессмертна!»

А вот еще разговор о музыке.

Мы гуляли с отцом по двухъярусному залу Главного дома Нижегородской ярмарки. Играл военный оркестр. Некоторое время я терпел это мужественно. Потом стал тащить отца за палку с набалдашником из слоновой кости:

— Папочка, уйдем отсюда.

— Ты устал, Толя? Хочешь домой?

— Нет, не хочу, не хочу! Мы опять сюда вернемся... скоро... когда они перестанут шуметь.

И я показал пальцем на блестящие медные трубы, изрыгавшие несносный шум.

— О, брат, да из тебя Бетховен вырастет! — сказал отец без улыбки.

Очевидно с музыкой у меня происходило то, что бывает с куреньем, от первой папиросы тошнит, а после десятой становишься заядлым курильщиком. Надо только втянуться.

Когда в Пензу приехал на гастроли московский пианист, я уже более или менее втянулся в музыку, которую Кнут Гамсун называл «водкой проклятых».

Отец продолжал:

— Если хочешь, Толя, пригласи свою даму. В ложе есть свободное место.

— Благодарю, папа.

А ночью после концерта я спросил:

— Она тебе понравилась, папа?

— Очень.

— Правда?

— Прелестная девушка.

Я, конечно, засветился. Значит, поэт Анатолий Мариен-

гоф ничуть не преувеличивал. Тонечка действительно похожа на золотой пшеничный колос, обласканный теплым солнечным небом, омытый проливными дождями и вскормленный тучным пензенским черноземом. Так было написано в моем сонете.

— Я давно не видел таких розовых девушек, — продолжал отец, отстегивая крахмальный воротничок от похрустывающей сорочки.

— Розовой?.. — настороженно переспросил я.

Отец кивнул головой:

— У нее, наверно, великолепное здоровье! Даже ветряной оспы в детстве не было.

И, сняв ботинки, взял ночные туфли, вышитые бисером и купленные еще в Нижнем Новгороде у рукодела-монаха Печорского монастыря.

— О, сейчас она прелестна! Сейчас она очаровательна!

— А потом, папа?

Мой голос прозвучал робко и умоляюще.

— Потом?..

Отец положил на мое плечо большую ласковую руку:

— А потом... верная, любящая жена и отличная мать пятерых детей. Потом... умная и доброжелательная теща. А ведь это довольно редкое явление. И наконец, добрейшая бабушка целого выводка внучат... Проживет она долго — лет до девяноста. Еще и правнуков воспитывать будет.

Отец снял пенсне и стал играть ими. У взрослых тоже имеются свои игрушки.

— Вот и погадал тебе на воображаемой кофейной гуще.

Он ни в какой мере не хотел покушаться на мою любовь, но этими словами ранил ее смертельно.

Это случилось еще и потому, что за три дня до ночного разговора Тонечка показала мне свой семейный альбом. На большой глянцевой фотографии ее покойной мамы (она погибла при крушении поезда) я увидел мою Тоню. Бывает же такое поразительное сходство! Я увидел Тоню — поблекшую, рыхлую, с двумя подбородками и черепаховым веером в полных пальцах, унизированных кольцами. А на следующем листе (ох, какая коварная вещь эти семейные альбомы!)... я увидел Тоню в пожелтевшем портрете ее бабушки — грузной, седой, морщинистой старухи с добрыми вылинявшими глазами в больших очках. Обычно такие очки придают суро-

вость лицу. Но тут даже они были бессильны преобразить природу.

Бабушка еще здравствовала, но мне повстречаться с ней не довелось. Старуха, держась старины, выезжала только в свою приходскую церковь Трех Святителей, где и венчалась она ровно шестьдесят пять лет тому назад.

Однажды отец спросил меня:

— Как ты считаешь — Тонечка умна?

— Видишь ли, папа, Тургенев о своей Виардо говорил: «Она так умна, что не только видит насквозь человека, но и спинку кресла, на котором он сидит». Ни за какие коврижки я бы не женился на такой женщине.

— Боже упаси! — воскликнул отец, хватаясь за голову.

Прошло, пожалуй, не меньше месяца.

— Вот, Настя, что получается, — тихо закончил я свою любовную исповедь, — в моей, стало быть, любви червячок завелся. Как в папином александровском бюро.

Настенька задумчиво почесала в волосах штопальной спицей:

— Ничего тут не поделаешь, Анатолий Борисович. Пролитого уж не поднять.

И утешила, заглянув в комнату отца:

— У Бориса Михайловича пасьянс вышел. Хороший знак!.. Пожалуйста-ка за стол. Самовар давно из себя выходит.

Теперь бы о Тонечке я сказал шуточными строчками, к сожалению, не моими:

Молодуха, молодуха,
Много тела, мало духа.

Сегодня торжество в нашем «обжорном зале»: окна вымыты, полы натерты воском, прилавок с холодными пирожками вынесен вон, а вместо него стоит длинный стол, покрытый синим сукном с золотой бахромой.

За столом — директор, поп в шелковой рясе и все педагоги. Они подстриглись, подровняли усы и бородки, пахнут цветочным одеколоном. Выглядят хотя и торжественно, но несколько поглупевшими, как это обычно бывает с людьми, только что вышедшими из парикмахерской. Директор в новом сюртуке; на шее какой-то орден, а через живот — толстая золотая цепь со множеством брелков. При малейшем движении

директор звенит, как положенный на крышку гроба венок с железными цветами. Но от этого погребального звона не делается тоскливо на душе, потому что на синем сукне с золотой бахромой высится порядочная стопка аттестатов зрелости.

С величавой скрипучестью в голосе директор вызывает к длинному столу счастливых выпускников.

У меня чуть-чуть замирает сердце.

— Ма-ри-ен-гоф.

О, как я ждал этой минуты!

Стараюсь приблизиться к столу неторопливо, спокойно и с иронической улыбкой, которой я уже научился прикрывать себя в сложных и неприятных жизненных обстоятельствах.

А ведь они приходят очень рано. Чуть ли не в тот день, как принимаются купать человека в цинковой ванночке, и мыло попадает ему в глаза, и человек начинает горько плакать; орать, реветь от боли, обиды и гнева.

Я все это отлично помню. Помню свои чувства и свои мысли (да, да, свои мысли!) в эти драматические минуты. Причем помню гораздо лучше, острее, чем то, что случилось со мной, приближающимся к старости, лет пять тому назад.

А может, это все мое воображение. Ведь уверял же Андрей Белый, лично меня горячо уверял, что он помнит себя в животе матери.

Директор, издавая трубные звуки, сморкается в большой белый платок голландского полотна, хотя никакого насморка у господина Пономарева нет.

— Поздравляю, мой друг, с окончанием гимназии.

— Благодарствуйте, Сергей Афанасьевич.

— Желаю вам с честью защищать царя и отечество от тевтонских орд.

Потом величаво встает поп, шурша своей шелковой рясой:

— Сын мой, да не оставит тебя Всевышний на ратном поле!

Я наклоняю голову и мысленно говорю: «Куда угодно — к черту, к дьяволу, на ратное поле, будь оно проклято, только б выскочить из вашей гимназии».

Поп благословляет. Педагоги благосклонно улыбаются.

— Вот-с! — сипит господин Пономарев. — Вот-с...

И церемонно вручает мне аттестат, который шелестит в руках, так как напечатан на отличном пергаменте.

Сколько огорчений, волнений, головной боли, сколько дней, месяцев и лет, выброшенных на ветер, из-за этого листа голубой казенной бумаги, ничего не говорящей о человеке!

...27-го мая 1916-го года, при отличном поведении, окончил полный восьмиклассный курс, причем обнаружены ниже следующие познания:

Закон Божий.....	три (3)
Русский язык с церковно-славянским и словесность.....	три (3)
Философская пропедевтика.....	три (3)
Математика.....	три (3)
Математическая география.....	три (3)

И так далее — три, три, три, три...

— Распишитесь, мой друг, в получении аттестата.

Я ставлю четкую подпись.

Директор смотрит, и глаза у него становятся скорбными, страдальческими.

В чем дело?

Оказывается, по домашней привычке, установившейся со времен нашего журнала с плехановским направлением, я не поставил твердый знак в конце фамилии.

— Ну, вот-с... — сокрушенно качает директор своими почтенными сединами, — вы, господин Мариенгоф, окончили гимназию, аттестат зрелости у вас в руках, вы вольный человек и теперь можете писать без твердого знака!

Мне делается по-человечески жаль старика:

— Простите, Сергей Афанасьевич. Это я по рассеянности. Разрешите, поставлю.

— Сделайте милость, голубчик, уважьте. Уважьте на прощанье.

— Да, да...

Беру костяную ручку и ставлю жирный твердый знак, столь дорогой его педагогическому сердцу.

Сергей Афанасьевич доволен, успокоился:

— Спасибо, мой друг, спасибо!

А через семнадцать месяцев произошла Октябрьская революция. Одни ли твердые знаки она уничтожила?

Я опять забегая вперед.

Москва.

Военный коммунизм.

— К вам, Анатолий Борисович, гость! — уважительным голосом сообщает соседка по коммунальной квартире в Богословском переулке.

Выхожу в полутемный коридор.

— Сергей Афанасьевич!..

Сам не понимаю почему, но я очень обрадовался:

— Милости прошу!.. Пожалуйста!.. Пожалуйста, заходите...

И распахиваю дверь в комнату.

Мой бывший директор несколько похудел. Голова и борода стали как декабрьский снег, только что выпавший. Но выглядит старик, как говорится, молодцом.

— Я учительствую, — сообщает он, — в той же нашей с вами гимназии... Преподаю российскую словесность юным большевикам... Отрокам и девицам... Славные ребята.

Мысленно улыбаюсь этому слову — новому для Сергея Афанасьевича. Нас он называл «господами».

— Да, любопытные ребята... И, знаете, даже не команду ют мной, а вроде как я ими. Ладим, ладим.

Разговор переходит на политику.

— Если толком разобраться во всем, что происходит, — продолжает Сергей Афанасьевич, — можно прийти к выводу, что большевики осуществляют великие идеи Платона и Аристотеля. «Все доходы граждан контролируются государством»... Так это же Платон!.. «Граждане получают пищу в общественных столовых»... И это Платон! А в Фивах, как утверждает Аристотель, был закон, по которому никто не мог принимать участия в управлении государством, если в продолжение десяти лет не был свободен от занятия коммерческими делами... Разве не правильно? Какие же государственные деятели из купцов? Мошенники они все, а не государственные деятели!

Мне становится весело.

— А как же, Сергей Афанасьевич, с твердым знаком? — спрашиваю не без ехидства. — Помните, как вы огорчились, когда я отменил его при получении аттестата зрелости?

Старик добродушно смеется. Он все помнит.

— Теперь, друг мой, прошу просветить меня светом имажинизма. Все манифесты ваши прочел, все книжицы ваши у меня имеются, да как-то не в коня корм.

Мне приходится держать ответ перед директором Третьей пензенской гимназии, принявшим Октябрьскую революцию через Платона и Аристотеля.

5

1916 год.

Западный фронт.

Наша инженерно-строительная дружина сооружала траншеи третьей линии, прокладывала дороги и перекидывала бревенчатые мосты через мутные несудоходные речки.

Шла позиционная война — ни вперед, ни назад. Офицеры напивались медицинским спиртом, играли в карты и волочились за сестрами милосердия из ближайших полевых госпиталей. Солдаты били вшей и скучали. Кто по чему. У каждого была своя скука. Перед заходом солнца по какой-то нелепой привычке бесцельно стреляли пушки — немецкие и наши. А со снарядами у нас было худо.

В лазаретах бездельничал врачебный персонал. В 27-м эпидемическом занято было несколько коек дизентерийными.

Мы жили, как на даче: охотились, ловили рыбу, играли в покер. У меня была двуколка польского образца и под седлом длинноногий злой жеребец по имени Каторжник. Он обожал, надо не надо, вставать на дыбы или лягаться обеими задними. После ужина мы отправлялись целоваться в 27-й эпидемический. Либо сестры приезжали к нам. Но и это надоело. Тогда сообща затеяли спектакль. В несколько дней я написал свою первую пьесу. Двухактную, в стихах — «Жмурки Пьеретты». Сережа Громан справедливо за безыдейность испепелил бы её молниями своего общественного гнева. Но врачам, инженерам, офицерам и сестрам милосердия «Жмурки» нравились. Вероятно, тоже за безыдейность, так как никто из моих персонажей никого не уговаривал драться с немцами до последней капли крови. А кавалерийский генерал Ломашевич просто таял в эстетическом восторге. Живот у кавалериста был как на девятом месяце. Шея толстая, короткая, красная. «Хоть оладьи пеки на ней», — сказала бы Настенька. Нос приплюснутый, с легким наклоном в левую сторону. Будто генерал смотрел на улицу, прижавшись к стеклу, а когда отошел —

мягкий нос его, вылепленный из фарша для пельменей, так и не расправился. Но святое искусство его превосходительство обожал смертельно. «Я, видите ли, первый театрал на всю Астрахань!» — с гордостью повторял он после каждой выпитой рюмки, вернее, баночки, — потому что пили мы разбавленный спирт из баночек, которые при люмбаго ставят на поясницу.

— Как это вы сочиняете? Ну как? Как? — допытывал меня генерал. — Да еще в стихах! Да еще не о людях обыкновенных, а, видите ли, про арлекинов и пьеретт!

Откуда было знать его превосходительству, что всего трудней писать о самых обыкновенных людях?

Генералу я искренне симпатизировал и очень хотел объяснить таинственный процесс поэтического творчества, но из этого ничего не получалось.

— Туманно-с... Туманно-с, господин поэт, — досадовал генерал.

Это происходило более сорока лет тому назад. Спрашивается: а сумел бы я объяснить теперь? Вряд ли.

Так провоевал я первую мировую войну. Молитва нашего гимназического попа, очевидно, была услышана: Всевышний не оставил меня на ратном поле.

Ну а если говорить серьезно? Ведь в человеческой жизни все бывает не с брызгу. Почему же я воевал так противно? Перетрусил, что ли? Не захотелось пупком вверх лежать раньше времени? Да нет! Помнится, мне всегда нравилось поиграть со смертью в орла и решку. Пофорсить, пофигурять. Разумеется, если бывали зрители. Особенно пофигурять при сестрах милосердия. Когда немецкий аэроплан бросал бомбы на 27-й эпидемический, отмеченный большим красным крестом, и все, запыхавшись, лупили в блиндаж, я довольно спокойно покуривал на крыльце фанерного дома и с преувеличенным интересом смотрел на разрывы шрапнелей вокруг летающего мерзавца.

А сестры перешептывались:

— Ах, какой он бесстрашный! Ну просто душенька! Душенька-душенька-душенька наш Анатолий!

В свое время, то есть в XVI веке, Монтень писал: «Установлено с несомненностью, что предельный страх и предельный пыл храбрости одинаково расстраивают желудок и вызы-

вают понос». Со мной, к счастью, этого никогда не случилось. Поэтому, говоря по-честному, я не могу назвать себя ни жалким трусом, ни отчаянным храбрецом.

Об Октябрьской революции я узнал в железнодорожном вагоне — ехал домой в Пензу, в отпуск.

Поезд был в гнетущем противоречии с ритмом мятущихся дней. Безудержные события неслись, мчались, обгоняя друг друга. А выпавший из графика поезд волочил свои неподманные колеса, как разбитые параличом ноги.

То и дело горели буксы. На полустанках, где полагалось стоять минуту, мы застревали на часы.

Я смотрел в окно, забрызганное дождем, и думал стихами Александра Блока:

О Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!

Ветряные мельницы испуганно махали деревянными руками. Трепещущие осины плакали красными листьями. Они казались кровавыми. Паровозы были в истерике. Грузные чернокрылые птицы, похожие на летающие попарно маленькие роули, кружили над мокрыми полями, словно ожидая трупов в Тульской, Тамбовской, Пензенской губерниях: «Вот, мол, и здесь мы скоро полакомимся».

Вот когда воронье любит кретинские человеческие бойни, это мне понятно. Очень понятно. А когда...

— Ты пацифист! Паршивый пацифист! — презрительно говорили мне лет сорок и после 1917 года.

Да!

Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль...

Опять Блок. Куда от него деваться?

Припомнилась гимназия, Сережа Громан, два толстых тома «Капитала», брошюры в красных обложках, юношеский дневник и записи в нем.

«Ну, вот, — шептал я себе, — это она, твоя революция. Революция полусытых, революция одетых в лохмотья. Тех, что работают на бездельников».

Потом спрашивал себя: «Ну, господин честной человек, скажи-ка по совести — нравится?.. Где ты?.. С кем ты?»

И отвечал дерзко: «С ней!»

Поезд трогался.

Небо было измазано солнцем, как йодом.

Мысли переносились на отца, от которого больше месяца не получал писем: «Жив ли?.. Здоров?.. Как он там?..»

Наконец на пятые... нет, ошибаюсь, — на шестые сутки я прибыл в Пензу, уже большевистскую.

Вечер. Холодный дождь. Платформа — серая от солдатских шинелей.

В зале первого класса, который уже ничем не отличался от зала третьего класса, ко мне подошел немолодой солдат, похожий на Федора Михайловича Достоевского. Левый пустой рукав был у него засунут в карман шинели.

Солдат властно распорядился:

— Эй, гражданин офицер, содерите-ка свои погончики!

К этим «погончикам» я никогда не испытывал особой привязанности, но тут уж больно пришлось не по нутру солдатская властность.

— Что-то не хочется, — сказал я с наигранным спокойствием. — Нет. Не «содеру», дорогой товарищ.

В зале, переполненном солдатами — однорукими, одноногими, ненавидевшими золотопогонников, — это была игра с огнем над ямой с порохом.

Вот чертовщина! И перед кем играл? Сестер-то милосердия поблизости не было.

Вероятно, закусив удила, подобно моему норовистому Каторжнику, я встал на дыбы только из чувства противоречия. Проклятое! До гробовой доски оно будет мне осложнять жизнь, портить ее, а порой ломать и коверкать.

— Э-э!.. — И солдат, похожий на Достоевского, посмотрел на меня с каким-то мудрым мужицким презрением.

— Что «э-э-э»? — позвякивая шпорой, спросил я.

Вместо ответа солдат презрительно махнул своей единственной рукой и отошел в сторону, даже не удостоив меня матерным словом.

Этого, признаться, я ожидал меньше всего. Стало стыдно.

Настенька сказала бы: «Запряг прямо, а поехал криво».

«Интеллигентшко паршивый!» — выругался я мысленно.

Nov 20
68



Борис Мариенгоф с сыном Анатолием.



Нижний Новгород.
Здесь в 1897 г. родился Анатолий Мариенгоф.



В Пензе прошли его юношеские годы.



На поэтических вечерах
в Московском
Политехническом музее
имажинисты
начинают обрывать голос.



Политехнический Музей

(Дублянская аллея, 4)

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 17^{го} ОКТЯБРЯ, в 7^м ЧАС. ВЕЧ.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ

ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

СОСТОИТСЯ **ВЕЧЕР** ВСЕХ

ПОЭТИЧЕСКИХ

ШКОЛ и ГРУПП.

С ДЕКЛАРАЦИЯМИ и СО СТИХАМИ ВЫСТУПАТ:

НЕОКЛАССИКИ: М. Гальперин, О. Леонидов

НЕОРОМАНТИКИ: Арго, А. Мареев

СИМВОЛИСТЫ: А. Белый, В. Брюсов, И. Рунаквашинин

НЕОКМЕНИСТЫ: Адалис

ФУТУРИСТЫ: И. Ансенов, С. Буданцев, В. Намонский, А. Иручиных, В. Шаповалов

ИМАЖИНИСТЫ: И. Грузинков, С. Есенин, А. Мусиков, А. Морозов, Ш. Рейман, В. Шоршомович, И. Эрдаган

ЭКСПРЕССИОНИСТЫ: С. Спаский, Я. Соколов

ПРЕЗАНТИСТЫ: А. Назаров, Д. Туванский

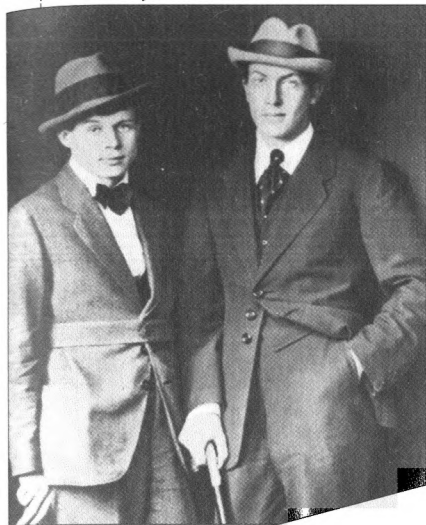
НИЧЕВОВЫ: Б. Земеников, Р. Рок, С. Садиков

ЭКЛЕКТИКИ: А. Апукхан, Н. Бомар

ПОДРОБНОСТИ В ПРОГРАММАХ.

Билеты продаются одновременно в кассе Политехнического Музея (Дублянская пр. 4) с 4 до 11 час. вечера.

Книжный магазин "Московской трудовой артели художников слова" был открыт Мариенгофом и Есениным в доме № 15 по Большой Никитской улице в 1919 г. Сейчас на этом доме мемориальная доска.



Москва, ул. Большая Никитская
 Артель Художников Слова
 Богословский п.з. II
 9 сентября 1919 г.

Председателю Московского Совета
 Р. и К. Д.

Я, *С. Есенин*, просим Вас выдать ей разрешение на открытие книжной лавки. Настоящая книжная лавка имеет цель обслуживать читающие массы исключительно книгами по искусству, удовлетворяя как единичных потребителей, так и рабочие организации. Работу по лавке будет нести Трудовая Артель совершенно не пользуясь наемным трудом в лице поэтов, Сергея Есенина, Анатолия Мариенгофа, Петра Орешина, Николая Клева и И. Герасимова и др. Трудовая Артель надеется, что означенное ходатайство будет Вами удовлетворено.

С. Есенин
 Мариенгоф

Староста
 Дюсарь

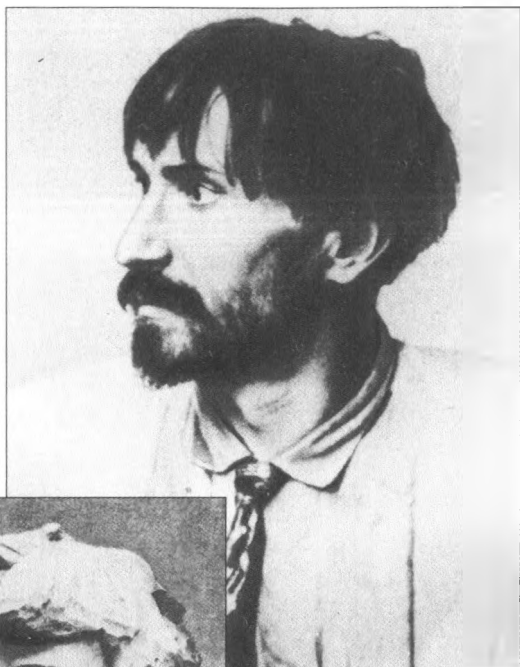
1930

МОСКОВСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕЯТЕЛЕЙ
 СЕКЦИЯ КУЛЬТУРЫ
 1919

На Тверском бульваре. Сидят: Вадим Шершеневич
и Сергей Есенин. Стоят: Элен Шершневская,
Анатолий Мариенгоф, Иван Грузинов.



Скульптор Сергей Коненков и деревянный бюст С.Есенина его работы.



Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф и Велимир Хлебников.
Харьков, 1920 г.



«Крестьянские поэты» — Сергей Клычков,
Петр Орешин, Николай Клюев.

Рюрик Ивнев. Владимир Чернявский. Сергей Есенин.
Петроград.



Обложка поэтического сборника
имажинистов "Конница бурь".

Афиша
"Вечера лирики
и мажоризма"
в кафе "Стойло Пегаса".
1920 г.

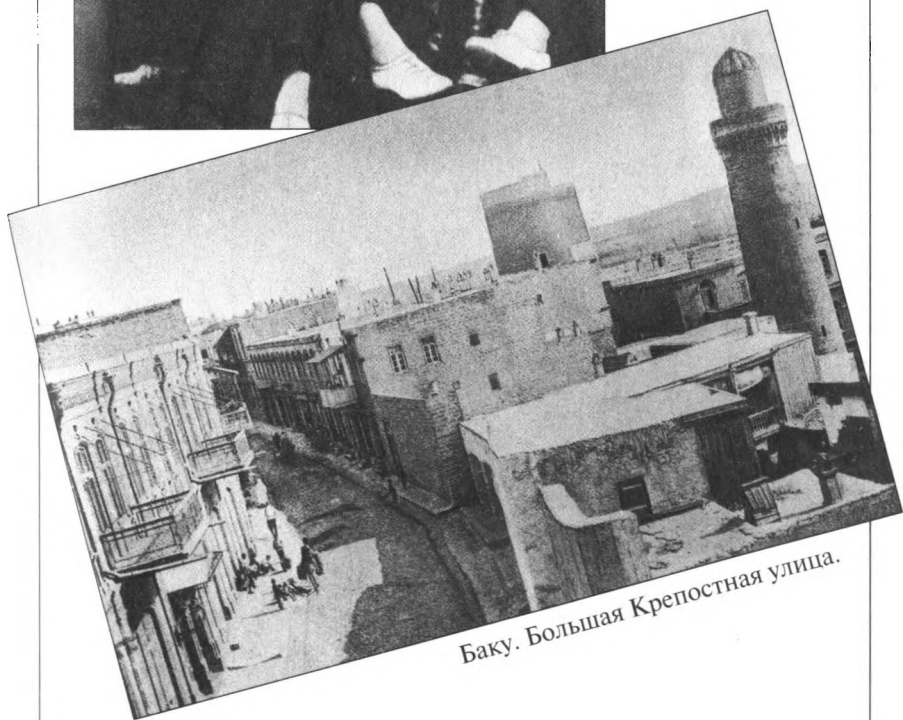


**СТОЙЛО
ПЕГАСА**
ТВЕРСКАЯ 37
14 ПОНЕД. ВЕЧЕР ЛИРИ-
КИ И МАЖОРИ-
ЗМА.
15 ВТОРНИК
ЕСЕНИН
16 СРЕДА
КРУЧЕНЫХ
18 ПЯТНИЦА:
Н. ЭРДМАН
19 СУББОТА:
С. ТРИГОРЬЕВ
О КУСИКОВЕ
НАЧАЛО ВЫСТУПЛЕНИЙ
В 11 Ч. 30 М. ВЕЧ.
В ОДИН ИЗ БЛИЖАЙ-
ШИХ ПОНЕДЕЛЬНИКОВ
АССОЦИАЦИЯ ВОЛЬНО-
ДУМЦЕВ ВСТУПИТЕ
ПЕГАСА ОРГАНИЗУЕТ
**МИТИНГ
ИСКУССТВ**
В ЦЕЛЯХ ВЫЯСНЕНИЯ
ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА И
ЕГО ВРАГОВ.

Александр Кушников,
Анатолий Мариенгоф
и Сергей Есенин.



Путешествие на юг.
В первом ряду:
Василий Казин,
Сергей Есенин,
Григорий Колобов
(Почем-Соль),
Анатолий
Мариенгоф.
Сочи, 1920 г.



Баку. Большая Крепостная улица.

Николай Бухарин.



Лев Троцкий.



Анатолий Луначарский.

Танцует Айседора Дункан.

Государственный Большой Академический Театр.

НАРКОМПРОС
КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКТЯБРЬСКИХ ТОРЖЕСТВ

1917 25 ОКТЯБРЯ 25 **1921**
7 НОЯБРЯ 7

ВЕЧЕР АЙСЕДОРЫ ДУНКАН.

I
Вступительное слово А. В. Луначарского

II
I **ИНТЕРНАЦИОНАЛ**

2 П. И. Чайковский *Симфония № 6* А. Дункан.
(Патетическая).

3 П. И. Чайковский. *Славянский марш* А. Дункан.

4 *Интернационал* А. Дункан.

Начало в 7¹⁵ часов вечера

Программа идет без антракта.

Оркестр Государственного Академического Большого Театра
под управлением И. С. Голдштерна

Ответственный редактор А. А. Петров.
Ответственный организатор А. В. Колпаков



Сергей Есенин с Ирмой и Айседорой Дункан.
Москва, 1922 г.

Вадим Шершеневич.



Николай и Борис Эрдманы.

Рисунки Б.Эрдмана:



С.Есенин



А.Мариенгоф



А.Кусиков



В.Шершеневич



Н.Эрдман



И как только солдат затерялся в толпе, я со злостью содрал с бекеши свои земгусарские погоны.

В революции извозчицья лошадь сдала раньше человека. К нашему дому из некрашеного кирпича на Казанской улице я не подкатил, а приплелся на бывшем лихаче.

Отец лежал в кровати, вытянувшись в стрелку и подложив левую руку под затылок. Я сидел у него в ногах.

Сквозь тяжелые шторы уже просачивалось томленное молоко октябрьского рассвета.

Незаметно мы проговорили часов восемь.

— Да, Толя, — заключил он, — ты был очень похож на глупого майского жука, который, совершая свой перелет, ударяется о высокий забор и падает в траву замертво.

На кухне Настенька уже звенела ножами, вилками и медной посудой.

— Ты сегодня красиво говоришь, папа! — сказал я с улыбкой.

— Стараюсь!.. Дай-ка мне папиросу.

Я подал и зажег спичку.

— Спасибо. Вообще, мой друг, советую тебе пореже ссориться с жизнью.

Он затыкнулся.

— Какой смысл из-за пустяков портить с ней отношения?

И добавил, постучав ногтем о толстый мундштук, чтобы сбросить пепел:

— Ей что? Жизнь идет своим шагом по своей дорожке. А ты наверняка в какой-нибудь канаве очутишься с переломанными ребрами.

— Обязательно! И не раз, папа.

Эти слова мои оказались пророческими. Но кто же на этом свете слушается умных советов?

6

По новому стилю, еще не одолевшему старый, уже кончатся ноябрь.

Они сидели за ломберным столом, поджидая четвертого партнера.

Можно было подумать, что в России ничего не изменилось, а уже изменилось все. Но люди и вещи по привычке

еще находились на своих местах: высокие стеариновые свечи горели в бронзовых подсвечниках; две нераспечатанные колоды карт для винта и пачка красиво отточенных мелков лежали на зеленом сукне ломберного стола.

— А мне нравятся большевики! — сказал отец, вынимая из серебряного портсигара толстую папиросу.

— Вам, Борис Михайлович, всегда нравится то, что никому не нравится, — небрежно отозвался Роберт Георгиевич.

Марго (так называли Вермельшу близкие люди), нервно поиграв щеками, похожими на розовые мячики, добавила желчно:

— Борису Михайловичу даже «Облако в штанах» нравится... этого... как его... ну?

— Владимира Маяковского, — мягко подсказал отец.

— Что? — ужаснулся знаменитый присяжный поверенный. — Вам нравится этот бред сивой кобылы?

— Талантливая поэма.

— Та-лан-тли-вая?

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий, —

с улыбкой прочитал отец по памяти, на которую не мог пожаловаться.

— Типичнейший большевик! Этот ваш... Ну, как его?

— Маяковский, Маргарита Васильевна, — подсказал отец с той же улыбкой, без малейшего раздражения.

— Вся их нахальная психология тут. В каждом слове! В каждой букве!

И у Марго от возмущения даже заискрились ее открытые банки с ваксой.

— По всему видно, что ваш... — запнулась она, — ...Маяковский тоже на каторге воспитывался.

А Роберт Георгиевич шикарно захохотал. Он был эффектёр, как говорили в XIX веке.

— Уф-ф!.. Насмешил, Борис Михайлович!.. Насмешил!..

У златоуста буйно росли волосы на руках, в ушах, в носу, словом, везде, где они не слишком были нужны, и упрямо не

росли на голове, где было их законное место. Это еще увеличивало его лоб, и без того непомерный.

— И эта гнусь, родной мой, называется у вас поэзией?

— Такой уж у меня скверный вкус, Роберт Георгиевич, — как бы извиняясь отвечал отец.

— Не смею возражать, не смею возражать.

И златоуст, очень довольный своей репликой, нежно погладил лысину, желтую и блестящую, как паркет, только что натертый.

Огромные лбы принято считать чуть ли не признаком Сократовой мудрости. Экой вздор! В своей жизни я встречал ровно столько же высоколобых болванов, сколько и умников, в числе которых, надо сказать, довольно редко оказывались краснобаи.

— Нет, господа, с большевиками я даже на бильярде играть не согласен! — всюду заверял Роберт Георгиевич своих судебных коллег и партнеров по винту.

— Этого еще не хватало! — фыркнула Марго. — Нашел себе подходящую компанию.

Следует заметить, что большевики тогда не нравились и доктору Петру Петровичу Акимову, которого сейчас поджидали. А ведь про доктора не только в гостиных и в клубе, но и на базаре всегда говорили: «У-у, это голова!»

Когда к Петру Петровичу приходил пациент с большим сердцем и спрашивал: «Доктор, а коньячок-то небось мне теперь пить нельзя?.. И курить небось — ни-ни?.. И насчет дамочек...» — Петр Петрович обычно клал такому пациенту на плечо свою костистую руку и внушительно поучал: «Самое вредное для вас, дорогой мой, это слово “нельзя” и слово “ни-ни”. А все остальное — Бог простит... И я вслед за ним».

По уверениям пензяков, больные уходили от умного терапевта почти здоровыми. Я бы, например, добавил: «Психически». А ведь и это немаловажно.

Да и прочие медицинские советы Петра Петровича, по моему разумению, были прелестны.

«Вам, батенька, — наставлял он свежего пациента, — прежде всего надо к своей болезни попривыкнуть. Сродниться с ней, батенька. Конечно, я понимаю, на первых порах она вам кажется каким-то злодеем, врагом, чудовищем. Чепуха, батенька! Вот поживете с ней годик-другой-третий, и все по-

хорошему будет. Уж я знаю. Даже полюбите ее, проклятую эту свою болезнь. Станете за ней ухаживать, лелеять ее, рассказывать про нее. Вроде как про дочку. Приятелям своим рассказывать, родственникам, знакомым. Да нет, батенька, я не смеюсь, я говорю серьезно. Честное слово. И чем раньше это случится, тем лучше. Вообще, батенька, в жизни философом надо быть. Это самое главное. Обязательно философом... Хочешь не хочешь, а к полувеку надо же какую-нибудь болезнь иметь. Помирать же от чего-нибудь надо. Так ваша болезнь, батенька, не хуже другой. Даже, на мой глаз, по-симпатичней».

Пациент сначала смеялся, потом сердился на Петра Петровича, потом говорил: «Такого врача и в Москве не сыщешь!» И, привыкнув к своей болезни, наконец помирал, как и все другие пациенты на этой планете.

Однако вернемся к политике, которая тогда занимала все умы.

Так вот: Роберту Георгиевичу с супругой большевики не нравились, Петру Петровичу тоже, Сергею Афанасьевичу Пономареву... ну, конечно же! Словом, как это ни грустно, но знаменитый на всю губернию присяжный поверенный был совершенно прав, когда заявлял, что они «никому не нравятся». Разумеется, надо понимать под словом *никому* солидную пензенскую интеллигенцию.

Звонок продребезжал у двери.

— Вот и Петр Петрович, — сказал отец. — Это его колокол.

Настенька живой рукой, по ее любимому выражению, кинулась отворять парадную дверь.

— Пожалуйте, доктор, пожалуйста! Вас заждались!

— А я, лапушка, к приятелю своему заезжал, к провизору Маркузону, — хрипел в ответ доктор. — К чудотворцу Абраму Марковичу. Вот...

И по установившемуся обычаю, он засовывал в карман ее белоснежного фартучка пузырек с персиковым ароматным маслом.

— Вот секрет твоей красоты. На сон грядущий перед молитвой в щеки втирай, лапушка, в щеки и в нос... пять капелек.

— Ой, спасибо, Петр Петрович!

А из гостиной, состроив кислую гримаску обиды и шевеля бровями, мурлыкала Марго:

— Опять, доктор, на полчаса опоздали!

— Доктор всегда опаздывает, — поддержал знаменитый оратор свою супругу. — Он и к своему больному является через пять минут после его смерти.

— Хи-хи-хи!.. Хи-хи-хи!.. — таким валдайским бубенчиком аккомпанировала Марго.

— Поверьте, господин Демосфен, к вам я приеду вовремя: к самому выносу, батенька, вашего величественного тела! — неласково отозвался доктор, снимая возле вешалки высокие суконные боты, изрядно забрызганные знаменитой пензенской грязью — черной, как осенняя ночь.

Партнеры разошлись в начале второго.

Задув стеариновые свечи на ломберном столе, Настенька грустно спросила:

— Небось, барин, опять проигрались?

Отец, как всегда, отвечал несколько сконфуженно:

— Сущие пустяки.

— Сегодня пустяки, завтра пустяки, послезавтра...

Глубоко вздохнув, Настенька стала собирать в колоду небрежно разбросанные карты.

— Папа, а ведь он совсем не умен, выражаясь мягко.

Отец, разумеется, сразу понял, о ком я говорю.

— Тебя это удивляет?

— Ну, как-никак — присяжный поверенный, оратор, именьице уже заработал и четырехэтажный каменный дом.

— Видишь ли, я давно убедился, что процент дураков во всех профессиях примерно один и тот же.

— Не понимаю.

— Ну, допустим, если ты возьмешь десять министров — добрая половина обязательно дураки. Десять купцов — пропорция та же. Десять полотеров или дворников — картина не изменилась. Десять миллионеров, десять бедняков — тот же закон природы. Совершенно железный закон.

— Парадокс, папа?

— Избави меня Бог!

Действительно, на этот раз его глаза не были окружены веселыми насмешливыми морщинками. Он явно говорил то, что продумал, в чем убедился, наблюдая жизнь сквозь стекла пенсне в золотой оправе.

— Поэтому, мой друг, вероятно, Герцен и советовал считаться с глупостью как с огромной социальной силой.

И, сняв пенсне, презрительно добавил, продолжая думать о Роберте Георгиевиче:

— Н-д-а-а, патриот Российской империи!

И так как у нас в доме было что-то вроде семейного культа Вильяма Шекспира, заключил цитатой из него:

Он уверял, что если б не стрельба,
То сам бы, может быть, пошел в солдаты.

Я представил себе эту картину: Роберт Георгиевич в бескозырке набекрень и с винтовкой на плече — «шагом марш!..».

И в голос рассмеялся.

— Ты что?

— Да так, папа. Обожаю Шекспира. До чего ж умен!

А напоследок, как всегда в те недели, мы поговорили о русской интеллигенции.

— Вот, — сказал отец, — к примеру, Марго. Через каждые десять фраз у нее: «Мы — русская интеллигенция!», «Мы — образованные люди!». Ну какая она, в сущности, «мы — интеллигенция!», какая — «мы — образованные люди!»? Да что она знает, эта барыня, толстокожая, как плохой апельсин? Что у нее после гимназии осталось в голове? Что помнит? Ну, скажем, о древних римлянах? Да кроме того, что Нерон ради красивого зрелища Рим поджег, ничего она больше не знает, ничего не помнит. Ну, разве еще, что римляне на пирах для облегчения желудка вкладывали два пальца в рот и тошнили. Вот и все. Вот и все ее познания о римлянах. И о древних афинянах не больше, и о французах средневековья, и о Пушкине. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» И — тпру! А ведь таких у нас интеллигентов, как Марго, — девяносто процентов.

— Это твое общество, папа, — уколол я.

— Увы! Но остальные десять процентов нашей интеллигенции, пожалуй, даже получше, пошире будут, чем европейские. А почему?

— Ну-с?

— Да потому, что мы не можем сразу заснуть, как легли в постель. Нам для этого необходимо с полчаса почитать. Это убаюкивает. Сегодня полчаса, завтра, послезавтра... так из года в год. Глядь, и весь Толстой прочитан, и весь Достоевский, и весь Чехов. Даже Мопассан и Анатоль Франс

Вот мы и пошире и поначитанней французов и немцев. Те засыпают легче.

— Что-то, папочка, ты сегодня ядовит.

— Ага, — усмехнулся он, — как змий библейский. Только малость поглупей.

— Кокетничаешь, папочка.

— А что делать?

Под самым потолком плавали голубовато-серые облака папиросного и сигарного дыма. Как нетрудно догадаться, «Гавану» курил знаменитый присяжный поверенный. Это импонировало его клиентам. Вторые рамы еще не были вставлены.

Я подошел к окну и распахнул его настежь. В беззвездную ветреную черную ночь. Социалистическая революция уже погасила все керосиновые фонари на нашей Казанской улице.

7

Чехословацкие белые батальоны штурмовали город.

Заливая свинцом близлежащие улицы, они продвигались от железнодорожной насыпи обоих вокзалов: «Пенза 1-я» и «Пенза 2-я», — то есть от пассажирского и товарного.

Падали квартал за кварталом, улица за улицей.

Настенька ходила хмурая.

— Одолевают, сукины сыны. Ох, одолевают!

Отступающие красноармейцы втащили пулемет на чердак нашего дома.

Мы только что пообедали. Вдвоем. Сестра гостила у подруги где-то на Суре. Отец аккуратно сложил салфетку, проткнул ее в серебряное кольцо с монограммой и встал из-за стола:

— Спасибо, Настенька. Спустите, пожалуйста, шторы у меня в спальней.

— Сию минуточку, — ответила она шепотом.

После первых же орудийных выстрелов Настя почему-то стала говорить шепотом и ходить на цыпочках.

— Я прилягу на полчаса, — сказал отец, развязывая галстук.

Мне думается, что, если б даже мир перевернулся вверх тормашками, отец все равно после обеда прилег бы вздремнуть «на полчаса».

Кстати, я полностью наследовал эту его привычку: говорю те же слова и так же развязываю галстук, перед тем как растянуться на тахте.

Настенька подала ночные туфли, вышитые бисером:

— Отдыхайте, барин. Все приготовлено, — опять прошептала она.

— Пожалуйста, Толя, не вертись возле окон.

— Хорошо.

— Пуля — дура, как тебе известно.

Отец притворил за собой дверь спальни.

— Тут из пушков по нас стреляют, а они спать. Бесстрашные какие-то.

— Спускайтесь, Настенька, в подвал, — предложил я.

— Да нет, у меня посуда не вымыта.

Она прошла в кухню на цыпочках.

Артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь усиливался с каждой минутой.

Я нашел в ящике письменного стола перламутровый театральный бинокль и, протерев стекла замшевой полоской, засунул его в нижний карман френча.

— Куда это вы собрались, Анатолий Борисович?

— В театр, Настенька. Сегодня очень интересный спектакль у нас в Пензе. Бой на Казанской улице.

— А что на это барин скажут?

— Ничего не скажет. Папа уже спит.

В задний карман синих диагональных бриджей я положил маленький дамский браунинг. Его пульки были величиной с детский ноготь на мизинце. Более грозного оружия в доме не оказалось.

— Пойду все же прислушаюсь. А вдруг барину не спится.

— Этого быть не может. Дайте-ка мне, Настенька, папирос побольше... для товарищей.

Вернувшись с папиросами, она прошептала:

— Уснули. Как безгрешное дите, посапывают.

— Вот и превосходно.

Со спокойной душой я полез на чердак защищать социалистическую революцию.

Красноармейцы почему-то не послали меня к черту. Только один — большой, рыжебородый, с отстреленным ухом — добродушно пошутил, остужая пулемет из Настиного зеленого ведра:

— И бородавка телу прибавка.

— Это точно! — поддержал его молодой пулеметчик.

И закурил мою папиросу.

Вдруг снизу, с улицы донесся голос отца:

— Анатолий!..

Говорят: «Сердце матери». А отца?.. Вот им, этим сердцем отца, он, очевидно, почувствовал, что я вышел на улицу. И сразу же, накинув пиджак, пошел вслед за мной, чтобы вернуть «сыночка» под защиту кирпичных стен.

— Анатолий!

— Что, папа?

— Ты стреляешь?

— Нет.

— А что делаешь?

— Смотрю в бинокль.

— Товарищи... — обратился отец к красноармейцам, — он вам нужен?

Молодые молчали. А большой, безухий опять пошутил с добрым глазом:

— Ни дудочка, ни сопелочка.

Это, думается, относилось ко мне.

Улица была мертвой, и только со шмелиным жужжанием (совсем нестрашным, я бы даже сказал, мирным, лирическим) летали невидимые пули — «белые» со стороны вокзалов, «красные» от собора.

— В таком случае, Анатолий, — скомандовал отец, — немедленно марш домой!

Это были последние папины слова. Через секунду, истекая кровью, он лежал на пыльных булыжниках мостовой.

— Такая уж судьба, — глухо сказал рыжебородый. — Такая стерва!

И под его грузными сапогами заскрипели чердачные ступеньки.

Пуля попала в пах левой ноги. Кровь била из раны широкой струей. Мы с рыжебородым осторожно перенесли папу в дом и положили на узкий диван в гостиной.

Настя стояла как деревянная, прижав обе ладони к щекам.

Рыжебородый туго перевязал рану тремя полотенцами. Они сразу стали буро-багровыми.

Папа не стонал. Тяжелые восковые веки закрывали глаза.

— Да не пужайся ты, не пужайся. В беспамятстве батя

твой. Это, милый, с того, что крови много вытекло, — успокаивал рыжебородый. — Тута ведь самая толстая жила проходит. Ар-те-ри-ей, значит, звать ее.

И распорядился:

— Дай-ка, Настенька, еще полотенцев.

Из меня тоже как будто вытекала кровь широкой струей.

— А теперь, милой, слетай-ка поблизости в пожарную часть. Может, тебе и дадут лошадь с телегой. Надобно твоего батю в лазарет везть.

Я без надежды, без веры в спасенье выбежал из дома. Пули жужжали.

Рыжебородый кричал вдогонку:

— К стенкам прижимайся!.. К стенкам!.. Слышь?.. К стенкам!

Я продолжал бежать посреди мостовой. Губы беззвучно молили, повторяя: «Убей... Меня!.. Меня тоже!.. Убей!.. Убей!»

Но я был твердо уверен, что ни одна пуля не сжалится надо мной, не будет ко мне милосердна, не положит меня на месте.

Белые чехословаки занимали первые дома нашей улицы.

Пожарная часть находилась за углом, через площадь. Брандмайор оказался отзывчивым человеком. Он приказал:

— Запряги, Петрович, им Лебеда.

Это был четвероногий скелет, обтянутый чем-то грязным. Скелет с хвостом и жалкими клочьями гривы.

— А вот человека, простите, я не могу посылать на убой, — извинился брандмайор. — Вам уж придется самому править.

— Да, да... Спасибо.

Глаза у скелета были бесконечно усталые и печальные.

Брандмайор на прощанье ласково похлопал его по обвисшему заду.

Но и к этому четвероногому Лебедю свинцовая пуля не желала стать милосердной. Она и ему не даровала того длинного и заслуженного отдыха, которого лошади боятся так же, как и люди.

Когда на красной пожарной телеге я с грохотом подъехал к дому, папа уже был мертв.

Настя плакала и не вытирала слезы.

Пулеметчики отступили.

Я подошел к дивану, тихо лег рядом с папой, обнял его, и так вместе мы пролежали конец этого дня, ночь и все утро.

8

Прощай, Пенза. Прощай, моя Толстопятая. Прощай, юность. Вероятно, в старости ты покажешься мне счастливой. Прощай... Нет, папа, я не прощаюсь с тобой. Я не уйду от тебя и никуда не уеду. Мы не расстанемся. Я не могу этого сделать. И чувствую, что никогда не смогу. Ты был моим первым другом. Прекрасным другом. И ты остался им в моей душе. Вероятно, у меня будут еще друзья. Большие, хорошие друзья. Потому что по природе своей я склонен к дружбе. Направлен к ней, обращен и раскрыт. А вот к родству по крови не направлен и не раскрыт. Для меня существует только «избирательное родство». Так назвал это мой любимый автор девятнадцатого века. С ранних лет отец являлся для меня родственником — и избирательным. Тут было удивительно счастливое и очень редкое совпадение: отец и друг. За полвека, за полусотню соображающих лет я достаточно посмотрелся на людей и теперь могу сказать с уверенностью: не слишком это часто случается, чтобы отец и сын были настоящими друзьями, такими, как мать с дочерью или брат с сестрой.

9

Москва.

Сережа Громан, как было сказано, разъезжает по голодным улицам в огромной машине канареечного цвета, реквизированной у охотнорядского купца.

А глаза города как пылающие печи.

И голос как у бури.

И впалые щеки как у пророка, питающегося саранчой.

Ко дню первой годовщины Великой социальной революции композитор Реварсавр (то есть Революционный Арсений Авраамов) предложил советскому правительству свои услуги. Он сказал, что был бы рад дирижировать «Героической сим-

фонией», разумеется собственного сочинения. А-де исполняют ее гудки всех московских заводов, фабрик и паровозов. Необходимую перестройку и настройку этих музыкальных инструментов взялся сделать сам композитор при соответствующем мандате Совнаркома.

У Реварсавра было лицо фавна, увенчанное золотистой гривой, даже более вдохновенной, чем у Бетховена.

— Итак? — Зеленоватые глаза фавна впились в народного комиссара. — Слово за вами, товарищ Луначарский.

— Это было бы величественно! — сказал народный комиссар. — И вполне отвечало великому празднику.

— Не правда ли?

— Я немедленно доложу о вашем предложении товарищу Ленину.

— Благодарю вас.

— Но, признаюсь, — смущенно добавил Луначарский (он не любил отказывать), — признаюсь, я не очень уверен, что товарищ Ленин даст согласие на ваш гениальный проект. Владимир Ильич, видите ли, любит скрипку, рояль...

— Рояль — это интернациональная балалайка! — перебил возмущенный композитор.

— Конечно, конечно. Н-н-но...

И народный комиссар беспомощно подергал свою рыжеватую бородку.

— Эту балалайку... с педалями... я уж, во всяком случае, перестрою.

— Пожалуйста, товарищ, пожалуйста.

Луначарский поднялся с кресла. Разгневанный Реварсавр также.

— Надеюсь, Совнарком не может мне этого запретить.

— Боже упаси!

— Прощайте.

— До свидания.

Анатолий Васильевич поспешил крепко-крепко пожать ему руку:

— Если вам, товарищ Реварсавр, понадобится от меня какая-нибудь бумажка для революционной перестройки буржуазного рояля...

— Конечно, понадобится.

— Весь к вашим услугам.

— Премного благодарен.

Впоследствии, примерно года через полтора, я с друзьями-имажинистами — с Есениным, с Шершеневичем, с Рюриком Ивневым и художником Жоржем Якуловым — восторженно слушал в «Стойле Пегаса» ревопусы Реварсавра, написанные специально для перенастроенного им рояля. Обычные человеческие пальцы были, конечно, непригодны для исполнения ревмузыки. Поэтому наш имажинистский композитор воспользовался небольшими садовыми граблями. Это не шутка и не преувеличение. Это история и эпоха.

Свои ревопусы — № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и т. д. — Реварсавр исполнял перед коллегией Наркомпроса.

— Ты, Арсений, сыграл все восемнадцать ревопусов?

— Конечно.

— Бисировал?

— Нет. Это было собрание невежд.

— Воображаю!

— Представь, Анатолий, у них у всех довольно быстро разболелись головы, — он говорил мрачно, без юмора. — Они жрали пирамидон, как лошади.

— Несчастный идеалист! — воскликнул Есенин. — На кой черт ты попер к ним, к этим чинушам?

— Понимаешь ли, Серега, Луначарский навывадал мне столько внушительнейших бумажек... Я хотел отблагодарить его.

— И отблагодарил? Своими ревопусами?

— А чем же еще? Не колбасой же и селедками!

— Да, к сожалению, продовольствием ты, милый, не очень богат.

— Но буду! Когда человечество поумнеет.

— А у Анатолия Васильевича тоже разболелась голова? — спросил Шершеневич.

— Вероятно. Но он держался довольно стойко. Человек тренированный. Закаленный.

И глаза фавна сверкнули:

— На ваших стихах закалился.

Несколько позже Реварсавр (уже как Арсений Авраамов) написал книгу «Воплощение» (об Есенине и обо мне). На первом листе в качестве эпиграфа было напечатано: «В вас веру мою исповедую».

1919 год

«В Архангельском районе противник превосходящими силами с артиллерийской подготовкой ведет наступление на наши позиции».

«Одесса занята французами и добровольцами. Город разбит на четыре участка: французский (156-я дивизия); африканский (зуавы), польский (легионеры) и добровольческий».

«На Ревельском направлении появились на фронте новые белогвардейские отряды в черных касках с белыми крестами. Эти отряды организованы местными баронами при ближайшем участии англичан».

«Из Баку в Батум проследовал эшелон английских войск».

«Центром воссоздания белой России назначается Харьков».

«Для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности создается Московская Чрезвычайная Комиссия».

«Французский министр иностранных дел Пишон заявил: “Мы намерены отстаивать в России наши права, нарушенные большевиками”».

«Английские адмиралы заявили, что они будут без предупреждения расстреливать всякое судно, имеющее на вымпеле красный флаг».

«В связи с чрезвычайным переполнением московских тюрем и тюремных больниц сыпной тиф принял там эпидемический характер».

«Утвержден закон об учреждении Донского правительствующего Сената, две трети которого составлены Красновым из бывших царских сенаторов».

«В Сибири, в каждой губернии Колчаком назначен генерал-губернатор из старых царских генералов».

«Признать Советскую Республику угрожаемой по сыпному тифу».

«Запасы нефти на Московской электрической станции почти совершенно иссякли».

«Установлено новое движение трамвайных вагонов. Линии 1, 3, 5, 8, 11, 13, 18 и 19 отменяются».

«Коллегия Горпродукта постановила продажу часов отменить».

«Работники Советской власти в провинции часто бывают в безвыходном положении: надо представить смету в 10 экземплярах, а бумаги нет».

«Постановлено в Москве прекратить подачу потребителям электричества с 11 часов вечера».

«С 10 января хлеб в Петрограде выдается населению по прежней норме, то есть по I категории по 1/2 фунта, по II — 1/4 и по III — 1/8 фунта на день».

«Объявляется на 5 и 6 января с. г. всеобщая обязательная повинность по очистке площадей, улиц, тротуаров и бульваров Москвы от снега».

И так далее в том же роде.

Это из газет за первую неделю января.

11

Бонч-Бруевич рассказывает:

«В 1919 г. в Кремле красноармейцами был устроен литературно-музыкально-вокальный вечер, на котором, между прочим, должна была выступить артистка Гзовская. Ленин решил пойти послушать и пригласил меня пойти вместе с ним. Мы сели в первый ряд.

Гзовская задорно объявила «Наш марш» Владимира Маяковского.

Артистка начала читать. То плавно ходя, то бросаясь по сцене, она произносила слова этого необыкновенного марша:

Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
Перемоем миров города.

— Что за чепуха! — воскликнул Владимир Ильич. — Что это, «мартобря» какое-то?..

И он насупился.

А та, не подозревая, какое впечатление стихи производят на Владимира Ильича, которому она так тщательно и так изящно раскланивалась при всех вызовах, искусно выводила:

Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.

И после опять под марш:

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.

И остановилась. Все захлопали. Владимир Ильич закачал головой, явно показывая отрицательное отношение. Он прямо смотрел на Гзовскую и не шевелил пальцем.

— Ведь это же черт знает что такое! Требует, чтобы нас на небо взяли живьем. Ведь надо же договориться до такой чепухи! Мы бьемся со всякими предрассудками, а тут, подите пожалуйста, со сцены Кремлевского красноармейского клуба нам читают такую ерунду.

И он поднялся.

— Незнаком я с этим поэтом, — отрывисто сказал Владимир Ильич, — и если он все так пишет, его писания нам не по пути. И читать такие вещи на красноармейских вече-

рах — это просто преступление. Надо всегда спрашивать артистов, что они будут читать на бис. Она под такт прекрасно читает такую сверхъестественную чепуху, что стыдно слушать! Ведь словечка понять нельзя, тарарабумбия какая-то!

Все это он сказал вслух отчетливо, ясно и стал прощаться с устроителями вечера, окружившими его плотным кольцом. Наступила неожиданная тишина, и он, торопясь, прошел сплошной стеной красноармейцев к себе наверх в кабинет.

Владимир Ильич долго помнил этот вечер, и, когда его звали на тот или другой концерт, он часто спрашивал: «А не будут ли там читать нам “Их марш”?..» Его задевало, что словом «наш» Владимир Маяковский как бы навязывал слушателям такое произведение, которое им не нужно.

Его отрицательное отношение к Маяковскому с тех пор осталось непоколебимым на всю жизнь. Я помню, как кто-то упомянул при нем о Маяковском. Он только кинул один вопрос: «Это автор “Их марша”?..» — и тотчас же прервал разговор, как бы совсем не желая ничего больше знать об этом глупо не удовлетворявшем его поэте.

Луначарский добавляет: «Сто пятьдесят миллионов» Маяковского Владимиру Ильичу определенно не нравились. Он нашел эту книгу «вычурной и штукарской».

Да и по словам Горького, «Ленин относился к Маяковскому недоверчиво и раздраженно: “Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему, — не то и мало понятно”».

Отношение как на ладони. Однако никому и в голову не приходило запрещать Маяковского, уничтожать Маяковского, зачеркивать Маяковского красным цензурным карандашом.

Он продолжал издаваться, печататься, даже в ЦО.

Выиграла ли от этого наша поэзия?

Как будто выиграла.

Четырнадцать держав шло на нас с мечом и огнем. Хлеба выдавали для первой категории по полфунта на день. А цензуры не было. Мы знали только РВЦ, то есть: «Разрешено военной цензурой». Если никаких военных тайн поэт или прозаик не разглашал, этот штамп РВЦ ставили на корректурные листы без малейшей канители. А уж за эпитеты, за метафоры и знаки препинания мы сами отвечали.

В газете «Советская страна» была напечатана моя поэма «Магдалина».

Одним из редакторов газеты был Борис Федорович Малкин, мой земляк по Пензе. Одновременно он заведовал и Центропечатью.

Дня через три после выхода номера газеты с «Магдалиной» я зашел к нему в кабинет:

— Доброе здоровье, Борис Федорович.

Он поднял на меня свои большие коричневые, всегда очень грустные библейские глаза и сказал пискливым голоском, столь же безнадежно-грустным, как и глаза:

— Здравствуйте, Анатолий. Садитесь. Побеседуем.

А перед дверью кабинета ждали приема два сотрудника Центропечати с желтыми папками для бумаг и несколько посетителей.

Я спокойно сел в архиерейское кресло, еще не протертое советскими служащими, поэтами, писателями, журналистами и прочей богемой, приходящей к Малкину по делу и без всякого дела.

— Вчера ночью, Анатолий, я был в Кремле у Ильича, — грустно пропищал Малкин. — Он только что прочел вашу «Магдалину».

Борис Федорович замолчал. А глаза его стали еще грустней. «Ладно, — подумал я, — мы тоже не лыком шиты. Мы тоже умеем помолчать, когда надо. Посмотрим, кто кого перемолчит».

И я перемолчал Бориса Федоровича, хотя это было дьявольски трудно.

— Ильич спросил меня: «Сколько лет ему, этому вашему поэту?» Я, Анатолий, ответил: «Лет двадцать».

— Мне двадцать два года, Борис Федорович.

— Неужели?

И он тут же добавил, как в таких случаях добавляют почти все и почти всегда:

— До чего же быстро летит время!.. Как сейчас помню вас в Пензе. Помню тоненьким хорошеньким гимназистиком в светлой шинели. Вы явились ко мне в редакцию «Чернозема» с синей тетрадкой в руке, в ней были ваши первые стихи. А вот теперь, Анатолий, вы уже...

И Малкин опять замолчал. Но на этот раз у меня не хватило выдержки, и я хрипло спросил:

— Что сказал Ленин о моей поэме?

— Ничего.

— Как ничего!

— Но о вас, Анатолий, Владимир Ильич сказал: «Больной мальчик».

— Это все?

— Да. После этого Ильич сразу же заговорил о делах Центр-печати.

Надо признаться, я очень обиделся на Ленина и за «больного» и за «мальчика».

«Черт побери — “больной!” Да у меня и насморка никогда не бывает!.. “Мальчик!..” “Мальчик!..” Меня уже вся Россия читает и пол-Европы, а он...»

Друзья знали, что я даже год тому назад бледнел от злости, когда в статьях или на диспутах меня называли «молодым поэтом».

После малкинского разговора в Кремле «Советская страна» напечатала обо мне две хвалебные рецензии — о книжике «Витрина сердца», изданной еще в Пензе, и о «Магдалине». Рецензентам, конечно, и в голову не влетело называть меня в них «больным мальчиком». Хотя Малкин уже широко разнес по Москве свой разговор с Владимиром Ильичом о «Магдалине».

13

— Я читала ваши стихи. Очень рада познакомиться... Никритина... Анна Борисовна.

Она протянула мне маленькую руку с ухоженными ноготками.

Во всей Москве только она сама с важностью называла себя столь пышно: «Анна Борисовна».

Этой осенью Нюша Никритина экзаменовалась в студию Камерного театра. Тут же, за экзаменационным столом, Алиса Коонен сочинила о ней двестише:

Как искры, глазенки,
Как пух, волосенки.

Нюша Никритина приехала с Украины, где уже была знаменитой актрисой... города Полтавы.

Восторженную рецензию о ее шумном полтавском бенефисе я довольно быстро выучил наизусть.

Теперь в Москве на Тверском бульваре, на сцене Государственного Камерного театра «юная Комиссаржевская» (как называл ее полтавский рецензент) тоже пыталась создавать большие человеческие характеры, созвучные нашей революционной эпохе.

Три раза в неделю она самозабвенно танцевала в оперетке Леока «Жирофле-Жирофля» и со страстью, более чем достаточной для Джульетты, играла бессловесного Негритенка в «Ящике с игрушками» Дебюсси. Впрочем, это нисколько не умаляло ее положения в российском эстетском театре с мировой славой, так как в «Ящике» все роли являлись бессловесными. Это была пантомима. Очаровательная пантомима! Но очаровательней всех в ней был *Негритенок!* Так громогласно утверждал я направо и налево. Спорили со мной? Возражали? Нет! Никто! Но довольно часто спрашивали: «Между прочим, а как ее фамилия?» Этот вопрос приводил меня в ярость: «Вот она — современная интеллигенция! Вот они — современные театралы! Невежды! Круглые невежды! Варвары! Даже не знают фамилии юной Комиссаржевской!»

Моя первая любовь Лидочка Орнацкая, если помните, была тоненькая и большеглазая. Однако в сравнении...

Нет, это, пожалуй, не дело — предавать свою первую любовь. Придется обойтись без сравнения. Тем не менее портрет моей будущей половинки мне нарисовать необходимо.

В 1917 году в Киеве после приемных испытаний в Соловцовскую театральную школу режиссер Марджанов сказал:

— В первую очередь, знаете ли, необходимо принять ту, у которой мало носа.

В самом деле, у Нюши Никритиной его было не слишком много. Но Марджанов Марджановым, а вот дебелие молочницы из подмосковских деревень, встречая ее на улице, смеялись в голос.

Но больше всего меня огорчила одна вредная старуха с пухом в корзине. Увидав «юную Комиссаржевскую» на углу Тверской и Газетного, когда та стремглав выскочила из железных ворот нирнзеевского дома, где жила со своей маленькой

мамой, — вредная старуха, прижав к груди корзину с петухом, презрительно взвизгнула:

— Ой, землячки!.. Ой, люди: чертяка!.. Чертяка!..

И со вкусом плюнула в ее сторону.

У Лидочки Орнацкой глаза были, как серебряные полтинники. У Нюши Никритиной — как николаевские медные пятаки, почерневшие от времени. И это при голове, похожей на мячик для лапты, и при носе, за который не ухватишь!

Красное разлетающееся платьице, шелковый красный берет и балетные туфельки.

По кривым московским улицам она не ходила, а как бы носилась на пуантах. Второго платьица не было, а вот берет был — зелененький. Из маминой старой кофточки. Прелестно? Я, конечно, в этом не сомневался, но... вредная старуха с петухом, пожалуй, кое в чем была права: очень мало общего с человеком!

К месту упомянуть, что весь этот гарнитур: береты, платье и балетки — были собственного изделия, чему не приходилось особенно удивляться, так как артистического жалованья одухотворенной исполнительницы роли Негритенка едва хватало, чтобы, разумеется, не досыта, прокормить себя и маму. Ежедневное меню было несложным: каша-шрапнель и забронзовевшая селедка. Ее приходилось мочить не меньше трех суток, чтобы она стала относительно съедобной. Очень относительно!

Однако такого полного единодушия, как среди молочниц и торговок петухами, к счастью, не было среди мужчин и дам, посещавших столичные премьеры и вернисажи. Одни заявляли: «Чертовски хороша!»; другие: «Форменная мартышка!».

А наиболее заинтересованное лицо хотело быть объективным и беспристрастным. Желание, пожалуй, столь же похвальное, как и безнадежное. Во всяком случае, лесь меня не устраивала.

«Форменная мартышка!»

«Как будто».

«Чертовски хороша?»

«Безусловно!»

Есенин мирно спал. Над окном висела луна, похожая на желток крутого яйца. Ослепительно сверкала заснеженная крыша соседнего дома. Она казалась мне северной пустыней,

потому что по ней криво петляли черные кошачьи следы. Они казались следами волчицы. В этом было что-то извечное.

Ни один звук не проникал в комнату. Даже часы не тикали, так как у нас их не было.

Я вскочил с кровати с восклицанием покойного папы:

— Эврика!..

И поднял вверх указательный палец:

— Она... некрасивая красавица!

— Кто? — не открывая глаз, промычал Есенин.

— Нюша.

— Иди к черту!

Мне казалось, что мое это определение было объективным и беспристрастным.

— Подожди, Сергун, не засыпай. Пожалуйста, не засыпай.

Но он уже залез с головой под одеяло. Было ясно, что его не больно взволновала моя «эврика!».

Я с грустью подумал: «Вот и разошлись интересы».

И сердце защемило.

Правильно защемило.

Между шестью и семью часами вечера к нам на Богословский приходил парикмахер Николай Севастьянович. Брил, стриг и во всякий приход мыл шампунем голову Есенину, который любил, чтобы его волосы были легкими, золотистыми, а главное — вьющимися. Точней — волнистыми.

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Нет, этого еще не было! Но ведь поэты видят свое грустное будущее.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

И месяц еще не собирался садиться в кудри, вымытые шампунем.

Друзья, приятели и добрые знакомые, зная о существовании домашней парикмахерской, нередко в этот вечерний час заглядывали к нам, чтобы навести красоту.

Николай Севастьянович являлся великим мастером своего дела. Острейшие ножницы сверкали в его правой руке, как белые молнии. А в левой трепетала черепаховая расческа.

Вдохновенным пальцам Николая Севастьяновича могли позавидовать и пианист-виртуоз, и скульптор, и хирург.

От нашего куафера никто еще не уходил поглупевшим, какими обычно мужчины уходят из уличной парикмахерской. Никто еще от прикосновения его сверкающих ножниц не потерял своего природного характера и своеобразия. Хотя кое-кому очень не мешало бы кое-что потерять. Как, например, жирному коротконогому критику — Громовержцу.

Почему он бывал у нас? Да, вероятно, потому, что и мне и Есенину было лень дать ему в шею. Теперь я совсем не ленив на такие действия. Двери нашего дома крепко закрыты для тех, для кого закрыто и сердце. Мне кажется, это хорошее жизненное правило.

Черногривый гном, женственный Рюрик Ивнев и Вадим Шершеневич, словно сошедший с римской монеты времен Августа, между шестью и семью пожаловали к нам.

— Привет юным олимпийцам! — сказал Громовержец.

— Привет клиентам! — ответил Есенин, вытирая махровым полотенцем свои волосы, поскрипывающие от чистоты.

А я неподвижно сидел в кресле, замотанный в простыню, как в смирительную рубашку.

Великолепен был Лоренцо,
Великолепней Мариенгоф! —

процитировал Шершеневич из моей новой поэмы.

— Совершенно верно, — небрежно согласился я, — великолепней Мариенгоф.

Вадим Шершеневич постучал костяшками согнутых пальцев по моей будущей лысине и произнес тоном оракула:

— А вот из этого места у нашего Лоренцо Великолепного вырастут рога... если его, как последнего идиота, женит на себе какая-нибудь обезьяна, слегка очеловеченная.

— Иди к чертовой матери! — прорычал я, корчась в своей

смирительной рубашке. — Ты мешаешь работать Николаю Севастьяновичу.

— Нисколько! — возразил мастер.

И он, как большинство людей, очевидно, любил поразвлекаться за счет своих ближних.

У величественной красивой мужской дружбы всегда найдет-ся враг в лице пленительной женщины. А у любви, если она не ощущается мимолетной, — целая шеренга врагов. И тем длинней эта шеренга, чем больше друзей у мужчины, находящегося под угрозой тех неизбежных уз, которые в начале революции еще назывались «узами Гименея».

Жирный Громовержец поднял над головой короткую руку. Как и большинство критиков, он был довольно умен чужими мыслями.

— Древние греки, — сказал Громовержец, — эти истинные мудрецы, считали, что против безумной любви есть два верных средства: голод и время. Если они не помогут, остается третье и последнее средство, самое верное: веревка! Веревка, привязанная в наше время к крюку для люстры.

Он сделал соответствующий жест вокруг моей шеи.

Вся компания, приняв печальный вид, закивала головами. А Рюрик Ивнев сказал тоненьким голоском:

— Бедный, бедный наш Толюнок!

Ножницы Николая Севастьяновича сверкали над моей головой.

Сидя в кресле, я чувствовал себя пригвожденным к кресту и стонал беззвучно: «Голгофа! Голгофа!».

Впоследствии Велимир Хлебников в стихотворении, посвященном мне, срифмовал эту «Голгофу» с Мариенгофом. Исторически срифмовал и пророчески.

— Толя, друг мой, что же ты молчишь? — сердечно спросил Есенин. — Ну, скажи хоть что-нибудь, миленький. Скажи.

— Не надо! Пусть лучше молчит, — возразил Громовержец. — Влюбленные не бывают мудрыми.

Вероятно, и этот афоризм не принадлежал критику.

Шершеневич встал со стула:

— Бессмертные, я вторично прошу у вас слова.

— На сколько минут? — спросил Громовержец.

Для него было нестерпимым мученьем слушать других.

Опять оседлав стул, Шершеневич придвинул его вплотную

к моему креслу, чтобы я ни одной фразы не пропустил мимо уха.

Для восстановления тишины Есенин лихо свистнул, заложив в рот четыре пальца.

— Известно ли вам, бессмертные, — начал Шершеневич, — что во время своего исторического путешествия Чарлз Дарвин посетил людоедов. Ознакомившись с их бытом и нравами, он спросил вождя каннибалов: «Сэр, почему вы кушаете преимущественно своих жен? Уж лучше бы ели своих собак. Разве они менее вкусны, чем леди?» Рассудительный вождь ответил: «Наши собаки ловят выдру. А женщины ни на что не годны. Поэтому мы предпочитаем утолять ими свой аппетит». Старейший из людоедов, желая быть гуманным в глазах европейца, мягко добавил: «Но перед тем, как поджарить женщину, мы ее обязательно душим».

— Ах, как это мило! — воскликнул Рюрик Ивнев своим девичьим голоском.

— Не правда ли?.. Так вот, друзья, — заключил Шершеневич, — я бы тоже обязательно душил женщин, которые разбивают большую мужскую дружбу!

Этот разговор происходил осенью 1922 года, а женился я на Никритиной 31 декабря. То есть примерно через три месяца.

Об этом событии я немедленно известил Настеньку. Довольно быстро по тому времени пришло от нее чудное письмо.

«Родной Анатолий Борисович, — писала она, — любовь — это кольцо, а у кольца нет конца. Чего и Вам желаю с Вашей любезной супругой Анной Борисовной».

Если бы меня спросили: «Кто родоначальник имагинизма?» — я бы ответил не задумываясь: «Настенька».

Имагинизм родился в городе Пензе на Казанской улице. «Исход» — первый имагинистский сборник — был отпечатан в губернской пензенской типографии осенью восемнадцатого года.

— Вы слышали, — спрашивал я стихотворца Ивана Старцева, тоже окончившего пензенскую пономаревскую гимназию, — вы слышали, как сейчас сказала Настенька своей куме Степаниде Петровне, которую супруг частенько вожжами учит?

— Нет.

— «Беда, — говорит, не дуда: поиграв, не кинешь». Хорошо сказано? Стихи надо писать так, как говорит Настенька: образы, образы, образы.

Корни имажинизма!

В библиотеке у отца, конечно, был и толковый словарь Даля. Этой книге, по-моему, цены нет. Какое богатство словесное! Какие поговорки! Пословицы! Присказки и загадки! Разумеется, они примерно на одну треть придуманы Далем. Но что из того? Ничего. Важно, что хорошо придуманы.

Этот толковый словарь в переплете, тисненном золотом, являлся не просто любимой книгой Настеньки, а каким-то ее сокровищем. Она держала его у себя под подушкой. Читала и перечитывала каждодневно. Как старовер Библию.

От него, от Даля, и пошла эта Настина чудная русская речь. А когда она впервые приехала в Пензу прямо из своей саранской деревни Черные Бугры, ничего такого и в помине не было — говорила Настенька обычно, серовато, как все.

14

В Москве поэты, художники, режиссеры и критики дрались за свою веру в искусство с фанатизмом первых крестоносцев.

Трибуны для ораторов стояли в консерватории, в Колонном зале бывшего Благородного собрания, в Политехническом музее, в трех поэтических кафе и на сценах государственных театров в дни, свободные от спектакля.

Народные комиссары первого в мире социалистического государства и среброволосые мэтры российского символизма: Брюсов, Бальмонт и Андрей Белый — самозабвенно спорили с юношами-поэтами из Пензы и Рязани, возглашавшими эру *образа*, и не менее горячо — с несовершеннолетними поэтессами из Нахичевани, верующими в *ничего*.

Они так и назывались — *ничевоками*.

«Я, товарищи, поэт гениальный». С этой фразы любил начинать свои блистательные речи Вадим Шершеневич.

И Маяковский примерно говорил то же самое, и Есенин, и я, и даже Рюрик Ивнев своим тоненьким девическим голоском.

В переполненных залах — умные улыбались, наивные верили, дураки злились и негодовали.

А говорилось это главным образом для них — для дураков. «Гусей подразнить», — пояснял Есенин.

Древняя традиция. Очень древняя. Иисус из Назарета еще посмелей был. Он забирался на крышу и объявлял: «Я сын Бога», «Я сошел с небес».

Евангелист замечает, что при этом зеваки обычно судачили:

— Не Иисус ли это, сын плотника Иосифа? Ведь мы же знаем мать его и отца. Как же он говорит, что сошел с небес?!

А четыре родных брата «сошедшего с небес»: Иаков, Иосиф, Иуда и Самсон — тут же мозолили глаза.

Даже нехитрые доверчивые ученики Иисуса, опять же по словам евангелиста, очень удивлялись: как, мол, такое можно слушать?!

Значит, хочешь не хочешь, а надо признать, что мы со своим «я, видите ли, поэт гениальный» не очень-то были оригинальны и храбры.

Если маленькое «Стоило Пегаса» не вмещало толпу, кипящую благородными страстями, Всеволод Эмильевич Мейерхольд вскакивал на диван, обитый красным рубчатым плюшем, и, подняв высоко над головой ладонь (жест эпохи), заявлял:

— Товарищи, сегодня мы не играем, сегодня наши актеры в бане моются; милости прошу: двери нашего театра для вас открыты — сцена и зрительный зал свободны. Прошу пожаловать!

Жаждающие найти истину в искусстве широкой шумной лавиной катились по вечерней Тверской, чтобы заполнить партер, ложи и ярусы.

Если очередной диспут был платным, сплошь и рядом эскадрон конной милиции опоясывал общественное здание. Товарищи с увесистыми наганами становились на места билетерш, смытых разбушевавшимися человеческими волнами.

О таких буйных диспутах, к примеру, как «Разгром “Левого фронта”», вероятно, современники до сих пор не без увлечения рассказывают своим дисциплинированным внукам.

В Колонный зал на «Разгром» Всеволод Мейерхольд, на-

званный себя «мастером», привел не только актеров, актрис, музыкантов, художников, но и весь подсобный персонал, включая товарищей, стоявших у вешалок.

Следует заметить, что в те годы эти товарищи относились к своему театру несравненно горячее и преданней, чем относятся теперь премьеры и премьерши с самыми высокими званьями.

К Колонному залу мейерхольдовцы подошли стройными рядами. Впереди сам мастер чеканил мостовую выверенным командорским шагом. Вероятно, так маршировали при императоре Павле. В затылок за Мейерхольдом шел «знаменосец» — вихрастый художник богатырского сложения. Имя его не сохранилось в истории. Он величаво нес длинный шест, к которому были прибиты ярко-красные лыжные штаны, красиво развевающиеся в воздухе.

У всей этой армии «Левого фронта» никаких билетов, разумеется, не было. Колонный был взят яростным приступом. На это ушло минут двадцать. Мы были вынуждены начать с опозданием. Когда я появился на трибуне, вихрастый знаменосец по знаку мастера высоко поднял шест. Красные штаны зазмеились под хрустальной люстрой.

— Держись, Толя, начинается, — сказал Шершеневич.

В ту же минуту затрубил рог, затрещали трещотки, завывли сирены, задрезбжали свистки.

Мне пришлось с равнодушным видом, заложив ногу на ногу, сесть на стул возле трибуны.

Публика была в восторге. Скандал ее устраивал значительно больше, чем наши сокрушительные речи.

Так проходил весь диспут. Я вставал и присаживался, вставал и присаживался. Есенин, засунув четыре пальца в рот, пытался пересвистать примерно две тысячи человек. Шершеневич философски выпускал изо рта дым классическими кольцами, а Рюрик Ивнев лорнировал переполненные хоры и партер.

Я не мог не улыбнуться, вспомнив его четверостишие, модное накануне революции:

Я выхожу из вагона
И лорнирую неизвестную местность.
А со мной — всегдашняя бонна —
Моя будущая известность.

Докурив папиросу, Шершеневич кисло сказал:

— «Разгром» не состоялся.

Нашего блестящего Цицерона это слегка огорчило. Надо было утешить его.

— Не горюй, Дима. Мы сразу объявим второй диспут. В Большом зале консерватории.

— Правильно. Другого выхода нет.

На этот раз на афишах стояло: «Мы — ЕГО!» (то есть Мейерхольда).

Мелкой рысцей на доисторическом извозчике подъехал мастер к зданию на Никитской. Рядом с ним гордо сидела Зинаида Райх. Брошенная Есениным, она стала женой вождя «Левого фронта», который в спешном порядке делал из этой скромной совслужащей знаменитую актрису.

— А где же свистуны? — удивленно спросил я у нашего администратора. — Где левая армия под красными штанами?

— Сегодня у него в театре идет спектакль. Занята почти вся труппа, — со счастливым видом отвечал степенный администратор. — Нам повезло, Анатолий Борисович.

— Великолепно!

Бедный Мейерхольд левой рукой прикрывал от ветра перевязанную щеку, а правой отстегивал облезлую полость.

— У Всеволода Эмильевича флюс. Очень болят зубы, — грустно сообщил мне угодливо-вертлявый рецензентик из мейерхольдовского лагеря.

— Вот так камуфлет! Ну как же его драконить? Такого несчастного с флюсом?

Шершеневич, как Анатэма в МХАТе, вскинул правую бровь:

— Очередной балаган, Толя. Головой ручаюсь, никакого флюса у него нет. А вот актер он все-таки замечательный!

Администратор кивнул:

— На жалость берет. Не столько вас, друзья мои, сколько публику. Расчет тонкий, психологический.

Купив билеты у перекупщика, Мейерхольд расслабленной походкой больного старика вошел в зал, тяжело опираясь на руку Зинаиды Райх.

— А ну-ка, Боря, — сказал я своему приятелю Глубоковскому, — сорви ненароком черную тряпицу с его физиономии.

— Есть!

И через несколько минут он уже победоносно ею помахи-вал.

Само собой, никакого флюса у Мейерхольда и в помине не было.

— Можно начинать? — осведомился степенный администратор. — Всеволоду Эмильевичу «фокус не удался».

— Начинайте.

Заложив руки за спину, администратор вышел на сцену и с профессорской важностью произнес:

— Слово принадлежит Анатолию Мариенгофу, члену ЦК Имажинистского ордена: «Мейерхольд — опиум для народа».

На одном из театральных диспутов Маяковский сказал с трибуны, обтянутой красным коленкором:

— У нас шипят о Зинаиде Райх: она, мол, жена Мейерхольда и потому играет у него главные роли. Это не тот разговор. Райх не потому играет главные роли, что она жена Мейерхольда, а Мейерхольд женился на ней потому, что она хорошая актриса.

Отчаянная чепуха!

Райх актрисой не была — ни плохой, ни хорошей. Ее прошлое — советские канцелярии. В Петрограде — канцелярия, в Москве — канцелярия, у себя на родине в Орле — военная канцелярия. И опять — московская. А в канун романа с Мейерхольдом она уже заведовала каким-то внушительным отделом в каком-то всесоюзном департаменте.

И не без гордости передвигалась по городу на паре гнедых.

Зима. Большую Никитскую, словно кровать, застелил снег. Застелил будто простыней, отлично выстиранной. Тро-туары, как накрахмаленные, похрустывали под ногами.

Из окна нашей книжной лавки Есенин с лирической груст-ной поглядывал на улицу.

Вдруг:

— Ух, извини-подвинься... Зинаида!

И, проводив насмешливым взглядом ее крылатые сани, он запел, как старая цыганка:

Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тоших, голодных и жалких на вид,
Тихо плететесь вы мелкой рысцою
И возбуждаете смех у иных.

Не любя Зинаиду Райх (что необходимо принять во внимание), я обычно говорил о ней:

— Эта дебелая еврейская дама.

Щедрая природа одарила ее чувственными губами на лице круглом, как тарелка. Одарила задом величиной с громадный ресторанный поднос при подаче на компанию. Кривоватые ноги ее ходили по земле, а потом и по сцене, как по палубе корабля, плывущего в качку. Вадим Шершеневич в одной из своих рецензий после очередной мейерхольдовской премьеры нагло скамбурил: «Ах, как мне надоело смотреть на райхитичные ноги!» Эпоха, к счастью, была не чересчур деликатной.

Во второй рецензии он написал еще наглей: «Конечно очень плохо играла Зинаида Райх. Это было ясно всем. Кроме Мейерхольда. Муж, как известно, всегда узнает последним».

На следующий день после неотпразднованной свадьбы Мейерхольд спросил меня (мы снова стали приятелями):

— Как ты думаешь, Анатолий, она будет знаменитой актрисой?

— Кто?

— Зиночка.

Я вытаращил глаза:

— Почему актрисой, а не изобретателем электрической лампочки?

Тогда, по наивности, я еще воображал: для того чтобы стать знаменитой актрисой, надо иметь талант, страсть к сцене, где-то чему-то учиться. А потом лет пять говорить на сцене: «Кушать подано!».

Мейерхольд вздернул свой сиранодебержераковский нос:

— Талант? Ха! Ерунда!

И ткнул себя пальцем в грудь, что означало: «Надо иметь мужем Всеволода Мейерхольда! Вот что надо иметь. Понял? И все!»

Мастер оказался прав. Я бы добавил: «Еще полезно иметь дуру-публику».

Примерно так же Мейерхольд относился, по крайней мере на словах, и к драматической литературе:

— При чем тут пьеса? Что такое пьеса? Дай мне справочник «Вся Москва» или телефонную книжку, и я сделаю гениальный спектакль.

Хорошей актрисой Зинаида Райх, разумеется, не стала, но

знаменитой — бесспорно. Свое черное дело быстро сделали: во-первых, гений Мейерхольда; во-вторых, ее собственный алчный зад; в-третьих, искусная портниха, резко разделившая этот зад на две могучие половинки; и наконец, многочисленные ругательные статейки. Ведь славу-то не хвалебные создают! Кому они интересны? Это бы давно надо понять нашим незадачливым критикам.

Про «Всю Москву» и телефонную книжку Мейерхольд охотно говорил, а ставил «Маскарад», «Ревизор», «Лес», «Доходное место», «Смерть Тарелкина».

Наконец, как и следовало ожидать, он задумал «Гамлета».

Одним из первых Мейерхольд рассказал об этом Есенину и мне.

— Чертовски интересно! — сказал я. — Думается, Всеволод, даже поинтересней, чем ставить телефонную книжку.

А Есенин перекрестил члена партии:

— Валяй, Всеволод! Благословляю.

Вскорости Мейерхольд собрал главных актеров и кратко поделился с ними замыслом постановки.

Главный администратор спросил:

— А кто у нас будет играть Гамлета?

Не моргнув глазом, мастер ответил:

— Зинаида Николаевна.

Актеры и актрисы переглянулись.

— На все другие роли, — заключил он, — прошу подавать заявки. Предупреждаю: они меня ни к чему не обязывают. Но может случиться, что некоторые подкажут то, что не приходило мне в голову. То есть: ад абсурдум. В нашем искусстве, как и во всех остальных, это великая вещь.

Если Станиславский был богом театра, то Мейерхольд его сатаной. Но ведь сатана — это тот же бог, только с черным ликом. Не правда ли?

Как мы знаем по истории *прекрасного*, в предшествующую эпоху некоторые стоящие служители муз и граций даже предпочитали иметь дело с ним, с сатаной, считая его умней, дерзновенней, справедливей, а потому и выше Бога.

Один из лучших артистов мейерхольдовской труппы, к тому же и самый смелый, неожиданно спросил мэтра:

— Зинаида Николаевна, значит, получает роль Гамлета по нашему принципу — ад абсурдум?

Собрание полугениев затаило дыхание. А Мейерхольд сле-

лал вид, что не слышит вопроса этого артиста с лицом сатира, сбрившего свою козлиную бородку.

В полном согласии с богом, то есть с Константином Сергеевичем Станиславским, я совершенно не переношу на сцене кривляющихся актеров (под видом гротеска) и ставлю на высшую ступень тех, которые могут довести острейший характер до абсолютной правды. Редчайший случай!

Артист, спросивший мастера о Зинаиде Николаевне, нередко бывал очень смешным в сценах трагических и горестным до слез, подступающих к горлу, — в смешных.

Редчайшее дарованье!

Не получив ответа, этот артист поспешно вынул из кармана вечное перо и написал заявку на роль... Офелии.

Результат?

Ну, конечно, Мейерхольд выгнал его из театра.

Этот артист впоследствии везде ругательски ругал Мейерхольда. Но всегда делал это с сияющими глазами. Потому что подтекст неизменно был один и тот же: «А все-таки я его боготворю!»

Однажды Всеволод Эмильевич с Зинаидой Николаевной приехали в Рим.

Вечный город был напоен истомой.

В каком-то чрезвычайно античном месте они стали целоваться слишком горячо для таких близких знакомых.

И вот вышла неприятность с полицией, которая даже в Италии представляется любящей целомудрие и добрые нравы.

Русские артисты не говорили по-итальянски, а полицейские-итальянцы — по-русски. Не слишком молодой женщине и почти старику пришлось документально доказывать в участке, что они супруги.

— Совершенно законные! — засвидетельствовал переводчик-эмигрант.

Пораженные полицейские долго и крепко пожимали руки супругам-любownikам:

— Муж целуется с женой! На камнях! Со своей собственной женой! Жена целуется с мужем! Со своим собственным мужем!.. Нет, — заверяли блюстители добрых нравов, — у нас, у итальянцев, этого не бывает. Ах, русские, русские!..

Растроганные полицейские отвезли в отель на своей машине Всеволода Эмильевича и Зинаиду Николаевну.

В том же Риме, в доме нашего посла Платона Михайловича Керженцева, Мейерхольд рассказывал о философском замысле постановки «Гамлета», о понимании шекспировских характеров, о режиссерском решении всей трагедии и отдельных сцен.

Ему благоговейно внимала небольшая избранная компания. Так, кажется, пишут салонные романисты.

— Надеюсь, товарищи, — сказал мастер, — вы все помните гениальную ремарку финала трагедии: «Траурный марш. Уносят трупы. Пальба». Конечно, товарищи, мы воплотим ее беспрекословно на нашей сцене. Творческая воля великого драматурга для меня не только обязательна, но и священна.

Избранная компания благоговейно заплодировала.

Мастер спросил:

— Быть может, кто-либо из товарищей хочет задать мне вопрос? Или вопросы?

— Разрешите, Всеволод Эмильевич? — откликнулся посол.

— Пожалуйста, Платон Михайлович. Я буду счастлив ответить.

— Дорогой Всеволод Эмильевич, вы сейчас с присущим вам блеском рассказали нам решение целого ряда сцен. Даже, казалось бы, третьестепенных. Но...

И посол улыбнулся своей лисьей улыбкой.

— Но...

— Неужели я упустил что-либо существенное? — с искренней тревогой спросил Мейерхольд.

— Всеволод Эмильевич, дорогой, вы забыли нам рассказать, как вы толкуете, как раскрываете, какое нашли решение для знаменитого монолога Гамлета «Быть или не быть».

Вся маленькая избранная компания как бы выдохнула из себя:

— Да!.. Да!.. «Быть или не быть»!.. Умоляем, Всеволод Эмильевич!

Хотя вряд ли многие из них помнили вторую строчку бес- смертного монолога.

— А-а-а... Это... — небрежно бросил Мейерхольд, — видите ли, товарищи, я вычеркиваю гамлетовский монолог.

И мастер сделал небольшую паузу, чтобы насладиться впечатлением от своего ошарашивающего удара.

— Да, товарищи, я вычеркиваю его целиком, как место совершенно лишнее, никому ничего не говорящее.

— Что?.. — вырвалось прямо из сердца Марии Михайловны, супруги посла.

— Поверьте, товарищи, этот монолог, триста лет по недоразумению считающийся гениальным, тормозит действие.

Почти все сконфуженно закивали головами.

— Кроме того, он всего лишь точное переложение в белые стихи отрывка из философского трактата «О меланхолии», очень модного в ту эпоху.

Тут избранное общество просто замлело от эрудиции мастера, действительно прочитавшего побольше книг, преимущественно переводных, чем провинциальные режиссеры, которым приходилось два раза в неделю ставить новую пьесу.

— Вы, товарищи, вероятно, не согласны со мной? — тоном примерной скромности спросил Всеволод Эмильевич. — Вы считаете...

Аплодисменты не дали Мейерхольду договорить.

Только Марья Михайловна простодушно шепнула на ухо своему соседу, военному атташе:

— Он просто издевается над нами.

Супруга посла и в роскошном вечернем туалете от Пуаре осталась сельской учительницей из самой скудной полосы царской России.

— Тише, тише, Марья Михайловна! — испуганно ответил сосед.

Он не хотел показаться невеждой.

О, я так и вижу Мейерхольда на премьере «Гамлета», к сожалению, не состоявшейся.

Вот он сидит на некрашеном табурете, как сатана Антокольского на утесе, и царапает кулису длинным ногтем. Это в том случае, если постановка была бы решена в конструкции.

Вероятно, Полония играл бы Игорь Ильинский.

В моем воображении возникает следующая неосуществленная сцена.

Полоний. Вот он идет. Милорд, уйдемте прочь. Скорей.

(Выходят Король и Полоний. Входит Гамлет.)

Наш сатана спрыгивает с табуретки и, как пойнтер, делает стойку.

Зрительный зал замирает. Два часа он с трепетом ждал:

Быть или не быть? — вот в чем вопрос!
Что благородней для души — терпеть
Судьбы-обидчицы удары, стрелы
Иль, против моря бед вооружась,
Покончить с ними? Умереть, уснуть...

А вместо этого:

— На, выкуси-ка, товарищ публика!

И сатана самого передового театра на земном шаре показывает зрителям нахальный шиш с маслом!

Есть от чего прийти им в восторг.

И будущий зал ахает.

А сатана уже сидит на некрашенной табуретке, самодовольно вздернув свой абсолютно неправдоподобный нос.

Очень обидно, что эта поучительная картина оказалась только в моем воображении. Невероятно грустно, что Мейерхольду не довелось осуществить постановку «Гамлета». Пусть даже с Зинаидой Райх в роли принца Датского.

Спасибо, что мастер показал «Горе от ума», то бишь «Горе уму», как похуже сначала назвал Грибоедов свою комедию.

Мейерхольд всегда поступал по украинской пословице: «Нехай буде гирше, абы инше», что значит: «Хуже, да иначе».

А ведь это великое дело! Без него, без этого «инше», все искусство (да и жизнь тоже) на одном бы топталось месте. Скучища-то какая!

Нередко, впрочем, у Всеволода Эмильевича бывали не только «гирше», а и «краще».

Сотню лет кряду Чацкий являлся «чуть свет» перед Софьей таким кудрявым красавцем. Будто он выпорхнул прямехонько из-под горячих щипцов куафера. И уж конечно — выложенным проутюженным шеголем. Как говорится, с иголки.

Словно до Мейерхольда все режиссеры читали книгу, а видели фигу.

Чацкий-то что рассказывает?

Я сорок пять часов, глаз мига не прищура,
Верст больше семисот пронесся; ветер, буря,
И растерялся весь, и падал столько раз...

И приехал «чуть свет» прямо к Софье, а не к куаферу. Это уж после, к балу, он прикуаферится.

Поэтому у Мейерхольда Чацкий и вбегал (а не «появлялся» перед Софьей) в дорожном зипуне, в теплых шарфах:

Ну, поцелуйте же, не ждали?

А уж после того сбрасывал дорожный зипун, подбитый белым бараньим мехом.

Сколько психологии! Какая правда! Умная, грубоватая правда, не притеатраленная бессмысленным фрачком в корсетную талию. И какое знание горячего благородного сердца! С таким сердцем тогда выходили на Сенатскую площадь. А в кармане — пистолетишко был против всей Российской империи. Потом с николаевской виселицы срывались и, упав на скрипучие доски эшафота, с горечью говорили: «У нас в России даже повесить как следует не умеют».

Именно так представил нам Мейерхольд Александра Андреевича Чацкого, вопреки Достоевскому, который нес на него напраслину, что «сам-то он-де был в высшей степени необразованным москвичом, всю жизнь свою только кричавшим об европейском образовании с чужого голоса».

И, пожалуй, вопреки Пушкину, который был не слишком высокого мнения об его уме. Потому что: «Первый-де признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому подобным». Не прав Пушкин. И самые умные люди частенько мечут бисер перед болванами.

У Мейерхольда Чацкого играл Эраст Гарин. Совсем уж не первый любовник. И нос с нашлепкой, и волосы не «кудри черные до плеч». Но в голове была мысль и был человеческий огонь в глазах, хотя они и не являлись «черными агатами». Куда там!

Эраст Гарин незадолго до того полюбился Москве в мешанском сынке Гулячкине из «Мандата», комедии не только смешной, но и насмешливой. Она принадлежала перу Николая Эрдмана, нашего юного друга, тоже имажиниста.

Он пришел к нам из Сокольников с медной бляхой реалиста на лаковом ремне.

Мать его — Валентина Борисовна — была почти немкой, а отец — Роберт Карлович — самым чистейшим немцем со смешным милым акцентом. Из тех честных трудолюбивых

немцев мастеров, которых так любовно писал Лесков в своих повестях и рассказах.

Эрдмановские синие брюки, без пятнышка и всегда в классическую складку, мы называли «зеркальными». Право, если бы их повесить на гвоздь и в соответствующее место глядеть, можно было бы не только прическу сделать, но и без особого риска побриться безопасной бритвой.

Очень уж милым носом наградила мать-природа Николашу Эрдмана: под стать Гулячкину. С этакой гаринской нашлепкой и еще — с ямочками на щеках. И небольшими умными глазами, чуть-чуть не черными. Совсем черные редко бывают умными. И широкоплечей спортивной фигуркой, когда и руки и ноги в меру. Со всем этим Эрдман так и лез в душу. Как в мужскую, так и в дамскую... что приносит всегда удовольствие, но не всегда счастье. Несколько беспокоило это.

Вначале он поотстал от нас в славе, как пышно называли мы свою скандальную известность.

Пришли мы к ней путями многими, путями нелегкими. Доводилось темной осенней ночью даже московские улицы переименовывать. Отдирали дощечки «Кузнецкий мост» и приколачивали «Улица *Имажиниста Есенина*», отдирали «Петровка» и приколачивали «Улица *Имажиниста Мариенгофа*».

Председатель Московского Совета Л. Б. Каменев, похожий лицом на Николая II, потом журил меня:

— Зачем же Петровку обижать было? Нехорошо, нехорошо! Название историческое. Уж переименовали бы Камергерский переулок.

А в предмайские дни мы разорились на большие собственные портреты, обрамленные красным коленкором. Они были выставлены в витринах по Тверской — от Охотного ряда до Страстного монастыря. Не лишённые юмора завмаги тех дней охотно шли нам навстречу.

— Поотстал, Николаша, в славе, — огорчился Есенин, — поотстал!

И быстро придумал:

— Ты, Николаша, приколоть к памятнику «Свобода», что перед Моссоветом, здоровенную доску: «*Имажинисту Николаю Эрдману*».

— На памятнике-то женщина в древнеримской рубаше, — задумчиво возразил Эрдман. — А я как будто мужчина в брюках. Да еще в зеркальных.

— Это совершенно не важно! — заметил Есенин не без резона. — Доска твоя все равно больше часа не провисит. А разговоров будет лет на пять. Только бы в Чекушку тебя за это не посадили.

— То-то и оно! — почесал нашлапку на носу имажанист Эрдман. — Что-то не хочется мне в Чекушку. Уж лучше буду незначительным.

Тем не менее через несколько лет он туда угодил за свои небезызвестные басни с подтрунивающей политической моралью. Угодил сначала в эту самую Чекушку, а потом и на далекий Север — в Енисейск, в Томск.

Оттуда все письма к матери, милейшей Валентине Борисовне, он подписывал так: «МАМИН-сибиряк».

А во времена лакового пояса с медной бляхой реального училища Коля Эрдман писал лирические стихи.

К примеру:

Все пройдет и даже месяц сдвинется
И косу заплетет холодная струя.
Земля, земля — веселая гостиница
Для проезжающих в далекие края.

Мейерхольдовский Эраст Гарин навестил своего автора в Енисейске.

Он отправился туда весной.

Разлились реки и речушки.

Плыл, ехал и шел двадцать дней.

Багаж навестителя помещался в карманах и в газете, перевязанный бечевкой.

Когда он вошел в комнату ссыльного Эрдмана, у того от неожиданности глаза раскрылись и округлились. По его же словам, «стали как две буквы О».

— Эраст!..

— Здравствуйте, Николай Робертович.

Ссылный драматург поставил на стол поллитру, селедку с луком и студень.

Выпили. Перекусили. Поговорили малость.

Гарин расположился против окна:

— Смотрите-ка, Николай Робертович, гидросамолет сел возле пристани. Может, он на запад летит...

— Вероятно.

— Может, меня прихватит. Пойдемте-ка спросим.

Пилот согласился «прихватить», и Гарин через час улетал на запад, так и не распаковав своего багажа... в газету перевязанного.

Через три года в Москве, опять же за рюмочкой и глазуньей, Эрдман спросил Гарина:

— Почему, собственно, Эраст, вы так быстро тогда от меня улетели?

— Да мне показалось, Николай Робертович, что я помещал вам. На столе отточенные карандаши лежали, бумага.

Так хорошие артисты относились к своим авторам, если они тоже были хорошие.

Бог театра шел, шел путями мысли и опыта и наконец-то пришел к системе, которая, как известно, стала называться *системой Станиславского*.

— Ха, им без системы, как без штанов! — сказал сатана. — Ну что ж, будет им и система. Бабахнем!

Это было еще до поездки в Италию.

И вдохновенно придумал слово: «*биомеханика*».

С той минуты, что ни собрание театральщиков, что ни заседание, что ни диспут, что ни статья в их журнале: би-о-меха-ни-ка!

О ней, стоявшей на трех китах: «акробатика, гимнастика и клоунада» — Мейерхольд пишет, говорит и докладывает.

У бога, конечно, — чистейший идеализм!

А у него, у сатаны, — чистейший материализм!

На улице стояла самая беспорядочная погода: ветер, мокрый снег вперемешку с ледяным дождем.

С Господом вовсе не спорница
Богословская наша горница, —

где-то написал Есенин, а потом вычеркнул. Не понравилось.

На березовых поленах мы присели возле жаркой буржуйки. Сумерки сгущались. Но зажигать электричество не хотелось. Поглядывая на фыркающий и кашляющий огонь (поленца-то были сырые), на огонь, всегда располагающий к лирике и философии, мы с Есениным размышляли о золотом веке поэзии.

— Теперь уж недалече, — тихо сказал Есенин.

— Да. Вот стукнет нам лет по сорок...

— У, куда хватил! Значит, по-твоему, он наступит, когда уж мы старушками будем? Нет, не согласен! Давай-ка, Толя, выпустим сборник под названием «*Эпоха Есенина и Мариенгофа*».

— Давай.

— Это ведь сушая правда! Эпоха-то — наша.

— Само собой, — ответил я без малейшего сомнения.

Есенин подбросил в огонь три коротких поленца, слегка пообсохших на горячем животе буржуйки.

При военном коммунизме дрова покупали на фунты, как селедку.

— А следующий сборник, Сережа, назовем по-чеховски. С его эпиграфом на первой странице. Он лихо придумал, да только струсил.

— Ну?

— «Покупайте книгу, а не то в морду!»

— Ох, здорово!

— Может, Сережа, сначала выпустим «В морду!», потом «Эпоху»? Я как раз «Заговор дураков» кончу, а ты своего «Пугачева».

— Правильно!

— За «Эпоху»-то Рюрик и Шершеневич не обидятся? Скажут: «А где мы? Почему только ваша эпоха?»

Есенин крикнул и почесал за ухом.

Тут неожиданно явился Мейерхольд. Он был в кожухе, подпоясанном красноармейским ремнем; в мокрых валенках, подбитых оранжевой резиной; в дворницких рукавицах и в буденовке с большой красной пятиконечной звездой. На ремне — полевая сумка через плечо. Только пулеметных лент крест-накрест и не хватало.

— Ты что, Всеволод, прямо с поля боя? — серьезно спросил Есенин.

— Да! — еще серьезней ответил Мейерхольд. — Прямо из Наркомпроса. С Луначарским воевал.

— Так, так.

Мейерхольд снял полевую сумку, расстегнул ремень, сбросил рукавицы, скинул кожух и, отряхнув с него воду, повесил сразу на три гвоздя, заменяющих нам вешалку. Потом вытащил из полевой сумки свои фотографии. Их называют теперь «фотокарточки».

— Прошу принять. Как знак дружбы.

И торжественно преподнес нам. Мне с надписью: «Единственному денди в Республике».

У этого «денди» было четыре носовых платка и две рубашки. Правда, обе из французского шелка.

Мейерхольд сказал:

— Сережа, Анатолий, завтра приходите ко мне в театр. Ровно в восемь. В репетиционный зал.

— А что такое? — спросил Есенин.

Глаза у Мейерхольда сверкнули сатанинскими молниями:

— Бабахая.

— Кого, Всеволод? — спросил я.

— Самых главных простофиль.

— ЧКМ? — спросил Есенин.

— Вот увидите и услышите.

Мы пристали: расскажи да расскажи.

— Клянётесь в вечном молчании?

— Клянемся!

— Чем или кем?

— Имажинизмом! — сказали мы без малейшего юмора. — Имажинизмом, Всеволод!

Это было для нас самое святое.

Клятва вполне устроила Мейерхольда.

— Отлично.

Он стащил с ног мокрые валенки, чтобы подсушить их возле буржуйки. Но в буденовке с красной звездой почему-то остался. Очевидно, в ту эпоху комната не совсем была комнатой, а как бы залом железнодорожной станции.

— Так вот, — сказал Мейерхольд, — третьего дня я призвал к себе трех самых верных своих негодяев и так же, как сейчас, потребовал: «Поклянитесь в вечном молчании». — «Клянемся!» — «Чем?» — «Театром Мейерхольда!» — ответили ребята. Тогда я спокойно выдал им: банку с тушью, три кисточки и несколько обойных рулонов. «За ночь, товарищи, — сказал я, — вы должны красивейшим образом размалевать эти рулоны: кругами, треугольниками, квадратами, конусами, спиралями, параллелограммами, параллелепипедами и прочей математической ерундой, какая придет вам в головы. Понятно?» Ответили: «Понятно!» Я спросил: «А что, товарищи, вам понятно?» Ответили: «Бабахать будете, Всеволод Эмильевич». — «Правильно! В понедельник у нас в театре читаю лек-

цию о биомеханике. Перед самой многоуважаемой аудиторией».

Ровно в восемь в понедельник мы с Есениным явились в репетиционный зал. На стенах висели рулоны, красиво исчерченные — кругами, спиралями, усеченными конусами и прочей «геометрией». Для невежд в математике вроде нас вид был до крайности внушительный и до предела чарующий своей безапелляционной научностью.

На венских облезлых стульях, сдвинутых в ряды, чинно сидели члены коллегии Наркомпроса, заведующие отделами, седовласые театральные критики (которых называют «зубрами»), юные развязные рецензентики и юркие хроникеры. А старательные фотокорреспонденты общелкивали рулоны при вспышке магния.

Мейерхольд начал свою лекцию с академическим опозданием в пятнадцать минут.

Он был в глухом черном пиджаке. Вместо жилетки толстый ворсистый свитер из верблюжьей шерсти. На голове красная турецкая феска с озорной кисточкой. А в руке бильярдный кий, заменяющий педагогическую указку.

Я шепнул Есенину:

— Все тот же Доктор Дапертутто.

Так называли мейерхольдовский журнал декадентской эпохи.

На превосходном портрете Бориса Григорьева сатана был написан во фраке, в белом жилете, белом галстуке, белых перчатках и в блестящем цилиндре, съехавшем на затылок.

— Конечно, тот же Дапертутт! — ответил Есенин. — Только переменял цилиндр на красную феску. Это нетрудно. А вот душу...

Слегка ссутулясь, Мейерхольд расхаживал по репетиционному залу весомыми вдумчивыми шагами, сосредоточенно тыкал кием в плакаты, похожие на громадные страницы учебника по математике, и с профессорским глубокомыслием второй час сдержанно нес какую-то наукообразную галиматью.

Ах, какой это был блестящий спектакль! Какой великий артист этот Мейерхольд!

Если бы здесь присутствовал Константин Сергеевич Станиславский, он бы самоуспокоенно потирал руки. Его гениальный ученик сатана проглотил всю СИСТЕМУ, насытился ею и переварил. Теперь пусть озорно поплевывает на нее! Ведь

это старо как мир: только бездарные ученики бывают почти-тельными и благодарны своему учителю. Театральному богу это известно лучше, чем кому-либо другому.

Есенин родился поэтом, Мейерхольд — комедиантом (кстати, в XVIII веке существовало и слово «трагедиянт»).

К сожалению, Всеволод Эмильевич был слишком интеллигентен для того, чтобы каждый вечер приклеивать к своей физиономии чужие волосы и размалевывать ее для позорища. Так ведь назывался в старину театр. Да еще напяливать на себя грязные бутафорские тряпки!.. Но *не* играть, *не* представлять, *не* изображать что-то — он просто не мог. Это была его органическая потребность.

И вот Всеволод Эмильевич, наморщив брови и заложив левую руку за спину, сосредоточенно тычет кием в шутовской параллелепипед.

Само собой — на мастера благоговейно взирают. Ему благоговейно внимают. Внимают взрослые, довольно образованные люди, смертельно желающие быть самыми передовыми в искусстве.

— Дапертутт! Доктор Дапертутт! — шепчет Есенин.

15

Кафе поэтов «Домино» помещалось на Тверской, 18, как раз против теперешнего телеграфа.

Я заметил, что чувством иронии иногда обладает и загадочный рок. Тот самый загадочный рок, с которым каждый из нас вынужден считаться, хотя бы мы и не верили в него. А я говорю это к тому, что над футуристической вывеской «Домино» во весь второй этаж растянулась другая вывеска — чинная и суровая. На ней черными большими буквами по белому фону было написано: «Лечебница для душевнобольных».

Вывеска радовала наших многочисленных врагов, а нас повергала в отчаяние, как самое настоящее бедствие. Но ничего поделать мы не могли, так как во втором этаже действительно пытались лечить сумасшедших.

В тот предвесенний вечер 1919 года в маленьком зале, плавающем в папиросном тумане ржаво-серого цвета, Громовержец выступал с докладом «Наши урбанисты — Маяковский, Мариенгоф, Шершеневич».

Трибуна и узкий стол, за которым сидели мы трое, были обтянуты пурпуром. Лица и фигуры различались с трудом. О посетителях придется сказать так: комиссарская доха из лошадиного меха, буденновская длинная шинель, студенческая шинелишка, овчинный полушубок, побуревший от фронтовых непогод, чекистская кожаная куртка, интеллигентская шуба с облезлым котиковым воротником-шалю, паятьце, подбитое ветром...

Курили мужчины, курили женщины. Причем на каждую обыкновенную приходилось примерно две проститутки. Пар валил не только из открывающихся ртов, но и от стаканов с морковным чаем. Температура в зале была ниже нуля, но не настолько ниже, чтобы могла охладить литературные страсти.

Жена Громовержца, щупленькая, карликовая и такая же черноволосая, жгуче черноволосая, как ее супруг, сидела одна за столиком возле самой трибуны. Ее круглые глазки не мигая смотрели в упор на человека. Они были похожи на две дырки от больших гвоздей в белой штукатуренной стене. А ее толстые сочные губы цвета сырого мяса не отрываясь сосали дешевые папироски, дым от которых она по-мужски выпускала из ноздрей.

Громовержец гордо провел по волосам, серебрищимся от перхоти. Его короткие пальцы были похожи на желтые окурки толстых папирос.

— Разрешите, товарищи, мне вспомнить один совет Льва Николаевича Толстого... — И Громовержец надменно повернулся к нам: — «Уж если набирать в рот всякие звучные слова и потом выпускать их, то читайте хоть Фета». Умный совет. Лев Николаевич кое-что понимал в литературе.

Щупленькая супруга Громовержца захохотала восторженно, но одиноко. Это было мужественно с ее стороны.

Громовержец пребывал в приятной уверенности, что каждого из нас он по очереди насаживает на вилку, кладет в рот, разжевывает и проглатывает. Не имея в душе ни своего бога, ни своего черта, он вылез на трибуну только для того, чтобы получить удовольствие от собственного красноречия. Говорил газетный критик с подлинной страстью дурно воспитанного человека.

— Товарищи, их поэзия дегенеративна... — Он сделал многочисленную паузу, которая в то время называлась «паузой Художественного театра». — Это, товарищи, поэзия вырожден-

цев! Футуризм, имажинизм — поэзия вырожденцев! Да, да, вырожденцев. Но, к сожалению, талантливых.

Щупленькая супруга в сиротливом одиночестве опять захотала и бешено захлопала в ладоши. Ручки у нее были шершавые и красные, как у тех девочек, что до самой глубокой осени бегают по двору без перчаток.

— И вот, товарищи, эти три вырожденца... — Громовержец ткнул коротким пальцем в нашу сторону. — Эти три вырожденца, — повторил он, — три вырожденца, что сидят перед вами за красным столом, возомнили себя поэтами русской революции! Эти вырожденцы...

Всякий оратор знает, как трудно бывает отделаться от какого-нибудь словца, вдруг прицепившегося во время выступления. Оратор давно понял, что повторять это проклятое словцо не надо — набило оскомину, и тем не менее помимо своей воли повторяет его и повторяет.

Громовержец подошел к самому краю эстрады и по-наполеоновски сложил на груди свои короткие толстые руки:

— Итак, суммируем: эти три вырожденца...

Маяковский ухмыльнулся, вздохнул и, прикрыв рот ладонью, шепотом предложил мне и Шершеневичу:

— Давайте встанем сзади этого мозгляка. Только тихо, чтобы он не заметил.

— Отлично, — ответил я. — Это будет смешно.

И мы трое — одинаково рослых, с порядочными плечами, с теми подбородками, какие принято считать волевыми, с волосами коротко подстриженными и причесанными по-человечески, заложив руки в карманы, — встали позади жирного лохматого карлика. Встали этакими добрыми молодцами пиджачного века.

— Эти вырожденцы...

Туманный зал залился смехом.

Громовержец, нервно обернувшись, поднял на нас, на трех верзил, испуганные глаза-шарики.

Маяковский писал про свой голос: «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего».

Вот этим голосом он презрительно ободрил несчастного докладчика, глядя на него сверху вниз:

— Продолжайте, могучий товарищ. Три вырожденца слушают вас.

Громовержец от ужаса втянул голову в плечи. Смех зала

перешел в громоподобный грохот. Казалось, что вылетят зеркальные стекла, расписанные нашими стихами.

Бедняга-болтун стал весьма торопливо вскарабкиваться на стул, чтобы сравняться с нами ростом:

— Товарищи!.. Товарищи!.. Я... как всегда... остаюсь... при своем... мнении... Они... эти вырожденцы...

Больше он не мог произнести ни одного слова. Зал, плавающий в тумане, как балтийский корабль, оглушительно свистел, шикал, топал ногами, звенел холодным оружием, шпорами и алюминиевыми ложками:

— Вон!.. Вон!.. Брысь!.. В обоз!.. В помойное ведро!..

В те годы подобные эмоции не считались предосудительными. В левых театрах висели плакаты следующего содержания: «Аплодировать, свистеть, шикать, топтать ногами и уходить из зала во время действия РАЗРЕШАЕТСЯ».

Жирный оратор, тяжело отдуваясь, сполз сначала со стула, а потом с эстрады. Его шупленькая мадам, всхлипывая, вытирала слезы красными шершавыми кулачками. Губы цвета сырого мяса страдальчески дергались.

— Цилечка, голубонька, не надо... Не надо, — умолял ее Громовержец, сразу очеловечившийся.

Когда мы опять сели за пурпуровый стол, я шепнул Маяковскому:

— Одной фразой этот болтун мог бы нас уничтожить.

— Какой?

— На его месте я бы сказал так: «Аристотель утверждает, что в Эфиопии даже на высшие государственные должности выбирали граждан по росту и красоте».

Маяковский мрачно рассмеялся. Он не умел смеяться лихо и весело.

— Но ведь для этого надо почитать Аристотеля.

— Или хотя бы русские мемуары.

И я рассказал, как лет двести тому назад ответил Дмитриевский одному дураку. Спор шел об «Атрее», поставленном Алексеем Яковлевым в свой бенефис. Дурак воскликнул: «Значит, наш Алеша выше великого Лекена?..» Первейший артист ответил: «Ростом, душа моя, ростом выше. Вершка на три выше!»

— Вы правы, — сказал Маяковский, — мы сразили гусняка не первоклассным оружием... Впрочем, наплевать. Лишь бы в дерьме валялся.

— Лезь, Толя, на кафедру, — сказал Шершеневич. — Тебе выступать.

Я поднялся на пурпуровую трибуну и в академическом тоне стал сравнивать человека с орангутаном.

— Это человекоподобное животное, — уверял я, сославшись на почтенного ученого, — испытывает ревность и бывает подозрительно. Знает великодушие и мстительность. Знакомо с благодарностью и умеет обманывать. Животное не только понимает смешное, но и само обладает чувством юмора. Оно не лишено воображения и любопытства. Так же, как человек, сходит с ума. Что же в таком случае, — спросил я, — отличает нас с вами от орангутана?

И ответил, кивнув на Л. Б.:

— Друзья мои, из всех различий между человеком и человекообразными животными наиболее существенное — это нравственное чувство. То есть как раз то, что полностью отсутствует у критиков из породы сегодняшнего оратора. Они говорят сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Но главным образом то, что приносит им пользу, помогая сделать карьеру при тех или иных обстоятельствах.

— Правильно, Толя! — крикнул Есенин из зала.

— А вообще...

Мне вдруг надоело играть в академию, и я сказал прямо в лицо критику:

— А вообще мы только зря тратим на вас время. Ведь вы... *пар* над супом. Все вы — *пар* над супом. На кой черт он нужен? Какая от него польза? От этого *пара* над супом!

Меня шумно поддержали дорогие моему сердцу буденовские овчины, побуревшие от фронтовых непогод.

А вот и другой диспут в том же кафе «Домино».

На трибуне Маяковский.

За пурпуровым столом три маститых критика — Ю. Айхенвальд, Петр Семенович Коган и профессор Сакулин.

Ю. Айхенвальд в очках с очень толстыми стеклами. Но и они, вероятно, недостаточно толсты. Поэтому критик все время щурится. Неужели и у него есть желание что-то увидеть в этом мире?

Ю. Айхенвальд — эстет. Он говорит и пишет красиво. Даже чересчур красиво. Он интеллигент. Даже чересчур интеллигент. И сутуловатые плечи у него интеллигентные, и уз-

кая грудь, и худая длинная шея, и тонкие пальцы с белыми ногтями, и невыутюженные брюки, и высокий крахмальный воротничок, и медная запонка, сверкающая из-под черного галстука, неумело завязанного.

В тот вечер мне припомнился случай с Победоносцевым. В Киевской лавре старый монах показывал ему мощи. «Благодарю вас, — сказал учтивый Победоносцев. — Я желаю и вам после смерти сделаться такой же хорошей мощей».

Ю. Айхенвальд стал «хорошей мощей» уже при жизни.

Профессор Сакулин словно сошел с иконы суздальского письма. У него длинные прямые волосы, длинная борода и всепрощающие глаза. Свои книги он пишет для великого русского народа, который его не читает. Его лекции, посещаемые преимущественно барышнями из хороших семейств, это не лекции, а служение во храме литературы.

Петр Семенович Коган по виду более современен, чем его коллеги. Он похож на провизора из провинциальной аптеки. Горбинка на носу, шея, как у пивной бутылки, и волосы в сплошной мелкий завиток. Он говорит удивительно гладко, не понижая и не повышая голоса. Говорит с безукоризненными запятыми. Знак восклицательный, знак вопроса и многоточие отсутствуют в его речи. На моей памяти этот оратор ни разу не запнулся, ни разу не кашлянул и не сделал ни одного глотка воды из стакана. Его общедоступные лекции я слушал еще в Пензе, будучи гимназистом, и уже тогда был убежден, что они могли бы превосходно излечивать от бессонницы самых тяжелых психастеников.

Маяковский взошел на трибуну после Петра Семеновича. Первым выступал профессор Сакулин, вторым — Ю. Айхенвальд.

— Товарищи, — начал Маяковский, — этот Коган сказал...

И, не оборачиваясь, поэт ткнул внушительным пальцем в сторону Ю. Айхенвальда.

Хорошо воспитанный, интеллигентный человек еще больше сощурился и поправил галстук.

Минуты через три Маяковский, вторично ткнув пальцем в сторону Ю. Айхенвальда, повторил:

— Так вот... этот Коган сказал...

Тот, который не был Коганом и меньше всего мечтал им быть, как-то мучительно повел длинной худой шеей, словно

ему был тесен крахмальный воротничок, и дрогнувшими пальцами поправил на носу очки.

Мы все как один блаженно заулыбались. Критики не были для нас самыми дорогими существами на свете.

— Интересно! — сказал Есенин.

— Тс-с-с.

Маяковский снова ткнул пальцем в знакомом направлении:

— Этот Коган...

Белоснежным платком эстет вытер на лбу капли пота, вероятно холодного, и шуршаще-шелестящим голосом деликатно поправил своего мучителя:

— Уважаемый Владимир Владимирович, я не Коган, я Айхенвальд.

Но Маяковский, как говорится, и носом не повел. Мало того, примерно через минуту он в четвертый раз ткнул пальцем в несчастного эстета, который бледнел и худел на наших глазах:

— Этот Коган...

Ю. Айхенвальд нервно встал, вытянул шею, вонзил, как вилки, свои белые, бескровные пальцы в пурпуровый стол и сказал так громко, как, думается, еще никогда в жизни не говорил:

— С вашего позволения, Владимир Владимирович, я Айхенвальд, а не Коган.

В кафе стало тихо.

А Владимир Владимирович, слегка скосив на него холодный тяжелый взгляд, раздавливающий человека, ответил с презрением:

— Все вы... Коганы!

«Иногда бывает: идешь мимо буфета третьего класса, видишь холодную, давно жаренную рыбу и равнодушно думаешь: кому нужна эта неаппетитная рыба? Между тем, несомненно, рыба эта нужна и ее едят, и есть люди, которые находят ее вкусной».

Господи, да ведь это же Антон Павлович о них сказал, о критиках.

В том же «Кафе поэтов» было «Явление народу имажиниста Рюрика Ивнева». Теперь бы это назвали несколько иначе: «Творческий вечер Рюрика Александровича Ивнева».

Тоненьким девичьим голоском, трагически поднимая тяжелые глаза к потолку, он читал хорошие стихи:

Под скрип голенищ, и сутолоку,
И ругань пунцовых ртов
Мне стало вдруг так хорошо и жутко,
Как мертвому среди льдов.

Перед самой эстрадой за стеклянным столиком, жуя сахариновые эклеры, сидела парочка «недорезанных буржуев». Так говорили тогда. Он был в черной шубе на еноте и с каракулевым воротником-шалью. Лицо бритое, желтое, тучное, лоснящееся, все в дырах и дырках, как швейцарский сыр. Она — «в котиках», по выражению московской шпаны. Рыжая. Очень рыжая. Даже глаза какие-то рыжие. Думается, что Ренуар охотно написал бы ее портрет «ню». Этот замечательный художник говорил, что голая женщина должна быть написана так, чтобы хотелось ее похлопать по задку. Вероятно, и ее портрет, будь он написан ренуаровской кистью, очень бы хотелось похлопать ладошкой по тому месту.

Заря еще не слепила очи,
Но я ослеп от глаз и губ.
И вот, прилепившись к толпе всклокоченной,
Иду, — как дерево шло бы на сруб.

Читал Рюрик Ивнев певучим тоненьким тихим голоском.

А одновременно с ним человек с лицом, как швейцарский сыр, говорил какие-то пустые фразы своей рыжей даме. Он говорил гораздо громче, чем читал стихи наш женственный друг.

Есенин крикнул:

— Эй... вы... решето в шубе... потише!

Рыжая зарделась.

И я плетусь, как лошадь под ударом,
И вижу тень позорного столба
И очертанья каторжного лба
В трактире за кипящим самоваром, —

в отчаянье продолжал попискивать поэт с эстрады, нередко соперничающей с Голгофой.

А решето в шубе, даже не скосив глаз в сторону Есенина, продолжало хрипло бить свою муру.

— Вот сволочь! — прошептал со злобой Есенин.

— Скажи, Сережа, швейцару, чтобы он его выставил, — посоветовал я. — В три шеи выставил.

— А я и без швейцара обойдусь, — ответил Есенин.

И, подойдя к столику «недорезанных», он со словами: «Милости прошу со мной!» — взял получеловека за толстый в дырочках нос и, цепко держа его в двух пальцах, неторопливо повел к выходу через весь зал. При этом говорил по-рязански:

— Пордон... пордон... пордон, товарищи.

Посетители замерли от восторга.

Швейцар шикарно распахнул дверь.

Рыжая «в котиках» истерически визжала:

— А!.. А!.. А!.. А!..

После этого веселого случая дела в кафе пошли еще лучше: от «недорезанных буржуев» просто отбоя не было. Каждый, вероятно, про себя мечтал: а вдруг и он прославится — и его Есенин за нос выведет.

Имажинисты находились в непрерывной полемике с Маяковским. Острие словесной рапиры тогда не было притуплено гуманным деревянным шариком, как это принято у спортсменов сегодняшних дискуссий. Поэтому чуть ли не ежевечерне горячая, но невидимая кровь лилась ручьями. Все, что касается души, к сожалению, невидимо. А может быть, это к счастью.

Вадим Шершеневич владел словесной рапирой, как никто в Москве. Он запросто — сегодня в Колонном зале, завтра в Политехническом, послезавтра в «Стойле Пегаса» — нагромождал вокруг себя полутрупы врагов нашей святой и неистой веры в божественную метафору, которую мы называли *образом*.

Но у нашего гения словесной рапиры была своя ахиллесова пята. Я бы даже сказал — пяточка. Тем не менее она доставляла всем нам крупные неприятности.

«Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего», — написал Маяковский.

Понятия не имея об этой великолепной, образной строчке, Вадим Шершеневич, обладающий еще более бархатным голосом, несколько позже напечатал: «Я сошью себе полосатые штаны из бархата голоса моего».

Такие катастрофические совпадения в литературе не редкость. Но попробуй уговори кого-нибудь, что это всего-навсего проклятая игра случая.

Стоило только Маяковскому увидеть на трибуне нашего златоуста, как он вставал посреди зала во весь своей немалый рост и зычно объявлял:

— А Шершеневич у меня штаны украл!

Бесстрашный литературный боец, первый из первых в Столице Мира, мгновенно скисал и, умоляюще глядя то на Есенина, то на меня, растерянным шепотом просил под хохот бессердечного зала:

— Толя... Сережа... спасайте!

Мы идем мимо Страстного монастыря, стены которого недавно расписали своими стихами:

Пою и взываю: Господи, отелись!

Есенин

Граждане, душ меняйте белье исподнее!

Магдалина, я тоже сегодня

Приду к тебе в чистых подштанниках.

Мариенгоф

Хорошо светит большая луна. Прелестно пахнут цветущие липы.

Шершеневич в шикарном светло-сером пиджаке в крупную клетку. Но предательский верхний карман... с правой стороны, так как пиджак перевернут. Почти у всех франтов той эпохи верхние карманы были с правой стороны.

— Внимание, друзья, Уитмену! — И, жестикулируя по таировской школе, Шершеневич читает американского поэта почти так же громко, как в Большом зале консерватории.

Редкие прохожие смотрят на него испуганно, как на сумасшедшего.

— Вадим, — говорю я, — положи в карман книгу и взгляни на небо.

— Зачем?

— Для вдохновения!

Он отвечает:

— Меня лучше вдохновляет Уитмен!

И добавляет:

— Что вы там с Сережей не толкуйте, а талантливо написанное чужое стихотворение вдохновляет куда больше, чем

полнолуние, чем пахучие цветочки на липах или нежная страсть. Говорят, и такие бывают страсти.

Тогда я полушутя спрашиваю:

— А может, Димочка, ты в самом деле у Маяковского штаны украл?

— Ей-богу, нет!

Моя маленькая теща, напуганная нелегкой жизнью, любила говорить о себе:

— Одна, как палец.

Этот неточный образ вызывал у меня улыбку:

— Но ведь пальцев-то, мамаша, на правой руке пять и на левой пять, не говоря уже о ногах. Почему же «одна, как палец»?

Она смотрела на меня скорбными глазами, кивала головой, видимо соглашаясь, а завтра опять говорила:

— Одна, как палец.

В конце концов этот неточный образ стал для меня прелестным лирическим символом одиночества.

Надо сказать, что у маленькой старушки, кроме любящей и заботливой дочери, был еще и сын, который обцеловывал ее при торопливых встречах.

Дочь — актриса. Сын — художник. А она — мать. И все! Маленькая, старенькая, домашняя мама двух взрослых людей. У них своя жизнь. Она внутренне далека от нее, чужда ей и почти непонятна. Поэтому, как бы ее ни обцеловывал всегда убегающий Семочка, как бы нежна и заботлива ни была с ней Нюрочка, всегда торопящаяся на репетицию или на спектакль, сколько бы они — эти «хорошие дети» — ни лепетали второпях: «Любименькая мамочка», «Сладенькая мамочка», — она неизменно чувствовала себя оставленной, покинутой, забытой. Впоследствии, даже убаюкивая годовалого внука, в котором, конечно, души не чаяла, она грустно покачивала головой:

— Одна, как палец!

К чему я это рассказал?

Да вот вижу сходство между моей маленькой тещей и Маяковским.

Я не бывал у него в доме, и он не бывал у нас. Как говорится — шапочное знакомство. Или верней — шляпочное. Но эти свои фетровые шляпы нам приходилось снимать при

встречах довольно часто: на Тверской, на Петровке, на Кузнецком мосту, на Бульварном кольце «А», на вокзалах, на дачных дорожках. А здоровались за руку — в театрах, в клубах, в кафе, в Литературно-художественном кружке, на вернисажах, в Центропечати, в Наркомпросе, в издательствах. И всякий раз при этих случайных встречах я думал о нем: «Один, как палец!»

Потому что никогда я не видел Маяковского вдвоем или в тесной дружеской компании. Никогда не видел его с веселым, молодым и счастливым глазом.

А если доводилось нам перекинуться несколькими фразами, он либо острил, либо пытался острить, словно не имел права бросить слово-другое просто так. От этого становилось тяжело, скучно и как-то не по себе.

Я как-то сказал Есенину:

— Маяковский, словно старый царский генерал, который боится снять штаны с красными лампасами. А вдруг без этих штанов и генералом не окажется!

Вот мы с Никритиной сидим ночью в Литературно-художественном кружке, который тогда помещался в особняке какого-то бывшего посольства, почти насупротив нашей Богословской квартиры.

Подходит Маяковский:

— Можно присесть?

— Пожалуйста, Владимир Владимирович, — радушно приглашает Никритина.

Я придвигаю третий стул:

— Прошу.

— Благодарю.

Он садится, закуривает и смотрит исподлобья на никритинские серьги, стекающие с мочек двумя тонкими струйками зеленоватой болотной воды.

— Какие красивые у вас... серьгеи! — каламбурит Маяковский.

Никритина принужденно улыбается.

Маяковский берет карточку с дежурными блюдами и мрачно читает ее, словно это извещение о смерти близкого человека.

Мне подают на закуску великолепный телячий студень с хреном в сметане.

Маяковский переводит на студень тяжелый взгляд и спрашивает:

— Вы, значит, собираетесь умывальником закусывать?

Я отвечаю коротко:

— Да.

Студень действительно похож на мраморный умывальник, из которого я мылся в детстве. Образ точный. Но закусывать умывальником невкусно.

Мрачновато, мрачновато!

Госиздат.

Маяковский стоит перед конторкой главного бухгалтера, заложив руки в карманы и широко, как козлы, расставив ноги:

— Товарищ главбух, я в четвертый раз прихожу к вам за деньгами, которые мне следует получить за мою работу.

— В пятницу, товарищ Маяковский. В следующую пятницу прошу пожаловать.

— Товарищ главбух, никаких следующих пятниц не будет. Никаких пятых пятниц, никаких шестых пятниц, никаких седьмых пятниц не будет. Ясно?

— Но поймите, товарищ Маяковский, в кассе нет ни одной копейки.

— Товарищ главбух, я вас спрашиваю в последний раз...

Главный бухгалтер перебивает:

— На нет и суда нет, товарищ Маяковский!

Тогда Маяковский неторопливо снимает пиджак, вешает его на желтую спинку канцелярского стула и засучивает рукава шелковой рубашки.

Главный бухгалтер с ужасом смотрит на его большие руки, на мощную фигуру, на неулыбающееся лицо с массивными челюстями, на темные, глядящие исподлобья глаза, похожие на чугунные гири в бакалейной лавке. «Вероятно, будет меня бить», — решает главный бухгалтер. Ах, кто из нас, грешных, не знает главбухов? Они готовы и собственной жизнью рискнуть, лишь бы человека помучить.

Маяковский медленно подходит к конторке, продолжая засучивать правый рукав.

«Ну вот, сейчас и влепит по морде», — думает главный бухгалтер, прикрывая щеки хилыми безволосыми руками.

— Товарищ главбух, я сейчас здесь, в вашем уважаемом

кабинете, буду танцевать чечетку, — с мрачной серьезностью предупреждает Маяковский. — Буду ее танцевать до тех пор, пока вы сами, лично не принесете мне сюда всех денег, которые мне полагается получить за мою работу.

Главный бухгалтер облегченно вздыхает: «Не бьет, слава Богу».

И, опустив безволосые руки на аккуратные кипы бумаг, произносит голосом говорящей рыбы:

— Милости прошу, товарищ Маяковский, в следующую пятницу от трех до пяти.

Маяковский выходит на середину кабинета, подтягивает ремень на брюках и: тук-тук-тук... тук-тук... тук-тук-тук... тук-тук.

Машинистка, стриженная, как новобранец (вероятно, после сыпного тифа), шмыгнув носом, выскакивает за дверь.

Тук-тук-тук... тук-тук... тук-тук-тук... тук-тук...

Весь Госиздат бежит в кабинет главного бухгалтера смотреть, как танцует Маяковский.

Паркетный пол трясется под грузными тупоносыми башмаками, похожими на футбольные бутсы. На конторке и на желтых тонконогих столиках, звеня, прыгают электрические лампы под зелеными абажурами. Из стеклянных чернильниц выплескивается фиолетовая и красная жидкость. Стонут в окнах запыленные стекла.

Маяковский отбивает чечетку сурово-трагически. Челюсти сжаты. Смотрит в потолок.

Тук-тук-тук... тук-тук-тук...

Никому не смешно. Даже пуговоносому мальчугану-курьеру, который, вразлад со всем Госиздатом, имеет приятное обыкновение улыбнуться, говоря: «Добрый день!» или «Всего хорошего!»

Через несколько минут главный бухгалтер принес Маяковскому все деньги. Они были в аккуратных пачках, заклеенных полосками газетной бумаги.

За стеклянным столиком «Кафе поэтов» почти ежевечерне сидел бывший террорист, бывший левый эсер Яков Блюмкин.

Этому чернобородому человеку уже пошел двадцать второй год. Значит, не слишком был молод, по счету того времени.

Другой наш приятель, тоже недавний левый эсер, красавчик с природной мушкой на румяной щеке — Юрочка Саблин — был помоложе, а уже командовал армией, громившей Колчака на Урале.

Ленину в восемнадцатом году было сорок восемь. Его в партии давно уже называли Стариком.

Однажды иду я по Александровскому саду. Навстречу фельетонист «Правды» Михаил Кольцов. Он прямо от Владимира Ильича из Кремля.

— Безобразие! — говорит Кольцов с нежностью в голосе. — Взяли Старика в халтуру. Прихожу, а он примус накачивает, чтобы суп себе подогреть.

Эпоха!

Большевики не так давно заключили мир с немцами. Чтобы разорвать его, Яков Блюмкин по решению левозероцкого ЦК пристрелил в Москве немецкого посла графа Мирбаха.

Выстрел был хорош, но мира он, как известно, не нарушил. Немцы выдохлись. Им уже было не до войны с нами из-за мертвого графа.

Убийцу немедленно посадили в ВЧК.

Не имея особого желания встать к стенке, он кого-то выдал, кого-то предал и за счет жизней своих товарищей по партии спас собственную жизнь.

Блюмкин был лириком, любил стишки, любил свою и чужую славу. Как же не прилепиться к нам, состоявшим тогда у нее в избранниках? И он прилепился ласково, заискивающе. К тому же левозероцкое ЦК вынесло решение: «Казнить предателя». Опять для Блюмкина запахло смертью. А он — как мы уже знаем — не очень-то любил этот запах. Впрочем, как и большинство жалких смертных. И вот Блюмкин сделал из нас свою охрану. Не будут же левозероцкие террористы ради «гносного предателя» (как именовали они теперь своего проштрафившегося «героя») приканчивать бомбочкой двух молодых стихотворцев.

Перед закрытием на ночь «Кафе поэтов», Блюмкин всякий раз умоляюще говорил:

— Толя, Сережа, друзья мои, проводите меня.

Свеженький член ВКП(б), то есть Блюмкин, жил тогда в «Метрополе», называвшимся 2-м Домом Советов.

Мы почти каждую ночь его провожали, более или менее рискуя своими шкурами. Ведь среди пылких бомбошвырятелей

мог найтись и такой энтузиаст этого дела, которому было бы в высшей степени наплевать на всех подопечных российского Аполлона.

Слева обычно шел я, справа — Есенин, посередке — Блюмкин, крепко-прекрепко державший нас под руки.

Он был большой, жирномордый, черный, кудлатый, с очень толстыми губами, всегда мокрыми. И обожал — надо не надо — целоваться. Этими-то мокрыми губами!

Как-то в «Кафе поэтов» молодой мейерхольдовский артист Игорь Ильинский вытер старой плюшевой портьерой свои запывлившиеся полуботинки с заплатками над обоими мизинцами.

— Хам! — заорал Блюмкин. И мгновенно вытащив из кармана здоровенный браунинг, направил его черное дуло на задравшего артиста. — Молись, хам, если веруешь!

Все, конечно, знали, что Блюмкин героически прикончил немецкого графа. Что ж ему стоит разрядить свой браунинг, заскучавший от безделья, в какого-то мейерхольдовского актеришку?

Неудивительно, что Ильинский стал белым, как потолок в комнате, недавно отремонтированной.

К счастью, мы с Есениным оказались поблизости.

— Ты что, опупел, Яшка?

— Бол-ван!

И Есенин повис на его поднятой руке.

— При социалистической революции хамов надо убивать! — сказал Блюмкин, обрызгивая нас слюнями. — Иначе ничего не выйдет. Революция погибнет.

Романтик! Таких тогда было немало.

Есенин отобрал у него браунинг:

— Пусть твоя пушка успокоится у меня в кармане.

— Отдай, Сережа, отдай, — взмолился романтик. — Я без револьвера, как без сердца.

Несколько позже романтик возглавил охрану наркомвоена Троцкого.

— Ребята, хотите побеседовать со Львом Давыдовичем? — покровительственно спросил Блюмкин. — Я могу устроить встречу.

— Хотим!

— Очень!

— Устраивай!

Примерно через неделю Блюмкин явился к нам на Богословский.

Я лежал с перевязанной шеей и каждые четверть часа по-лоскал горло перекисью водорода.

— Ребята, сегодня едем ко Льву Давыдовичу. Будьте готовы.

— Есть!

— Будем, как огурчики!

И счастливый Есенин побежал мыть голову, что всегда делал, когда хотел выглядеть покрасивей и попоэтичней.

— Ой, а у меня тридцать восемь и пять. Ангина проклятая, — простонал я, поспешно разбинтовывая шею. — Дай, Яшенька, пожалуйста, брюки.

— И не подумаю давать. Лежи, Анатолий. Я не могу позволить тебе заразить Троцкого.

— Яшенька, милый...

— Дурак, это контрреволюция!

— Контрреволюция? — испуганно пролепетал я.

— Лежи! Забинтовывай шею! Полощи горло! — повелел романтик, торопливо отходя от моей кровати.

Он ужасно трусил перед болезнями, простудой, сквозняками, мухами («носителями эпидемий») и сыростью на улице: обязательно надевал калоши даже после летнего дождичка.

До начала беседы Есенин передал Троцкому только что вышедший номер нашего имажинистского журнала «Гостиница для путешественников в прекрасном».

На первой странице первого номера я писал примерно вот что:

«Раньше прекрасное искусство еще называлось *изящным*.

Что же это такое?

Говоря языком образа, это означает: горы не особенно высокие, подъемы не очень крутые, пропасти... Ах, лучше бы пропастей и совсем не было, а не то еще свалишься!.. Пусть-де все обстоит так, чтобы для путешественников подъем на гору не был опасной экспедицией ради открытия каких-то высот, а только приятной прогулкой для собственного удовольствия. Чтобы ничто не нарушило ни элегантного свойства литературной походки, ни легкости светских манер в поэзии, усвоенных с такой трудностью от иностранных воспитателей.

До чего же изменилась природа прекрасного в наши дни!

У слова походка тяжелая; смысл — широк, без запретов.

В выражении своих мыслей мы прямы, просты, откровенны, а потому кой-когда и грубоваты.

Почему же природа искусства все-таки называется прекрасной? Могут ли обвалы, пропасти и крутизны дать ей такое имя?

Безусловно! Потому что мы ищем и находим сущность прекрасного в катастрофических потрясениях современного духа, в опасностях Колумбова плавания к новым берегам нового мирозерцания. Так понимаем мы революцию.

Троцкий, взглянув на журнал, сказал:

— Благодарю вас.

И, выдвинув ящик письменного стола, достал тот же номер «Гостиницы для путешественников в прекрасном», чем сразу и покорила душу Есенина.

В журнале была напечатана моя «Поэма без шляпы». В ней имелась такая строфа:

Не помяни нас лихом, революция.
Тебя встречали мы какой умели песней.
Тебя любили кровью —
Той, что течет от дедов и отцов.
С поэм снимая траурные шляпы, —
Провожаем.

— Передайте своему другу Мариенгофу, — сказал Троцкий, — что он слишком рано прощается с революцией. Она еще не кончилась. И вряд ли когда-нибудь кончится. Потому что революция — это движение. А движение — это жизнь.

«Поэма без шляпы» была написана в 1922 году.

Как нетрудно догадаться, при первом удобном случае Сталин расстрелял Блюмкина... под пение, вернее — хрипение, «Интернационала».

Вставай, проклятем заклеянный,
Весь мир голодных и рабов! —

только и успел прокричать наш романтик.

Это мне рассказал член коллегии ВЧК Агранов, впоследствии тоже расстрелянный.

А когда поставили к стенке старика Мейерхольда, он, как мне передавали, воскликнул:

— Да здравствует революция!
Это мой век.

Только в моем веке красные штаны, привязанные к шесту, являлись сигналом к буре в зале бывшего Благородного собрания.

Только в моем веке расписывались стены монастыря дерзкими богохульными стихами.

Только в моем веке тыкали пальцем в почтенного профессора Ю. Айхенвальда и говорили: «Этот Коган!»

Только в моем веке знаменитый поэт танцевал чечетку в кабинете главного бухгалтера, чтобы получить деньги!

Только в моем веке террорист мог застрелить человека за то, что он вытер портьерой свои полуботинки.

Только в моем веке председатель Совета Народных Комиссаров и вождь мировой революции накачивал примус, чтобы подогреть суп.

И т. д., и т. д.

Интересный был век! Молодой, горячий, буйный и философский.

17

В Москву приехала Айседора Дункан. Ее пригласил Луначарский. Для себя и для своей будущей школы знаменитая босоножка получила от нашего правительства роскошный особняк на Пречистенке. По-купчески роскошный особняк.

— Толя, — сказал Есенин, усевшись на стол, за которым я трудно ковырялся, как говорили мы, над лирическими строчками. — Толя, слушай, я познакомился с Айседорой Дункан.

— Очень рад, — сказал я, не отрывая глаз от рукописи. — Поздравляю.

— Я влюбился в нее, Анатолий.

— Ты? Влюбился?

— По уши!

— Ты?..

— Честное слово!

— Не верю, Сережа.

— Почему это ты не веришь?

— Не ве-рю, — повторил я, обмакнув перо в чернила.

— Уж, может, я не могу влюбиться?

— Полагаю.

Он почесал за ухом.

— Ну, увлекся, что ли.

— Ты? Увлекся?

Он опять почесал за ухом.

— Ну, ладно, ладно. Она мне понравилась.

— Так ведь кругом говорят, Сережа, что она...

Есенин перебил:

— А я люблю пожилых женщин.

— Люби, люби на здоровье!

Но кляксу я все-таки посадил.

— И буду любить. Буду!

Вдруг он испуганно взглянул на лист бумаги, который лежал передо мной:

— Что? Кляксу посадил? Сейчас посадил?

— Ага.

Он мрачно взглянул на меня:

— Это дурная примета... Эх, растяпа!

Я скомкал лист и выбросил его за окно.

— Все равно это дурная примета.

— Вот вздор-то!

— Увидишь!

— Не болтай чепухи, Сережа.

— Пушкин тоже в приметы верил.

— Сто лет тому назад.

— А писал-то он стихи сто лет тому назад не хуже нас с тобой.

Вскоре Есенин перебрался к Дункан, в ее особняк на Пре-чистенке.

18

Мы сидим возле буржуйки. От нее пышет уютным жаром. Черные железные щеки зарумянились.

— Ишь, потрескивает. Не дрова, а порох! — говорит Есенин. — Кто покупал? Небось Мартышон?

И подсаживается еще ближе к огню:

— Русская кость тепло любит.

На столе, застеленном свежей накрахмаленной скатертью, стоит глиняный кувшин с ветками молодой сосны.

Есенин мнет в пальцах зеленые иглы.

— Это хорошо, когда в комнате пахнет деревцом.

Подходит к ореховой тумбе. На ней еще совсем недавно стояли наши бритвенные приборы и обломок зеркала, прислоненный к флакону тройного одеколona. Теперь на ней: никритинский трельяжик, духи, круглая пудреница с большой пуховкой и синяя фарфоровая тарелочка с золотыми карандашами губной помады.

— Тумбочка-то наша холостяцкая, — говорит он, — каким туалетом стала!

Рассматривает себя со всех сторон в трельяжик и нюхает духи «Персидская сирень» парфюмерного треста «Жиркость». Так в те годы именовалось ТЭЖэ.

— Приятные...

И душится. Почему-то за ушами.

— У нас в Рязани сирени мно-о-ого!

Потом большой лебяжьей пуховкой пудрит все лицо, а не по-дамски — один нос.

— Мы-то с тобой, два дурака, аптекарской ватой после бритья пудрились.

И расчесывает с наслаждением свои легкие волосы большим редкозубым женским гребнем из черепахи.

— Красота!.. Только в кармане его носить неудобно.

И кладет гребень на прежнее место.

— Ну, мне пора.

— Подожди, Сережа. Через полчаса придет Нюша. «Ящик с игрушками» кончается рано. Попьем чайку. Есть холодная баранина. Мартышка еще что-нибудь придумает.

— Да нет.

И надвигает на самые брови высокую бобровую шапку с черным бархатным донышком.

— Поеду на свою Пречистенку клятую. Дунканша меня ждет.

— Может, останешься? Ночуй с нами, Сережа, в старых пенатах.

— Нет, поеду.

И нехотя надевает шубу.

— Поеду. Будь она неладна!

И натягивает кожаные перчатки на пальцы, по-мальчишески растопыренные.

— Право, Сережа, оставайся. Гляди, как метет на улице.

— Поеду.

Он застегивает шубу на все пуговицы и поднимает воротник, как на морозе:

— Будь здоров.

— Ты сказал, Сережа: «Клятая Пречистенка». Да ну ее к Богу! Сыпь домой. Насовсем домой. Мартышка будет рада.

Он кладет на мои плечи обе руки и, глядя в глаза, говорит вслух то, что, вероятно, не раз и не два говорил самому себе:

— Нет, Толя, не могу я, да и не хочу сидеть на краешке чужого гнезда.

И круто поворачивается на каблуках.

— Мартышону кланяйся.

— Поклонюсь, поклонюсь.

Я молча провожаю его до парадного.

— Прибегай, Сережа.

— Спасибо.

— Прибегай завтра.

— Постараюсь.

Дверь хлопнула. Возвращаюсь не спеша в нашу комнату, натопленную, пахнущую сосной и ставшую гораздо уютней от белой скатерти на столе, от шотландской косынки в зеленую клетку на скучной ореховой тумбе, от лебяжьей пуховки и большого черепахового гребня, свидетельствующих о женщине.

Но в груди у меня щемит. Что-то подступает к горлу. Я опускаюсь на низкую табуретку возле потухающей буржуйки. Сижу тяжело, грузно, с уроненной головой и как будто с нечистой совестью. Словно сделал что-то очень жестокое, непоправимое, но неизбежное.

Потом повторяю есенинские слова:

— «Клятая Пречистенка!»

Ах Дункан, милая, дорогая Изадора, и надо же было тебе повстречаться на его пути!

Вспоминаю диалог из каких-то мемуаров:

— Почему, друг мой, ты не женился на этой знаменитой и богатой женщине?

— Да потому, — ответил мужчина, — что не хотел стать женой своей жены.

Кто, где, когда перекинулся этими фразами? А Бог его знает. Но они поучительные.

Есенин, конечно, не стал «женой своей жены». Не тот характер. Но, к сожалению, не стал и ее другом. По большому жизненному счету — не стал и мужем. Любовь и дружба, в моем понимании, *неразделимы* при жизни вдвоем. При человеческой жизни вдвоем. А не в собачьей свадьбе.

Отыграв «Ящик с игрушками», Нюша встретила Есенина на нижней площадке нашей лестницы и тащила его за рукав обратно в дом. Очень тащила. Но он упрямо твердил свое:

— Нет, поеду, Мартышон, поеду.

И уехал.

Не дотащила она Сережу.

19

Василий Иванович Качалов подарил мне свою фотографическую карточку. Надпись на ней была в стихах:

Толя, Толя Мариенгоф!
Я давно твоих стихов
Поддавался обаянью.
Рад был первому свиданью,
Кажется, в «Гостинице»,
В той, где «имажиниться»
Собиралась ваша рать.
Рад был издали слышать,
Что почти вы без штанов,
Но богаты звоном слов.
А потом тебя — живого —
Как-то привела Пыжова
Вместе с Нюрой, вместе с Саррой.
И в квартирке нашей старой
Мы, бывало, до утра
Пили водку и «Абрау».
Я читал стихи Сергея,
Ты свои стихи читал,
И на профиль твой Бердслея
Джим смотрел и засыпал.

Эта качаловская «квартирка старая» находилась во втором этаже деревянного флигеля, что стоял во дворе Художественного театра.

В таких квартирках в Пензе жили самые мелкие чиновники, а в Москве сторожа и дворники. Крохотные комнатки, с крохотными оконцами, с низкими потолками, с поскрипывающими половицами и поющими дверями.

Но до чего же была уютна, радушна, тепла, сердечна, гостеприимна эта дворницкая квартирка!

Я не скажу, какого времени — павловского или александровского — была качаловская мебель, но в креслах было удобно сидеть, на диване — развалиться, а за круглым столом о пяти ножках — вкусно елось, хорошо пилося и чудесно разговаривалось. Потому что не только молодым гостям, но и хозяину, который находился в великолепной мужской зрелости, никто еще не говорил: «Вася, тебе гуся с яблоками нельзя!» — «Нет, нет, только не поросенка!» — «Положи обратно кусок, положи! Вот, пожалуйста, это твое белое мясо — куриная грудка с рисом».

Или: «Вася, Вася, ты уже две рюмки выпил. Хватит! Сам же сегодня доктору слово дал!»

Нет, хвала Господу, тогда еще всем и все было дозволено, никто не смотрел трагическим глазом на гусиный филейчик, никто не выхватывал изо рта папиросу и не вел счета рюмкам, стопкам, бокалам. Этого скучного и скорбного счета, портящего жизнь.

Ольгу Ивановну Пыжову я бы тоже отнес к ряду некрасивых красавиц.

Разноцветные глаза этой актрисы Художественного театра воспел в своем рассказе один из «Серапионовых братьев». Язычок у Пыжовой был тонкий и острый, как лезвие бритвы, которая почему-то называется безопасной. А о пыжовском нраве следовало бы сказать приблизительно те же слова, что сказал Пушкин о комедии Бомарше:

Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Справедливость этого пока еще может кое-кто засвидетельствовать. Через год, другой, третий — еще меньше. Не за горами тот день, когда их не сыщешь и днем с огнем. А жаль! Хорошие свидетели. Они умели и настоящими стихами побаловать человека, и на сцене играли неплохо, и недурно стави-

ли пьесы, и могли до вторых петухов с толком и жаром поговорить об искусстве.

Недавно в МХАТе одного из этих свидетелей, убеленного сединами, отмеченного лысиной, как у линяющего орла, и обласканного народной любовью, принялся поучать бойкий служащий из Министерства культуры. Мой свидетель слушал, посапывая, кивал головой и вдруг буркнул оттопыренными губами:

— Умерли.

— Простите, кто умер?

— А те, кто могли учить меня.

Так вот: эти немногие свидетели могут подтвердить, что когда Ольга Ивановна была в настроенье, — а в те времена это не являлось редкостью, — она с лихвой заменяла для нашей небольшой компании бутылку шампанского, на которую не всякий день мы могли раскошелиться.

Пыжова жила в небольшой коридороподобной комнате. Единственное окно выходило на площадь, которая меняла памятники, как меняет мужей современная женщина. Перед ампирным дворцом сначала стоял белый генерал по фамилии Скобелев; потом олицетворявшая свободу замоскворецкая молодуха в древнеримском одеянии; она была высечена из шершавого серого камня и держала в руке гладкий шар. Художник Якулов называл его арбузом. Теперь на этой площади высится монумент основателю Москвы. Он крепко оседлал лошадь Васнецова с картины «Три богатыря».

В коридороподобной комнате Пыжовой сживали знаменитейшие футуристы, имажинисты, «Серапионовы братья», композиторы, режиссеры и художники.

Рассказывают, что Елизавета Михайловна Хитрово, дочь фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, поздно просыпалась, долго лежала в кровати и принимала избранных посетителей у себя в спальней.

Женщины моего века тоже принимали у себя в спальней, но этому никто не удивлялся, потому что никаких других комнат, как правило, у них не было.

Про дочку победителя Наполеона еще рассказывали, что, когда избранный посетитель намеревался сесть, она взволнованно останавливала его:

— Не сюда, не сюда! Это кресло Пушкина!.. Ой, не на диван! Это место Жуковского... Нет, нет, и не на этот стул. На нем сидел Гоголь!

И ласково заключала:

— Друг мой, садитесь ко мне на кровать. Это место для всех.

Упаси меня Боже от каких-нибудь аналогий!

Не знаю, как другие, а в особенности литературные критики, но лично я верю в любовь с первого взгляда. Верю хотя бы потому, что сам так влюбился. Кроме того, и отец английской драматической литературы сказал: «Тот, кто любил, всегда любит с первого взгляда». В той же степени, если даже не больше (и тут некоторый опыт у меня имеется), верю и я в дружбу с первого взгляда. Именно так — с первого взгляда подружился я с Сергеем Есениным, с Сергеем Образцовым, с Ольгой Пыжовой. Вероятно, подобное случается только в молодости, когда трезвый ум, к счастью, не слишком вмешивается в наши чувства.

В конце первого вечера приятного знакомства на капустнике Камерного театра Ольга Пыжова уже с нежностью говорила и мне, и Никритиной, и Сарре Лебедевой:

— Ну, гады...

Нет, никогда не понять и старым и новым «этим Коганам» теплого пыжовского слова!

Через два дня, сверкая своими разноцветными глазами, она объявила Качаловым, с которыми была в самых тесных отношениях:

— Сегодня после спектакля я приведу к вам трех гадов: Мариенгофа, Никритину и Лебедеву.

Для Василия Ивановича и Нины Николаевны слово «гад» было рекомендацией более чем достаточной.

Едва мы сняли шубы и переступили порог, Качалов сказал:

— Что ж, сядем за стол.

— А я уже сижу! — крикнула из столовой Пыжова, нацеливаясь вилкой в «розовую рыбку», как она называла лосося.

Кто не знает, что в гостях самые нудные, самые тягучие те полчаса, что выпадают на вашу долю от появления в доме до «прошу за стол, друзья мои!».

У наших радушных хозяев (вот хитрецы!) этих тягучих тридцати минут не оказалось — увильнули от них.

— Что ты скажешь, Вася, о моих гадах? — спросила Пыжова, жуя «розовую рыбку».

Но Василий Иванович вместо того, чтобы ответить на ее лобовой вопрос, как теперь говорится, уже наполнил большие рюмки ледяной водкой, настоянной, как полагается, на лимонных корочках.

Наполнил и улыбнулся своей качаловской улыбкой. Мне приходится употребить этот эпитет «качаловской», «качаловская» потому, что все другие, слишком общие, могут относиться и к одному человеку, и к другому, и к третьему, а качаловская улыбка или качаловский голос — единственны.

Мы чокнулись.

И опять, как позавчера на капустнике в Камерном, случилось то (и это, к сожалению, последний раз в моей жизни), что я подружился с людьми с первого взгляда. Говорю «с людьми», потому что это относилось в одинаковой мере и к Василию Ивановичу, и к Нине Николаевне Литовцевой, его жене, славившейся во МХАТе труднейшим характером.

Хотя я очень боюсь показаться сентиментальным (какое бедствие!), но нет сил устоять против желания разразиться тирадой о душевной чистоте.

Так вот: придешь, допустим, к кому-нибудь на именины. Глянешь — ни соринки! Все сверкает, все блестит. «У меня, мол, чистота, у меня порядок!» А под буфетом, к примеру, пылищи на палец и паутина с дохлыми прошлогодними мухами.

Ну и подумаешь: «Э, дорогая хозяйшюшка, да ты очковтирательница!»

Нечто подобное бывает и с душевной чистотой. Снаружи все сверкает, все блестит, а как ненароком глянешь в укромное местечко души или сердца и — плюнешь в сторону: «Да чтоб тебя черт побрал с такой чистотой душевной!.. Грязь, зависть, недоброжелательство».

А у Василия Ивановича и у Нины Николаевны была настоящая душевная чистота. И чтобы увидеть ее, понять, почувствовать, не требовалось съезжать с ними пуда соли. Одной щепотки за глаза было.

— По второй!

Не успели мы эту вторую закусить белым грибочком, как Нина Николаевна, прихрамывая, засуетилась, затормошилась. А не суетилась она, не тормошилась, только когда спа-

ла. Но и в эти немногие часы, как уверял супруг, подушка у нее под головой «вертуном вертелась».

— Нина!

А она уже что-то размешивала деревянной ложкой в кастрюльке, какой-то салат чем-то поливала, какое-то блюдо солила и перчила. Потом за каким-то соусником потянулась к подоконнику, который служил добавочным столом.

— Нина!

И Василий Иванович для успокоения дал ей шлепок своей большой мягкой ладонью.

В ответ она деловито проскрипела, почти так же, как скрипели половицы в их крохотной столовой:

— Оставьте меня, Василий Васильевич!

Это было имя и отчество Лужского, небезызвестного артиста Художественного театра.

— Теперь мне все ясно! — сказал Качалов с завидной серьезностью. — Теперь мне совершенно ясно, кто тебя, Нина, еще стучает по этому месту.

Всем стало весело. Очень весело.

Стоит ли пояснять, что на всем белом свете никто, кроме Василия Ивановича, не стучал ее «по этому месту».

— Господи, — отозвалась со скрипотцей Нина Николаевна, — от вас, Василий Иванович, немудрено и с ума сойти!

А немудрено было сойти с ума только от Нины Николаевны с ее треволнениями и переживаниями, как по большим жизненным вопросам, так и по самым ничтожнейшим пустякам.

Перед заливным судаком в лимонах Пыжова неожиданно задала вопрос, как будто довольно глупый:

— Вася, а как ты считаешь — сделал ты в своей жизни карьеру или нет?

Он, задумавшись на минутку, пожал плечами:

— Как тебе сказать, Ольга... В Америку я ехал во втором классе.

— Понятно! — кивнула Пыжова. — И Качалову, значит, жизнь не удалась.

— Подожди, подожди...

— Не выкручивайся, Васенька.

— Гамлета я все-таки сыграл... с грехом пополам.

Нина Николаевна презрительно прыснула мелкими смешками и проскрипела:

— Готово! Уже заразился!

— Чем это?

— Да самокритикой большевистской.

— Что ж, это болезнь полезная. Очень полезная. Побольше бы у большевиков таких болезней было.

А перед поросенком с гречневой кашей он спросил:

— Хотите, я вам читаю стихи?

У кого из нас после получасового знакомства повернулся бы язык попросить его об этом? Тем более что на его лице еще лежала пудра на тонком слое душистого вазелина, которым он только что снял грим сегодняшней роли.

— Конечно, хотим, Василий Иванович!

— Мечтали об этом!

— Ну пожалуйста!

— Пожалуйста, Василий Иванович, пожалуйста!

Он стал читать.

Сначала Есенина, потом Блока, потом Верхарна, потом Пушкина, а уж на рассвете Байрона из «Чайльд Гарольда» и Гете из «Фауста».

Сам Василий Иванович необычайно был похож на Гете. Только волосы покороче да живот поменьше.

Качалов — это псевдоним. Настоящая фамилия Василия Ивановича — Шверубович.

Когда Художественный театр гастролировал в Америке, нью-йоркские евреи, прослышав про это, взбудоражились.

Здесь, тут, там стало раздаваться:

— Вы знаете, мистер Абрамсон, что я вам скажу? Великий Качалов тоже из наших.

Или:

— Ой, мистер Шапиро, вы что думаете? Вы думаете, что знаменитый Качалов гой? Дуля с маком! Он Швырубович. Да-с, Швы-ру-бович!

— Боже мой! Ой, Боже мой!

Или:

— Как, вы этого не знаете, мистер Коган? Вы не знаете, что этот гениальный артист Качалов экс нострис?

— Подождите, подождите, мистер Гуревич! Ведь он же Василий Иванович.

— Ах, молодой человек, сразу видно, что у вас еще молочко на губах не высохло! Это же было при Николае Втором, чтоб ему в гробу крутиться! В то черное время, скажу вам,

очень многие перевертывались. Да, представьте себе! Перевертывались из Соломона Абрамовича в Василия Ивановича. Так было немножечко полегче жить. В особенности артисту.

И пошло, и пошло.

Через несколько дней некто скептический мистер Лившиц захотел с абсолютной точностью в этом удостовериться.

Он сказал мистеру Соловейчику:

— Попробуем позвонить по телефону его супруге.

Оказывается, и в Нью-Йорке не всегда хорошо работают телефоны.

— Простите, пожалуйста, значит, со мной разговаривает супруга Василия Ивановича? — не слишком разборчиво спросил скептик.

— Да.

— Будьте так ласковы: не откажите мне в маленькой любезности. Это говорит Лившиц из магазина «Самое красивое в мире готовое платье». А кто же был папаша Василия Ивановича?

— Отец Василия Ивановича был духовного звания, — сухо отозвалась Нина Николаевна.

В телефоне хрипело, сипело:

— Что? Духовного звания? Раввин? Он был раввин?

— Нет! — ответила Нина Николаевна голосом, дребезжащим от удивления и взволнованности. — Он был протоиерей.

— Как? Кем?

— Он был протоиереем, — повторила Нина Николаевна еще более нервно.

— Ах, просто евреем! — обрадовался мистер Лившиц.

У Нины Николаевны холодный пот выступил на лбу.

— Я, мистер Лившиц, сказала...

Телефон еще две-три секунды похрипел, посипел и перестал работать.

А через неделю нью-йоркские Абрамсоны, Шапиро, Кога-ны, Соловейчики и Лившицы устроили грандиозный банкет «гениальному артисту Качалову, сыну самого простого еврея, вероятно, из Житомира».

Василий Иванович с необычайной сердечностью рассказывал об этом пиршестве с фаршированными шуками, цимесом и пейзаховкой, где были исключительно «все свои»:

— Очень было приятно. Весело. Душевно. Сердечно. Очень, очень.

Вслед за этим и Пыжова выдала свой рассказик. Она ездила за границу с Художественным театром. Вот он.

На сцене репетировал Леонидов.

— Мочалов! — с отроческим преклонением пробурчал Константин Сергеевич.

Он сидел в пустынном зрительном зале, но не за режиссерским столиком с потушенной лампой, а в шестом или седьмом ряду партера.

— Что вы сказали? — переспросила Литовцева, обосновавшаяся по левую руку от него со своими тетрадами, карандашами, вечным пером, лорнетом, биноклем и футлярами всякого рода. — Вы что-то сказали, Константин Сергеевич?

— Тс-с-с-с-с!..

Он внимал Леонидову, чуть приоткрыв рот и светясь прищуренными глазами.

— Мочалов!

— Что?

— Мочалов! — повторил Станиславский.

Он был похож на восторженно-счастливого девятиклассника с галерки, который сам собирается в ближайшее время стать гениальным артистом.

В перерыве Литовцева, прихрамывая, подбежала к Леонидову.

— Вы сегодня очень хорошо репетировали, — сообщила она, дергая правым плечиком. — Константин Сергеевич все время говорил: «Мочалов! Мочалов!»

Посапывающий Леонидов посмотрел на нее взглядом интеллигентного быка и не без едкости произнес с гнусавинкой:

— «Мочалов! Мочалов!»... а играет-то у нас все Качалов.

Впрочем, и сам Станиславский любил посетовать:

— В Художественном театре Качалов все мои роли играет. Из-за него карьера моя тут погибла!

Как-то я зашел к Качаловым среди дня. Был май. Прелестный май. Всю недлинную дорогу от Богословского до Брюсовского (Качаловы переехали на новую квартиру) у меня вертелось в мозгу и на языке:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце!

Строчка принадлежала одному из самых знаменитых и самых глупых поэтов начала века. Таким он мне уже представ-

лялся и в отроческие годы. Оказывается, в этом мнении я не расходился с Буниным. «У Бальмонта в голове, — сетовал он, — вместо мозгов хризантемы распустились».

Очень обидно и оскорбительно, что даже дураки пишут хорошие строчки, строфы, а изредка и целые стихишки.

Мои дорогие коллеги-стихотворцы, вероятно, сродни птичкам-певуньям.

На входной двери московской квартиры знаменитого автора, явившегося в мир, «чтоб видеть Солнце», сияла, как у зубного врача, медная дощечка. На ней крупными буквами было выгравировано:

Поэт
КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

А вот Маяковский в военкомате на вопрос писаря «Кто вы будете по профессии?», замаявшись, ответил:

— Художник.

Выговорить «поэт» ему, очевидно, не позволил пристойный вкус.

Какая же это профессия — поэт?

Дверь мне открыла Литовцева.

— Не вовремя, Толя, не вовремя!

— Да ну?.. Ты, значит, Ниночка, как водится, суетишь-ся.

— Что?

— А Васи дома нет?

— До-о-о-ма он, до-о-о-ма.

— Работает?

— Прихорашивается твой Вася. Второй час прихорашивается. Иди уж туда к нему, иди.

У Качалова в кабинете было много книг, картин, рисунков и фотографических карточек, преимущественно людей бессмертных. Все карточки, само собой, были с надписями. Разумеется, очень нежными. Кто же к Василию Ивановичу относился без нежности?

Пахло мыльным кремом, пудрой и крепкими мужскими духами.

— Привет поэту!

— Привет артисту!

— Садись, Анатолий.

— Сижу.

Перед большим стенным зеркалом в строгой павловской раме Качалов серьезно и сосредоточенно завязывал красно-черный клетчатый галстук.

— Скажи ты мне, всероссийский денди, — озабоченно спросил он, — галстук гнусный? А?

— Да нет. Почему же...

Тем не менее Василий Иванович сорвал его и сердито бросил на диван. Это уж был не первый — сорванный и сердито брошенный.

Протерев тройным одеколоном вспотевшую шею, Качалов снял со спинки кресла другой галстук — черный, с неширокой белой полосой наискось.

— А что скажешь об этом?

— Отличный! — ответил я с полной искренностью.

Качалов умело — одним движением — завязал его и тут же расвирепел:

— Ч-черт! Да это же не галстук, а какая-то панихида во храме Василия Блаженного.

И крикнул во всю мощь своего качаловского голоса:

— Ни-и-на-а-а!

Запыхавшись, прихрамывая, в кабинет вбежала Литовцева:

— Господи, что ж это такое? Орешь, как маленький, благим матом... чтоб голос себе сорвать. А вечером тебе, Василий Иванович, спектакль играть. Надо ж наконец относиться с ответственностью к своим обязанностям!

— Помилуй, Нина, да когда же я...

— Хватит оправдываться! Хватит! Ты одно и умеешь делать, что оправдываться. Ну, чего тебе? Чего?

— А где, Нина, мой тот... темно-синий... парижский... с пламенем?

— Где, где! Перед носом твоим, вот где!

Темно-синий с пламенем висел на самом видном месте — посреди спинки кресла, являющегося как бы вешалкой для галстуков — изящных французских, строгих английских и кричащих американских.

— Прости, дорогая, это я от волнения. И ступай, ступай. Не суетись, друг мой, не мешайся.

Литовцева, лишившись дара речи, только руками всплеснула на пороге.

Проводив ее взглядом, я полюбопытствовал:

— Ты, Вася, куда собрался-то?

— М-н-да... на свиданье.

— Я так и сообразил.

Он продолжил многозначительным шепотом:

— К Константину Сергеевичу.

— Что?

— Меня, видишь ли, сегодня Станиславский вызывает. К двум с четвертью.

И, стряхнув щелчком невидимые пылинки с черного пиджака, он торжественно облекся в него.

— Ха! Вот так свидание! Сие у нас по-другому называется, — сказал я разочарованно. — Это, значит, ты для него и галстук менял, и в черную тройку вырядился? Подумаешь!

Василий Иванович взглянул на меня с нескрываемым испугом.

Для имажиниста 20-х годов не существовало богов ни на небе, ни на земле.

— Проводишь?.. Или, может, с Ниной останешься?.. — проговорил он просительно и с надеждой в голосе. — Она тебя черным кофе угостит... С бенедиктинчиком..

— Провожу.

Глаза его стали скорбными.

На прощанье Литовцева перекрестила супруга:

— Господь с тобой.

Я с постной физиономией тоже подставил лоб:

— Ниночка, а меня?

— Тебя?

Но я уже отскочил, перепугавшись, что получу по черепу серебряным набалдашником.

— Давай, Нина... Давай палку.

— Господи, а больше ничего не забыл?

Литовцева благоговейно вручила палку с набалдашником своему артисту, которого не без основания считала величайшим артистом нашего столетия.

Он был торжествен, как дореволюционная девочка, отправляющаяся впервые на исповедь.

— Поэт, бери свою шляпу.

— Взял. Надел.

— Шествуй.

— Нет, Вася, это уж ты шествуй, а я зашагаю.

— Шагай, шагай.

— Ну, Христос с тобой, Василий Иванович, — сказала

Нина Николаевна уже не тоном МХАТа, а тоном Малого театра.

В высоком молчании мы чинно двинулись по Брюсовскому. Так обычно не идут, а двигают в первом ряду за гробом очень уважаемого покойника. Словом, у меня было совершенно достаточно времени, чтобы подумать о Станиславском. А может быть, он и в самом деле бог? Ведь Василий Иванович с ним порепетировал и поиграл на сцене без малого полвека! И вот под старость, сам будучи Качаловым, перед «свиданьем» меняет галстук за галстуком, наряжается в черную тройку и разговаривает многозначительным шепотом.

Да, и выходит, что бог.

Ну конечно, бог!

Разве когда-нибудь наш Василий Николаевич направился бы на свидание к смертному человеку таким загробным шагом?

Бог! Бог!.. Только ведь ему одному — ему, богу, — и дозволено быть смешным, быть наивным, быть чудачком и не потерять своего божественного величия.

Когда-то в Художественный театр пришел Рыков. Он тогда являлся председателем Совета Народных Комиссаров. Разделся, как было заведено, в комнатке позади правительственной ложи. Просмотрев без скуки скучный спектакль, предсовнаркома похлопал, сколько положено, в ладоши, поблагодарил исполнителей и стал одеваться. Глядь, а галош-то и нет. Сперли галоши. В уборных, плотно прикрыв двери, хохотали актеры. Администраторы растерянно бегали туда и сюда. А Станиславский, сжав ладонями свою голову земного бога, переживал комическое происшествие как великую трагедию. Он повторял и повторял:

— Какой позор! Какой позор! В Художественном театре у председателя почти всей России галоши украли!

Очень похоже на анекдот. Но это непридуманная правда.

А вот и вторая непридуманная правда.

Стояли крепкие рождественские морозы. На московских бульварах все деревья с пят до макушки обросли лебяжьим пушком. Все извозничьи лошади, заиндевав, стали белыми.

Станиславский приехал в Художественный театр на борода-том ваньке.

Бог был повязан сверх меховой шапки оренбургским платком с углами, выпущенными на спину поповской шубы.

— Сейчас вышло полтинничек, — промычал седок, не раскрывая рта. («Еще простудишься, охрипнешь перед спектаклем!»)

Никто на свете так не боится заболеть, как актер. Особенно перед генеральными репетициями, перед премьерой.

Войдя в храм своего святого искусства, бог сразу забыл про извозчика.

Тот ждал «полтинничка», ждал и, не дождавшись, побегал в театр.

— Эй, братцы, — кинулся он к капельдинерам, — я к вам бабу привез, а она мне денег не заплатила. Сбегла, окаянная!

— Какую еще бабу? Что мелешь?

— Да здоровенную этакую! На целу башку меня повыше. В сером, стало, пуховом платке.

Тут только и догадались капельдинеры, какая «баба» от извозчика «сбегла».

Еще не анекдот о нем.

Новый год мы встречали в Литературно-художественном кружке с Алисой Коонен и Таировым, а Качаловы встречали в Художественном театре.

— Часа в два, друзья мои, приезжайте во МХАТ, — сказал Василий Иванович. — Бутылочка шампанского будет вас поджидать у меня в уборной.

— Есть!

— Явмся!

Ровно в два часа мы всей компанией были в Художественном. Артисты уже встали из-за новогодних столов. В фойе играл струнный оркестр.

Коонен была в белом вечернем платье, сшитом в Париже. Портной с Елисейских полей великолепно раздел ее.

Возле фойе, во фраке и в белом жилете, стоял бог. Он блаженно улыбался, шурился и сиял. Сияние исходило и от зеркальной лысины, и от волос цвета январского снега, и от глаз, ласково смотривших через старомодное пенсне на черной ленте.

Играя бедрами, к нему подошла Коонен:

— С Новым годом, Константин Сергеевич!

— Воистину воскресе! — ответил бог, спутавший новогоднюю ночь с пасхальной.

Коонен вскинула на него очень длинные загнутые ресницы из чужих волос. Они были приклеены к векам.

— Пойдемте, Константин Сергеевич!

И взяла его под руку.

— Зачем же это? — спросил бог, не зная, что делать со своими глазами, чистыми, как у грудного младенца. Их ослепили обнаженные плечи, руки и спина знаменитой актрисы Камерного театра.

— Пойдемте, Константин Сергеевич, танцевать танго, — страстно и умоляюще выдохнула из себя Коонен.

Бог вытер ледяные светлые капли, величиной с горошину, выступившие в мудрых морщинах громадного лба, и ответил утробным голосом:

— Я... п-п-простужен.

И даже не очень искусно покашлял. На сцене у него это выходило несравненно правдивей.

Бог хотел быть учтивым с красивой чужой актрисой, которую знал почти девочкой — скромной, замоскворецкой. Она начинала у него в Художественном театре. Теперь Алиса Коонен считала себя актрисой трагической и сексуальной. Но именно «органического секса», как говорят в театре, у нее никогда не было. Поэтому на сцене Коонен приходилось так много «хлопотать» глазами, руками и животом.

Станиславский уверял:

— Алиса характерная актриса. Замечательная характерная актриса. А лучше всего она делает дур.

К сожалению, в ролях дур мы ее никогда не видели.

У Качалова в свое время был немимолетный роман с Коонен. Дома встал мучительный вопрос о разводе. В это время Нина Николаевна серьезно заболела. Болезнь дала осложнение — безнадежную хромоту.

— Теперь уж я никогда не разойдусь с Ниной, — сказал Василий Иванович.

И, конечно, умер ее мужем.

Новый год в Художественном театре встречали не только так называемые «люди искусства», но и весьма ответственные товарищи из партийного аппарата и Наркомпроса.

Борис Ливанов, изрядно выпив, орал в коридорах:

— Чтоб этим большевикам ни дна ни покрышки! Конфисковали мое родовое имение в тысячу двести десятин. А теперь вот я нищенствую — в коричневом пиджачишке Новый год встречаю! Приличного смокинга справить себе не могу! С-сукины дети!

Ответственные товарищи зло на него косились. Наиболее обидчивые даже вызвали из гаражей свои машины. У мхатовцев замирали сердца и дух захватывало.

— Борис!.. Борис!..

— Отойди!.. Отстань!.. — грохотал Ливанов на приятелей, хватавших его за полу коричневого пиджачишки. — Я свободный артист! У меня что в уме, то и на языке.

Приятели отскакивали от него, как теннисные мячи от ракетки.

Литовцева истерически дергала острыми плечиками:

— Кошмар! Из-за этого дурака театр закроют.

А папаша Бориса Ливанова был небольшим актером в небольшой провинции. Богатых помещиков он и на сцене-то никогда не играл.

Борис являлся своим человеком и у нас в доме, и у Качаловых. Про самого себя он сообщал не без юмора:

— Я дурак, но из вашего общества.

Это, разумеется, была клевета на себя ради острого словца.

Но дураком он все-таки бывал, а хвастуном частенько.

Особенно «хвативши», как говорят актеры.

У Ливанова было всего много: лица, глаз, голоса, тела, рук, ног. Ходил он в красавцах. У Станиславского числился чуть ли не первым кандидатом в великие артисты.

Режиссер Пудовкин собирался с ним ставить «Ромео и Джульетту».

— Борис у меня появится из-за кулис, — фантазировал Пудовкин, — держа за ножку целого жареного гуся. Во время монолога он этого гуся съест. Ромео — человек Возрождения. Человек неумных страстей. А для неумных страстей требуется соответствующая пища. Борис, как полагаю, гусем не поперхнет.

— Пожалуй.

У Ливанова имелась своя жизненная философия, стратегия и тактика.

— В гостях, Толя, — поучал он, — Боже тебя упаси садиться под винегрет. Так на нем и погибнешь. Всегда садись, друже, под зернистую икорку или балычок.

Младость! Младость! У нее завидный аппетит.

Донжуанская тактика брать «на душу» или «на хамство» — это тоже его, ливановское. Гениальная тактика! Без пораже-

ний. И даже не только — донжуанская. В жизни, бывает, надо покорять и обаять не одних женщин, а, к сожалению, и начальство, которого у нас много. Может быть, даже чересчур много. И оно, как замечено, шибко клюет «на душу» или «на хамство».

Больше всего на свете Ливанов любил разговор о себе.

Как-то за столом я спросил:

— Что это, Боря, ты сегодня такой скучный, мрачный?

— А с чего ему веселиться! — дернула плечиком Нина Николаевна. — Ему ж неинтересно. Говорят-то об искусстве, а не о нем.

Вот случай памятный и отмеченный в летописях Художественного театра.

В одиннадцать часов и три минуты в репетиционной комнате, называвшейся почему-то КО, возле длинного стола, покрытого спокойным зеленовато-серым сукном, только один стул еще не был занят.

Станиславский вторично вынул из жилетного кармана большие золотые часы с крышкой и «засек время», как сказали бы мы теперь.

В репетиционной комнате, похожей на белую больничную палату, стало очень тихо.

Единственный свободный стул должен был занять Ливанов.

— Очевидно, нам придется подождать Бориса Николаевича, — глухо сказал бог, щуря глаза.

Он щурил их по-доброму и по-сердитому. Сейчас сощурил по-сердитому.

Все молчали.

А Нина Николаевна, сидящая по правую руку от бога (одесную, как говорили в МХАТе), нервно задергала плечиками.

Почти все собравшиеся для застольной репетиции уже имели свое собственное место на полочке *Истории русского театра*. Они хорошо знали это, всегда это помнили и соответственно держались как в жизни, так и в театре.

Улыбался один Качалов. У него было чувства юмора больше, чем у других. Да и к «полочке» относился свысока.

Через длинных-предлинных пять минут бог в третий раз взглянул на свои золотые часы.

Все минуты, часы и дни совершенно одинаковы только в глупой школьной арифметике. А жизнь, как мы знаем, это

самая высшая математика. В ней все относительно: и любовь, и дружба, и доброта, и верность, и пространство, и время. Поэтому я и сказал: через длинных-предлинных пять минут.

— Очевидно, нам придется еще подождать Бориса Николаевича, — сказал бог таким тоном, каким он разговаривал в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь».

Константин Сергеевич положил перед собой свои золотые часы, не защелкнув крышку с красивой монограммой.

Стало еще тише.

Только карманные часы тикали громко, как башенные.

Ливанов вбежал в репетиционную через двадцать две минуты. У него вспотели брови и галстук съехал налево.

Все, кроме Качалова, сидели с окаменевшими лицами.

— Простите, Константин Сергеевич! — сказал Ливанов грудным плачущим голосом. — Простите меня.

Бог, сощурился, взглянул на циферблат с черными стрелками.

— Борис Николаевич, вы изволили опоздать на тридцать минут.

— Простите, пожалуйста, Константин Сергеевич!

— Как это могло случиться?

— Я... проспал, — тем же могучим плачущим голосом ответил Ливанов.

— Что-о?

Неприкрытая наглая откровенность сразила бога.

Литовцева метнула гневный взгляд на Василия Ивановича, потому что он прикусил верхнюю губу, чтобы не приснуть смехом в такую трагическую минуту. И... о кошмар! — он еще подмигнул Ливанову.

Растерявшийся бог повторил:

— Что-с?.. Проспали?.. Репетицию?

Других слов у него не было. Разнородные чувства переполнили голову и сердце. Воцарилась пауза, которая и для Художественного театра являлась необычной.

— Простите меня, пожалуйста, Константин Сергеевич.

— Вам, Борис Николаевич, надлежит просить прощения... вот... у-у-у... Нины Николаевны... у-у-у... Василия Ивановича... у-у-у... Ивана Михайловича... у-у-у... у всех... н-н-да... которых вы заставили ждать... нда-с... ровно тридцать минут... У меня часы Мозера... Вперед не убегают... Извольте-с просить прощения... Извольте-с... По очереди.

Бог широким жестом обвел всю окаменевшую полочку Истории русского театра.

— Простите меня, пожалуйста, Нина Николаевна... — начал Ливанов все тем же плачущим басом. — Простите меня, пожалуйста, Василий Иванович.

Сверкнув через пенсне смеющимися глазами, Качалов с театральной величием кивнул головой:

— Бог простит.

— В том-то все и несчастье, что наш бог простит его, — шепнула Литовцева. — Вот увидишь, простит. Любимчик!

И плечики Нины Николаевны иронически продрожали.

Ливанов продолжал:

— Простите меня, пожалуйста, Иван Михайлович... Простите меня, пожалуйста, Алла Константиновна...

И т. д., и т. д.

— Ну-с, а теперь, Борис Николаевич, прошу занять свое место. Гм, гм. Но сначала поправьте галстук.

— Простите, Константин Сергеевич!

И Ливанов торопливо засунул галстук за жилетку.

Бог спрятал часы в жилетный карман, вытер большим полотняным платком лысину и взволнованно начал репетицию.

Она шла без перерыва три часа.

Выходя через маленькую одностворчатую дверь из репетиционной, Станиславский в полном отчаянии сказал Качалову:

— Какой ужас! Он сегодня великолепно репетировал. Великолепно. После этого! Н-н-да. Художественный театр кончился.

Василий Иванович поднял глаза на бога с некоторым удивлением. Оно было вызвано неожиданностью в сочетании этих фраз, столь противоположных: «Какой ужас...», «Великолепно репетировал...», «Художественный театр кончился».

— Если он мог великолепно репетировать, значит, с него как с гуся вода. Может, и остальные наши молодые артисты гуси? А? — И Станиславский повторил: — Гуси? А? Тогда Художественный театр кончился.

После этого Качалов, обращаясь к Ливанову, частенько говорил:

— Ну, гусь!

Продолжаю неанекдоты о боге.

От смеха у Дункан порозовели ее маленькие уши. Мне стало завидно. Искреннему легкому смеху всегда завидуешь.

— В чем дело, Изадора? — нетерпеливо спросил я.

Она смеялась на свои мысли.

— Ты вспомнила что-то очень веселое?

— Да!

— Рассказывай.

Дункан закинула переплетенные кисти рук за мягкую шею. Жест обещал что-то лирическое.

— Рассказывай, Изадора. Ну!.. Ну!..

Она полузакрыла веки.

Я уже перенял у Никритиной ее нетерпеливое «ну!». Так это всегда бывает в тесной жизни: сначала перенимают друг у друга словечки, фразы и жесты, а под конец жизни муж и жена делаются до смешного похожи один на другого.

— Это было ранней весной, — начала она в тоне классического рассказчика. — Точней: на пороге ранней весны. Когда на всех улицах Парижа продают фиалки. Их бывает так много, что кажется, будто Париж, как модистка, надушился дешевенькой «Пармской фиалкой». Эти духи пахнут молодостью и счастьем. Ведь у счастья, так же как и у горя, есть свой запах. Не правда ли?

— Ты поэт, Изадора!

— Конечно. Как всякая актриса. Если она в актрисы определена небом.

— Допустим, что небо этим занимается.

— Так вот: весна, фиалки, какая-то русская парочка, прогуливающаяся у меня под окнами на рю де ля Пом... Не знаю почему, не знаю, но мне вдруг безумно захотелось пообедать с богом.

Дункан иначе не называла Станиславского.

— Ты, Изадора, и в него была влюблена?

— О, конечно! Но по-другому. Я в жизни потому так много и влюблялась, что это всегда было по-другому. Каждый раз по-другому.

— Значит, совсем как у нас, у мужчин.

— Да что ты!

— Мы только потому и изменяем, что всегда надеемся на новенькое.

— Безобразие! «Новенькое»! У вас это несерьезно. А у нас, у женщин...

— Тем хуже, если у вас каждый раз серьезно. Значит, вам нельзя прощать.

— Любовь — это... это... как искусство. Она должна быть всегда очень большая и очень серьезная.

— Вместо «всегда» я бы предложил слово «иногда».

— Помолчи. Я хочу рассказать про бога.

— Рассказывай, рассказывай.

— И вот в прелестный весенний день я прочла в «Юмани-те», что он в Париже. Мы с Анатолем Франсом были читателями этой газеты «с сумасшедшинкой». Так говорил мэтр.

Айседора приподняла веки и, скосив глаз, лукаво взглянула на меня.

— Пообедать с ним, наедине, вдвоем! С самым красивым богом из тех, которых я знала.

— Но не с самым молодым, Изадора.

— Для нас, женщин, возраст не главное в любви.

— Будто?

— Мы ведь, Анатолий, в этом не так примитивны, как вы, мужчины.

— Допустим.

А Есенина Айседора называла ангелом и в этом хотела убедить как можно большее число людей. Поэтому на стенах, столах и зеркалах она весьма усердно писала губной помадой: «Есенин — Ангель», «Есенин — Ангель», «Есенин — Ангель».

— И вот, — продолжала Дункан, — я позвонила богу по телефону. О, как я была счастлива! Он милостиво согласился приехать в ресторан.

— Ну, ну!

— Я попросила сервировать нам столик не в общей зале...

— Само собой.

— Боги не опаздывают к обеду. Ровно в семь он уже заложил уголок салфетки за свой крахмальный воротничок.

У нее от смеха опять порозовели уши.

— Сам понимаешь, мой друг, что после второго бокала шампанского я уже не могла усидеть на своем стуле.

— Ясно!

— Я подошла к Станиславскому и взяла в ладони его голову.

— Ясно!

— Тогда пенсне упало с его носа и он зажмурил глаза. Вероятно, от страха.

— А ты, конечно, этим воспользовалась и поцеловала его в губы?

— Нет, — вздохнула Изадора, — в губы не удалось. Он их слишком крепко сжал.

— Он же бог.

— Я хотела огорчиться, но не успела.

— Неужели бог разжал губы?

— Да!.. Но только для того, чтобы взволнованно спросить меня: «Изадора, а что мы будем делать с нашими детьми?»

Об этой очаровательной встрече Дункан как будто где-то написала. Но я рассказал с ее слов.

— Ты это не выдумала, Изадора? Так и спросил: «Что мы будем делать с нашими детьми?»

— Слово в слово.

Я стал хохотать.

— Вот! Вот! То же самое случилось и со мной. Огромное несчастье! Я стала смеяться. Ужасно смеяться. Так смеяться, что слезы падали с моих глаз в салат «латю». Это, наверно, непростительно? Но я же не сошла с неба. Я просто человек. Даже хуже — я женщина.

— Лучшая из женщин!

— Ты скажи это Есенину.

— Обязательно.

Она благодарно сжала мне руку и заключила:

— Станиславский, разумеется, сказал то самое, что должен был сказать. Ведь бог, как известно из Библии, относится ко всему очень-очень серьезно.

— Это верно. Даже к искусству. Даже в наше время!

— А я? Я тоже! — с жаром воскликнула Изадора. — Даже к танцевальному искусству.

— Знаю.

— Над которым ты посмеиваешься.

— Над твоим, Изадора, никогда!

Она приехала в Советскую Россию только потому, что ей был обещан... храм Христа Спасителя. Обычные театральные помещения больше не вдохновляли Дункан. Дух великой босоножки парил очень высоко. Она хотела вдыхать не пыль кулис, а сладчайший фимиам. И обращать взор не к театральному потолку, а к куполу, напоминающему небеса. Пресыщенная зрителем (к слову, ставшем на Западе менее восторженным: ведь актрис любят до первых морщинок) — она жаждала прихожан.

Огромный, но неуклюжий храм Христа у Пречистенских

ворот ей где-то за границей лично преподнес на словах наш очаровательный народный комиссар просвещения.

Право, эпитет «очаровательный» довольно точен по отношению к Анатолию Васильевичу Луначарскому. Ведь он не только управлял крупнейшим революционным департаментом, но и писал стихи, пьесы, трактаты по эстетике, говорил, как Демосфен, и предсказывал будущее, преимущественно хорошеньким женщинам, по линиям их нежных ладо-ней.

Да и с Господом Богом (с настоящим, с Саваофом) у него, как известно, в недалеком прошлом был флиртик.

Соблазненная храмом Христа Спасителя, Айседора Дункан не то что приехала к нам, а на крыльях, как говорится, прилетела.

И очень рассердилась: очаровательный нарком надул ее. Вероятно, потому, что слишком смело, без согласования с политбюро, раздавал храмы босоножкам.

Я потом весело сочувствовал Айседоре:

— Ах, бедняжка, бедняжка, в Большом театре приходится тебе танцевать! Какое несчастье!

Но ей было не до смеха.

20

— Новость! Наш театр едет за границу.

Моя некрасивая красавица сегодня не сбросила мне на руки шубку и даже позабыла снять боты.

— Таиров только что объявил это. Было общее собрание. Все прыгали от радости. Старики выше всех. Уварова тоже прыгала.

Эта актриса играла комических старух.

— Понимаешь?

— Понимаю. Давай, Нюха, шубку.

— Театр едет во Францию, в Германию и, наверно, в Америку.

— Ух ты!

— В Париж... А?... Здорово?

Словно предугадав гастроли, Мартышка четвертый месяц занималась с француженкой языком и уже читала со словариком французские романы.

— В Париж, Толюха!

— И ты ведь поедешь.

Она сняла боты:

— А вот об этом еще надо подумать.

— Чего же тут думать?

— Как чего?..

— Ах, да... ты про это?

— Вот и давай решать.

— Нет, Ньюша, решать будешь ты.

— Почему только я?

— Рожать-то тебе, а не мне.

— Но иметь сына или не иметь — это касается нас обоих.

Не так ли?

Мы оба были уверены, что изготовляется мужчина.

— Или тебя это не очень касается?

Я ответил каким-то междометием.

— Вот, Толя, и надо решать: Париж или сын.

— Думай, Ньюша. Хорошенько думай. И решай.

— А я уже давно решила. Конечно, сын.

Я поцеловал ее в губы и сказал:

— Ты у меня, Мартышка, настоящий человек. Совсем настоящий. Хотя носа у тебя действительно маловато. Впрочем, я с первого взгляда не сомневался, что ты настоящая.

— Дурень! Это ведь только влюбляются с первого взгляда.

— Нет, шалишь! Все самое большое и хорошее делается с первого взгляда. И влюбляются с первого, и не сомневаются с первого, и предлагают руку с сердцем с первого. Все, все!

— Между прочим, ты мне их еще не предлагал.

— Неужели забыл?

— Ага! Ты ведь такой рассеянный.

А ночью, в кровати, при потушенной электрической лампочке, я ей сказал:

— Знаешь, Ньюха...

— Знаю, знаю. Спи.

Она, конечно, сразу поняла, что я собрался утешать ее.

— Подожди засыпать, Ньюха.

— О-о-ой! — простонала она.

— Понимаешь, есть наши русские повадки, которых я терпеть не могу.

— По матушке посылать?

Я горячо возразил:

— Нет, эта очень милая! Я о других говорю. Ну, скажем, давать честное слово и не выполнять его.

— Спи, Длинный. Завтра дашь слово.

— Нет, я сегодня хочу дать. Сейчас.

— Вот беда! Пойми, мучитель: у меня утром ответственная репетиция.

Она готовила роль Коломбины в «Короле-Арлекине».

— Сплю! — и повернулась на левый бок.

— Стой, стой! Это чертовски важно!

— Ну, ей-богу, успеется. Мы ведь будем с тобой разговаривать... об очень важном... каждую ночь... еще лет пятьдесят подряд.

— Само собой! — воскликнул я, нисколько в этом не сомневаясь.

И, очевидно, не ошибся. Тридцать восемь лет мы уже проговаривали.

— Так вот, Нюха, даю тебе слово, что когда нашему парню стукнет год...

— Пусть он еще сначала родится.

— За этим дело не станет. Так вот: когда ему стукнет год, мы со спокойной совестью оставим его на бабушку, а сами — в Париж!

— Что?..

— Везу тебя в Париж.

Ей сразу спать расхотелось:

— Ну да... везешь.

— Честное имажинистское!

Тогда Никритина немедля зажгла лампочку.

— А встречать нас с тобой будет на парижском перроне...

— Анатолий Франс! — ехидно вставила она.

— Нет, бери выше — Есенин.

— Есенин с Дункан! Ведь они к тому времени еще не разведутся.

— Пожалуй.

После этого мы проболтали до раннего утра, и она побежала на репетицию взволнованная, счастливая.

— Кланяйся Арлекину!

— Слушаюсь.

Его с блеском играл Николай Церетелли.

— Обязательно поклонись! Не забудь. А то ведь у нас пе-

редают поклоны только очень хорошо воспитанные люди. С гувернантками воспитанные.

— Значит, я обязательно забуду.

И убежала.

— Боты! Боты! Надень боты!

А поклониться своему партнеру она, конечно, забыла. Воспитывалась-то без гувернанток. Где там! С девяти лет зарабатывала на жизнь, давая уроки восьмилетним буржуйчикам.

— Ох, и строгая я была! — с гордостью вспоминала бывший педагог. — Но репетитор отличный. Девчонок чуть что за косы драла, а мальчишек кормила подзатыльниками.

— Помогало?

— Очень! Они такие успехи делали! Родители даже удивлялись: вот, мол, сама от горшка два вершка, а детей прекрасно воспитывает.

А ночью, после уайльдовской «Саломеи» (Никритина играла пажа: «Посмотри на луну. Станный вид у луны. Она, как женщина, встающая из могилы. Она похожа на мертвую женщину...»), так вот, после недлинного спектакля, как только мы потушили над кроватью электрическую лампочку, я сказал:

— Знаешь, Нюха, мне хочется дать тебе второе слово.

На этот раз она оказалась даже нетерпеливой:

— Имажинистское?

Любя наши стихи, с успехом читая их на концертах и зная нашу горячую веру в поэтический образ, Никритина принимала «честное имажинистское» по меньшей мере как дореволюционную клятву перед распятием.

— Давай, давай! Я честному имажинистскому верю.

Уж такая была верующая эпоха. Политические вожди верили в мировую революцию, поэты — в свои молодые стихи, художники — в свои бунтующие кисти, режиссеры — в свои спектакли с потухшей рампой и прожекторами, вспыхнувшими под потолком. В эту эпоху даже в Бога не верили с дерзкой верой в свое безбожие.

— Ну?

Это было самое ходовое никритинское словечко. Всегда и во всем торопясь, она и других неизменно поторапливала.

— Ну?

— Камерный театр надолго ли уезжает?

— Примерно на год.

— К его возвращению у меня будет написана пьеса.

— Хо! Очень она нужна Таирову! Ты что, Уайльд? Клодель, Скриб? Для того чтобы Таиров принял пьесу, тебе надо сначала стать англичанином или французом. Потом, чтобы тебя перевели на язык родных осин. Потом...

— Третьего дня, — перебил я, — мы встретились с Александром Яковлевичем на Тверском бульваре, он взял меня под ручку, усадил на скамейку и добрый час уговаривал написать пьесу для...

— Ага! Для Алисы?

— Подожди. О Коонен не было сказано ни одного слова.

— Ах ты мой длинный простофиля...

— Подожди, Нюшка!.. Так вот: я напишу пьесу. Это будет подарок тебе за сына. Пьесу с чудной ролью для тебя.

— Милый, любимый!.. — взмолилась она, — умоляю: не пиши с чудной ролью. Ни в коем случае! Только не с чудной! Я сразу понял ее опасения.

— Да не сможет Коонен играть твою роль.

— Сможет, сможет!

— Нет!

— Обязательно сможет, если роль будет чудная.

— Да я, Нюха, кое-что соображаю. Действующие лица будут говорить о тебе: «У нее очень мало носа», будут говорить: «Тоненькая, как соломинка», «Легкая, как перышко», «С головкой, как черный шарик». Я тебя сделаю шестнадцатилетней негритоской.

— Все равно Алиса возьмет роль! Возьмет, возьмет!.. Если она будет чудная... — повторяла Никритина сквозь слезы.

— Слушай меня: по пьесе все станут называть тебя Мартышкой. Учти это.

— Мартышкой?

Глаза у моей актрисы мгновенно высохли и засияли.

— Это гениально!.. Мартышку Коонен не захочет играть. Ни за что не захочет!.. Она же играет только красавиц!

— Само собой.

— Ой, какой ты у меня талантливый! Какой умный! — И Мартышка стала целовать меня в нос, в рот, в уши, в глаза. — А когда ты начнешь писать пьесу? Садись сегодня же!

— Я уже начал. В голове начал. Это ведь самое главное.

— А как будут звать эту черномазую? Меня, меня.

— Зера.

— Зера?.. Ладно. Начну слегка привыкать и вживаться в нее. В эту черномазую Зеру. По Станиславскому.

Я сказал с упреком:

— Вживаться? Вживаться... по Станиславскому? Вот так актриса Камерного театра.

— Ты, Длинный, не рассказывай об этом Таирову. Он и так возмущен моей историей. Я ведь рассказала Алисе. А она, конечно, передала Таирову.

— И он уже предвидит твой живот?

— Вероятно.

— Это неэстетично... живот?

— Да, неэстетично. Александр Яковлевич действительно говорил, складывая по-наполеоновски руки на груди: «Театр едет на гастроли в столицы мира, а вы рожать вздумали! Что это за отношение к театру? Актриса вы или не актриса?»

А Изадора Дункан при каждой встрече нежно гладила Никритину по спине:

— Я буду обожать твою малютку. Я буду ей бабушка.

— А Таиров ругает Мартышку, — пожаловался я.

— У него очень маленькое сердце! — сказала Изадора.

— Но зато какие мизансцены! — сказал я.

— Один ребенок Никритиной больше, чем весь театр Таирова, — проронила она.

— Скажи это Таирову, Изадора.

— Корошо.

И она действительно сказала при первой же встрече. А тогда еще и горячо, от сердца посоветовала:

— Рожай, пожалуйста, Ньюша, много-много. Рожай, пожалуйста, каждый год.

Я не улыбнулся на этот совет, так как глаза у нее наполнились слезами, и я понял, что в эту минуту она вспомнила своих детей, погибших в Париже при автомобильной катастрофе.

— Корошо?.. Корошо, Ньюша? Ты будешь?..

Она прелестно говорила это «корошо» и была божественна, когда глаза у нее наполнялись слезами.

Весной Камерный театр уехал. Никритина стала тихой-тихой. Такая уж человеческая порода эти актрисы. Кончаются репетиции, прекращаются спектакли, уносятся домой ящички с гримом, тухнут фонари перед входом в театр, и они, эти актрисы, делаются задумчивыми и грустными, как охотничьи

собаки без охоты: лежат целыми днями на своих подстилках и жалобно поскуливают.

— Пора и нам, Ньюша, о своем лете подумать, — сказал я.

— Уже?.. Об лете?..

— Куда бы махнуть нам?

— Подумаем.

А подумать было о чем: хотелось найти синее небо, теплое море и песчаный берег поближе к родильному дому. Мечталось — даже по соседству с ним.

— Подайтесь-ка, друзья мои, в Одессу-маму, — посоветовал Вадим Шершеневич. — Одесситки любят рожать с комфортом.

— Это неплохо, — откликнулась Никритина со своей «подстилки», как я называл нашу неперсидскую тахту.

— Одесситки прелестны и умны, как черти! — сказал Шершеневич.

— Я вижу, Дима, у вас большой опыт.

— Поэту надо знать жизнь, Мартышка.

Я спросил озабоченно:

— В Одессу?.. А у тебя, Ньюша, в Одессе имеется хоть какая-нибудь подружка?

— Нет.

— Зато у меня найдется. И не одна, — успокоил Шершеневич. — Они будут теми же и для вас, ребята.

— Завидую тебе, Вадим, — вздохнул я. — В каком российском городе у тебя их только нет, этих подружек!

— А я, Анатолий, люблю путешествовать... с остановками.

— Очень завидую, Дима.

— Ну-ну! Я тебе сейчас так позавидую, любезный супруг!

— Это я, Ньюша, чисто теоретически.

— Ладно уж.

Шершеневич сказал:

— К серьезному делу, друзья мои, надо относиться серьезно. — И он, как перед выступлением в диспуте, погладил свой энергический подбородок. — Сегодня же я отправляю письмо в Одессу.

— Кому, Дима?

— Розочке Полищук. Дерибасовская, 24, квартира 3. Это прелестная молодая мать четырех детей.

— Всего-навсего?

— Пятый в проекте.

— Очаровательно!
— Поверьте, Мартышон, в Одессе вы родите, как королева Великобритании — с полным сервисом.

— Серьезно?

— Честное имажинистское.

Когда за Шершеневичем захлопнулась парадная дверь, я взял Никритину за кисти рук:

— Поднимайся, дружок, поднимайся. Первый час. Надо вставать.

— Надо? А зачем? Зачем, собственно, мне это надо? — сказала она тем голосом, от которого у меня начинало щемить сердце. — Зачем?

В ее тоне появилось даже что-то мхатовское, что-то чеховское, что-то из «Трех сестер», напоминающее: «В Москву, в Москву!».

Я сказал:

— Того гляди, Нюша, мы с тобой уедем в Одессу. Не желаю, чтобы наш Кирилка был незаконным Мариенгофом.

— Ах, ты про это... — Она лениво, по-кошачьи, потянулась.

— Поднимайся, поднимайся. И пойдем в загс.

— Успеется, Длинный.

— А вот в этом я совершенно не уверен. Поскольку мне известно, у Господа Бога эта бухгалтерия не слишком точна.

— Конечно, случаются и просчеты, — согласилась моя отяжелевшая половинка.

Я поднял ее с тахты.

— Надорвешься, милый.

Встав на пол, она перевернула лист настольного календаря.

— Тринадцатое июня.

— Счастливое число! Пошли в загс.

День был веселый, солнечный.

Загс расположился на Петровке. От нашего Богословского переулка было рукой подать.

Мы неторопливо дошагали неполный квартал. Еще неторопливей взбирались на пятый этаж.

— Уф!..

Явно было не предусмотрено, что попадают и такие невесты, которым перед свадьбой надо передышать на каждой площадке лестничного марша.

— Загс!

— Прошу, мадам.

И я с шиком ресторанный швейцар распахнул обшарпанную дверь.

Вошли.

До 1917 года это помещение, несомненно, было доброй половиной порядочного коридора в буржуазной квартире. Фанерная перегородка, выкрашенная, как железная крыша, в зеленый цвет, пыталась превратить бывший коридор в служебный кабинет. За пишущей машинкой почему-то сидела не машинистка, а машинист, то есть мужчина, с седой бородкой клинышком и в пенсне на черной ленте, свисавшей на старенький коричневый френч со следами от узких погон земгорского образца.

Этот советский служащий сразу несколько удивил нас. Даже в революционной Москве донэповской эпохи пишущие машинисты попадались нечасто.

— Добрый день, товарищи, — приветливо сказала Никритина.

— Милости просим, — строго ответила женщина в белой крахмальной кофточке с длинным темным галстуком, завязанным тщательно. Она сидела за письменным столом под большим пожелтевшим портретом улыбающегося Анатолия Васильевича Луначарского. Прорванное сукно письменного стола было обляпано фиолетовыми чернилами.

«Спасибо, что хоть наш нарком улыбается в этом невеселом кабинете», — подумал я.

Женщина под его портретом поразила меня сходством с покойной тетей Ниной, этой семейной «аристократкой», словно появившейся на белый свет готовой классной дамой женского благородного института.

— Входите, граждане. Мы ведь не кусаемся, — очень строго пошутила почти тетя Нина, не отрывая прищуренных глаз от никритинского живота.

— Спасибо.

И Никритина, взяв меня под руку, смело зашагала к письменному столу.

У почти тети Нины были такие же серые волосы, собранные в жидкий пучок, как и у настоящей тети Нины. После военного коммунизма пучки на женских затылках изменились. Даже немолодые дамы покупают в парикмахерских чужие косы и привязывают их к своим крысиным хвостикам или подкла-

дывают старый шелковый чулок под собственные немногочисленные волосы. Тогда пучок становится пышным. Это умно. Это делает даже полустарух более или менее женственными.

— Товарищ Олег, — сурово обратилась почти тетя Нина к пишущему машинисту, — будьте любезны, придвиньте кресло для уважаемой невесты.

— Не беспокойтесь, пожалуйста! — запротестовала Никритина. — Я постою.

— Что? Постоите? В таком положении!

Это было сказано сурово.

«Что делать, как быть с неулыбающимися людьми? — мелькнуло у меня в голове. — Это, вероятно, неизлечимо».

К счастью, с канцелярской частью они покончили довольно быстро. Потом нам пожали руки и пожелали счастливой супружеской жизни.

— Спасибо, спасибо!

— Будьте здоровы!

— До свиданья!

— Прощайте! — сказали мы этим остаткам эпохи военного коммунизма и, задыхаясь от смеха, покинули большевистский храм любви.

— Уф!..

Выйдя из подъезда на солнечную Петровку, я обратился к подруге своей жизни в тоне почти тети Нины:

— Поздравляю вас, Анна Борисовна, с законным браком!

— И вас также, Анатолий Борисович! — тем же тоном ответила она.

И мы с наслаждением расхохотались.

— Теперь, Анна Борисовна, надо sprysнуть нашу свадьбу.

— А как же, Анатолий Борисович! Шлепаем в ресторан.

— Шлепаем! Но... — Я запнулся. — А как же быть с Кирилкой? Парень, пожалуй, накачается и поднимет в твоём пузе пьяный скандал.

— Обязательно! Я его характер знаю.

— В таком случае, Нюха, ты выпьешь только одну рюмочку шампанского.

— А ты?

— Только одну бутылку.

— Гусар! Денис Давыдов! — сказала она с доброй иронией.

И такая бывает.

— Где уж нам в гусары!

И я рассказал супруге очаровательную легенду: в Париже в каком-то кабаке Денис Давыдов услышал, как французы заказывают: «Одну бутылку шампанского и шесть бокалов!» «А мне, пожалуйста, — обратился наш гусар к тому же гарсону, — шесть бутылок шампанского и один бокал!» Легенда уверяет, что восторженные французы, после того как Денис осушил последнюю бутылку, вынесли его на руках, хотя он мог великолепно идти на своих двоих.

— Даже не пошатываясь, — заключил я.

— Молодчина!

— К сожалению, это только предание. Поэтическое предание. Вероятно, и о нас с Есениным будут рассказывать что-нибудь в этом духе.

— Уже!

— Что «уже»?

— Уже рассказывают.

— Кто? Какие мерзавцы?

— Наши актеры.

— Ох уж эти актеры! — воскликнул я. — Они такое порасскажут!

— Слава Богу, им верят только дураки.

— И... многочисленное потомство, читающее дурацкие актерские мемуары.

— Ах, я так их люблю!

— Актриса!

— Увы. А ты бы, Длинный, мечтал жениться на докторе?

— Нет, нет! Только на тебе! Даже если бы ты была укротительницей тигров.

На углу Столешникова я купил букет сирени и преподнес своей узаконенной подруге.

Она улыбнулась:

— Белая! Белая сирень! Символ моей чистоты и невинности?

— Именно.

— Спасибо, Длинный. Я обожаю язык цветов. Никогда, пожалуйста, не преподноси мне желтых роз. Я ненавижу ревновать.

— Тебе, Нюшка, и не придется.

— Честное имажинистское?

— Да! Да! Да!

— Запомним это.

Я замедлил шаг:

— Стоп! Выбирайте, гражданочка, ресторан.

— Самый роскошный?

— Само собой.

— «Ампир»!

— Правильно.

Создатели этого заведения ранней эпохи нэпа пытались соперничать с Екатерининским дворцом в Царском Селе.

Сияя, как июньское солнце, мы свернули в Петровские линии.

Из «Ампира» я позвонил Шершеневичу.

— Вадим Габриэлевич дома? Попросите его.

— Анатоль?.. Это ты?.. А я только что звонил вам... Получил телеграмму из Одессы. В шестьдесят четыре слова!.. Розочка в восторге. Ждет Мартышку, ликует... Боже мой, а какой у Розочки телеграфный стиль!.. Романтика! Самая высокая! Прямо Виктор Гюго по-одесски. Родильный дом на Дерибасовской Розочка называет Дворцом деторождения. Палата для Мартышки уже забронирована. А в Аркадии, в пяти минутах от пляжа, снята для вас комнатенка... Что я! Вилла! Вилла! В десять метров и четверть балкончика в два с половиной метра... Розочка умоляет немедленно телеграфировать: день приезда Мартышки, каким поездом и номер вагона. Встречать ее будут на вокзале все Полищуки. А их в Одессе больше, чем в Москве Капланов! — кричал Шершеневич в телефонную трубку.

— Ты, Нюшка, все слышала?

— Еще бы! По-моему, и на Петровских линиях все было слышно. От слова до слова.

— Конечно. Он же великий оратор.

В ресторанном зале было пустынно. Незанятые столики сверкали реквизированным у буржуазии хрусталем, серебром, фарфором, скатертями цвета первого снега и накрахмаленными салфетками. Они стояли возле приборов навтыжку. Это был парад юного нэпа. Он очень старался, этот нэп, быть «как большие», как настоящая буржуазная жизнь.

Мы сели за столик возле окна.

Заказ принял лакей во фраке с салфеткой, перекинутой через руку (тоже, «как большой»):

— Слушаю-с... Слушаю-с... Слушаю-с...

Я проворчал:

— Вот воскресло и лакейское «слушаю-с».

— Противно!

Потом Мартышка сказала:

— Я считаю, Длинный, что самое удобное — переправить на юг нашего парня в этом чемодане.

И она показала горячим глазом на свой собственный.

— В пузе? — спросил я не без волнения.

— Тогда у меня будут руки свободны. Для сумочки и зонтика.

— В этом, конечно, есть некоторое удобство.

— Огромное!

Но сердце у меня защемило.

— Сообразим.

— А когда, Длинный, ты думаешь разделаться со своими московскими делами?

— «Гостиницу» я выпущу дней через десять — двенадцать. (После отъезда Есенина за границу наш журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» целиком лег на мои плечи.) И примерно еще неделька, чтобы наскрести деньжат на лето. На все лето.

— Придется ехать одной, — сказала она бодро. — Я во что бы то ни стало хочу рожать с полным сервисом... как королева Великобритании.

Жесткий спальный билет («купейный», как говорят теперь) был куплен накануне отъезда. На мягкое место не наскребли денег. На новый чемодан тоже не наскребли. Пришлось вытащить из-под тахты мой старенький фибровый. Укладывая вещи, я с признательностью похлопывал его по вдавленным коричневым бокам.

— Это мой добрый товарищ! — приговаривал я, применяя коленкой пеленки и распашонки. — Он верой и правдой послужил мне всю мировую войну... Давай, Нюха, сарафанчик!.. Давай халатик!.. А потом той же верой и правдой он служил нам с Есениным во всех наших скитаньях по земле советской в годы военного коммунизма.

— А теперь послужит превосходной кроваткой нашему парню, — добавила будущая мамаша.

— Послужит, послужит! Не сомневаюсь в этом.

Извозчик нам подвернулся лет пятнадцати. Но не на шутку осанистый. А его пролетка просто сверкала на солнце свеженьким лаком.

Моего верного фибрового товарища я устроил на козлах.

— Валяй, брат, задирай на него ноги! — посоветовал я нашему осанистому вознице.

По дороге на вокзал, на Мясницкой, я неожиданно увидел Рюрика Ивнева, выходящим из магазина «Чай и кофе». Наш друг был страстным «чаепитчиком», как сам называл себя.

— Остановись, старина! — сказал я, постучав в спину возницы, как в мягкую дверь.

Он неохотно придержал коня.

— Рю-ю-юрик!.. — заорал я. — Рю-ю-юрик!..

— Толя! Мартышка!.. — ответил он девическим голоском. — Куда это вы? Куда?

— В Одессу!

— Зачем?

— Рожать!

— Сумасшедшие!.. Уже поздно!

— Рожать, Рюрик, никогда не поздно, — наставительным тоном ответила Мартышка.

— Я хочу сказать: не слишком ли поздно собрались?

— Лучше поздно, милый, чем никогда!

— Не уверен в этом, Мартышка! По-моему, лучше — никогда.

Он был заядлый холостяк.

Но извозчик уже тронул вожжой своего коня.

— Вот подлец! — проворчал я. — Он, видимо, струсил, Нюха, что ты рассыплешься на его блестящей пролетке.

— Конечно. Каждый бы на его месте струсил.

Я невольно вспомнил испуганные глаза Рюрика Ивнева, которыми он смотрел на наш знаменитый фибровый чемодан. Он с ним тоже раза два путешествовал во время гражданской войны.

Мне всегда нравились глаза нашего поэта под тяжелыми веками. Я даже написал о них целую строфу в своей поэме «Друзья». Это были глаза святого и великого грешника. Что всегда рядом.

А только что, в ту секунду, когда он пропищал: «Сумасшедшие!..» — я увидел, что это были добрые, по-настоящему испуганные глаза старого друга.

Рюрик Ивнев писал не только очень хорошие стихи, но и очень плохие романы. Поэтому их охотно печатали и еще более охотно читали.

Поэтому Шершеневич любил повторять крылатую фразу Мережковского: «Что пошло, то и пошло». И даже обмолвился эпиграммой:

Не столько воды в Неве,
Сколько в Рюрике Ивнев.

А Есенин говорил: «Наш Рюрик пишет романы очень легко. Легко, как мочится».

К счастью, наш друг не обижался. Мне даже казалось, что ему были приятны эти цитаты, обмолвки и литературно-критические сентенции.

А вот названия он придумывал для своих романов действительно отличные: «Любовь без любви», к примеру.

Наш поезд отходил в 20.14. Вечер был теплый, почти черноморский. Фибровый чемодан не слишком отягощал меня. А Мартышка несла в руках зонтик, сумочку и букет красных гвоздик. Я отлично усвоил язык цветов. Красный означал: «Люблю безумно».

— Осторожно... Не оступись... Здесь желобок... Смотри под ноги... ступенька...

— Мне кажется, Длинный, ты волнуешься.

— Чуть-чуть.

— Врешь, Длинный, что чуть-чуть.

— Если хочешь знать чистую правду: чуть-чуть больше, чем чуть-чуть.

— Опять врешь.

И она сжала мне руку теплыми пальцами:

— Немедленно, Длинный, выкинь из головы всякие дурацкие страхи за меня. Слышишь?

— Слышу.

— Ну!

— Есть. Выкинул.

— Опять врешь.

Фибровый чемодан я заботливо положил в головы — под жидкую вагонную подушку.

— Так тебе будет, Нюша, удобнее спать. Повыше будет. Правда?

— Конечно. Повыше и пожестче.

— Тогда я положу чемодан в ноги.

— Пожалуйста. Если он не обидится. Места нам обоим хватит. Все равно я сплю калачиком.

Нет, шутки до меня не доходили. Я был настроен слишком серьезно.

В купе уже расположились три курортницы: молоденькая в шелковой пижаме со шнурами на груди, как у гусара, не очень молоденькая в ситцевом сарафане и толстая крашеная дама в фиолетовом халате, которая мужественно боролась со старостью. Она вытирала кружевным платочком три потных подбородка, обмахивалась костяным китайским веером и громкими глотками пила боржом прямо из бутылки. Мне передавали, что англичане для развлечения ходят в немецкие рестораны, чтобы *слушать*, как немцы едят. Признаюсь, что это развлечение не в моем вкусе. И я трусливо сбежал.

— Они сразу увидели! — сказала Нюша, выйдя из купе в коридор, где я поджидал ее у раскрытого окна.

— Неужели?

— И не могли оторвать глаз.

Я бодро сказал:

— Тебе повезло, Нюша. В купе одни женщины. Очень повезло.

— Но я, Длинный, предпочитаю мужчин. — И она с улыбкой пояснила: — Мужчины, видишь ли, поженственней, помягче.

Я сделал вид, что не согласился с этим:

— Чепуха! Парадокс! Держись, дружок, храбро.

— А я сразу лягу. Постель уже приготовлена.

— Правильно. Сразу на боковую. И спи.

Проводник принес для моих гвоздик воду в полулитровой стеклянной банке из-под маринованных огурцов.

— Большое спасибо, товарищ, — сказала она проводнику.

И, поставив цветы в воду, вернулась к окну.

Я поинтересовался:

— Все в порядке?

Нюша мотнула головой в сторону шептавшихся курортниц:

— Обсуждают мой живот.

— Не фантазируй, дружок.

— Мне ли не знать женщин? Сама-то я кто?

Фиолетовая решительно закрыла дверь в купе.

Я прокомментировал не слишком уверенно:

— Вероятно, хочет попудрить нос.

Но Нюша стояла на своем:

— Они смотрели на мой живот, как на Гималайские горы. Вероятно, похоже?

— Ничего подобного! Я даже поражаюсь, как они его заметили.

— Ах ты, мой длинный дурень! — И Ньюша опять сжала теплыми пальцами мою руку.

Раздался второй звонок. Мы обнялись и крепко поцеловались. Она старалась приободрить меня:

— Не вешай, Толюха, носа. Я постараюсь не родить до твоего приезда.

— А это можно — постараться? Постараться или не постараться в этом деле?

— Конечно, можно! — сказала она убежденно.

И самыми правдивыми на свете глазами взглянула в мои глаза:

— Вообще, Длинный, все будет замечательно.

— Не сомневаюсь! — со слезой в горле согласился я. — Ни одной минуты не сомневаюсь.

И даже пошутил. Первый раз за тот вечер пошутил:

— Только, пожалуйста, милая, не играй в футбол.

Она поклялась, что не будет. Потом добавила:

— В крайнем случае, постояю в воротах голкипером.

Когда поезд отгромыхал Москву, будущая одесситка вошла в купе, переделалась на ночь, съела яблоко, вынула из сумочки «Вечерку», легла и натянула до подбородка белое пикейное одеяло. Гималаи словно покрыл снег. Курортницы не отрывали глаз от этого величественного зрелища. Тогда будущая одесситка повернулась носом к стене и стала посапывать. «Вечерка» выпала из ее рук. Ничего сенсационного в ней не было.

— Заснула, как безгрешный ангел, — пробасила фиолетовая.

— Вот какие бывают «приятные» сюрпризы! — сказала очень молоденькая. — Железнодорожные сюрпризы!

— Еще родит нам тут среди ночи! — как наработавшийся пильщик, тяжело вздохнула фиолетовая.

— Вполне вероятно, — согласилась не очень молоденькая. — Моя дочка на крыше родила. С биноклем в кармане. Во время солнечного затмения.

— Нет, не родит. Она в нашем купе не родит. Даю вам честное благородное! — твердо сказала очень молоденькая. — При первых же схватках я ее из вагона высажу.

— Куда? — безнадежно пробасила фиолетовая. — Куда вы ее высадите?

— К чертовой бабушке! Опущу тормоз Вестингауза и высажу. Хоть в чистом поле высажу. Вот увидите!

И очень молоденькая сердито надула свои пухлые розовые щечки с прелестными ямочками, которые возникают у тех, кого, как замечено, при рождении целует ангел в эти местечки. Словом, она была прелестна, эта юная супруга магазина «Комфорт», что процветал на Петровке по соседству с «Ампиром». Красотка ехала в Одессу «к папе и маме своего второго мужа», которому была фамилия Полищук, то есть та же, что и у Розочки.

«Вот как весело играет случай», — подумала Никритина. И, засыпая, твердо решила: «А моему Длинному я обязательно передам со стенографической точностью весь женский диалог. Писателю полезно знать жизнь как жизнь. Не подсахаренную».

Толпа Полищуков бурно встретила московскую актрису. Не хватало только еврейского оркестра.

Пылкая прелестная Розочка, громко расцеловавшись с прибывшей, сказала:

— Называйте меня просто Розочка.

— С удовольствием.

— А мне можно называть вас просто Аннет?

— Можно, Розочка. Но еще проще — Мартышка. Так меня все называют.

Жаль, что я не был при этом. Я бы сказал себе с удовлетворением: «О, это плоды нашего имажинистского воспитания! Три года тому назад ты, милая, была важной Мартышкой. На вопрос Розочки ты бы непременно ответила: «Меня зовут Анной Борисовной».

Разговор на одесском перроне продолжался.

— Вы, Аннет, я вижу, обожаете путешествовать, — сказала Розочка.

На что Никритина пошутила:

— Преимущественно, Розочка, на девятом месяце. В конце девятого.

— Хорошо, что Димка написал об этом. Иначе бы никому не пришло в голову, что вы на девятом.

Она словно воспитывалась в Версале, у мадам Помпадур, а не у тети Фани, знаменитого на всю Одессу зубного врача.

— Вы отчаянная комплиментщица, Розочка.

В ответ Розочка страстно обняла свою новую подругу:

— У меня, Аннет, такое чувство, что я обожаю вас всю жизнь. Да, да! Будто мы вместе играли в «дочки-матери», а потом вместе влюбились в одних и тех же мальчишек... Давайте перейдем на «ты»!

— С удовольствием, Розочка.

Я приехал в Одессу 9 июля.

— Вот, Длинный, твоя Мартышка и сдержала свое обещание: без тебя не родила. Постаралась. Доволен?

Это были самые первые слова, которыми она встретила меня на перроне.

Мы расцеловались, и она опять спросила:

— Очень доволен? Очень?

— Еще бы!

Но подумал: «Постаралась не родить. Она постаралась! Нет, маленосая, не ты постаралась, а Бог за тебя постарался... Да». Нюшка великолепная актриса: врет с глазами праведницы. Для мужа это очень опасно. Черт побери, а вдруг когда-нибудь мне придется сказать своему парню: «Только, дружище, не женись на актрисе!» Спасибо, что вышло по-другому. Незадолго до смерти мальчугана кто-то спросил его: «Как ты думаешь, Кирка, в чем счастье?» Он задумался, взглянул на свою мамашу и ответил: «В хорошей жене». Это был ответ мудреца. Но об этом я поподробней расскажу дальше.

Итак, я приехал 9-го, а 10-го утром уже с упоением слушал, как пищит наш парень. Как необыкновенно, как замечательно он пищит! И еще, затаив дыхание, я любовался, как он, задрав лапы, согнутые в коленках, дрыгает ими. Причем пятки у него были красные, как одесские помидорчики.

А под воскресенье я уже перевез свое семейство на дачу в Аркадию.

На этот раз возница был на полвека старше нашего последнего московского. Вдобавок с усами, как на портретах Буденного, только с седыми.

— В Аркадию? — переспросил он. — В нашу счастливую Аркадию?

В это мгновение Кирка пронзительно закричал.

— Поехали, поехали, святое семейство. Но-о-о!..

И, взмахнув шикарным кнутом, усач скаламбурил:

— Бог даст, мамочка, не разнесу вашего Беню Крика... Что?.. Вы читали Исаака Бабеля?..

— А кто это такой, дедушка? — с самыми правдивыми глазами спросила счастливая «мамочка», считая Исаака Бабеля русско-еврейским Мопассаном.

— Ка-а-а-ак, дорогие товарищи, вы даже не знаете нашего Бабеля!.. Нашего Исаака Эммануиловича Бабеля?

— Нет, дедушка. Мы из Москвы.

Усач настолько презирал нас, что без малейших угрызений совести содрал за проезд до Аркадии втрое против таксы. Одесса-мама!

Мрачно расплатившись, я сказал Никритиной:

— Вот во сколько нам влетели твои милые шуточки.

С ранней юности я предпочитал «марать бумагу», выражаясь по-пушкински, с утра. «Уж если марать, — говорил я, — так марать на свежую голову». Но парень наш был еще старательней: он начинал пищать прежде первых петухов, будя и этих пернатых, и нас, и наших соседей. К счастью, ими были добрые жизнерадостные симпатично-жирненькие Полищуки: знаменитый зубной врач тетя Фаня и ее муж провизор дядя Мотя. Они были из того радушного семейства Полищук, что встречало на вокзале «знаменитую московскую актрису». В этом, то есть что она знаменита, их убедила Розочка.

Жирненькие супруги неторопливо, с осторожностью передвигались по круглой земле. Казалось, они всегда об этом помнили, то есть что она действительно круглая. Кроме того, дядя Мотя еще любил цитировать Шекспира, который, как известно, назвал эту опасную землю «комочком грязи».

И тетя Фаня, и дядя Мотя носили на внушительных носах пенсне в блестящей оправе. Им, очевидно, надлежало свидетельствовать, что супруги — люди интеллигентные, люди другого времени, люди с высокими душевными запросами и ответами.

Тетя Фаня весьма почтительно относилась к своему здоровью. Еще до революции она стала отдыхать с 1 июня до 1 сентября, иначе говоря, до окончания купального сезона. И не изменяла этому мудрому правилу даже в трудную эпоху военного коммунизма. Верные ей пациенты, учитывая ее «святой

отдых», приноравливали к нему капитальные ремонты своих трудолюбивых многожующих ртов.

Проходя на цыпочках мимо меня по балконе, и дядя Мотя, и тетя Фаня всякий раз интересовались:

— Ну что?.. Ну как, Анатолий Борисович?

И я отвечал пушкинскими словами: «Мараю бумагу», или: «Да вот третий час потею», или «Ковыряюсь помаленьку», — и еще что-то в этом духе.

Такие ответы мои, как я стал замечать, огорчали высокоинтеллигентных супругов, и я изменил свой словарь: «Творю, Матвей Исаакович», или: «Сегодня, Фаина Абрамовна, муза улыбается мне», или: «Озарило, озарило вдохновение!»

Все эти дурацкие фразы я научился произносить без малейшей иронии. Получив такой возвышенный ответ, кругленькая чета направлялась на прогулки или на пляж с блаженными лицами.

Едва первые живительные лучи нэпа прорезали последние тучи военного коммунизма, дядя Мотя открыл свое «дело», то есть магазинчик с культурным названием «Парфюмерия и гигиена». Место для магазинчика было найдено с завидной талантливостью — рукой подать от всемирно известной «Лондонской гостиницы». Как нетрудно понять, ее многочисленным постояльцам круглосуточно требовались именно те предметы, которыми торговал наш провизор. Не мудрено, что в первый же год «финкционирования», выражаясь языком дяди Моти, он начал шить себе двубортные костюмы из английского коверкота, а своей супруге — шубы из черного, серого и коричневого каракуля. Это был ее любимый мех. Надо признаться, что дяде Моте и в голову не приходило (при таком-то высоком интеллекте!), что недалек тот день, когда его посадят.

— Спасибо им, — говорил дядя Мотя, — что еще не забрали мамочку. (Так он называл ее.)

Многих Полищукон пересажали с женами и детками. (Конечно, не малолетними.) Но одесситы и тогда не теряли юмора: «Мы, как Минин и Пожарский, — острили они, — заложили жен и детей». Только дядя Мотя чуть ли не до самой Отечественной войны с мягким философским удивлением продолжал спрашивать самого себя и своих добрых знакомых:

— Скажите, пожалуйста, за что они меня посадили? За что? Ведь это же не я придумал новую экономическую полити-

ку. Они же сами ее придумали, сами просили: «Пожалуйста, торгуйте, товарищ Полищук! Пожалуйста, хорошо торгуйте!» И я соглашался. И, конечно, открыл магазинчик. И, конечно, старался торговать хорошо. Как мог и как умел. И я, видит Бог, платил хорошенькие налоги. И я думал, что провизор Полищук даже очень полезен советскому государству. За что же они, скажите, пожалуйста, меня посадили? И отобрали у мамочки ее каракулевые шубки? И даже соболью кофточку. И чернобурую пелериночку, что лежала в сундуке у Доди Маркузона. В нафталине. Как говорится, про черный день. Да, да! Их тоже забрали. Как миленьких. Следователь сказал во время обыска: «А нам такая соболья кофточка и такая пелериночка пригодятся про белый день. Чтобы строить тракторы». Вот как он сказал. А теперь вы, наверно, спросите: «Кто же донес про них?» Кто! Я вам могу ответить, кто: мерзавец Додочка Маркузон. Мой любимый аптекарский ученик. Чуть-чуть не приемный сынок, который и в магазинчике нашем торговал. Он даже меня называл: «Папа Мотя». И еще вы, наверно, спросите: «Почему же он донес? Почему?» И я вам отвечу: «Пути Господа и мерзавцев неисповедимы».

— Это верно, Матвей Исаакович, — согласился я.

Мне очень нравились его мудрые афоризмы.

Но это история будущего. Мы забежали несколько вперед. Надо вернуться.

У «знаменитой московской актрисы» была чуткая совесть. По-моему, даже чересчур чуткая. И она по-настоящему страдала, считая, что наш парень, начиная орать спозаранок, портит лето всем на свете.

«Горошком» вскочив с кровати, она с трагическими глазами вынимала его из фибрового чемодана, продолжавшего свою верную службу, кормила паренька грудью и убаюкивала, напевая что-то свое — колыбельное. К примеру:

Миленький, посапывай,
Пишет пьесу папа твой.
Баю, баю, бай,
Папе не мешай.

От нежных рук и приятного мурлыканья крикун сразу засыпал, а счастливая мать говорила:

— Ну какой умный! Уже все понимает. Все, все!

— А эту колыбельную он сам сочинил? — спрашивал я, не поднимая глаз от рукописи.

— Скептик! Противный скептик!.. Не смей его пяточки цевать! Запрещаю!

А когда я отрывался от своего «бумагомаранья», чтобы выкурить папиросу под ветками желтых и белых акаций, с балкона раздавался голос сердобольной тети Фани:

— Анатолий Борисович!.. Анатолий Борисович!..

Добрая женщина, как я заметил, была убеждена, что все люди на русской земле едят слишком мало. А в двадцать шесть лет мужчине для солидности уже пора поднакапливать жирок на теле.

— Поднимайтесь скорей на балкончик. Вас уже дожидаются ягоды с холодной сметаной.

— Спасибо!

— Спешите, Анатолий Борисович! Пожалуйста, спешите! — добавлял дядя Мотя. — Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. Что?

И я спешил.

И милый нэпман спрашивал меня:

— Как сегодня поживает черномазая Зера?

— Сегодня я еще влюблен в нее.

— Слава Богу!

— Но что будет завтра...

— Завтра, Анатолий Борисович, вы тоже будете в нее влюблены. И послезавтра. Всю жизнь.

— Не уверен.

— Почему это вы не уверены? Скажите, пожалуйста, почему?

— Да потому, что ночью я буду читать своей актрисуле...

Он неодобрительно покачал головой:

— «Актрисуле»!..

— Не обижайтесь за Никритину. Так называл Чехов свою Книппер.

— Не может быть! И это вы слышали собственными ушами?

— Нет, к сожалению, не слышал. Но я читал его письма к Книппер.

— Ой! Как нехорошо читать чужие письма!

Он не острил. Он говорил с полным убеждением. С убеждением старого одесского интеллигента, что чужие письма — это литература для сплетниц.

— Значит, вы будете читать ночью Анне Борисовне новую сцену? Что?

— Весь второй акт пьесы.

— Поздравляю, поздравляю.

— Подождите. Не торопитесь поздравлять. Может быть, на утренней заре, перед купаньем, я утоплю весь второй акт вместе с черномазой Зерой в вашем соленом море.

— Боже мой, зачем вы их будете топить? Зачем топить черненькую Зеру?

— Обязательно! С камнем на шее.

— Зеру? Ой!..

— Если она не понравится Анне Борисовне.

— Кто не понравится? Кто? Эта черненькая прелестная девочка?

— Да!

— Кушайте, пожалуйста, свои ягоды. Кушайте абсолютно спокойно. Она понравится. Она не может не понравиться. Она очень понравится. Очень, очень.

Матвей Исаакович был в курсе всех наших дел. Он все знал. Знал, как я пишу и что. Иногда знал это даже раньше, чем Никритина, так как едва я складывал в стопку исписанные листы и прятал карандаш в карман, он мягко брал меня под руку и уводил в тень садика из пяти акаций, сожженных солнцем.

— Значит, — говорил он, — мы сейчас будем слушать новую сцену? Не правда ли, Анатолий Борисович? Что?

И я невольно покорялся его мягкой настойчивости:

— Идите, провизор, за своей панамой. А то Фаня Абрамовна рассердится.

— И она, как всегда, будет абсолютно права. Когда моя лысина накаляется, как сковородка, я соображаю немножко хуже. А вашего «Вавилонского адвоката» я, конечно, хочу...

— Ладно, ладно. Идите за панамой. Жду вас под толстой акацией.

— А что? Разве она плохая, эта толстая акация? — не унился милейший болтун. — Разве она хуже ваших разных осин? На ней, слава Богу, еще не повесился никакой Иуда. Бегу, бегу!

Через минуту он возвращался не только в панаме, в своей роскошной настоящей панаме, которая свертывалась в тонюсенькую трубочку, но и с белым кружевным зонтиком тети Фани:

— Я вам это говорю, Анатолий Борисович: мамочка самый мудрый человек на земле. Прямо ребе. Она все знает. Она знает, что зонтик нам с вами тоже не помешает. Вы видели, сколько сейчас на термометре? Сорок два градуса по Реомюру! Что?

На утренней заре я не утопил свою рукопись в Эвксинском Понте. Настроение и самочувствие были отменные. Мы жили в Аркадии, как святые неподалеку от рая. В самом раю нам, вероятно, было бы хуже. Там ведь не полагалось вкушать плодов с древа Познания. Те дни мне чрезвычайно нравились прелестью своего однообразия. Сияло солнце, и плескалась о песок теплая солоноватая вода. С утра до обеда я марал бумагу. Наш парень орал в меру и прибавлял в весе, сколько предписано медициной. Его взвешивала тетя Фаня на аптекарских весах, привезенных дядей Мотей из города как подарок «Парфюмерии и гигиены». У молодой матери хватало времени, чтобы покормить парня грудью, выстирать в корыте пеленки и выстирать его самого. А в промежутках самой поплескаться в «шикарном» море, как говорили одесситы, и «покоричневеть» (это тоже их словцо), «покоричневеть», согласно моде, перед Москвой. Словом, мы не переставали благодарить Шершеневича за умный и добрый совет.

В Москве накануне отъезда я спросил Мейерхольда:

— Скажи, Всеволод, сколько страниц должно быть в пьесе?

— Чем меньше, тем лучше! — ответил он. — Если бы Шекспир писал покороче, его бы непременно взяли живым на небо. А его похоронили в земле. Это в наказание за слишком длинные трагедии и комедии.

— Отвечай-ка, Всеволод, делово: сколько должно быть страниц в пьесе?

— Ты пишешь комедию или трагедию?

— Комедию. А чтобы подразнить гусей, как говорит Есенин, назову ее фарсом.

— Дразни, дразни. Я это люблю.

— На библейский сюжет. Парочка сластолюбивых старичков, парочка ханжей, подглядывала за купающейся Сусанной. И влипла эта парочка. А чтобы выйти сухими из воды, старички сами затеяли суд над пышноволосяй «соблазнительницей». А пророк Даниил, воспылав страстью к пышноте-

лой, стал ее блестящим адвокатом... У нас ведь тоже развелось немало ханжей.

— Значит, пьеса об этом.

— Да. Огонь по ханжам.

— Прелестно!.. Фарс?

— Комедия.

— Фарс, фарс, фарс!

— Ну? Сколько же требуется страниц?

— Семьдесят! На «Ундервуде». Через два интервала. —

И добавил: — Если ты пишешь пьесу для меня.

— Нет, для Таирова.

Мейерхольд задрал свой сиранодебержераковский нос и презрительно фыркнул:

— Пф-ф! Для Таирова! Для этого фармацевта!.. Пф-ф! Он тебе накрутит пилюльки из твоей пьесы. Такие красивенькие пилюльки, что ты, брат, сразу вылечишься от любви к нему.

Не собираясь ссориться с Мейерхольдом, я уточнил:

— Верней, не для Таирова, а для Никритиной.

— Ага.

— Ясно, Всеволод?

— Ага.

Он понял меня и оправдал, так как сам в то время уже ставил спектакли для Зинаиды Райх, своей жены.

— Ясно, брат! — И похлопал меня по плечу, как заговорщик заговорщика.

И сразу нахмурился:

— А Зиночка великолепно сыграла бы Сусанну!

Я невольно улыбнулся и подумал: «Таковы все мужья актрис, и самые умные из них — глупей рядового зрителя. И делаются совершенно слепыми на беду своего театра». Тут же я опять вспомнил своего друга Шершеневича, который после какой-то мейерхольдовской премьеры скаламбурил: «До чего же мне надоело смотреть на райхитичные ноги!»

Возвращаюсь в Аркадию.

В начале сентября я объявил с балкончика:

— Товарищи, только что написал самые приятные на свете три слова: «Занавес. Конец пьесы».

Дядя Мотя поднялся на четыре ступеньки, снял с головы панаму и расцеловал меня. А тетя Фаня решительно сказала:

— Вашего «Вавилонского адвоката» будет переписывать Со-
нечка Полищук. Знаменитая машинистка! Вы с ней еще не

знакомы? Это сама пикантность! Сама прелесть! Моя племянница!

— А какая у нее машинка?

— «Ундервуд».

— Отлично. Попросите, пожалуйста, знаменитую машинку переписывать через два интервала. В пяти экземплярах. Разумеется, если у Сонечки есть хорошая копірка.

— Не смещите меня! У нашей Сонечки — и нет хорошей заграничной копірки! Что?

Я уже привык в Одессе к знаменитостям. К знаменитым сапожникам, знаменитым портным, знаменитым «куафёрам», знаменитым врачам, знаменитым дантистам, знаменитым чистильщикам сапог и т. д. «Не знаменитые» попадались как исключение из правил.

Ровно через неделю тетя Фаня привезла из Одессы «Вавилонского адвоката». Он был вручен мне в крокодиловом портфеле с серебряной монограммой «А. М.».

— О-о!..

Открыв портфель ключиком, я сосчитал экземпляры:

— Ура! Шесть!

Даже последний, шестой, пленял четкостью. Хоть сдавай Таирову, а пятый Луначарскому.

Только значительно позже, при Сталине, очередной реперткомщик читал исключительно «первопечатанный».

Все экземпляры были элегантно переплетены.

— О!..

Они были переплетены в красный коленкор.

— Вот это сервис!

— Одесса! — гордо сказал дядя Мотя.

А тетя Фаня, постучав пухленьким наманикюрным пальчиком по крокодиловой коже портфеля, объявила:

— А это вам, Анатолий Борисович, от всех Полищуков за шикарную пьесу.

— Благодарю вас!.. Благодарю вас!..

И, поцеловав у тети Фани ее пухленькую ручку, я взглянул на последнюю страницу:

— Шестьдесят девять!..

И расплылся в счастливую улыбку:

— Это замечательно!

А потом, чтобы доставить удовольствие своим новым друзьям, я перешел на язык Одессы:

— Шикарно!.. — воскликнул я. — Шикарная работа!

Так же восклицали на здешних рынках:

— Шикарные малосольные огурчики!..

— Шикарные яички из-под курочки!

— Шикарная вишня!.. Шикарная вишня!..

Не прошло и десяти минут, как в нашу калитку вошел знаменитый усатый почтальон Аркадии.

— Вам, гражданин поэт, — сказал он, раскланявшись, — телеграммочка из Москвы. Танцуйте, пожалуйста, польку-бабочку.

Я станцевал, расписался в получении телеграммы и прочел ее вслух: «Приехал Приезжай!»

— Танцуй, Нюшка. Сергун приехал.

И она затанцевала.

Потом дочитал телеграмму до конца: «Высылаю сто целковых на дорогу Есенин».

— Очень кстати!

Мы уже задолжали всей Одессе.

А послезавтра нас провожала с осенними георгинами толпа Полищуков, еще более шумная, чем при первой встрече.

«Знаменитая московская актриса» стояла у раскрытого вагонного окна с Киркой на левой руке и с георгинами в правой. Помахивая туда и сюда шикарными цветами, она сказала:

— Когда-нибудь... летом... мы опять приедем сюда... Когда Кирка уже будет бегать... Хорошо?

— Обязательно!

И мы действительно приехали. Но без Кирки. Он умер в 1940-м. Приехали мы в Одессу уже после войны. И никого из милых нам Полищуков не нашли на Дерibasовской. Тетя Фаня умерла накануне войны от рака желудка. Прелестная Розочка со всеми своими ребятами утонула. Теплоход, на котором они эвакуировались из Одессы, торпедировали немцы. Знаменитая Сонечка, эта «пикантность», эта «прелесть», сошлась с румынским штабным офицером и куда-то убежала с ним. Дядю Мотю расстреляли оккупанты. За что?

Вернулись мы в Москву в холодный ветреный день. Пьяный Есенин встретил нас на вокзале. Трагически пьяный. Изадоры Дункан с ним уже не было. Толстые липы на Бульварном кольце «А» уже звенели, как старые цыганки, жесткими листьями цвета медного самовара, очень давно не чищенного.

— А тут, Ньюша, полная осень.

Генеральные репетиции «Вавилонского адвоката» начались через полгода. Я не люблю зиму, хотя с институтских лет никогда не ношу галош, которые старят больше, чем седые волосы и морщины.

Наконец-то опять явилась весна...

«О, сколько их еще будет!..» — «Не так уж много, дружище, как тебе сейчас кажется, — это говорит сегодняшний голос, голос шестидесятилетнего человека. — Совсем немного, бедняга! Что?»

Этот вопрос в конце почти каждой фразы остался у меня, как наследство от дяди Моти.

Значит, опять была весна.

На Тверском бульваре даже старые толстые липы, приодев-шись, похорошели.

Даже луна казалась теплой.

Даже проститутки с Тверской — прелестными.

Даже у горластых газетчиков и папиросников, этих московских гаврошей, были фиалки в грязных лапах. Торгуя ими, гавроши держали с нежностью голубенькие букетики. А может быть, мне только мерещилась эта лирика. Вероятно.

Когда к памятнику Пушкина, чуть подпрыгивая, подходил старший Никритин (я называл его «Леонардо да Винчи из Газетного переулка»), наши гавроши встречали этого Леонардо звонкими возгласами:

— Оптовик пришел!.. Оптовик!.. Оптовик!..

Старший Никритин, подпернув протертые брюки с романтической бахромой по обшлагам, всегда покупал одну папироску. Поэтому гавроши и прозвали его оптовиком.

В ту эпоху, изжившую себя одновременно с нэпом, все двадцатилетние художники с Газетного, с Мясницкой, с Плющихи, с Коровьего вала и Собачьей площадки были Леонардами, Рафаэлями и Рембрандтами. А потом, к тридцати и дальше, просто-напросто бедствующими до старости славными малыми, к сожалению, недоучившимися анатомии, рисунку, светотени и композиции. Я дружил с ними и сейчас, по возможности, дружу, хотя осталось их на этом комочке грязи меньше десятка.

Итак, даже луна казалась теплой.

Даже инвалиды двух войн, мировой и гражданской, улыба-лись, как счастливы.

Даже полустарик гулял по бульвару под ручку со своими престарелыми дамами, а более тормозливые из них — с юными девушками. Представьте себе, гуляли и гуляли. На зависть своим белоголовым сверстникам.

А я, как дурак, не вылезал из душного театра, ругался, как извозчик, и грыз Никритину.

Таиров сказал:

— Если Мариенгоф будет учить всех актеров, как надо играть, если он будет мешать художнику, осветителю и суфлеру, а главное, портить роль Ньюше, я распоряжусь не пускать этого Шекспира в театр.

Но меня пускали. Со страхом, но пускали. Хотя в моем поведении ничего не изменилось до последних генералок.

Только у Ньюши неожиданно пропало молоко и пришлось перейти на искусственное питание. Мальш пострадал больше всех.

На премьерe, за несколько минут до того, как погасили свет, я в своем кресле пятого ряда волновался еще больше, чем перед экзаменами в подготовительный класс нижегородского Дворянского института, когда у большой грифельной доски на предложение вычесть семь из двенадцати я чуть не описался. Ей-богу, история повторялась в точности. К счастью, такое отвратительное волнение на собственной премьерe было не только первым в моей жизни, но и последним. На всех остальных общественных просмотрах своих пьес я уже был человеком. Возможно, это случалось потому, что рядом со мной в кресле всякий раз сидела Никритина. Волновалась она. Волновалась, как я на «Вавилонском адвокате». Как я у грифельной доски. Думается, именно это действовало на меня успокаивающе.

После окончания «Вавилонского» кричали:

— Зеру!.. Зеру!.. Зеру!..

Тогда в Москве еще немногие знали фамилию актрисы.

Я с возмущением шипел про себя: «Невежды!..»

Но еще больше был возмущен, когда минут через десять опустили железный занавес. Он закрыл даже самые горячие рты. И я, разумеется, счел это «театральной интригой».

«Безобразия!.. Возмутительно!..»

И побежал за кулисы к Никритиной.

— Ты слыхала, как тебя вызывали?.. Слыхала?..

Спокойно, сосредоточенно, чуть священнодействуя, она перед трельяжем снимала с лица темно-коричневый грим.

— Ты слыхала?.. Слыхала?..

— В Полтаве, — небрежно проронила она, вытирая о фланелевую тряпку костяной ножичек с вазелином, — в Полтаве на моих премьерах было то же самое.

И добавила:

— Я уже привыкла к этому.

— Вот как...

Я сначала остолбенел, потом улыбнулся.

— Не понимаю, мой дорогой автор, почему ты улыбаешься?

Тогда я расхохотался и поцеловал ее в навазелиненные губы:

— А знаешь, Нюшка, ты все-таки здоровая нахалка!..

Вскоре пошли газетные рецензии. Ее очень хвалили. Но я только презрительно посвистывал. Очевидно, потому, что Никритину не называли «идиоты-критики» юной Комиссаржевской, как в Полтаве. Где, без сомнения, критическая мысль была тоньше. К моему удовольствию и некоторому удовлетворению, через неделю с обложек театральных журналов лукаво засверкали белки черномазой Зеры.

Я покупал эту замечательную литературу дюжинами и рассылал ее по почте. В Пензу, в Нижний Новгород, в Петроград. Своим школьным друзьям и своим любовям — первой, второй, третьей, четвертой...

И только Рюрик Ивнев по недомыслию искренне удивлялся.

— Что делается в мире? — говорил он тоненьким голоском. — Наша Мартышка стала знаменитой актрисой!

— Не понимаю, болван, чему ты удивляешься!

Он вытаращил глаза примерно так же, как я, когда я услышал: «В Полтаве на моих премьерах было то же самое».

Подошло лето.

Сезон в Камерном театре закрылся.

Никритиной увеличили жалованье на пятнадцать рублей.

Мне удалось выполнить и второе свое обещание: отправить с Мартышкой в Париж.

Нашего парня мы, разумеется, оставили на бабушку.

Бабушка!.. Какое это чудное заведение — бабушка! Что бы мы делали без этого чудного заведения, придуманного самой жизнью?..

Итак:

— В Париж! В Париж!

Годы шли. Нет, годы бежали. А почему, в самом деле, не ходят они солидно, неторопливо, как, например, главные бухгалтеры? Нет тебе этого! Бегут проклятые годы. Бегут, как черт знает кто.

— Знаешь, Ниночка, — сказал я, — по моим наблюдениям, теперь и для Качалова, как для имажиниста Мариенгофа, не существует богов ни на небе, ни на земле.

— Уж конечно! Конечно! — нервно подергивая плечиками, отвечала Литовцева. — С кем поведешься, от того и наберешься.

После воспаления легких Качалов отдыхал и поправлялся в Барвихе, что под Москвой.

Тогда же там отдыхали и поправлялись после своих хворостей, очевидно, неизбежных в возрасте, который так и называется преклонным (перед болезнями, что ли?), Константин Сергеевич Станиславский и Марья Михайловна Блюменталь-Тамарина.

Замечательная «старуха»! Сценическая «старуха» с молодых лет. Малый театр в то время был ими богат и славен.

В один из понедельников, когда МХАТ отдыхал, Литовцева захала за мной и Никритиной:

— Толя, Ньюша, поедemте к Василию Ивановичу. Он звонил по телефону. Очень хочет вас видеть.

Мартышка схватилась за голову обеими руками:

— Ужас! Ужас!

— Что, Ньюшенька, не можешь?

— У нас сегодня чтение пьесы. У Таирова в кабинете.

И верхняя губа ее, искривившись, запрыгала, как у младенца, собиравшегося заплакать.

— А ты можешь, Толя?

— Очень даже.

— А с Ньюшей мы поедem в следующий понедельник.

Тут же Литовцева заботливо проскрипела:

— Только, друг мой, ты уж не засиживайся у Василия Ивановича.

— Ладно.

— И стихи свои ему не читай, пожалуйста. Читай уж мне, дома. Я хоть не после болезни. Я их лучше перенесу.

— А тебя, Нина?..
— Что меня?
— Ведь тебя, дорогая, тоже довольно трудно переносить. Даже здоровому человеку.
— Такого нахала, как ты, мой друг, еще свет не видывал.
— Невозможнейший! — предательски согласилась Никритина.

Падал снег.

Барвихинские столетние сосны стояли вокруг дома такими кавалергардами в белых мундирах.

Мягкими дорожками цвета травы мы прошагали по коридору в качаловскую комнату.

— Как ты помолодел, Вася! — сказал я.

После болезни он несколько скинул негрузный жирок, а зимнее солнце позолотило лицо в часы неторопливых прогулок.

— Скоро юношей стану, — отозвался Качалов. — Вот только бы еще три-четыре воспаления легких.

— Типун тебе на язык, Василий Иванович! — прокричала супруга.

— Шутки в сторону, а ведь меня недавно Всевышний к себе призывал.

— Что?.. — неприятно перепугалась она. — Что такое? Куда это он тебя призывал?

— К себе, на небо.

— Что?..

— Иду это я по нашей дороге вдоль леса. Размышляю о жизни и смерти. Настроение самое философское. Болел-то я не в шутку. Уж «бранные пожитки собирал», говоря по-есенински.

— Перестань, Василий Иванович!

— Вдруг слышу...

— Василий Иванович, тебе нельзя много разговаривать.

— Подожди, Нина... Вдруг слышу голос с неба: «Василий Ива-анович! Ва-си-илий Ива-анович!..» Так и одеревенел. Ну, думаю, кончен бал. Призывает меня к себе Господь Бог.

Литовцева испуганно перекрестилась.

У нее в комнате над столиком, где лежали книги Маркса и Ленина, всегда теплилась лампадка перед старенькой иконкой Божьей Матери.

— Ну?.. — спросил я нетерпеливо, по-никритински. — Ну?

— Наложив, разумеется, полные штаны, — продолжал Качалов, — я поднимаю глаза к небу.

И тут он сделал знаменитую мхатовскую паузу.

Литовцева была ни жива ни мертва.

— А передо мной, значит, телеграфный столб, а на самой макушке его, обхватив деревяшку зубастыми ножными клещами, сидит монтер и что-то там чинит. А метрах в ста от него, на другом столбе, сидит второй монтер, которого, стало быть, зовут, как меня, — Василием Ивановичем. Вот мой разбойник и кличет его таким густым шаляпинским голосом: «Ва-си-илий Ива-анович! Ва-си-илий Ива-анович!..» Ну совершенно голосом Бога, друзья мои.

Мы рассмеялись.

— Честное слово, очень похож! Сам Господь Бог орет, и баста. До чего ж я перетрусил!

— Вечно с тобой, Василий Иванович, какие-нибудь дурацкие истории! — сказала Литовцева.

Голос монтера, «очень похожий на голос Бога», напомнил мне другой случай, рассказанный Жоржем Питоевым — директором, режиссером, художником и отличным актером парижского театра, маленького, но хорошего. Это обычно для Парижа: там драматический театр чем меньше, тем лучше.

Бабушка Жоржа первой — в карете — приехала из Эривани в Париж. Роскошная армянка была самой интеллигентной дамой в своем отечестве. Ее называли во Франции мадам де Питоев-нуар. Значит, она даже для французов была слишком черна.

По ее примеру и Жорж после смерти Веры Федоровны Комиссаржевской (он был ее возлюбленным) отправляется в Париж. Это было за несколько лет до нашей революции. Неожиданно Франция стала его третьей родиной. Но и вторая — Россия, Россия Толстого и Чехова, — навечно осталась в его душе. Питоев мечтал, чтобы Франция полюбила, хорошо узнав, Россию чеховскую и толстовскую.

— Это ваша миссия, Жорж?

— Да! Моя миссия, — отвечал он серьезно, хотя и не любил, как человек со вкусом, высоких слов.

В Париж Питоев приехал с молодой женой. Довольно скоро Людмила, так ее звали, стала не только первой акт-

рисой его театра, но и одной из первейших актрис во Франции.

У Питоевых была целая ватага детей: Светлана, Варвара, Людмила, Саша, Ньюша и т. д. Отец и мать замучивали их русским языком, но родным языком для них все-таки стал французский. Это огорчало родителей.

В 1927 году на берегу Атлантического океана в Кабрстоне мы с Питоевым крепко дружили.

— Вы знакомы с Жоржем Питоевым? — спросил я Качаловых.

— А как же! — сказал Василий Иванович. — Милейшее существо. И Людмила прелесть!

— Так вот, послушайте рассказец: как-то Жорж ставил у себя в театре пьесу с участием ангелов. Нарисовал их и отправился к старому знаменитому бутафору. Рассмотрев эскизы, бутафор неожиданно ответил: «Нет, я этого делать не буду. Таких ангелов не бывает». Питоев спросил без улыбки: «А вы, месье, видели ангелов?» — «К сожалению, нет», — ответил мастер тоже без улыбки. И повторил: «Но таких ангелов не бывает». И вернул эскизы. По-моему, это очень поучительная история.

Качалов сказал:

— Вот и наши ермиловы так же идиотски понимают социалистический реализм, как этот бутафор ангелов, а я голос Саваофа.

Снег падал хлопьями, похожими на звезды с рождественской елки.

В комнате Качалова было хорошо. Я бы сказал фразой XIX века: был уют мыслящего человека. Много книг, записные книжки, рукописи — толстые и тонкие.

— Как же ты, Василий Иванович, живешь тут? — спросила супруга.

— Читаю, гуляю, репетирую.

— Репетируешь? Что же ты репетируешь? Новой роли-то для тебя и близко не видно! О тебе в театре и думать-то позабыли.

— «Не все коту масленица» репетируем.

— С чего бы? Кто ж твою «Масленицу» ставить собирается? Я что-то об этом ничего не слыхала. Да и с кем репетируешь-то?

— С Константином и Машенькой.

— Для чего ж? Для какого театра?.. Блюменталь-то в Малом, а ты как будто еще у нас. Еще не выгнали.

— Так. Для никакого театра. Просто так. Для себя.

Литовцева засмеялась мелким куриным смехом. Смеялась и смеялась, тряся грудью и обоими плечами, как цыганка, танцующая под гитару.

— Кхэ-кхэ... два старика и одна старуха забавляются. Как ученики театрального училища. Как молокососы!

— Что ж, — смущенно оправдывался Качалов. — Растить надо. Всем надо. И не молокососам тоже. И тебе бы, Нина, не помешало.

— Покорно благодарю! Уже выросла... в жену артиста, тронувшегося на старости лет.

— Вполне вероятно. Вполне, вполне.

И продолжал:

— Третьего дня мы с утра репетировали. Я с превеликим увлечением произнес свой монолог. «Здорово! — решил про себя. — Здорово!» А у Константина презрительная гримаса на губах. «Что, — обращается он ко мне, — уже вызубрили? Назубок вызубрили? Прошу, Василий Иванович, сказать монолог своими словами. Своими! Собственными! А не чужими!» — «Для чего же, — спрашиваю, — своими? Мои-то ведь хуже будут, чем у Островского». Тут Константин даже побелел от святого возмущения. «Вы, — говорит, — ремесленник! Гнусный ремесленник!» Блюменталь так вся и сжалась в комочек.

— Еще бы!.. А ты небось только облизнулся?

— Совершенно верно, Ниночка, облизнулся. Ну, а завтра с утра опять отправляюсь к Станиславскому репетировать. Стучу в дверь. «Кто там?..» — спрашивает он. Отвечаю: «Этот я, Константин Сергеевич. Я... гнусный ремесленник». Ничего. Впустил. И даже хохотал во все горло.

В комнату принесли жидкий чай с лимоном.

Нина Николаевна задернула синие суконные гардины и зажгла свет.

Я задал серьезный вопрос:

— Скажи, Вася, а кто тебе больше всех помогал в работе?

Вопрос задал общий, но думал так: «Интересно — кто? Станиславский или Немирович-Данченко?»

Качалов потер подбородок и, подумав, ответил с той же серьезностью:

— Да вот, пожалуй, она, Нина!

И сразу, без паузы, спросил меня:

— Стихи-то новенькие у тебя имеются?

Литовцева грозно сверкнула на меня зрачками.

— Кое-что, Вася, имеется, — с невинным видом ответил я.

— Еще бы не иметься! Он же не в носу ковыряет. Вот когда, Василий Иванович, ты окончательно поправишься...

— Сядь, Нина, сядь. Не суетись.

— Да кто ж это суетится? Всегда что-нибудь не то скажешь! — И быстро-быстро заковыляла она из угла в угол.

— Если имеются, так чего молчишь? Выдавай, брат.

В это же мгновение я вскрикнул:

— Ой, не щиплись, Ниночка! Больно. У тебя же не пальцы, а щипчики для маникюра.

Она посмотрела на меня с ненавистью. А я обожал ее. Честное слово.

Качалов величественно улыбался.

— Так вот, друзья мои, я прочту вам всего-навсего семь стихотворений.

— Семь! — ужаснулась мученица своего несносного характера.

— Ну сыпь, брат, — сказал Качалов. — Сыпь. Читай.

И Качалов подпер мягкими ладонями гладко выбритые скулы, словно проутюженные горячим утюгом.

У Нины Николаевны навернулись на глаза слезы:

— Толя, родной, пожалей ты его, старик ведь, только что чуть не умер. Не утомляй ты его своими стихами. Опять температура поднимется, опять сляжет от твоих стихов-то. Я ведь, милый, знаю, какие ты пишешь.

— Помолчи, Нина, не шуми, — сказал Качалов.

— Кто ж это шумит? Только ты, Василий Иванович, один и шумишь. Голос-то как иерихонская труба.

Я объявил:

— «Разговор с Богом о сотворении мира».

— Это что же — поэма? И небось длинная?

— Нет, Ниночка, не поэма.

— Слава Богу!

— Нина-а!.. — зарычал Качалов.

И воцарилась тишина.

Я прочел:

Послушайте, господин чудак,
Иже еси на небеси,
Ведь этот сотворили вы бардак?
Мерси!

- Все? — спросила наша беспокойная подруга.
- Все! — порадовал я ее.
- Следующее, Анатоль! — скомандовал стихолоб.

Где Кухня горя?..
Сверху, снизу иль откуда
Приносят мне дымящееся блюдо?

- Следующее!

Наплевать мне, что вы красавица.
Дело, друг мой, не только в роже.
В этот век говорят: «Он мне нравится».
А сказать: «Я люблю», — вы не можете.

- Следующее!
- «Судьба или злая хозяйка».
- Так-с.

«Эй, человек, это ты звучишь гордо?»
И — в морду! в морду! в морду!

- Следующее!

Я в городе. А как в лесу.
И вечный страх в себе несу.
«Дружи!»
Какой же, к черту, смысл и толк?
Я думал: друг, а это волк.
«Люби!»
И вот хриплю среди ночи я:
В моих объятиях змея.

- Следующее!
- Васи-и-лий Иванович... — жалобно пролепетала преданнейшая и мучительнейшая из жен.

— Следующее!

— А может быть, Толя, хватит? И так всю душу вывернул. А я ведь здоровая, у меня воспаления в легких не было.

— Это будет последнее, Ниночка. В две строчки. Вроде как на бис.

— Спасибо тебе, Толя. Большое спасибо.

И я умру, по всей вероятности.

Чушь! В жизни бывают и покрупней неприятности.

Василий Иванович взял со стола вечное перо и записную книжку в темно-красном переплете:

— Диктуй, поэт.

И, записав шесть стихотворений, обнял меня:

— Спасибо, брат.

— А у тебя, Вася, есть что-нибудь новенькое?

— Вот, если желаешь — поэма Максимилиана Волошина.

— Этого только не хватало! Ведь она длиннющая!

— Помолчи, Нина.

— Очень, Вася, желаю, — сказал я. — Прочти, сделай милость.

— Ну тебя, бессердечный! Знала бы, не привозила.

— Нина-а-а!

Супруга даже перепугалась. До того это было громоподобно.

И Качалов стал читать из той же записной книжки «Дом поэта». Поэму о коктебельском доме Волошина, где во время гражданской войны находили приют «и красный партизан, и белый офицер».

— Может, Василий Иванович, поставишь термометр? А? Поставь-ка. Поставь. На. Я стряхнула.

— Зачем же ставить-то? Ведь мне сегодня не скучно.

Тогда беспокойная наша подруга, расстегнув гипюровую кофточку, поставила термометр себе:

— Наверно, поднялась. И все ты, Анатолий, ты! Зверем был, зверем и остался. Хоть кол на голове теши.

А глаза ее уже светились добротой.

Шопеновский прелюд доносился из салона.

Я показал на толстую рукопись, что лежала на столе:

— Это чье произведение?

— Станиславского. Из новой книги. О работе с актером.

- Интересно?
- Да как тебе сказать... Азбука!
- Ну, пора! И, пожалуйста, Толя, больше ни о чем не спрашивай. Поднимайся-ка, поднимайся! Надо и честь знать.

Зима ушла, стряхнув снег со своих плеч.

При царе уже звонили бы великопостные колокола.

Мы обменялись со своим парнем жилплощадью: Кирка переехал в отремонтированную бывшую ванную комнату, а мы в ту, где он проживал сначала в фибровом чемодане, а потом в кровати с пестрыми шнурами.

Комната была узкая, длинная, с двумя окнами в двух стенах.

Однажды меня осенило.

— Нюха, — воскликнул я, — а ведь мы можем превратить эту уродину в роскошную квартиру из двух клетушек.

— Гениальная идея! — немедленно согласилась спутница моей жизни.

Она, как и все интеллигентные женщины той эпохи, мечтала если уж не о квартире, то хотя бы о некоем ее подобии.

Как это ни удивительно, но ровно через неделю мы уже воздвигли фанерную стену с фанерной дверцей. Обе комнаты (назовем их так) были окрашены клеевой краской, потолки оштукатурены, оконные рамы побелены. В спальне поместились ореховая тумба с трельяжиком и полуторный матрас, покрытый цветастым украинским ковром, а в столовой-кабинете — «боярские» толстоногие табуреты, скамья и стол. Все это из мореного дуба, кустарного олонецкого производства.

До сих пор я не могу понять, откуда у нас взялись деньги на такую потрясающую обстановку и на такой грандиозный ремонт. Ведь и сейчас, через тридцать восемь лет, спутница моей жизни, давным-давно ставшая заслуженной и орденосной, с гордостью сообщает: «Вы знаете, я себе построила демисезонное пальто!»

Подруги и приятельницы, появляясь в нашей новой квартире, всплескивали руками:

— Ах!..

А мужчины баритонили и базили:

— Ну прямо кремлевские палаты шестнадцатого века!

— Ничего, Нюшка, не поделаешь, — сказал я. — Раз уж

мы с тобой закатали себе такие боярские палаты, придется теперь и новоселье боярское закатывать.

— Это мысль!

— Значит, закатим?

— Закатим!

Сказано — сделано. Дня через три я уже говорил с Литовцевой по телефону.

— Итак, Ниночка, ждем.

— Спасибо, Толя. Явимся. Ровно в семь. Василий Иванович теперь ложится спать в десять. Профессора велели.

Я слегка ехидничаю:

— А если он занят в спектакле?

— Василий Иванович теперь два раза в месяц играет. Ролей-то нет. Не дают.

— Что ж, приходите в семь. Время детское. Самое подходящее для нашей компании. Ребенок Оленька Пыжова тоже в семь явится.

— Очень приятно. Давно не виделись. Только вчера у нас до глубокой ночи проторчала. Всему дому спать не давала.

— Когда же выкатилась?

— Да разве она выкатится сама! Я ее, нахалку, выкатила. Половина двенадцатого.

— Вот беда! Так, может, ее не звать?

— Да как же ты ее, хулиганку, не позовешь? Сама придет. Носом почует новоселье. Зови уж, зови. Обязательно, Толя, позови.

— Слушаюсь.

В сердце у Литовцевой, в ее большом сердце, Ольга Пыжова прочно заняла третье место: на первом, конечно, был Василий Иванович, на втором — сын Дима, на третьем — она.

— И прими, Толя, во внимание, что Василий Иванович на строгой диете. Почти ничего не ест. Велели худеть.

— Ладно. Буду морить его голодом. И тебя заодно.

— Мори, мори. Благодарна тебе буду. Еще одно условие, самое решительное: чтоб водкой и не пахло.

— Что-то плохо тебя слышу, Ниночка. Повтори.

— Чтоб водкой в доме и не пахло.

— Опять ничего не понял.

— Да ты, мой друг, на ухо туговат стал.

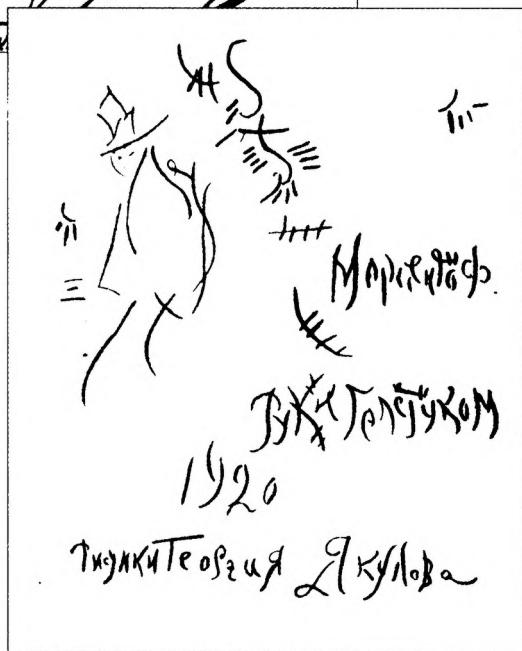
— Вчера надуло.

Maio 20
Gek





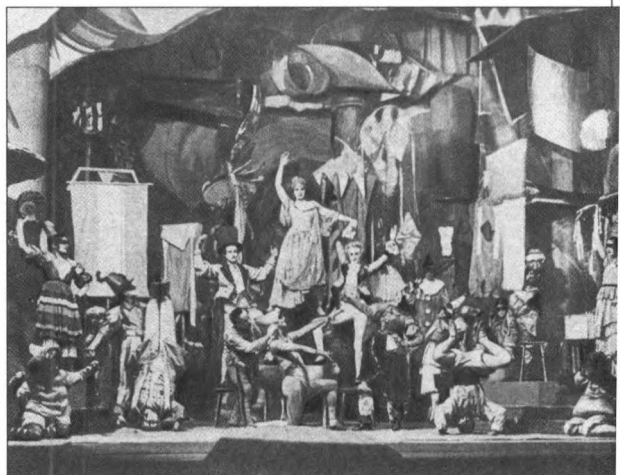
Георгий Якулов и его картина «Гений имажинизма»,
1920 г.



Портрет Мариенгофа и обложка книги "Руки галстуком" работы Г.Якулова.



Руководитель
Московского камерного театра
Аким Таиров.

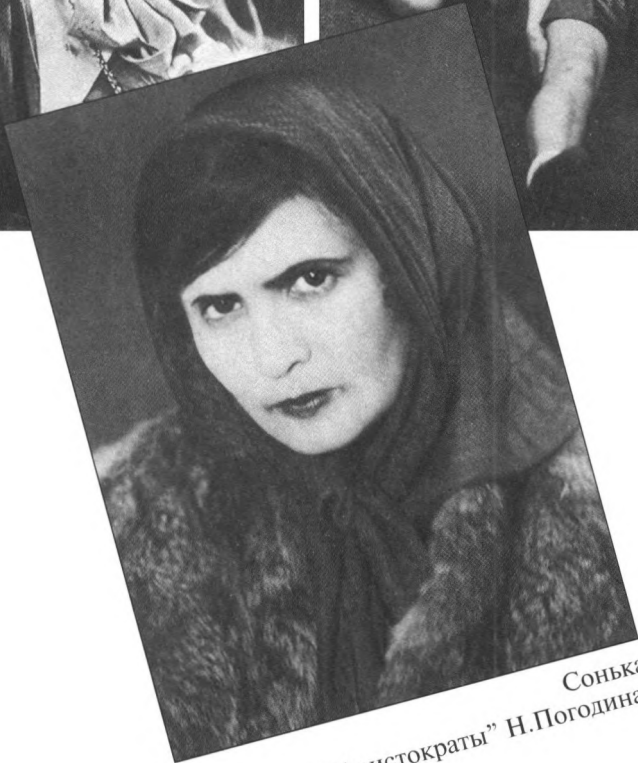


Сцены из спектаклей Московского камерного театра.

Роли Анны Никритиной:

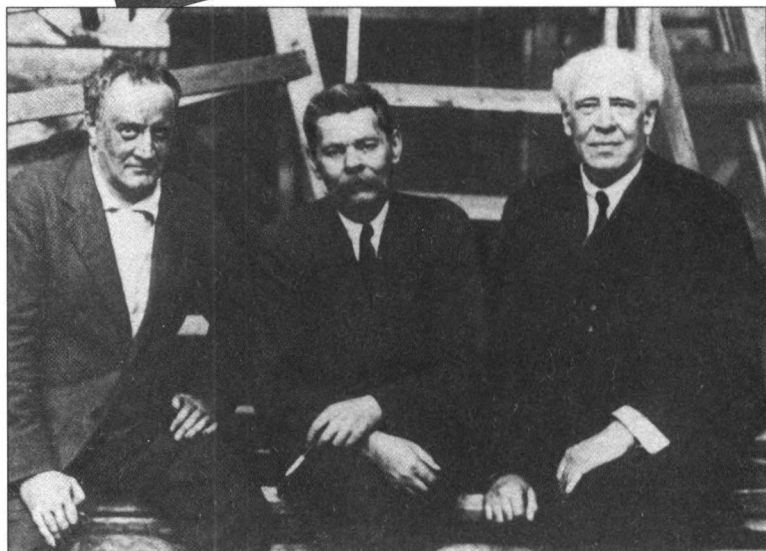
Варвара
("Егор Булычов и другие"
М.Горького)

Суок
("Три толстяка" Ю.Олеси)



Сонька
("Аристократы" Н.Погодина)

Здание МХАТ в Камергерском переулке.



Василий Качалов, Максим Горький и Константин Станиславский за кулисами МХАТа, 1927 г.



В. Качалов
в роли Барона
в пьесе М. Горького
"На дне".



Нина Литовцева,
жена В. Качалова.

Всеволод Мейерхольд, Владимир Маяковский, Николай Эрлман.
1928 г.

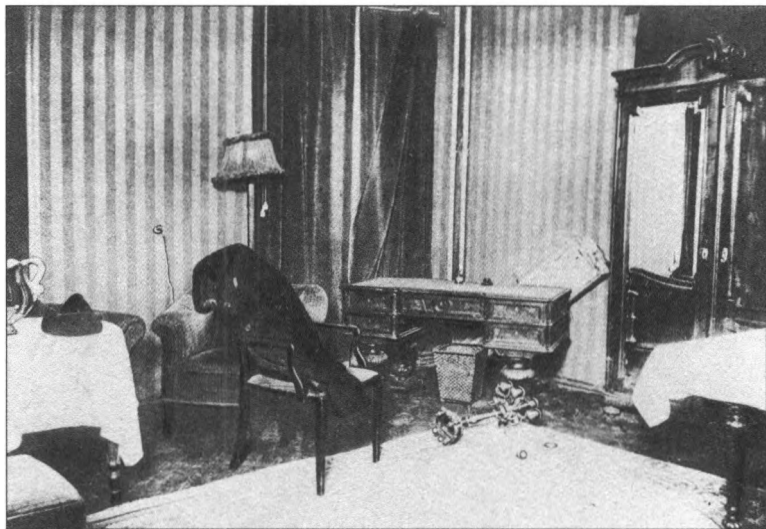


Мейерхольд ренегуирует.



Сцена из спектакля "Командарм-2" по пьесе И.Сельвинского

Сергей Есенин. 1925 г.



Пятый номер в гостинице "Англетер".
Ленинград, 28 декабря 1925 г.

Зинаида Райх —
студентка Высших
Театральных
мастерских.
1923 г.



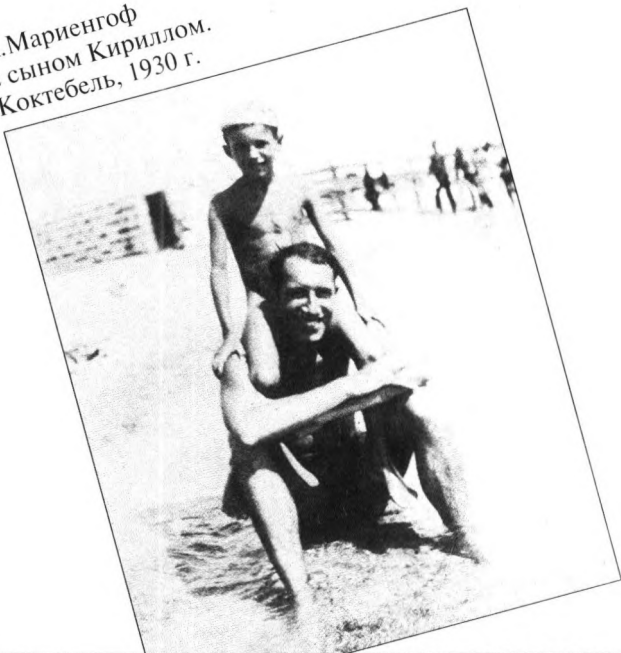
Дети С.Есенина
и З.Райх —
Костя и Таня.

Борис Ливанов.



Ольга Пыжова.

А. Мариенгоф
с сыном Кириллом.
Коктебель, 1930 г.

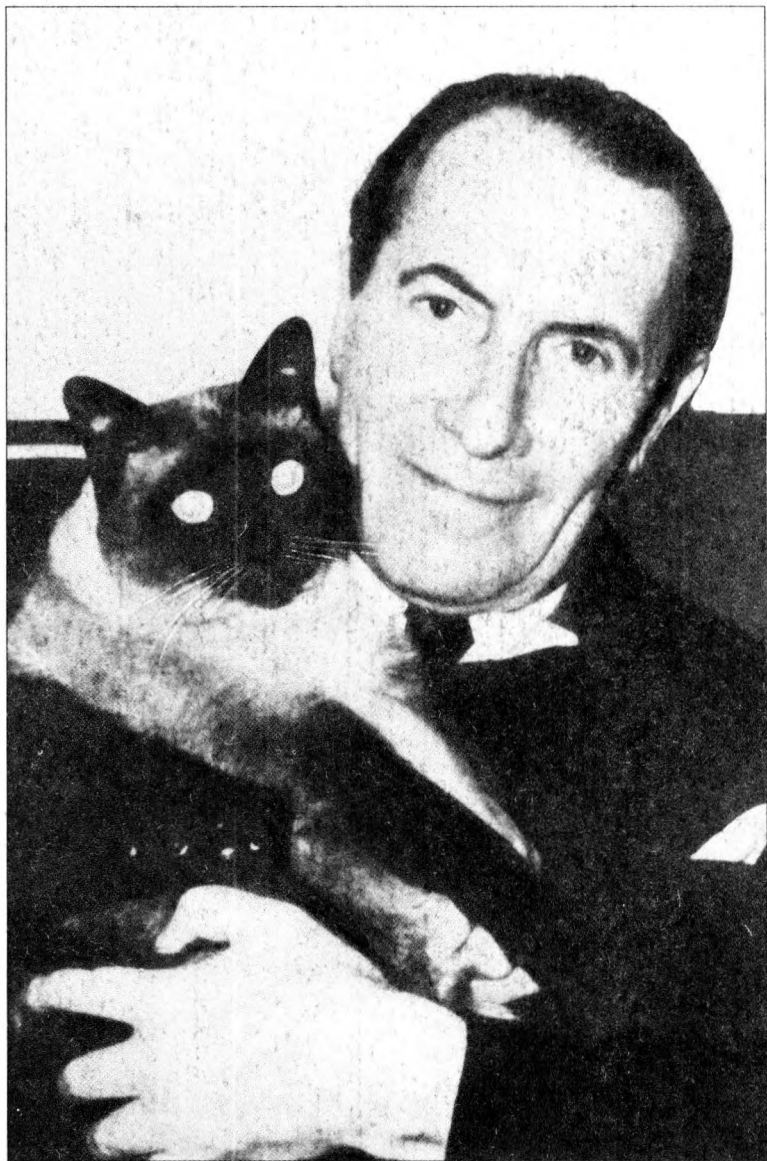


С женой Анной Никритиной. 50-е годы.

С А.Никритиной и Д.Шостаковичем.
Ленинград, конец 30-х гг.



С участниками спектакля Московского драматического театра
"Золотой обруч" по пьесе А.Мариенгофа и М.Козакова. 1946 г.



— Кто тебя надул? Кто? Шершеневич?

— Нет, ветер.

Она сочувствовала:

— Ах ты Господи!

И с удручающим упорством повторила:

— Чтоб водкой в доме...

— Что? Как? Громче, Нина. Громче.

Она стала кричать вовсю, что есть духу.

— Не слышу, Ниночка, не слышу.

— Ах, ты не слышишь?.. Ну тогда и приглашай своих Таировых, а мы с Василием Ивановичем не придем.

Я прикрыл ладонью черную пасть телефонной трубки:

— Кошмар, Нюшка!.. Чтоб ни одной рюмки на столе. Чтоб водкой и не пахло.

Никритина глубоко вздохнула.

А из черного уха несется пронзительный вой и свист. Это Литовцева дула в трубку, решив, что телефон испортился.

— Ты меня слышишь, Толя? Слышишь?

— Увы! Слышу.

— Даешь слово?

— Вынужден. А пивка можно?

— Боже упаси! Никаких пив!

Голос у меня стал жалобным:

— Так у нас раки будут.

— Раки? Небось маленькие? Еще подавишься.

— Нет, довольно крупные.

— Будем запивать ваших раков лимонадом. Купи несколько бутылок. На нашу долю одну.

— Слушаюсь.

— Василию Ивановичу нельзя много пить, а то живот раздувается. Так, значит, ты мне даешь слово?

Отвечаю почти сквозь слезы:

— Дал, дал! Чтоб тебе пусто было!

Вспомнился Тургенев. В 1869 году какой-то французский журнальчик попросил Ивана Сергеевича ответить на несколько вопросов. Среди них был и такой:

«Ваше любимое кушанье и напитки?»

«Беф и шампанское», — бодро ответил наш знаменитый соотечественник.

Через одиннадцать лет журнальчик повторил свою анкету:

«Ваше любимое кушанье?»

«Все, что хорошо переваривается», — с ворчливой стариковской мудростью написал Тургенев.

В институтские годы я горько плакал, дочитывая «Отцы и дети». А теперь, признаюсь, этот коротенький стариковский ответ мне кажется несравненно более драматичным.

Надо сказать, что и другие ответы Ивана Сергеевича были прелестны:

«К какому пороку вы наиболее снисходительны?»

«Ко всем».

«Любимые вами качества у женщины?»

«Восемнадцатилетний возраст!»

Первой к нам явилась Пыжова — половина седьмого. Не переступив порога, начала шуметь:

— Черт знает что такое! Вот гады — ни обед, ни ужин! Какой идиот это выдумал?

— Никритина.

— Что? Я?

— Ах, вредная Мартышка!.. Иди ко мне. Иди немедленно! Я тебя разорву на части!

И женщины нежно целуются. Потом Пыжова целуется и со мной. Актрисам это дозволено. А когда целуются актеры, они под ваши губы подставляют свою щеку. Меня это бесит. Теперь я нашел выход: тоже подставляю щеку. Потремся одна о другую, и все.

— Раздевайся, Ольга.

— При Ньюшке?

— Я вам не помешаю. Мне надо раков варить.

— Подожди, вредная!

Пыжова сбрасывает мне на руки пальто.

— Раков-го, по слухам, заготовили четыре сотни?

— Одну.

— Маловато! Но каждый рак, говорят, в пол-аршина?

— Нет, в полтора.

— А ну-ка, милашка. — Она прищелкивает языком. — Пока наши старики не пожаловали, хлопнем по стопочке под рачка.

— А хлопнуть лимонадику, ангел мой, под рачка не желаешь?

— Гад, не кощунствуй!

— У нас в доме, Олечка, с нынешнего дня водкой и не пахнет.

— Так!

— Взгляни: на столе ни единой рюмочки.

— Где мое пальто?

— На вешалке.

Пыжова отправляется за ним, но по дороге по причине мне не понятной раздумывает уходить.

Я приветствую ее возвращение:

— Здравствуйте! Прошу к зеркалу. Вам, сударыня, необходимо попудриться.

— Неужели даже вспотела с горя?

Она хватает пуховку и, подув на нее, страстно пудрится:

— А вы слышали, ребятки, какая в нашей семье трагедия?

— Понятия не имеем.

— В МХАТе Васеньку обидели. Смертельно!

— Да что ты?

— Сегодня на доске вывешено... о «Трех сестрах». Немирович снял Качалова с Вершинина. Играть будет Болдуман.

— Что?..

Зрочки у Никритиной расширяются от возмущения:

— Неслыханно!

— Обычное театральное идиотство, — говорю я.

Она продолжает кипеть:

— Терпеть не могу режиссеров! Особенно гениальных!

— Ух, парадоксик! — воскликнула Пыжова. — Дай я тебя за него чмокну! Нашего малonosого Оскара Уайльда.

— Да! Предпочитаю самых бездарных режиссеров. Эти хоть работать не мешают! Ролей не портят! И спектакли тоже! Своими выкрутасами... Качалов, видите ли, им плох, а Болдуман хорош!

— Театр падает и падает, — произносит Пыжова с надгробной интонацией. — Что будет?

Я успокаиваю:

— Он, Олечка, третье тысячелетие падает. Уже в Древнем Риме трагика победил комедиант, комедианта — акробат и акробата — гладиатор. Будьте философами, мои милые актрисы. Болдуман все-таки не гладиатор. А вот то, что в конце концов футбол победит Станиславского и Мейерхольда, в этом я не сомневаюсь.

Часы бьют семь.

— Наша Ниночка, — говорит Пыжова, — у расписания чуть в обморок не грохнулась. Спасибо, Борис Ливанов локотком подпер.

— А потом что было?

— Побегала, прихрамывая, к Немировичу.

— Правильно! — гремит Никритина. — И выдала ему?

— Кинулась на него, как тигрица.

— Правильно!

— Борис у дверей в щелку подглядывал. Плечиками, говорит, трясет: «Сами, Владимир Иванович, сами объявите Качалову эту новость! А меня уж увольте от этого. Увольте! Я домой не пойду, пока вы ему не объявите. Так в театре и буду ночевать...»

В эту минуту у парадной двери раздаются наши четыре звонка.

— К нам!

— Ка-ча-ло-вы! — шепчет Никритина и в полном изнеможении садится на табуретку. — Иди, Толя. Встречай. А я не могу. Чего доброго, разревусь.

— Вот тебе и раки с лимонадом! — мычит Пыжова.

Иду. Повертываю ключ. Снимаю с двери цепочку.

— А Василию Ивановичу-то в Художественном театре в морду плюнули.

Этой фразой здоровается Литовцева. Такое приветствие не явилось для меня неожиданным. Наша подруга имела обыкновение брать быка за рога и говорить прямыми словами о том, что происходит в мире.

— Почему же в морду? Почему — плюнули? — спокойно возражает Качалов. — Всего-навсего хорошую роль у меня отобрали. И не по злобе это, Нина. А из художественных соображений. Театр-то у нас Художественный.

— Ах, Василий Иванович, вечно ты со своим прекраснодушием! Юродивеньким прямо стал. Блажененьким! Только железных вериг на твоей старой шее и не хватает.

В этом злосчастном кругу продолжает вертеться наш разговор.

— Раки!.. Раки!.. Раки!..

Хозяйка выносит их на большом фаянсовом блюде. Дымящиеся, пунцовые, они прелестно пахнут лавровым листом и похожи на причудливые цветы абхазских полутропиков.

За Никритиной на расстоянии аршина вышагивает Пыжова, торжественно неся над головой лимонадные бутылки:

— Лимонадик!.. Лимонадик!.. Лимонадик!..

Разноцветные глаза ее сверкают злорадством:

— Холодненький!.. Сладенький!.. Сахариновый!..

И она издевательски ставит бутылки перед Качаловым. Он, как известно, никогда не был горячим сторонником сусого закона.

— Откупоривай, Вася. Откупоривай, родненький, свой любимый напиток.

Это ее месть. Лимонадная месть.

— Давай, Ольга, штопор.

— Извольте.

— Премного! — невозмутимо благодарит Качалов.

И умело откупоривает бутылку за бутылкой.

— С каким удовольствием, Васенька, ты их откупориваешь. Смотреть любо.

Гости и хозяева принимаются за раков.

Стопки то и дело наполняются шипящей водицей на сахарине.

Через самое короткое время Качалов говорит:

— Прошу прощения.

И выходит из-за стола.

— Ты это куда, Василий Иванович? — дрожащим голосом интересуется Литовцева.

— Прошу прощения, по надобности.

Качалов уходит.

Возвращается.

С аппетитом ест раков. Но... минут через десять опять поднимается со стула.

— Ты, Василий Иванович, что-то постарел. Больно уж часто бегаешь.

— Вероятно, Нина, это из-за лимонада. С непривычки, видишь ли.

Супруга беспокойно ерзает на стуле:

— Уж лучше б нарзану купили.

— А еще лучше бы, Ниночка...

Литовцева перебивает:

— Ваших советов, Василий Иванович, не спрашивают.

— Молчу.

— Ты же сама, Ниночка, распорядилась, — оправдывается огорченная хозяйка.

— Откуда же я знала, что он так разбегаются от лимонада.

Пыжова ворчит:

— Проклятые раки! Работы с ними не оберешься! Пропади они пропадом!.. А ну-ка, хозяйюшка, дай мне еще рачка.

На ее тарелке целая гора красных панцирей, разодранных клешней, выпотрошенных животов и длинных морд с черными выкатившимися глазами, похожими на крупную дробь.

Качалов опять величественно удаляется.

— Третий раз за какие-нибудь полчаса! — презрительно фыркает супруга.

— Ниночка, не волнуйся, — успокаивает Пыжова. — Это полезно.

— Просто-напросто старческое недержание. Больше, Василий Иванович, тебе не дам ни глотка.

Она говорит ему и «вы» и «ты». По настроению. А сын Дима — называет отца «Вася». Это тепло, это дружески.

С Василием Ивановичем легко и сыну дружить.

Вслед за Качаловым робко выхожу и я.

— И ты туда же! — еще презрительней фыркает Литовцева.

— Оля говорит, что это полезно.

— А почему мы не бегаем? Выпили-то лимонаду не меньше вашего!

— У вас, Ниночка, все еще впереди.

А в коридоре моим глазам представляется зрелище, достойное богов: Василий Иванович, подойдя на цыпочках к вешалке, вынимает из бокового кармана демисезонного пальто плоскую бутылку сорокаградусной старки и прикладывается к ней.

— Вася, — шепчу я просительно, — угости.

— А-а-а! Добро пожаловать! Глотни, мой друг, глотни. У меня в левом кармане вторая имеется. Да и Мартышону своему шепни на ушко. А уж Ольга пусть лимонад пьет. Ее проучить надо. За бессердечие.

Раки съедены.

Пыжова, облизываясь, бранится:

— Вот звери! Все десны о них расцарапала! И язык в кровавых ранах! А еще, Нюшка, нет ли рачка?

— Сейчас рябчиков принесу.

— Что? Рябчиков? Еще до седьмого пота работать? Тоже...

хозяева... на наши головы! А брусничное варенье для рябчиков найдется?

— Найдется! — гордо отвечает хозяйка.

Это ее третий «прием» в жизни.

— Странно... в таком доме и вдруг нашлось!

— Знаете ли, друзья мои, я собираюсь уходить из Художественного театра, — говорит Качалов, обсасывая ножку рябчика.

— Куда ж это ты уйдешь, Василий Иванович? Кто тебя возьмет? Не смейся! — трясет плечиками Литовцева.

— Да вот... на эстраду уйду.

— Кхэ-кхэ, Качалов — эстрадник! Чудная картина!

— Н-да, Нина, эстрадник. По крайней мере с чем хочу, с тем и выступаю. И отбирать у меня режиссер ничего не станет. Им ведь, Нина, ты будешь. Для эстрады-то. И авторы у меня найдутся неплохие: Толстой, Достоевский, Пушкин, Шекспир, Байрон, — и ролей ни у кого не просить. Что хочу, то беру. Вот и Ричарда, вероятно, сыграю. Ведь мечты-то о нем второе десятилетие.

Пыжова спрашивает:

— Ты это серьезно, Вася, на эстраду собрался?

— Очень. А ты возражаешь?

— Да.

— Почему?

— Потому, что ни Качалов не может уйти из Художественного театра, ни Художественный театр от Качалова. История вас связала.

— Вздор! Историю делают сами люди.

Нужды нет говорить, что сразу же после первого общественного просмотра «Трех сестер» вся нелепость замены Качалова Болдуманом стала явной и бесспорной.

Качалов усердно посещал генеральные репетиции, заходил после каждого действия в уборную Болдмана и давал ему советы — умные, тонкие и дружелюбные.

На другой день Пыжова и Никритина полувозлежали на нашей неперсидской тахте. Я сидел на подоконнике, заложив ногу на ногу.

Они болтали о женщинах. О Дункан, Об Алисе Коонен, о Зинаиде Райх. Прислушиваясь одним ухом, я подумал: «Удивительно! Они еще ни разу...» И в то же мгновение Пыжова спросила:

— А сколько лет Коонен?

Я обрадовался: «Вот теперь все в порядке — самый волнующий вопрос задан!»

Никритина вздохнула:

— Не знаю, право. Но, несомненно, я скоро догоню ее. Алисе, видишь ли, с каждым годом делается все меньше и меньше, а мне, как идиотке, прибавляется. Это кошмар какой-то!

— А сколько лет Айседоре Дункан? — спросила меня Пыжова.

— Этого, Оля, не знает даже Британская энциклопедия, которая знает все.

Пыжова уверенно сказала:

— Самое глупое устраивать тайну из своего возраста. Надо ляпать начистоту! Не убавляя! Тогда и публика прибавлять не будет. Она не очень-то добрая, эта публика. Морщинки актрис в бинокль подсчитывает.

— К тому же, — добавил я, — слава здорово старит. Вот хохлушки из Полтавы будут говорить: «Эта Никритина при Февральской революции уже была знаменитостью!»

— Ужас!.. А мне в Полтаве шестнадцать лет было!

— Семнадцать, Нюшенька.

— Отстань! Это безразлично.

— Моя теща, — продолжал я, — к счастью, не актриса. А попробуйте узнайте у нее год рождения!

— У-у! Мама сразу ответит: «Зачем вам это надо? Вы, что ли, хотите из меня борщ варить?»

— Вот сумасшедшая старушка! Прости, пожалуйста, Нюша, — сказала Пыжова.

Я очистил для женщин по мандарину и, угостив их, спросил:

— А сколько тебе, Оля?

Пыжова побледнела.

— Ты в каком году родилась, голубка?

— Вот в каком! — прошипела Пыжова.

И, сверкнув через очки разноцветными глазами, показала мне крупную дулю.

— Ну и хам же у тебя муж, Никришка!

И, прижавшись щекой к ее щеке, Пыжова сказала:

— Ты, Нюшка, молодая женщина, а я... — И поправила очки на носу. Она еще не привыкла к ним. — А я «еще молодая женщина».

— Это очень тонко сказано, Оля!
— Запиши. Пригодится для будущих мемуаров.
— Для этого, Оля, у меня существует голова. Записную книжку потерять можно.

— Голову тоже.
— Сколько лет Василию Ивановичу? — спросила Никритина.

— Наш Васенька собирается Чацкого играть. Вот и считай. Чацкому-то сколько? Столько будет и Качалову. Эти проклятые мужчины вечно молоды. Семидесятилетние женятся на двадцатилетних, и никто не хихикает. А когда прелестная Дункан влюбилась в вашего Сережу... Э!.. И почему, Никриша, мы с тобой не мужчины? Вот бы распушились!

— Бодливой корове, Ольга, Бог рог не дает.

Когда Пыжова ушла, я сказал:

— Ольга очень быстро стареет.

— Ты находишь?

— Быстро, как газета.

— Это потому так кажется, что она стала носить очки.

— Может быть.

— Хотя они к ней идут. Правда, Длинный?

— Ты думаешь, теперь она будет стареть помедленней?

— Надеюсь.

— Пусть бы старела, как толстый журнал. Хотя бы, как толстый журнал. Иначе уж очень грустно.

— А я?..

— Ты, Нюха, останешься вечно молодой. Как мои стихи.

— Хвастун!

— Разумеется.

Есенин вернулся из-за границы не Есениным. Тяжелые мрачные страницы придется написать об этом. Какой-то неразрываемый мрак туго запеленал его больное сознание. И, может быть, единственной светлой щелочкой в этих пеленах был шумный житель фибрового чемодана. При первом же знакомстве с нашим парнем Есенин на четверть часа совершенно преобразился: из глаз вылилась муть и порозовел церковный воск его очень худого лица.

— Толя, Мартышон, я крестный вашего пострела.

— Разумеется, Сережа.

— А знаете, ребята, как я буду его крестить?

— Нет.

— В шампанском! — и, как некогда, сверкнул лукавой улыбкой.

— А не напьется ли наш великан на радостях?

— Не остри. Разговор деловой и важный.

— Само собой.

— Я наполню купель до краев шампанским. Стихи будут молитвами. Ух, какие молитвы я сложу о Кирилке! Чертям тошно будет, а святые возрадуются. Согласны?

— Я, Сережа, согласна, — заявила непутевая мамаша.

— Возражений не имеется. Для купанья шампанское даже полезно. Так считали красотки, которых я купал.

— Вот хвастун!

— Стало, заметано? По рукам?

И у Есенина, как встарь, по-мальчишески заискрились глаза.

Мне припомнилась его великолепная строчка:

Что ж ты смотришь так синими брызгами?

Но глаза у Сережи были, как из нежного голубого ситца, выгоревшего на солнце.

— Назначаю крещение на четверток.

— Принято единогласно.

В эту минуту нежданно-негаданно раздался голосок — тихий, но несокрушимый:

— Этого безобразия я не допущу.

Есенин промычал:

— Гром из ясного неба!

Голосок принадлежал моей теще — маленькой старушке с грустными глазами, всегда чуть-чуть испуганными. Кто напугал их? Что?.. Вероятно, жизнь. Она ведь такая: ох, как напугать может!

— Ребеночка простудить... малюсочку... Да ведь это... это...

Тихий, но несокрушимый голосок оборвался.

Есенин всячески пытался переубедить старушку, говоря, что он согреет шампанское на примусе и оно будет тепленьким, как вода для корыта, в котором бабка купает своего внука.

Тихий голосок стоял на своем:

— Умру, но не допущу!

Так, не родившись, погиб цикл есенинских стихов, думается мне, бессмертных.

— Веник в бане всем господин, — буркнул неудавшийся крестный.

И ушел нахохлившийся, разогорченный.

Это была его неудача — явная, неприкрытая. А он не очень-то умел претерпеть, смириться, признать себя побежденным и склонить строптивую голову.

Есенин пленился не Айседорой Дункан, а ее мировой славой. Он и женился на ее славе, а не на ней — пожилой, отяжелевшей, но еще красивой женщине с искусно окрашенными волосами — в темно-темно-красный цвет.

Ему было лестно ходить с этой мировой славой под руку вдоль московских улиц, появляться в «Кафе поэтов», в концертах, на театральных премьерах, на вернисажах и слышать за своей спиной многоголосый шепот, в котором сплетались их имена: «Дункан — Есенин... Есенин — Дункан».

Но вот потухала люстра в «Стоиле Пегаса» или кончался балет «Лебединое озеро», и он сажал свою мировую славу на извозчика, на толстозадого московского ваньку той эпохи. Они ехали с полутемной Тверской или с темной Большой Дмитровки к себе на Пречистенку в балашовский особняк.

Это не близкий свет, если всю дорогу молчать. А они молчали.

Сочувствуя им, я повторял любимое есенинское словцо:

— Вот горе-гореваньице!

— Ты подумай, Толя, — вздохнула Никритина, — даже собаке бывает трудно молчать. Даже кошке. А ведь Изадора женщина!

Я нахмурил брови:

— Не воображай, пожалуйста, что нам, мужчинам, это легко. Глупейший предрассудок! Разница только в том, что женщина болтает, а мужчина разговаривает.

— Ты просто нахал, Анатолий! У Изадоры ум тонкий, изящный и смелый. А у Сережи...

— А у Сережи... — раздраженно перебил я, — умный ум. Хотя и мужицкий.

— Это верно, — согласилась она, — ум у него упрямый, деловой и поэтический! Такое любопытное сочетание.

— Поэтический, поэтический, дорогая моя.

Никритина кивнула головой:

— Это так. Главное — поэтический.

Мне стало совестно, что я раздраженно сказал ей «дорогая моя».

— Да, Ньюшка, сущая беда, что Изадора говорит на всех европейских языках, кроме русского. А Есенин ни на каких других, только по-русски.

На этом мы и пришли к согласию.

Садимся, бывало, ужинать. Изадора выпивает большую граненую рюмку ледяной водки и закусывает килькой. Потом выпивает вторую рюмку и с аппетитом заедает холодной бараниной, старательно прожевывая большие толстые куски. Неглубокие морщинки ее лица, все еще красивого, сжимаются и разжимаются, как мехи деревенской тальянки.

— «Разлука ты, разлука...» — напевает Есенин, глядя с бешеной ненавистью на женщину, запунцовевшую от водки и старательно жуущую, может быть, не своими зубами.

Так ему мерещится. А зубы у Изадоры были свои собственные и красавец к красавцу.

В столовой никого нет, кроме нас. Для меня, для Никритиной, для Ирмы Дункан, приемной дочери Изадоры, и для ее мужа Шнейдера Айседора Дункан — свой человек, а не мировая слава, в которую, как сказано, влюблен Есенин.

Что же касается пятидесятилетней примерно красавицы с крашеными волосами и по-античному жирноватой спиной, так с ней, с этой постаревшей модернизированной Венерой Милосской (очень похожа), Есенину было противно есть даже «пищу богов», как он называл холодную баранину с горчицей и солью.

Недаром и частушку сложил:

Не хочу баранины,
Потому что раненый,
Прямо в сердце раненый
Хозяйкою баранины!

Есенин был очень подозрителен и недоверчив. Бесцеремонно впиваясь взглядом в лицо собеседника, он всегда пытался прочесть тайные его замыслы, считая, что у каждого они имеются «беспрерывно». Это его слово.

— Смекай, Мартышон, — она же, чертова дочь, иностранка! Ей стихи мои — тарабарщина. Не разубеждай, не разубеждай! Я по глазам ее вижу, — говорил он, сжимая кулаки. — Слов-то русских плясунья не понимает!

А самое страшное, что в трехспальную супружескую кровать карельской березы, под невесомое одеяло из гагачьего пуха он мог лечь только во хмелю — мутном и тяжелом.

Его обычная фраза: «Пей со мною, паршивая сука!» — так и вошла неизменной в знаменитое стихотворение.

Платон резко отделял любимого от любящего.

Есенин был любимым. Изадора любящей. Есенин, как актер, подставлял щеку, а она целовала.

У жизни тяжелые кулаки. Это надо знать и твердо помнить. А мы, как простачки-дурачки, не только отчаянно воем, но и удивляемся, когда она сворачивает нам челюсть.

Не похоже ли это удивление на наивный разговор домашних хозяек, которые, изо дня в день убираясь в квартире, неизменно восклицают: «Откуда только проклятая пыль берется? Ведь только вчера вытирала!» И мы в том же роде философски руками разводим: «Как это, почему у меня челюсть свернута? Ведь еще вчера была совершенно целехонька!»

Эх, жизнь! Жизнь! Чего же это ты дерешься, как хулиган — злой и пьяный?

— Бери-ка, Сережа, тальянку.

Он берет, опускает восковые веки и поет тихо, грустно, с милой хрипотцой:

Ты меня не любишь, не жалеешь.
Разве я немного не красив?..

За окном уже поднималась утренняя заря — желтая, как этикетка на спичечной коробке.

«Пей со мною, паршивая сука!..»

А ведь мы, товарищи, в наши розовые годы всерьез надеялись, что только и будем получать от жизни сахарные поцелуи.

Эх, гармошка, смерть-отрава,
Знать, с того под этот вой
Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой.

Как-то Айседора Дункан танцевала в бывшем Зиминском театре. Все было переполнено: партер, ложи, балкон, ярусы.

Из деревянной пропасти, в которую ввергнуты скрипки, виолончели, флейты и громадные барабаны, взлетела, как птица, дирижерская палочка.

Взлетела и замерла.

Заговорил Чайковский «Славянским маршем».

Мне всегда думалось, что о живописи можно рассказать не словами, а только самой живописью, то есть цветом. О скульптуре — мрамором, деревом, воском, глиной. А о музыке — только самой музыкой. Какой вздор! Оказывается, что «Славянский марш», божественный и человеческий — эти звуки величия, могущества, гордости и страсти, — могут сыграть не только скрипки, виолончели, флейты, литавры, барабаны, но и женский торс, шея, волосы, голова, руки и ноги. Даже с подозрительными ямочками возле колен и локтей. Могут сыграть и отяжелевшие груди, и жирноватый живот, и глаза в тонких стрелках морщин, и немой красный рот, словно кривым ножом вырезанный на круглом лице. Да, они могут великолепно сыграть, если принадлежат великой лицедейке. А Дункан была великая танцующая лицедейка. Я не люблю слово «гениальный», «гениальная», но Константин Сергеевич Станиславский, не слишком щедрый на такие эпитеты, иначе не называл ее.

Отгремел зал.

Вспыхнули люстры.

Мы сидели с Есениным в ложе бенуара, недалеко от сцены. Слева, в соседней ложе, были — актриса, актер и нэпман. Нам не пришлось особенно наострять уши, чтобы слышать их болтовню. Члены профессионального союза работников искусств имеют обыкновение говорить значительно громче, чем простые смертные. Они жаждут, чтобы посторонние люди, проходящие мимо или сидящие поблизости, обращали на них внимание и обязательно слышали то, что они болтают. Хотя в этом нет никакой необходимости, так как не слишком часто они бывают остроумны, а еще реже — умны!

— Знаете ли, друзья мои, — сказал молодой человек с подбритыми бровями, — а ведь это довольно неэстетическое зрелище: груди болтаются, живот волнуется. Ох, пора старушенции кончать это занятие.

— Дуся, ты абсолютно прав! — поддержал его трехподбо-

родковый нэпман с вылупленными глазами. — Я бы на месте Луначарского позволил бабушке в этом босоногом виде только в Сандуновских банях кувыркаться.

Мне было страшно взглянуть на Есенина.

— Ха-ха-ха!.. — захохотал актер, разумеется, слишком громко и малоестественно.

Настроение у нас стало «серое с желтыми пятнышками», как говорил один хороший писатель прошлого века.

— А сколько ей лет, Жоржик? — промурлыкало хрупкое существо с глазами, как дым от папиросы.

— Черт ее знает! Говорят, шестьдесят четыре, — по привычке соврал актер. — Она еще при Александре Третьем в Михайловском театре подвизалась.

— Я так и предполагала, — отозвалась красавица, жующая шоколад «Золотой ярлык».

Есенин заскрипел челюстями.

— Наши мегеры в ее возрасте с клюками ходят, и на каждом пальце обеих ног у них по мозольному кольцу, — снова промурлыкало прекрасное существо, которую парикмахер сделал златокудрой. — Клянусь истинным Богом!

— Твоего Бога, Кисинька, большевики ликвидировали, как класс! — сострил нэпман.

Златокудрая уже съела и крымское яблочко, и вафлю с кремом, и плитку шоколада «Миньон», а теперь, к моему ужасу, с жадностью поглядывала на бутерброд с полтавской колбасой, лежащий в бумажной салфетке на барьере ложи. Но приходиться в ужас не стоило, что я понял впоследствии. Это был нормальный аппетит классического кордебалета.

— А знаешь, Киса, как называют Дункан в «Стойле Пегаса»? — спросил нэпман.

— Как?

— Дунька-Коммунистка.

— Блеск! — захохотал актер.

— Чертовски остроумно! — одобрило эфемерное существо. — Дай мне, Маркушенька, апельсинчик. — И, дожевав полтавскую колбасу, она стала нервно сдирать с апельсина пупырчатую кожуру.

— Вот компания кретинов! — не выдержав, сказал я так же громко, как говорил актер.

К нашему огорчению, это только осчастливило нэпмана, сразу узнавшего меня.

— Товарищи... Товарищи!.. — зашептал он. — Знамени-
тый имажинист Анатолий Мариенгоф!

— Вижу, Маркушенька.

— Вы слышали, вы слышали, он обозвал нас крестинами!..
Компанией крестининов!

— Слышал, — с меньшим восторгом ответил актер, по-ме-
фистофельски вскинув подбритую бровь.

Есенин сидел в глубине ложи, прячась от зрителей.

— Пойдем, Толя, — процедил он побелевшими губами,
почти не разжимая челюстей.

Я поднялся с кресла.

Есенин натянул замшевую перчатку на трясущуюся руку.

— Есенин!.. Есенин!.. — зашептали вслед приятные сосе-
ди.

— Муж!.. Ха-ха! Муж старухи!

Часы на Театральной площади показывали десять.

— Довезу! — предложил лихач с надменным лицом гвар-
дейца.

— На Пречистенку.

Ветер сорвал цилиндр с моей головы.

Гвардеец со своих высоких извозчичьих козел только поко-
сил на него ироническим взглядом.

Красивая молодая дама в норковой шубке, догнав ци-
линдр, подняла и протянула мне.

— Премного благодарен...

Как-то не выговорилось: «Премного благодарен, граждан-
ка!» Уж очень она была тоненькая даже в своей шубке до ко-
лен. Была легкая, как папиросная бумага. И я сказал вместо
«гражданка»:

— Премного благодарю, сударыня!

— Пожалуйста, сударь.

И с милой полуулыбкой добавила:

— Это смешно, товарищ Мариенгоф, что в наше время, в
нашей Москве вы носите цилиндр.

Ее зубы сверкали, как поддельный жемчуг. Мое поколение
еще видело настоящий.

— Вы хотите сказать: «Это глупо»?

— Угадали.

— А Шекспир носил серьгу в ухе, — не соврал я. — Это,
пожалуй, еще глупей.

— Шекспир жил в шестнадцатом веке.

— Однако в этом шестнадцатом веке он писал немногим хуже, чем пишем мы в своем двадцатом.

Она прелестно рассмеялась.

— Я хотела бы знать: вы действительно нахал или только притворяетесь? По-моему, притворяетесь.

— Нет. Действительно, — сказал я, хотя не был в этом уверен.

Не влюбился ли я в нее?

К сожалению, гвардейцу на козлах надоело наше «козерй», и он тронул вожжей коня. Мы уже неслись по Охотному, а я все еще благодарил ее, помахивая рукой.

Пересекли Тверскую.

Моховая, Румянцевка...

Из-за купола храма Христа показалось бронзовое ухо луны.

Я пробормотал:

— Неужели я больше никогда в жизни не встречу ее?

— К счастью! — ответил Есенин.

— Как идиотски устроена жизнь!

— Под этим я подписываюсь, — сказал Есенин.

Приключение, оборвавшееся после первого диалога, я продолжил в стихах:

Вы голову несли, как вымпел.

Загадочна,

Как незнакомое, чуть освещенное окно.

А дальше?

Милая, ну кто бы вас не выпил,

Как за обедом легкое вино?

Пречистенка.

Две маленькие неяркие звезды из-за трубы балашовского особняка взглянули на меня глазами человека, заболевшего желтухой.

— Приехали, Сережа, — тихо сказал я, беря его за руку.

Всю остальную часть ночи он пил свой есенинский коктейль — водку с пивом.

Это был любимый напиток наших нижегородских семинаристов. Они называли его ершом и пили чайными стаканами.

А женщину в норковой шубке я встретил через двадцать семь лет в коридоре мягкого вагона «Москва — Сочи». Она уже была почти старухой. Старухой с широким задом и пол-

ными руками в синих жилках, как на мраморных пепельницах. Но улыбалась все так же мило, стараясь не обнажать зубы, которые больше были похожи на пенковую прокуренную трубку, чем на поддельный жемчуг. Но улыбка, выражение глаз сохраняются несколько дольше, чем кость и кожа вокруг век.

— Я вас узнала с первого взгляда, — сказала женщина, — а вы меня... с третьего. Правда?

— Правда, — ответил я, так и не научившись быть очень приятным.

У каждого человека есть своя маска. Ее не так-то легко сбросить.

На другой день в балашовский особняк пожаловал поэт Петр Орешин.

— Дай, Серега, займы пять червонцев, — сказал он Есенину. — В субботу отдам. Будь я проклят.

— Нет ни алтына, душа моя.

И Есенин, вынув бумажник, бросил его на стол:

— Все, что найдешь, твое. Без отдачи. Богатей!

Он имел обыкновение рассовывать деньги по карманам. Но на этот раз во всех было пусто.

Орешин взял бумажник и стал деловито обшаривать его.

— Вот так камуфлетина!

Мужиковствующие поэты щеголяли подобными словечками.

— О тебе, Петр, в Библии сказано: «В шее у него жилы железные, а лоб его медный».

— Признавайся, Серега, а в карманах? В карманах есть?

И взглянул на Есенина взглядом испытующим и завистливым. Ершистые брови зло двигались.

— Ищи, — сказал Есенин, поднимая вверх руки. — Ищи!

Орешин дотошно искал, выворачивая карман за карманом.

— Где научился обшаривать-то? В угрозыске, что ли?

— И впрямь ни шпинта. В решетке чудо!

— А штилеты скидывать? — играя в покорность, спросил Есенин. — Может, там найдешь рубликов триста? Под пяткою у меня?

— Дурак! — хмуро выругался Орешин. — Какого же черта на богатой старухе женился?

Есенин стал белым, как носовой платок. Но не ударил Орешина, а только сказал:

— Ах, Петро, Петро!.. Не о тебе ли с твоими друзьями... по вшивому Парнасу... говорено в древности: «Мы благословляем вашу наивность, но не завидуем вашей глупости».

Есенин и Дункан жили в одной комнате, а как будто в разных: он в своей, она — в своей. Казалось, что они перекликаются через толстую каменную стену, а не разговаривают.

— «Эх, гори да догорай моя лучина», — пел Есенин со своей пленительной хрипотцой.

Его жизнь сторала как-то криво, с одной стороны, как неудачно закуренная папироса. Дым от нее лез в глаза, и они слезились от этого.

Мужиковствующие поэты, актеры с подбритыми бровями, нэпманы из Столешникова переулка, присосавшиеся к богеме, и прочие и присные — все это были только цветочки. А уж ягоды, полные горечи и отравы, созрели за границей — в Европе и в Америке.

Перед отъездом за границу Дункан расписалась с Есениным в загсе.

— Свадьба! Свадьба!.. — веселилась она. — Пишите нам поздравления! Принимаем подарки: тарелки, кастрюли и сковородки. Первый раз в жизни у Изадоры законный муж!

— А Зингер? — спросил я.

Это тот самый — «Швейные машины». Крез нашей эпохи. От него были у Дункан дети, погибшие в Париже при автомобильной катастрофе.

— Зингер?.. Нет! — решительно трянула она темно-красными волосами до плеч, как у декадентских поэтов и художников.

— А Гордон Крэг?

— Нет!

— А Д'Аннунцио?

— Нет!

— А...

— Нет!.. Нет!.. Нет!.. Сережа первый законный муж Изадоры. Теперь Изадора — русская толстая жена! — отвечала она по-французски, прелестно картавя.

Илья Ильич, административное лицо при московской школе Айседоры Дункан, показал мне журнал, полученный из Нью-Йорка.

— А вот и наши! — сказал в нос Шнейдер.

У него был хронический насморк.

На цветной фотографии я увидел смеющуюся Изадору и несмеющегося Есенина.

Она снялась в ярко-синей широкополой шляпе с белыми перьями, в ярко-синей пелерине, подбитой белым шелком; в руке был ярко-синий зонтик, окаймленный пеной белых кружев, и т. д. Все ярко-синее с белым.

А он — от шляпы до подметок в светло-сером. Словно отлит из серебра. Легкий, ладный.

— Как денди лондонский одет! — прогнусавил Шнейдер. — Вот вам и рязанский мужичок!

Кстати, мужичок-то Есенин был больше по слову. Дед его, заменивший в попечении отца, гонял по Оке и Волге собственные баржи, груженные хлебным товаром.

Под роскошным цветным клише стояла подпись: «Айседора Дункан со своим молодым мужем».

Я ударил кулаком по журналу:

— Мерзавцы!

Шнейдер улыбался своей администраторской улыбкой — одновременно приторной и наглой.

— Американцы без церемоний!

Он протянул мне второй журнал. Подпись: «Айседора Дункан со своим мужем, молодым большевистским поэтом».

— Его фамилия их не интересует, — счел своим долгом пояснить Шнейдер. — Муж Айседоры Дункан! И этим все сказано.

В далеком детстве жирная коричневая пенка в молоке вызывала у меня физическое отвращение. До судорог в горле! Теперь такое отвращение вызывал этот администратор.

— Продолжение следует, Анатолий Борисович!

Передо мной — газеты, журналы. Целая кипа. Есенин в них существовал только как «молодой супруг». Ужас!

А Шнейдер гнусавя иронизировал:

— Какая честь для нашего Сережи!

«В конце концов, я, кажется, дам по физиономии этому хроническому насморку».

— Наслаждайтесь, Анатолий Борисович. Через два часа я должен вернуть в Наркомпрос всю американскую литературу.

— Сами наслаждайтесь, черт вас дерит!

— Это весьма похоже на хамство. Не правда ли?

— Безусловно.

Отвернувшись от Шнейдера, я вижу через немалое пространство — есенинские глаза в кровавых ниточках, вижу его щеки и лоб, словно обтянутые полотном. Слышу, как скрипят его челюсти.

А у Шнейдера слова, как блохи, прыгали с языка:

— Сергей Александрович только и мечтал «гремять на оба полушария, как лорд Байрон». Помните? Вот вам и лорд Байрон!

Шнейдер поторопился жениться на некрасивой Ирме Дункан, приемной дочери Изадоры, чтобы разьезжать по Европе и обеим Америкам. Но... не вышло. И вот, сидя на Пречистенке в опустевшем особняке, он захлебывался желчью:

— Один мой приятель, — не умолкал Шнейдер, — в схожих обстоятельствах говорил о собственной персоне: «Женился по расчету, а вышло — по любви». Ха!

Есенин не слишком был скромн, когда писал, говорил и думал о себе. Но где ему в этом до Гоголя!

Меня теперь нужно беречь и лелеять, — писал Николай Васильевич из Италии. — Пусть за мной приедут (это из Москвы в Рим! — *А. М.*) Михаил Семенович и Константин Сергеевич (Щепкин и Аксаков. — *А. М.*). Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают не бесполезное дело! Они привезут с собой глиняную вазу... В этой вазе теперь заключено сокровище, стало быть, ее нужно беречь.

Тут нет и тени улыбки. Ни самой микроскопической дозы иронии. Нет, богоизбранники не шутят, фанатики не иронизируют.

«Ах ты, о Боже мой! — сетовал я. — Почему ж у Есенина не было хоть малой крохи от гоголевского: “Меня нужно беречь”?»

Много позже Айседора Дункан, оставленная Есениным, рассказывала мне со слезами на глазах:

— О, это было такое несчастье! Вы понимаете, у нас в Америке актриса должна бывать в обществе — приемы, балы. Конечно, я приезжала с Сережей. Вокруг нас много людей, много шума. Везде разговор. Тут, там называют его имя. Го-

ворят хорошо. В Америке нравились его волосы, его походка, его глаза. Но Сережа не понимал ни одного слова, кроме «Есенин». А ведь вы знаете, какой он мнительный. Это была настоящая трагедия! Ему всегда казалось, что над ним смеются, издеваются, что его оскорбляют. Это при его-то гордости! При его самолюбии! Он делался злой, как демон. Его даже стали называть: Белый Демон... Банкет. Нас чествуют. Речи, звон бокалов. Сережа берет мою руку. Его пальцы, как железные клещи: «Изадора, домой!» Я никогда не противоречила. Мы немедленно уезжали. Ни с того ни с сего. А как только мы входили в свой номер — я еще в шляпе, в манто, — он хватал меня за горло, как мавр, и начинал душить: «Правду, сука!.. Правду! Что они говорили? Что говорила обо мне твоя американская сволочь?» Я хриплю. Уже хриплю: «Хорошо говорили! Хорошо! Очень хорошо». Но он никогда не верил. Ах, это был такой ужас, такое несчастье!

Айседора Дункан любила Есенина большой любовью большой женщины.

Жизнь была к ней щедра и немилосердна. Все дала и все отняла: славу, богатство, любимого человека, детей. Детей, которых она обожала.

Есенин уехал с Пречистенки надломленным, а вернулся из своего свадебного путешествия по Европе и обеим Америкам безнадежно сломанным.

— Турне! Турне!.. Будь оно проклято, это ее турне! — говорил он, проталкивая чернильным карандашом тугую пробку вовнутрь бутылки мартелевского коньяка.

— За здоровье Кирёнка!

— Хватит, Сережа. Он и так здоров.

— Послушай, как чудесно написал о жизни Иван Сергеевич Тургенев.

И, положив руку мне на колено, он с душевной хрипотцой в голосе медленно читал следующие строчки из какого-то тургеневского письма: «Нужно спокойно принимать ее немногие дары, а когда подкосятся ноги, сесть близ дороги и глядеть на проходящих без зависти и досады: и они далеко не уйдут». Хорошо, Толя?

— Очень.

И мы оба молчали. Нам всегда было нетрудно и помолчать, потому что оба знали, о чем молчим.

Когда-то, как я упоминал, мы жили с Есениным вместе и писали за одним столом. Паровое отопление тогда не работало. Мы спали под одним одеялом, чтобы согреться. Года четыре кряду нас никогда не видели порознь. У нас были одни деньги: его — мои, мои — его. Проще говоря, и те и другие — наши. Стихи мы выпускали под одной обложкой и посвящали их друг другу. Мы всегда, повторяю, знали — кто из нас о чем молчит.

К слову: в 1955 году редакторы — литературные невежды вроде Чагина — вычеркивали из книг Есенина его посвящения мне. Сегодняшние пижоны и стилиаги в таких случаях говорят: «Культурненько!»

«Обнимаю вас дружески: это значит гораздо больше, нежели братски». Так Александр Иванович Герцен заключил одно из своих писем.

Повторяю: до чего же мне это понятно и близко! До чего же я всем своим существом за это избирательное родство мыслящих русских людей.

— Да, «и они далеко не уйдут», — задумчиво повторил Есенин. — А ты говоришь: купаться!

— Что?

— Да нет, это я так.

Заломив руки, он стал потягиваться. Так потягиваются и собака и кошка, когда им неведомо от душевной тоски.

— Знаешь, Толя, сколько народу шло за гробом Стендаля? Четверо!.. Александр Иванович Тургенев, Мериме и еще двое неизвестных.

Я невольно подумал: «До чего же Есенин литературный человек!» По большому хорошему счету — литературный. А невежды продолжали считать его деревенским пастушком, играющим на дулейке.

Взяв с кровати светло-серую шляпу в пятнах от вина, он сказал:

— Моцарта похоронили в общей могиле. В могиле для бродяг.

И стал легонько насвистывать:

Эх, яблочко,
Куды котишься...

— Жизнь, жизнь... жестяночка ты моя... перегнутая, переломатая.

И промял ямку в шляпе.

— Подожди, Сережа! Куда ты?

— Прощай, друже. Целуй в нос своего пострела.

Эх, яблочко...

Он забыл на столе свои телеграммы:

Ялта гостиница Россия Айседоре Дункан

Я люблю другую женат и счастлив

Есенин

И черновик этой телеграммы:

Я говорил еще в Париже что в России я уйду жить с тобой
не буду сейчас я женат и счастлив тебе желаю того же

Есенин

И еще вспомнилось: два наших дворника-близнеца, пых-тя, вносят в комнату громадный американский чемодан, перехваченный, как бочка, толстыми металлическими обручами.

Вслед, пошатываясь, входит Есенин. Его глаза в сухом кощачьем блеске. Лицо пористое и похоже на мартовский снег, что лежит на крышах.

— Вот, Толя, — кивает он на чемодан, — к тебе привез. От воров.

И скользким подозрительным взглядом окидывает комнату, не доверяя углам, где и собачонке-то не утаиться.

— От каких, Сережа, воров? Кто ж это? Где они?

— Кругом воры! Кругом!

Дворники-близнецы, почесывая бороденки, согласно гнут шею:

— Истинное слово, Сергей Александрович: разбойник на разбойнике сидит.

— Раздевайся, Сережа. Давай шубу.

— Сюда! Сюда, братцы, коф-фер! К этой стенке.

Дворники двигают чемодан, кряхтеньем увеличивая его тяжесть.

— Хорош коф-фер! Негры в Америке прямо с третьего этажа его на асфальт скидывают! И ни хрена! Целехонек.

Дворники одобрительно похлопывают чемодан, как добрую лошадь.

Есенин сует им несколько бумажек.

— Что, братцы, взопрели? Тяжел дьявол! Книги там. Одни книги. Они ведь, что каменюги, — хитрит Есенин, чтобы не позарились на его имущество.

Дворники благодарят, сняв шапки. Значит, дал много. Теперь ведь не очень-то благодарят. А еще реже при этом снимают шапки.

— Счастливо, братцы! Прощевайте, прощевайте!

Дворники уходят с шапками в руках.

Прикрыв дверь за ними, Есенин повторяет:

— Все вору! Все!.. Пла-а-акать хочется.

— Полно, Сережа.

И мне тоже хочется плакать от этого бреда.

Есенин вынимает из кармана всякие ключи, звенящие на металлическом кольце, и, присев на корточки, отпирает сложные замки «кофера».

— В Америке эти мистеры — хитрые дьяволы! Умные! В Америке, Толя, понимают, что человек — это вор!

И поднимает крышку. В громадном чемодане лежат бестолковой кучей — залитые вином шелковые рубашки, перчатки, разорванные по швам, галстуки, носовые платки, кашне и шляпы в бурых пятнах.

А ведь Есенин был когда-то чистюлей! Подолгу плескался в медном тазу для варенья, заменявшем ванну, или под ледяным краном. Сам гладил галстук. Сам стирал рубашку, если запаздывала прачка, а другой рубашки для перемены не находилось. Добра-то в обрез было.

— Ха!.. — горько улыбается он. — Вот все, что нажил великий русский поэт за целую жизнь!

И скашивает глаз на бестолковую кучу в чемодане, купленную Дункан, которая и сотни тысяч долларов считала мусором. Но это было в ее молодую пору.

— Чего молчишь, Анатолий?..

И подозрительно вскидывает на меня глаза в кровавых жилках.

— Чего?..

— Да о чем тут разговаривать?

— Как о чем? О босоногой плясунье поговорить можно. Миколай Клюев с Петькой Орешиним о ней поговорили б! Разжился, мол, от богатой старухи. У Миколушки-то над башкой висит Иисус Христос в серебряной ризе, а в башке — корысть, зависть, злодейство!

И, озлившись, роется в чемодане дрожащими руками:

— Я, знаешь ли, по три раза в день проверяю. Сволочи! Опять шелковую рубашку украли. И два галстука...

Бред! Страшный, нелепый бред!

— Подделали! Подделали ключи-то. Воры! Я потому к тебе и привез. Храни, Толя! Богом молю, храни! И в комнату... ни-ни! не пускай. Не пускай эту мразь! Дай клятву! По миру меня пустят. С сумой. Христовым именем чтобы кормился. Пла-акать хочется.

Сжавшись в комочек, Никритина шепчет мне на ухо с болью, отчаянием, со слезами на глазах:

— Сережа сошел с ума.

— Не выдумывай, Нюша. Не выдумывай. Просто-напросто на него теперь ужасно действует водка.

Обдавая водочным духом, Есенин целует меня, целует Никритину и, пошатываясь, уходит со словами:

— Пла-акать хочется.

Примерно недели через две литературная Москва жила сенсацией: Есенин с Мариенгофом поссорились.

Об этом рассказано в «Романе без вранья».

Добавить нечего.

И как помирились — тоже рассказано.

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рошу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Это из есенинского «Черного человека».

Великие писатели сочиняли Библию: «У кого вой? У кого стон? У кого раны без причин? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином».

Мы с Никритиной вернулись домой, как обычно, после полуночи.

На этот раз в «Стойле Пегаса» выступал довольно знаменитый «чтец мыслей на расстоянии» — нервный горбоносый человек с удивительно черными волосами, пенящимися вокруг лысины.

— Я полагаю, Ньюша, что наш мозг излучает какие-то флюиды, — сказал я.

— Очень может быть.

— Другого объяснения не придумаешь.

— Да. Этот дьявол работает без помощника.

— Вероятно, люди скоро изобретут аппаратик. Интересно!

— Какой такой аппаратик?

— Он будет записывать на ленту эти флюиды. А потом их можно будет расшифровать.

— Что?

— Примерно, как запись стенографистки... Вот, Ньюша, перед тем, как ты юркнешь под одеяло, я незаметно положу этот аппаратик под твою подушку.

— Зачем?

— Да чтобы утром, когда ты убежишь на репетицию, прочтешь твои мысли. Любопытно знать, что ты думаешь на сон грядущий!

— Какой ужас!

— Ужас?

— Все люди переругаются, передерутся, если будут читать их мысли, как ежедневную газету. Особенно мужья с женами. Кошмар!

— Ах, так...

Я мрачно скинул полуботинки, пиджак и лег на тахту носом к стене.

— Толя...

— Не желаю с тобой разговаривать.

— Что?

— То.

— Ничего не понимаю.

— Очень жаль.

— Нет, Длинный, ты мне все-таки должен объяснить.

Она села возле меня на тахту.

- Уйди!
- Да ты просто сошел с ума.
- Не желаю тебя видеть. Понятно?
- Нет, Длинный, непонятно.

Я скрестил руки на груди и произнес в трагической интонации:

- Завтра я развожусь с тобой.
- Да?
- Да!
- А я — нет. Я ни за что не разведусь с тобой.

Пожал плечами:

- Неужели?
- Потому что я люблю тебя, моего дурня.
- Не лги.
- О-бо-жа-ю!
- А я не хочу, чтобы меня обожала распутная баба!
- Это я распутная? Я?
- Во всяком случае, у тебя распутные мысли. Иначе бы, мадам, вы так не испугались этого аппаратака.

Мы провели бессонную ночь. Завтракали порознь. Она позвонила в театр, что больна и не придет на репетицию. Словом, это была крупная, мучительная ссора. Самая длинная за всю нашу жизнь. У обоих запали глаза и ввалились щеки. И только через двадцать два часа, за ужином, чокаясь жигулевским пивом, я сказал:

— Знаешь, Нюха, по-моему, это форменный кретинизм — быть в ссоре больше пяти минут. Ведь где-то внутри отлично знаешь, что в конце концов все равно помиришься. Правда? Так какого черта портить себе жизнь на сутки или на неделю, как это делают миллионы глупцов? Пять минут — и хватит! Или уж действительно надо разводиться, если дело очень серьезно. Правильно?

— Правильно, Длинный!

И мы крепко поцеловались.

Эта мудрая догадка: «Ссориться не больше, чем на пять минут» — очень украсила нашу жизнь.

Рекомендую.

А через несколько дней я читал Никритиной вслух:

— «Жена добра и страдолюбива и молчалива венец есть мужу своему... И увидит муж, что непорядливо у жены... и за ослушание... снять с нее рубашку и плетью вежливоенько

бити, за руки держа, по вине смотря, да побив и промолвить, а гнев никакож бы не был». Это из «Домостроя», Ньюха.

Превосходная, полезная книга! Удивляюсь, почему ее не переиздаст Госиздат.

— Я тебе такой пропишу «Домострой»!.. Пропишу «Домострой» наоборот: «И увидит жена, что непорядливо у мужа... и за послушание... снять с него рубашку и плетью вежливенько...»

И оба смеемся, как будто читаем Зоценко.

А вот другой разговор, при Саррушке Лебедевой.

— Прошу тебя, Ньюша, возвращайся домой к часу.

— А если на банкете будет весело?

— Если очень весело — половина второго.

— Хорошо.

— Да он у вас, Ньюшка, «Домострой», — говорит Саррушка, не имея представления о предыдущем разговоре.

— Ого! Еще какой!

И поворачивается ко мне спиной:

— Застегни, Длинный.

Я застегиваю жемчужные пуговицы на ее вечернем платье. Оно было куплено еще в Париже и надевается два раза в сезон. Не чаще.

Лебедева по-мужски пожимает плечами:

— Вы, Ньюшка, чудак.

— Почему?

— В подобных случаях, — говорит полушутя наш знаменитый скульптор, — надо возмущаться, бороться за раскрепощение женщины, а вы сияете.

— Не портите мне жены, Саррушка.

Бегут, бегут годы неизвестно куда. А почему они не сидят в креслах, как гневные бухгалтеры — солидно, важно, прочно? Право, хоть бы приснилось мне, что они поменялись ролями: годы сидят, а гневные бухгалтеры бегут, бегут неизвестно куда.

Мы на коктебельском пляже. Мелкая галька похожа на фасоль, бобы и горох.

— Пошли купаться, Кирка, — приглашаю я своего малыша.

Пол-аршинные волны словно только что выскочили из парикмахерской: пена цвета волос, травленных перекисью, завита в баранью кудряшку.

— Пошли, Кирка, в воду.

Он переминается с ножки на ножку.

— Боюсь.

— Чего боишься?

— Больших волн.

— Вот так большие! Гляди: ниже колен.

— Так ты вон какой! А я — маленький.

Ему через две недели стукнет четыре года.

— Пошли, Кирка, пошли.

— Не! Боюсь.

Я начинаю сердиться:

— Так ты, значит, трус?

— Да.

У меня от негодования даже дыхание перехватывает:

— Тогда ты не мой сын. Терпеть не могу трусов.

— Ну и не моги.

Он решительно уходит, чтобы развалиться на никритинской мохнатой простыне.

— Кирилл!

Ноль внимания.

Когда я злюсь, у меня светлеют глаза. Вероятно, сейчас они совсем белые.

— Что с тобой, Толя? — спрашивает мамаша, подставляя солнцу какую-то другую часть тела, по ее мнению, еще недостаточно прокопченную.

— Наш сын — трус.

— Не ерунди, пожалуйста. Он отчаянно храбрый. Кирка, иди с папой плавать.

— Не!

— Иди, иди.

— Боюсь.

— Что-о?

У мамыши чернеют глаза. У нее от злости они чернеют, а у меня, как сказано, белеют.

— Ступай к бабушке. Ступай. Варенье варить. Если ты девчонка, — приказывает мамаша.

Насупив брови, наш парень не спеша уходит. До меня доносится его бурчанье:

— Вот дураки! Мне же только четыре годика.

— Кирилл!

— Ну?..

Он уже унаследовал это любимое материнское словечко.

— Что ты сказал? Повтори!

— Ничего не сказал.

— Ложись!

— Вот вечно так, всегда: то уходи, то ложись, то плавай.

— Молчать!

Он покорно сжимает губы. А в его глазенках, очень похожих на никритинские, я с ужасом читаю упрямую мысль: «Вот дураки!»

До чего же он прав, по чести говоря. Теперь, на седьмом десятке, я понял, что природа не права. Родить должны бабушки. Отцами должны быть дедушки. Тогда, вероятно, наши дети были бы намного лучше воспитаны. Бабушки и дедушки философичней, терпеливей, мягче. Да и жизненного опыта у них побольше. На собственных молодых глупостях кое-чему научилась. А то рожают горячие девчонки. В воспитателях ходят почти сопливые мальчишки, ничего не смыслящие в этом трудном деле. Какой вздор!

Впрочем... куда ни кинь — все клин.

В тот же день на коктебельском пляже неподалеку от нас в палатке, сделанной из двух простынь, лежала какая-то бабушка. Она все время кричала:

— Яшенька!.. Яшенька!.. Яшенька!..

Мы с Никритиной готовы были ее удушить.

— Яшенька, надень на голову шапочку!.. Яшенька, помочи водичкой у себя под мышечками!.. Яшенька, смотри, не помочи ноги! — это когда ее внук подходил близко к морю.

Года через три в трамвае в Москве на Большой Дмитровке я опять услышал ее голос:

— Яшенька!.. Яшенька!.. Не прыгай с трамвая на ходу!

Трамвай прочно стоял на остановке.

Услышав: «Яшенька, Яшенька!», — я быстро обернулся. Ну конечно, это наша коктебельская беспокойная бабушка.

— Доброе здоровье, — сказал я приветливо.

— Разве вы меня знаете?

— Да. Три года тому назад мы с вами частенько лежали по соседству на коктебельском пляже. А сейчас я вас узнал по «Яшеньке». Что-то, слышу, родное, знакомое. Очень обрадовался.

Кудрявые волны грассируют у берега, как парижанки. Неподалеку от меня, поджариваясь на раскаленном песке, болтают две дамы.

— Вера Павловна, а кто в вашем вкусе: брюнеты, шатены или блондины?

— И те, и другие, и третьи, Мусенька!

Я очень люблю подслушивать пляжные разговоры. Особенно женские. Они психологичней, острее, язвительней, а порой и неприличней.

О брюнетах, шатенах и блондинах мечтают писательские жены — Вера Павловна и Муська. Так ее почему-то все называют. Даже те, которые с ней незнакомы. Вера Павловна, как говорят, «со следами былой красоты». Она крупная, длинная. Кожа у нее на сорокапятилетней жирной подкладке, в черных крашенных волосах эффектная седая прядь. Муська — маленькая, тощая. У нее пронзительные глазки, зеленые, как у злой кошки. Нос явно смертоносный. Он торчит между щек, как лезвие финского ножа.

Вера Павловна вытягивает длинные ноги, забрасывает руки за голову, потягивается и лепечет томным голосом:

— Ах, я хотела бы умереть молодой!

Муська немедленно отзывается:

— В таком случае, Вера Павловна, вы уже опоздали.

Через пятнадцать лет один небезызвестный поэт, кинув иронический взгляд на голый женский пляж, сказал со вздохом: «Тела давно минувших лет». На пляже, как и в дни нашей молодости, рядом лежали Муська и Вера Павловна. Только теперь под большими пляжными зонтами. Увы, они разговаривали не о блондинах, брюнетах и шатенах, а об инсультах, инфарктах и гипертонии.

Возвращаюсь к дням молодости.

Солнце осатанело. Это уже не солнце, а зажженная газовая конфорка.

— Папа!.. Папа!..

— Что тебе?

— Поучи меня плавать. Не хочу лежать. Поучи плавать.

— Лежи на брюхе и загорай, как дамочка.

Наш парень обиженно надувает губы:

— Не хочу, как дамочка.

— Вот как?

— Я не дамочка. Я мужчина.

— Что-то непохоже.

— Похоже! Неправда! — бурчит он через силу. — Неправда!

А на языке у парня, конечно, вертится: «Врешь! Врешь!»

Волны подросли.

Я осведомляю свое семейство:

— Пойду поплаваю.

— Сыпь, — говорит Никритина. — Только, пожалуйста, не заплывай далеко. Волны большие.

И она поворачивается на правый бок. Для идеального прокопчения приходится беспрерывно вертеться.

Мне нравилось плавать на крепких волнах. К тому же взрослые хуже детей. Еще непослушней.

На рейде стоит какой-то плюгавый буксир. Я заплываю за него.

Никритина взволнованно спрашивает:

— Кира, где папа?

— В море.

— Где в море? Я его не вижу.

— И я не вижу.

— Господи, он утонул!

— Конечно, утонул, — соглашается Кирка. — Куда ж ему больше деться. Пойдем, мама.

— Куда пойдем? Куда? Лежи спокойно!

— В будочку.

— В какую будочку? О чем ты говоришь?

— Я хочу сладкой водички с прыщиками.

Так наш парень называл газированную воду с сиропом.

И еще убежали годы.

Опять разговариваем на пляже. Разговариваем на вечную тему: в чем счастье?

Пыжова вытягивает руку. Полное впечатление, что у нее на ладони сидит маленькая птичка. Она нежно гладит ее. Пыжова была талантливой актрисой.

— Вот оно, это счастье, вот оно, и... нет его!

Ольга грустно смотрит вслед улетевшей птичке.

— По-моему, — философствует Никритина, — счастье в том, чтобы чувствовать себя нужной.

— Кому?

— Нужной в театре, нужной дома. Нужной Длинному, Кирке, моей маме. Словом, чувствовать себя нужной.

— Так! А ты, Кирка, что скажешь по этому поводу? — спрашивает Сарра Лебедева.

Подруги и летом встречаются.

— По какому?

— Да вот: в чем счастье?

Он, как Василий Иванович Качалов, подпирает рукой морденку, морщит лоб и переспрашивает:

— В чем счастье?

И с семилетней серьезностью отвечает:

— В хорошей жене.

Жорж Питоев частенько говорил о своей жене с загадочными глазами цвета ванильной полоски: «Людмила, ты моя рука, ты моя нога!»

Признаюсь, если б я не трусил плагиата, я бы тоже кое-когда заявлял: «Нюшка, ты моя рука, ты моя нога!»

Но в нашем доме относились к сентиментальности хуже, чем к гриппу. Поэтому Кирка ничего подобного никогда не слышал. Тем не менее он, очевидно, ощущал это: «Ты моя рука, ты моя нога!»

Вот и сказал: «Счастье в хорошей жене!»

Пожалуй, он был не очень далек от истины.

Парижане горячо спорили о Людмиле Питоевой. Одни уверяли: «Людмила — толстушка!», другие: «Да что вы — худенькая!» Потому что Питоева всегда играла до девятого месяца и одни видели ее на сцене брюхатой, другие — после родов. У этой замечательной актрисы было семеро детей: Саша, Жорж, Надя, Светлана, Варвара, Людмила и последняя — Нюшка. Названная так в честь Никритиной.

23

Не стало Есенина.

Я плакал в последний раз, когда умер отец. Это было более семи лет тому назад. И вот снова вспухшие красные веки. И снова негодую на жизнь.

Через пятьдесят минут Москва будет встречать Новый год.

Те же люди, которые только что со скорбным видом шли за гробом Есенина и драматически бросали черную горсть зем-

ли на сосновый ящик с его телом, опущенный на веревках в мерзлую яму, — те же люди сейчас прихорашиваются, вертятся перед зеркалами, пудрятся, душатся и нервничают, завязывая галстуки. А через пятьдесят минут, то есть ровно в полночь, они будут восклицать, чокаясь шампанским: «С Новым годом! С новым счастьем!»

Я говорю Никритиной:

— Невероятно!

Она поднимает руки, уроненные на колени, и кладет их на стол, как две тяжелые книги.

— Да нет. Это жизнь, Толя.

Вспоминаю.

В детской тишина. Старушка, напуганная своей нележкой судьбой, и ребенок, оставшийся некрещеным, — оба спят одинаковым сном — мирным и сладким.

Шипят новогодние примусы на кухне.

За окном — синее небо, золотые звезды, редкие белые хлопья. Именно так плохие художники рисуют новогоднюю ночь.

Комната своим вторым, стеклянным глазом смотрит в чужую жизнь, то есть в чужое незанавешенное окно. Обычное дело! Из оливковой шторы еще до нэпа сшили отцу семейства роскошный френч, а трехлетней дочурке — хорошенькую шубку, капор и варежки. Их перекидывали на тесемке через шейку, тоненькую, как стебель василька.

Мы с Никритиной, сидя на своей неперсидской тахте, перебираем фотографии. Есенин на них молодой, задорный, насмешливый, легковолосый.

Вспоминаем:

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Потом долго молчим и рассеянно смотрим в чужую жизнь.

Через оконные стекла чужие жизни кажутся счастливыми и спокойными. Вот молодая мать с нежностью закутывает старым байковым одеялом крохотные голые ножки.

— Как ты думаешь, Ньюша, — спрашиваю я, — почему эта очаровательная женщина не встречает Новый год?

— Вероятно, не на кого оставить дочурку.

— А где ее муж в оливковом френче?

— Бог его знает.

Тогда мне в голову приходит грустная мысль, что эта чужая жизнь не такая уж спокойная и счастливая.

Опять молчим. Я барабаню ногтем о стену, аккомпанируя своим невеселым мыслям.

— Ты читала, Ньюша, о последних минутах поэта Хомякова?

— Нет.

— Он лежал на постели, вытянувшийся, сосредоточенный. В спальню входит его сосед по имению и спрашивает: «Алексей Степанович, что с вами?» — «Да ничего особенного... приходится умирать», — спокойно отвечает Хомяков.

— Русская смерть, Толя.

— Пожалуй. Но много ли русских умирает этой русской смертью?

Вдруг четыре звонка.

— К нам, Ньюша.

— Да нет. Кто-то обсчитался, нажимая кнопку.

И опять четыре звонка.

Я иду отпирать.

— Саррушка...

Лебедева будто не замечает моего удивления.

— Я, ребята, пришла к вам встречать Новый год, — говорит она совсем просто и слегка в нос. — А где Ньюшка?

— Там.

— Здорова?

— Да.

— Очень хорошо.

И легонько, неторопливо шагает по коридору, носками врозь и чуть по-спортивному переваливаясь с боку на бок.

Через пятнадцать лет в поэме военного времени я уже писал иначе:

«Ну, по домам!..»

И Сарра встала.

Идет походкою Второй Екатерины.

И совсем по-иному пришлось бы писать об этом в 1960 году, когда эта «царь-баба», эта «погибель мужского рода» передвигается по ровным московским тротуарам, опираясь на крепкую палку с резиновым наконечником.

Бабушка у Лебедевой казацкого донского рода. Она не знала грамоты и была яркой антисемиткой. А отец был тонким интеллигентом. В назидание своей мамаше он и назвал дочку Саррой. В православных святцах имеется это имя. В переводе на русский — «знатная».

— Здравствуй, Нюшенька.

— Здравствуй, Саррушка.

Поцеловавшись, Лебедева ставит на стол новогоднюю бутылку шампанского, не оскорбительного для нас, потому что Саррушка — наш друг. Она по-хорошему любит поэзию, любит стихи Есенина. Его смерть для нее не просто смерть знакомого человека, которого читающая Россия знает как знаменитого поэта, а Европа и Америка — как молодого мужа Айседоры Дункан.

Ровно в двенадцать мы чокнулись, но не сказали друг другу: «С новым счастьем»...

А потом часов до пяти:

— Вы помните, Нюша...

— Вы помните, Саррушка...

— Вы помните, Толя...

— Вы помните...

— Вы помните...

Покойный Сергей Есенин этот Новый год встречал с нами в своем Богословском переулке, где и в самом деле — каждая собака знала его легкую походку.

Сотни людей спрашивали меня: «Почему он сделал это?». В конце концов я сказал себе: «По-видимому, я должен ответить. Во всяком случае, попытаться ответить».

И вот пытаюсь.

Есенин мог потерять и терял все. Последнего друга, и любимую женщину, и шапку с головы, и голову в винном угаре — только не стихи!

Стихи были биением его сердца, его дыханием.

Вспомните, сколько считанных минут он жил после того, как написал кровью свои последние строчки:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова.
Не грусти и не печаль бровей.
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Он написал это стихотворение неторопливо, своим обычным округлым почерком, заставляя жить отдельно, словно похолостячки, каждую букву.

Ему пришлось обмакнуть ржавое гостиничное перо в собственную кровь. В этом не было ни дурной позы, ни дешевой мелодрамы. Просто-напросто горькая необходимость: в многочисленных карманах пиджака, как на грех, не оказалось карандаша, а в стеклянной чернильнице высохли чернила, как это обычно бывает в первоклассных отелях.

Где-то, когда-то мне довелось прочесть биографию шотландской принцессы XV века. Если память не изменяет, ее звали Маргаритой.

Умирая, принцесса сказала:

— Плевать на жизнь!

Ей было девятнадцать лет.

Никто не слышал последних слов Есенина. Да и вряд ли в унылом номере петербургской гостиницы «Англетер» в последнюю минуту он разговаривал сам с собой. Этой дурной театральной привычки я никогда не замечал за ним. Но с 1923 года, то есть после возвращения из свадебного заграничного путешествия, весь смысл его существования был тот же, что и у шотландской принцессы:

— Плевать на жизнь!

В начале 20-х годов как-то в «Стойло Пегаса» пришли три девушки. Совсем юные.

У хорошенькой, глазастой Гали Бениславской тогда еще были косы — галочьего цвета. Длинные, пушистые, с небольшими бантиками. Крепенькие ноги в черных хромовых башмаках с пуговицами.

Мы говорили: «Пришла Галя в мальчиковых башмаках». Или: «Пришла Галя в бабушкиных чулочках!»

Они были в крупную вязку, теплые, толстые и тоже черные. Двух других девушек мы ласково называли «мордovorотиками».

После возвращения Есенина из Америки Галя стала для него самым близким человеком: возлюбленной, другом, нянькой. Нянькой в самом высоком, благородном и красивом смысле этого слова, почти для каждого из нас дорогого по далекому детству, а в войну взрослые, измученные люди переделали няню в «нянечку».

Я, пожалуй, не встречал в жизни большего, чем у Гали, самопожертвования, большей преданности, небрезгливости и, конечно, любви.

Она отдала Есенину всю себя, ничего для себя не требуя. И уж если говорить правду — не получая.

Хочется привести несколько кусочков из писем Есенина:

Галя, милая.

Простите за все неуклюжества.

8/IX — 23

Галя, милая!

Простите, что обманул.

Дня я еще не видел. Какой он есть.

Думаю, что не смогу поехать с вами.

Немного разбит настроением физически.

(Без даты)

Галя, милая! Я очень люблю Вас и очень дорожу Вами. *Дорожу Вами очень*, поэтому не поймите отъезд мой как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия. Галя, милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного...

Привет Вам и любовь моя!

Правда, это гораздо лучше и больше, чем чувствую к женщинам.

15 апреля 1924

О печатании собрания:

...издайте по берлинскому тому... Этого собрания я желаю до нервных вздрагиваний. Вдруг помрешь — сделают все не так, как надо.

29 октября 1924

Галя, голубушка!.. может быть, в мире все мираж, и мы только кажемся друг другу.

Ради Бога, не будьте миражем Вы. Это моя последняя ставка и самая глубокая.

20 декабря 1924

Милая Галя! Вы мне близки как друг, но я вас несколько не люблю как женщину.

21/III — 25

После очередного консилиума:

Мне запрещено пить. С легкими действительно что-то неладно... После выправки жизнь меняю.

11 — 12 мая 1925

Записка мне:

Дорогой Анатолий!.. Галя — моя жена.

Сергей

В это время его женой была Софья Андреевна Толстая, внучка Льва Николаевича, до немыслимости похожая на своего деда. Только лысины да седой борода и не хватало.

Впервые я с ней встретился в вестибюле гостиницы «Москва». Взглянул и решил:

— Да ведь это Софья Андреевна! Жена Сережи.

Узнал ее по портретам Льва Николаевича.

А когда-то Есенин хотел жениться на дочери Шалаяпина, рыженькой, веснушчатой дурнушке.

Потом — Айседора Дункан.

И все для биографии.

Есенин — Шалаяпина!

Есенин — Дункан!

Есенин — Толстая!

Кого же любил Есенин?

Больше всех он ненавидел Зинаиду Райх.

Вот ее, эту женщину, с лицом белым и круглым, как тарелка, эту женщину, которую он ненавидел больше всех в жизни, ее — единственную — и любил.

Зинаида сказала Есенину, что он у нее первый. И соврала. Этого Есенин никогда не мог простить ей. Не мог по-мушкетерски, по темной крови, а не по мысли.

— Зачем соврала, гадина?!

И судорога сводила лицо, глаза багровели, руки сжимались в кулаки.

В стихотворении «Собаке Качалова» написано:

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку,
За все, в чем был и не был виноват.

Я убежден, что это относится к Зинаиде Райх.

Мне кажется, что и у нее другой любви не было. Помани ее Есенин пальцем, она бы от Мейерхольда убежала без резинового плаща и без зонтика в дождь и в град.

В последние месяцы своего трагического существования Есенин бывал человеком не больше одного часа в сутки.

От первой, утренней, рюмки уже темнело его сознание.

А за первой, как железное правило, шли — вторая, третья, четвертая, пятая...

Время от времени Есенина клали в больницу, где самые знаменитые врачи лечили его самыми новейшими способами. Они помогали так же мало, как и самые старейшие способы, которыми тоже пытались его лечить.

Седовласый профессор в длинном белом халате, роскошно сидящем на его мощной фигуре, самолично подмешивал в есенинскую стопку какую-то сверхтошнотворную пакость из пакостей:

— Прошу, сударь, выпейте за мое здоровье. Сегодня мне, с вашего разрешения, семьдесят восемь стукнуло.

Есенин пил. Морщился. Но не больше, чем от старого мартелевского коньяка.

И профессор растерянно поправлял на носу золотые очки:

— Нда-с... великолепно-с!..

И, махнув рукой, большими шагами выходил из палаты, боясь оглянуться на свою белохалатную свиту.

В медицину, друзья мои, надобно верить не задумываясь, так же, как в Бога.

Одного угрюмого актера бывшего Александринского театра спросила хорошенькая дамочка:

— Николай Степанович, вы здоровый человек?

— Вскрытие это покажет, — ответил угрюмый актер.

Может быть, именно так надо верить в медицину.

Свои замечательные стихи 1925 года Есенин писал в тот единственный час, когда был человеком. Он писал их почти без помарок. Тем не менее они были безукоризненны даже по форме, более изощренной, чем когда-либо. Я говорю — изощренной, понимая под этим лиричность, точность, предельную простоту при своеобразии. Это было подлинное чудо! В молодые добрые времена он никогда не работал легко и быстро. С лирическим стихотворением, зачавшимся в голове, любил «побродить и переспать ночью».

Мне говорил:

— В корове, Толя, молоко не прокиснет!

А когда к нему приставал с вопросом какой-нибудь критик:

— Сергей Александрович, дорогой, расскажите, пожалуйста, как вы пишете?

— Как пишу? — переспрашивал Есенин. — Да вот, присяду на полчаса к столу перед обедом и напишу стишка три-четыре.

И хохотал тому в спину:

— Зачем дураку знать, что стихи писать, как землю пахать: семи потов мало.

Великий философ Сковорода говорил: «Всякий человек имеет цель в жизни, но не всякий — главную цель».

У Есенина была — главная.

К концу 1925 года решение «уйти» стало у него маниакальным. Он ложился под колеса дачного поезда, пытался выброситься из окна, перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом.

А накануне Есенин был у Николая Клюева.

Среди теплеющихся лампадок читал стихи своему «старшему брату» в поэзии.

Клюев сидел на некрашеной дубовой лавке под иконой Миколаы Чудотворца старого новгородского письма.

— Ну как? — тихо спросил Есенин. — Стихи-то?

Старшой брат троекратно облобызал его:

— Чувствительные, Сереженька. Чувствительные стихи. Их бы на веленовой бумаге напечатать, с виньеточками: амурчики, голубки, лиры. И в сафьян переплесть. Или в парчу. И чтоб с золотым обрезом. Для замоскворецких барышень. Они небось и сейчас по Ордынке да на Пятницкой проживают. Помнишь, как Надсона-то переплетали? А потом — Северянина Игоря, короля поэтов. Вот бы, Сереженька, и твои стихи переплесть так же.

После этих слов Есенин заплакал.

Это была его последняя встреча. Рассказал мне про нее один петербургский поэт, бывший при этом.

На литературном вечере в Вятке мне из публики бросили записку: «Товарищ Мариенгоф, скажите — поэтами рождаются или делаются?»

Я скаламбурил:

— Сначала делаются, а потом рождаются.

Так вот: Есенин поэтом родился и поэтом умер.

Достоевский в «Дневнике писателя» рассказывает о двух самоубийствах.

Дочь Александра Ивановича Герцена от Огаревой-Тучковой «намочила вату хлороформом, обвязала себе этим лицо и легла на кровать... Так и умерла». Ей было семнадцать лет. Перед смертью она написала следующую записку:

Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых с бокалами Клико. А если удастся, то прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедаясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землей. *Очень даже не шикарно выйдет!*

Это уж совсем по-одесски.

«Значит, — заключает Достоевский, — умерла от холодного мрака и скуки».

Понимай: умерла без Бога в душе.

И вправду, какой уж тут Бог, если в последней записке стоит: «Очень даже *не шикарно* выйдет». Да еще про шампанское разговор: отпразднуйте, значит, «с бокалами Клико».

А вот другое самоубийство: «Выбросилась из окна, из чет-

вертого этажа, одна бедная молодая девушка... Выбросилась она и упала на землю, держа в руках образ».

Достоевский пишет: «Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто стало нельзя жить... и умерла, помолвившись».

Умерла, значит, с Богом в душе.

Вы помните есенинское:

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать,
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

А вот это стихотворение для умного Есенина было чистой литературой. Чистейшей! Даже в свою последнюю здешнюю минуту он не вспомнил Бога. А все многочисленные Иисусы в есенинских стихах и поэмах, эти Богородицы, «скликающие в рай телят», эти иконы над смертным ложем существовали для него не больше, чем для Пушкина — Аполлоны, Юпитеры и Авроры.

Мы часто повторяем вслед за Достоевским: «Человек с Богом в душе», «Человек без Бога в душе». В этом смысле у Есенина, разумеется, бог существовал. Но не христианский, не православный, а земной, человеческий, наш. Имя его — поэзия. С этим единым богом Есенин и прожил всю свою мыслящую жизнь.

Есенинская трагедия чрезвычайно проста. Врачи это называли «клиникой». Он и сам в «Черном человеке» сказал откровенно:

Осыпает мозги алкоголь.

Вот проклятый алкоголь и осыпал мозги, осыпал жизнь.

Возникают в памяти бунинские строчки:

Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.

Ах, Сережа, Сережа, почему же ты не попросил ее, этой легкой смерти? Но у кого просить-то было?

После декабря 1926 года, то есть без малого через двенадцать месяцев после смерти Есенина, Галя Бениславская несколько раз приходила к нам на Богословский. Обычно под вечер. То одна придет, то с Катей — сестрой Есенина.

Всякий раз Галечка была милой, тихой, собранной. Без трагической маски на очень похудевшем лице. Изредка даже улыбалась. Но улыбка казалась какой-то извиняющейся: «А я вот все-таки улыбаюсь».

Свое предсмертное письмо, как мне передавали, Галя написала на папиросной коробке. Может быть, это и неправда. Я читал его в музейной копии. «В этой могиле для меня все самое дорогое...» — написала она.

Курила Галя по-мужски, глубоко затягиваясь и выпуская дым из носа.

Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, — стояло в конце письма, — значит, даже тогда я не жалела.

Если жаль — заброшу ее далеко.

Одна осечка.

К сожалению, я не знаю, воткнула ли она финку в могилу или забросила ее далеко.

Уж лучше бы воткнула.

Стрелялась Галя из хлявенького револьверишки — из «бульдога».

Не без мысли о Достоевском мне хочется рассказать еще об одном самоубийстве.

Это было в Ленинграде почти перед самой войной с Гитлером. Щупленький рябой маляр лет двадцати восьми из ревности убил свою жену. Ему дали восемь лет. Он их добросовестно просидел. А в первый же день, как выпустили, пошел на Волково кладбище, где она была похоронена, и повесился на толстом суку возле ее креста.

Я навестил их могилы. Там, рядом, положили и его — этого русского Ромео, нашего современника, щупленького рябого маляра.

Не верят в большую любовь только болваны, важно считающие себя скептиками. Во все времена их было больше, чем надо.

Внутренне художнически поругавшись с Таировым, Никритина бросила его Камерный театр и перешла в ленинградский Большой драматический, что на Фонтанке.

Таким образом, мы стали жителями города без синего неба, но с белыми ночами. Города туманов и дождей. Дождей июльских и декабрьских. Города каналов, канавок, мостиков и мостов с золотыми львами, держащими в зубах золотые цепи. Города проспектов, прямых, как чертежная линейка, и площадей, справедливо называющихся полями.

Из года в год, со скучным постоянством, мы уезжали на летние месяцы в Коктебель.

— Это то место, — говорил Кирка, — куда мы каждый год собираемся не ехать.

Он был прав.

До июня наше семейство обычно шумело:

— Нет, ни за что! К Богу! С Коктебелем покончено! Надоел!

Впоследствии это мудрое решение покончить с Коктебелем наш парень поддержал античной мудростью. Он сказал:

— Обжора Лукулл изрек: «Неужели у меня меньше ума, чем у журавля или аиста? Нет, я не намерен постоянно жить на одном месте!»

У Кирки была редкая память.

Я похлопал его по плечу:

— Ты, брат, умеешь цитировать. Итак: улетим из Коктебеля, как журавли и аисты.

— На Новый Афон или в Гагры, — предложила Никритина.

— Великолепно! Поищем, мамочка, новые земли. Как Христофор Колумб.

— Ты все остришь?

— Пытаюсь.

А в июне дьявол привычки опять заговорил во мне:

— Как ни вертись, друзья мои, но Коктебель — самое лучшее место на этом комочке грязи. Какой пляж! Какое море! Какие фиолетовые горы!

— А какая Вера Павловна! Какая Муська! — добавил Кирка.

И мы отправлялись туда в восьмой раз.

Вопросы воспитания начали меня терзать еще до рождения наследника.

Я считал, что отец должен являться высоким и непререкаемым авторитетом для своего сына. А для этого отец обязан лучше сына играть в шахматы, в теннис, в волейбол. Лучше плавать и грести, знать почти все на свете, чтобы на любой вопрос, на любое «почему?» отвечать точно и обстоятельно. Бог ты мой, сколько этих мучительных «почему?» у наших ребят!

А случилось так: уже в шестнадцать лет Кирка лучше меня играл в шахматы, лучше в теннис. Он был первой ракеткой «по юношам» ленинградского «Динамо». Лучше плавал и прочел уйму стоящих книг. Хорошо говорил по-французски, по-немецки и читал со своей англичанкой «Таймс».

Однажды на пляже Никритина невольно подслушала разговор Веры Павловны с Муськой.

— Мариенгофы, — выпалила Муська, — интересные люди. Но самый интересный из этой троицы, безусловно, Кирка.

Когда Муська что-нибудь выпаливала, рот у нее делался круглым и черным, как дуло охотничьего ружья.

Несмотря на все обожание своего парня, мы оба, признаюсь, не на шутку огорчились такой аттестацией.

— Вот негодяйка! — сказал я про Муську.

— Просто язва и мелкая дрянь! — отчеканила моя половинка (порой я даже называл ее «трехчетвертинкой»).

— Вероятно, Муська заметила, что ты подслушиваешь, и захотела вонзить, — утешил я.

А в глубине души мы оба скорбно, но с гордостью решили, что Кирка действительно интересней нас.

Ах, товарищи, никогда не надо подслушивать. Особенно, если судачат о вас. Ведь за спиной говорят правду! Еще на такое нарвешься, что будет тошно на земле жить.

Борис Михайлович Эйхенбаум, лучший из лучших литературоведов, как-то признался, что, когда он бывает у нас в доме, у него язык прилипает к горлу от скептического и снисходительного взгляда Кирки. Но внешне парень всегда вел себя чрезвычайно вежливо. Особенно с Эйхенбаумом!

— В таком случае, — сказал я, — будем гнать в три шея этого желторотого скептика. Гнать вон из моего кабинета.

— Нет, нет! — возразил старый Эйх. — Ведь мужчина он интересный!

— Вот как? Не поинтересней ли нас с Ньюшкой? — огрызнулся я.

— Молодое племя всегда интересней, — невозмутимо ответил правдивый профессор.

— Мерси!

Мальчонок, не в пример мне, был книжником. В короткий срок он собрал порядочную библиотеку иностранных и русских историков и классиков.

Лично у меня никакой библиотеки не было. Увлекаясь историей и античной философией, я говорил, что закупить столько книг, как в Публичной, я не могу, а меньше меня не устраивает.

На пляже и в море, заплывая «к чертовой бабушке», мы с Киркой вели горячие литературные споры.

Он очень любил старых французов — Мольера, Беранже. Без ума был от Пруста, Джойса и Хемингуэя. В шестнадцать лет! И души не чаял в Пушкине. Вот трогательный случай. В комнате у Кирки на самом почетном месте висела пушкинская маска. Как-то я зашел к нему без стука. Это было не в моих правилах. Батюшки! — малыш, стоя на табуретке, с томиком поэта в руке, страстно целовал Александра Сергеевича в холодный гипсовый лоб.

Закатный час. Море гладкое и золотистое, как хорошо отполированный стол из карельской березы.

Мы плывем в Лягушачью бухту. Это не близкий свет.

— Кирилл Анатольевич, кем, собственно, вы собираетесь в жизни быть?

— Еще не знаю, Анатолий Борисович.

— Пора подумать.

— Пора.

А он уже подумал. Давно подумал.

Когда тот же вопрос, шутя, я ему задал лет десять тому назад, он не задумываясь ответил: «Писателем!»

— Читать книги, — говорю я, — хорошее дело. Но ведь это не профессия. Читатель — это не профессия.

— Конечно... Ты, папа, не устал плыть?

— Я, нахал, устану через два часа после тебя.

— Это верно, — отвечает он, не моргнув глазом.

И тут же переходит с отдохновенной спинки на буйный кроль.

— Кирка! Кирка! — кричу я ему вдогонку. — Куда тебя черт несет?

Мы крепко дружили.

Ленинград. Полдень. Звонит телефон. Подхожу.

— Киру можно?

— Кто говорит?

— Рокфеллер.

— Здорово, Рокфеллер! Откуда ты звонишь?

— Из школы.

— Кирки дома нет. Я, видишь ли, полагал, что он сейчас сидит на уроке и читает из-под парты Плутарха.

«Миллиардер» растерянно посапывает в телефонную трубку. Засыпал, бедняга, своего лучшего друга. Дело ясное: Кирка «мотает» сегодняшние уроки.

«Миллиардер» — славный, рослый паренек. На локтях, коленках и на «мадам Сижу» у него аккуратнейшие заплаты. Кисти рук далеко убежали из рукавов, а штаны выше щиколоток. Как будто он всегда носит костюмы младшего брата. Кирка прозвал его Рокфеллером.

Около трех часов с нижней площадки парадной лестницы до меня доносится веселая песенка. С ней ежедневно Кирка возвращается из школы, которую терпеть не может. В отца пошел. Хотя перескакивает парень из класса в класс на круглых пятерках. Не в отца!

— Здорово, папка!

— Здорово... Что новенького в школе? — спрашиваю я с откровенным коварством.

Он, потупившись, молчит.

— «Мотаешь» уроки, Кирка?

— Да.

— Где же изволил шляться весь день? Погодка-то не очень хороша для прогулок с девушкой по Летнему саду?

Он молча кладет на стол надорванный билет в Эрмитаж.

— Четыре часа осматривал Эрмитаж?

— А разве это много для Эрмитажа?

— Который же это раз?

— Одиннадцатый.

— Ого!

— А разве это много для Эрмитажа? — повторяет он свою фразу, для меня довольно убедительную.

Поэтому я не читаю ему морали. Мне вспоминаются собственные школьные годы. Разве я не «мотал»? Еще как! Да и по причинам не столь высоким.

Кирка очень любит живопись. Вкус у него неплохой. Он в восторге от художников итальянского Возрождения. От Гойи, от ранних немецких примитивистов, от Рембрандта. А из русских — от Боровиковского, Кипренского, Федотова, Тропинина. Главным образом за его портрет Пушкина, который на самом почетном месте висит у Кирки в комнате. Без ума и от французов с конца XIX века — Ренуара, Мане, Гогена, Матисса... Знает он их по московскому Музею западной живописи и по хорошим заграничным монографиям, которые с азартом собирал художник Владимир Васильевич Лебедев, друживший с нашим домом. Кирка не раз напрашивался к нему в гости.

За обедом разговариваем миролюбиво. Плохие мы родители — не перетапливаем поклонника Леонардо да Винчи и Пикассо, как этого требует директор Киркиной школы.

— Папа, ты сегодня весь вечер дома?

— Да.

— А у тебя, мамка, есть спектакль?

— Нет.

— А концерт?

— И концерта нет.

— И не репетируешь?

— Нет.

— Значит, тоже дома?

— Конечно.

— И гостей у нас не будет?

— Не ждем.

Кирка, сверкая радостно глазами, кричит:

— Шура!.. Шура!..

Входит домработница.

— Шура, приказ верховного командования...

— Это ты командир-то?

— Допустим.

— Командуй.

— Кто бы мне ни звонил по телефону...

— Так.
— Или у парадной двери...
— Тебя, что ли, весь вечер не будет дома?
— Шура, ты великий психолог! Мои мысли читаешь на расстоянии.

- А если Рокфеллер позвонит?
- И для миллиардера сегодня нет меня дома!
- И меня, Шурочка, тоже.
- Хорошо, Анатолий Борисович.
- И меня! — охотно присоединяется к нам Никритина.
- Хорошо, Анна Борисовна.

Кирка обвивает ручонками шею матери и горячо, с благодарностью, целует ее. Потом меня — в щеки, в нос, в лоб.

— А когда, папка, у тебя засверкает лысина, я буду и в нее целовать.

— Не придется.

— Ой, не храбрись, старый денди!

Теперь лысина есть, но уже некому целовать в нее.

Таких вечеров, когда за вечерним столом оказывались мы втроем и шумно разговаривали обо всем на свете, — начиная с Плутарха и кончая Джойсом, — не слишком много у нас бывало.

Почему?

Не знаю.

Сегодня мне бесконечно горько от этого. Вечера втроем, пожалуй, были самыми интересными.

Конец тридцать девятого года. Кирка у кого-то купил за пять целковых кавалергардский панцирь из чистой меди.

— Зачем он тебе?

— Это история, папа!

Через несколько дней я ненароком захожу в спальню. Перед большим зеркалом Кирка, любуясь собой, важно произносит слова Помпея:

— «Перестанете ли вы читать законы нам, перепоясанным мечом?..»

Я соображаю: это, вероятно, из его любимого Плутарха. На Кирке «исторический» панцирь, до блеска начищенный зубным порошком, у пояса — сломанная рапира, которой мы разгребали угли в камине. На голове — чалма из мохнатого полотенца с воткнутым в нее фазаньим пером. А с плеч сви-

сает, как рыцарский плащ, мой белый рваный купальный халат, купленный в Париже лет десять тому назад.

Правая бровь у паренька гордо вскинута «под Качалова». Лихие гусарские усы намалеваны жженой пробкой.

— «Воюйте с парфянами, но живите в мире со своей возлюбленной...» — опять величаво цитирует Кирка какого-то древнего автора.

Я на цыпочках выхожу из комнаты.

— Что с тобой? Что тебя развеселило? — спрашивает Никритина.

Она работала в моем кабинете над новой ролью.

Я рассказываю, что происходит в спальне, какой прелестный театр для себя разыгрывает наш парень, презирующий актерскую профессию.

— Да, это удивительно! — И она разводит руками. — А после обеда, когда ты спал, он разговаривал со мной о Великой французской революции. Признаюсь, я была поражена. До чего ж это было интересно. Рассуждал, как эрудированный историк. И о Марате, и о Робеспьере. Кирку устраивает, что тот предпочитал «бури свободы — спокойствию рабства». Андре Шенье он называл французским белогвардейцем. Однако согласен с ним, что «ветер революции тушит факел поэзии». Спорили, сцепились. Про художника Давида Кирка кричал: «Гений! Гений!»

Я усмехнулся:

— Юноши и старцы любят это противное слово.

— А я посмела не согласиться с поросенком. И сказала: «Давид плохой художник: сухой, риторический».

— Конечно.

— Ох и попало мне! Состоялась дискуссия на уровне нашей Академии художеств. А через какие-то два часа твой рассказ об этом панцире и гусарских усах... Ребенок! Сущий ребенок! Удивительно.

Ночью к бюро, за которым я ковырялся в рукописи, подошел Кирка. Темным глазом он взглянул на мою шею, трудолюбиво согнутую над страницей, измаранной вдоль и поперек:

— Все пишешь и пишешь? До чего же ты наивен, папа! Ужасно наивен.

Я положил карандаш, который не выпускал из руки часа четыре. На указательном пальце даже остался желобок. Положил карандаш и вопросительно посмотрел на своего малыша.

Верней, на того человека, который мне все еще казался малышом.

— Неужели, папа, ты не понимаешь, что при НЕМ писать нельзя? Что при НЕМ настоящей литературы быть не может. Что...

— Тс-с-с-с!

И я прижал к губам палец с желобком от карандаша.

— Вот-вот! — насмешливо сказал Кирка. — Твой палец на губах, палец с желобком от карандаша, лучшее доказательство того, что я изрек истину.

И, важно развалившись в кресле, он усмехнулся:

— Литература с пальцем на губах! Ха! Какой вздор!.. Кончай-ка, папа, безнадежное дело.

Малыш называл те сталинские годы «эпохой непросвещенного абсолютизма».

А вот другой зимний вечер. Я, как заведено, трудолюбиво гну шею над рукописью.

Из спальни выходит Никритина:

— Работай, работай.

И, плотно прикрыв за собой дверь, направляется к креслу. Голова у нее туго перевязана белой салфеткой.

— Две фразы сказать можно? Только две.

— Валяй. Но не больше.

— Понимаешь, я приняла пирамидон и прилегла. А у Кирки, как всегда, полна комната ребят. Хохочут, галдят. Наш парень, конечно, гремит стихами, как на Марсовом поле. А у меня башка разламывается. Вечером репетиция.

Я подсчитываю в уме: третья фраза, четвертая, пятая, шестая. И с удовольствием прячу в стол рукопись. Разговаривать о Кирке гораздо увлекательней, чем писать историческую комедию. Многие тогда пытались убежать в историю.

Никритина продолжает свои «две фразы»:

— Мне очень хотелось крикнуть: «Ребята, потише! Я пирамидон приняла...» Да только душа не позволила scomандовать. Ведь так веселятся на этом свете не больно долго. Правда?

— Правда.

Она еще туже затягивает салфетку на лбу.

— Так вот... — И ее мысль прыгает чисто по-женски в дру-

гую сторону: — В детстве я до изнеможения уставала от собственного темперамента. И Кирка устает. У него бледная, похуевшая морденка. Устал от самого себя.

Когда Кирка бывал дома, вся наша квартира действительно гремела и сотрясалась. И я тоже не возражал. Во-первых, потому, что это не мешало мне марать бумагу, а во-вторых, я считал, что Никритина права: не так уж мы долго веселимся на этом свете. Да! Как собаки и кошки, то есть пока они щенки и котята.

— Сегодня Кирка меня спросил: «Тебе известно, папа, что было написано на золотой вывеске над шекспировским театром “Глобус”?» — «Нет, не известно». Паренек важно поднял палец вверх и произнес: «Весь мир лицедействует». И заключил: «Над вашим сталинским Союзом писателей я воодрузил бы такую же вывеску. Предложи, папа».

— Это возмутительно! — всерьез возмутилась мамаша. — В конце концов Кирку посадят.

— При Сталине это не исключено, — хмуро согласился я.

26

9 апреля 1930 года.

Маяковский вышел на эстраду с температурой около 38°.

И глотать было больно, и слезились воспаленные глаза, и сморкался он каждые пять минут в клетчатый носовой платок размером в добрую старинную салфетку.

В зале сидели студенты Института народного хозяйства имени Плеханова, что помещался на Стремянном.

Они не встретили Маяковского хлопками, как всегда встречали теноров и певиц из Большого театра.

Искося из-под бровей взглянув на студентов своими тяжелыми воспаленными глазами, Маяковский сказал:

— У меня грипп, болит горло, трещит башка. Очень хотелось поваляться дома. Но потом я подумал: «Чего только не случается на свете с человеком. Иногда он даже умирает. А вдруг и я отправлюсь, как писал, — «в мир иной».

Пустота...

Летите,

в звезды врезываясь.

Ни тебе аванса,
ни пивной...

Эта мрачная шутка студентами не принялась.

Маяковский закинул голову:

— А вот, товарищи, вы всю жизнь охать будете: «При нас-де жил гениальный поэт Маяковский, а мы, бедные, никогда не слышали, как он свои замечательные стихи читал». И мне, товарищи, стало очень вас жаль...

Кто-то крикнул:

— Напрасно! Мы не собираемся охать.

Зал истоиво захохотал.

— Как вам не совестно, товарищи! — истерически пропищала чернявенькая девушка, что стояла у стены слева.

— Мне что-то разговаривать с вами больше не хочется. Буду сегодня только стихи читать.

И объявил:

— «Во весь голос».

— Валяй!

— Тихо-о-о! — скомандовал Маяковский.

И стал хрипло читать:

Уважаемые

товарищи потомки!

Роясь

в сегодняшнем

окаменевшем говне,

Наших дней изучая потемки,

вы,

возможно,

спросите и обо мне...

— Правильно! В этом случае обязательно спросим! — кинул реплику другой голос, хилый, визгливый, но тоже мужской.

Маяковский славился остротой и находчивостью в полемике. Но тут, казалось, ему не захотелось быть находчивым и острым.

Еще больше нахмурия брови, он продолжал:

Профессор,
 снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
 о времени
 и о себе.
Я, ассенизатор
 и водовоз...

— Правильно! Ассенизатор!

Маяковский выпятил грудь, боево, по старой привычке, засунул руки в карманы, но читать стал суше, монотонней, быстрее.

В рядах переговаривались.

Кто-то похрапывал, притворяясь спящим.

А когда Маяковский произнес: «Умри, мой стих...» — толстощекий студент с бородкой нагло гаркнул:

— Уже подход! Подход!

Так прошел в Институте имени Плеханова последний литературный вечер Маяковского. На нем была моя сестра. Домой она вернулась растерянная, огорченная.

Еще драматичнее было после премьеры «Клопа» у Мейерхольда. Жидкие аплодисменты. Актеры разбежались по уборным, чтобы спрятаться от Маяковского. Шныряли взглядами те, кто попадался ему на глаза. Напряженные, кисло-сладкие улыбки. От них и со стороны тошнило.

Словом, раскрылась обычная картина неуспеха.

А у Маяковского дома уже был накрыт длинный стол «на сорок персон», как говорят лакеи.

Явилось же пять человек.

Среди них случайно оказалась актриса Художественного театра Ангелина Осиповна Степанова.

Ее увидел Маяковский в вестибюле и пригласил:

— Поедем ко мне выпить коньячку.

Отказаться было неловко.

За ужином он сидел во главе пустынного стола. Сидел и мрачно острил. Старался острить.

Непригодившиеся тридцать пять приборов были, как покойники.

Встретив на другой день Николая Эрдмана, Ангелина Осиповна сказала ему:

— Это было очень страшно.

— Да. Вероятно. Не хотел бы я очутиться на вашем месте. И на его тоже. На его и подавно.

Вот и не очень-то я удивился, когда узнал, что Маяковский выстрелил себе в сердце. Это не было для меня громом среди ясного неба. Какое уж там ясное!

В комнату вбежал Эмиль Кроткий. Он сжимал в кулачке обрывок корректурного листа.

— Вот!.. Вот!.. — задыхался сатирический поэт. — Вот!..

На обратной стороне грубой шершавой бумаги было что-то нацарапано карандашом.

— Заправь галстук за жилетку, Эмиль. И садись за стол. Суп мы уже съели. Начинай с котлет! — с деланной строгостью сказала жена Кроткого — Лика Стырская.

Росточка они оба были самого незначительного. Одинаковые. Ровненькие! Только он — в чем душа держится, а она — толстенная. Описывать их возможно словами уменьшительными, которые я не люблю. Но тут уж ничего не поделаешь.

— Эмиль, садись кушать котлеты, а то они остынут.

Он не слышал ее слов и не видел на обеденном столе большой черной сковородки с рублеными котлетами, поджаренными до цвета угля.

— Вот, товарищи, вот! — И над своей лысинкой поднял кулачок с обрывком корректурного листа: — Вот!..

И задохся:

— Предсмертное письмо Маяковского!

— Читай же, Эмиль! Читай! — воскликнула толстенная Стырская. — Вы подумайте, прибежал с письмом Маяковского, с предсмертным письмом, и молчит. Какой эгоизм!

У нее, как у большинства женщин, было свое, особое представление о логике и справедливости.

Близорукий Кроткий сдернул пенсне с носа, похожего на серп молодого месяца.

— Господи, я умру от разрыва сердца прежде, чем он начнет читать! — опять вскрикнула толстенная Стырская.

Кроткий сощурился и как-то страдальчески покрутил шеей — тонкой, как у гусенка, вылупившегося из яйца:

— Толя, дайте мне, пожалуйста, глоток воды.

Я дал:

— Успокойтесь, Эмиль.

Он выпил весь стакан:

— Большое спасибо, Толя.

— Клянусь, я когда-нибудь его поколочу за эту вежливость! — продолжала горячиться Стырская.

— Помолчи хоть минутку, Лика!.. Читайте, Эмиль.

Он, задыхаясь, стал читать предсмертное письмо:

— «Все. В том, что умираю, не винить никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник ужасно этого не любил. Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.

Лиля — люби меня.

Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.

Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.

Как говорят —

“инцидент исперчен”».

— Бедняга считал своей обязанностью и тут острить, — сказал я.

— Подождите, Толя.

Кроткий, все так же задыхаясь, прочел четверостишие из этого письма:

Любовная лодка

разбилась о быт.

Я с жизнью в расчете,

и не к чему перечень

взаимных болей, бед и обид.

— Все, Эмиль?

— Нет!.. «Счастливо оставаться. Владимир Маяковский. 12-го апреля»...

Переспрашиваю:

— Когда?

— Двенадцатого.

— Значит, письмо написано за два дня до выстрела.

— Да. Об этом стоит призадуматься.

— И я призадумался, Эмиль.

— Имеется еще приписка.

— Ну?

— «Товарищи Рапповцы, не считайте меня малодушным. Серьезно — ничего не поделаешь. Привет. Ермилову скажите, что жаль, что снял лозунг, надо бы доругаться. В. М.».

— Рапповцы, Ермилов... Ушел с дерьмом на подметках! — сказал я.

— Пф-ф-ф! — сказал Кроткий. — «Моя семья... Вероника Витольдовна...»

И вторично прочел вслух:

— «Моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и... Вероника Витольдовна Полонская!.. Пф-ф-ф!»

И едко усмехнулся.

Я подумал: «А у Вероники Витольдовны имеется муж, которому она верна, по слухам. Не думаю, что такое завещание внесет мир в семью».

Словно прочитав мою мысль, Кроткий добавил:

— Вот, Толя, мы с вами и посплетничали. А ведь покойник этого «ужасно не любил».

— Что правда, то правда, — согласился я.

Маленький умный человечек схватил со стола вилку и всадил ее в котлету.

— Если хочешь кушать, Эмиль, сядь за стол! — сказала толстенная. — Нельзя всю жизнь обедать, расхаживая по комнате с вилкой в кулаке.

Он опять не услышал ее слов.

— Что такое сплетня, Эмиль? — спросил я. — Ведь вся литература, по существу, сплетня. Толстой сплетничал про Анну Каренину, Достоевский про Настасью Филипповну, мы с вами про Веронику Витольдовну и Маяковского.

Задумчиво кивая головой, Эмиль откусывал кусок за куском от остывшей обугленной котлеты. А вилку он держал в кулачке, как железнодорожная сторожиха свою желтую палку.

— Согласны со мной, Эмиль?

— Почти, — меланхолически ответил он.

И положил вилку на круглый столик, что стоял перед тахтой, под сенью оранжевого абажура с золотой бахромой.

— В таком случае, Эмиль, будем продолжать. Полчаса тому назад мне рассказывал Качалов: сегодня Вероника Полонская опоздала на репетицию к Литовцевой. Та, конечно, накинулась на нее с криком: «Безобразие! Распущенность! Воз-

мутительно!» Полонская стала оправдываться: «Простите, Нина Николаевна. Только что застрелился Маяковский. Я прямо оттуда». И актриса осталась репетировать.

Кроткий взглянул на меня вытаращенными близорукими глазами и вдруг, по-женски всхлипнув, упал на тахту, носом в шелковую подушку, вышитую хризантемами.

Он еще со времен аверченковского «Сатирикона» знал Маяковского и, оказывается, очень любил его. Но хорошее чувство было тщательно спрятано под вечной иронией, этой неотвязчивой спутницей нашей среды.

Вероника Витольдовна Полонская вскорости развелась с мужем.

— Прелестно! — как-то сказал мне Кроткий. — Перед Маяковским Вероника Витольдовна устояла, а «воротничкам» сдалась.

Эти поэты из сатирических журналов все знают.

— Каким «воротничкам», Эмиль?

— Так называют в редакции ее нового мужа. Он, по слухам, бойко торгует в Столешниковом переулке воротничками собственного изделия. Да еще сто тысяч по займу выиграл. А ведь это делает человека неотразимо привлекательным в глазах женщины.

— О-о!.. Я уж давно заметил, Эмиль, что деньги — это не только прозаический расчет, но и секс.

Мой малюсенький собеседник оглянулся, нет ли супруги поблизости, и мечтательно вздохнул:

— Вот бы и мне сто тысяч выиграть!

Ему, как и всем нам, очень хотелось быть Дон Жуаном.

Эмиль Кроткий являлся блестящим эпиграммистом в пушкинской манере.

К примеру:

Он, убоясь последствий вредных,
Переменил на прозу стих, —
Вольтер для глупых, Франс для бедных
И Эренбург для остальных.

А толстенякая Лика Стырская пописывала стишки в таком роде:

У меня распущенные косы
И прехитрые цыганские глаза.
Я курю чужие папиросы
И в делах не смыслю ни аза.

Я не слишком люблю цитировать. Но когда сам мало знаешь, это бывает необходимо.

Начну с коротких выписок из стихотворения Маяковского, о котором в то время мы и понятия не имели:

Ты одна мне
 ростом вровень,
Стань же рядом,
 с бровью брови...

Дальше:

Иди сюда,
 иди на перекресток
Моих больших
и неуклюжих рук...

И еще:

Я все равно
 тебя
 когда-нибудь возьму,
одну,
или вдвоем с Парижем.

Стихотворение написано в ноябре 1928 года.

Ей было восемнадцать лет. Она жила, как вы уже поняли, в Париже. По словам Яacobсона, друга Маяковского, Владимир Владимирович познакомился с ней в «докторской квартире».

Еще стихи. И даже «в изящном стиле». Так названы они автором.

Мы посылаем эти розы Вам,
чтоб жизнь
 казалась в свете розовом.

Увянут розы...

А затем мы
к стопам повергнем

хризантемы.

Маркиз

Якобсон сухо объясняет: «Уезжая из Парижа в Москву в начале декабря 1928 года, Маяковский принял меры, чтобы парижская оранжерея еженедельно посылала цветы...»

Дальше:

Дарю

моей

мои тома я.

Им

заменять

меня до мая.

А почему бы не до марта?

Мешает календарь и *карта*.

Это написано на первом томе «Собрания сочинений», только что вышедшем в Москве.

Дальше:

Второй. Надеюсь, третий том

снесем

собственноручно в дом.

А на четвертом томе со стихами гражданской войны:

Со смыслом книга,

Да над ней

Клониться ль Тане кареокой...

И т. д.

Из Москвы Маяковский пишет ей:

«Письма такая медленная вещь, а мне так надо каждую минуту знать, что ты делаешь и о чем думаешь. Поэтому телеграммлю. Телеграф, шли письма — вороха того и другого».

А в январе двадцать девятого:

«Твои строки — это добрая половина моей жизни вообще и вся моя личная».

«Сию сиднем из боязни хоть на час опоздать с чтением твоих писем. Работать и ждать тебя — это *единственная* моя радость».

И — телеграммы, телеграммы, телеграммы:

«Очень затосковал»;

«Тоскую невероятно»;

«Абсолютно скучаю»;

«Тоскую по тебе совсем небывало»;

«По тебе регулярно тоскую, а в последние дни даже не регулярно, а еще чаще».

И — опять же с образцовой профессорской сухостью Якобсон доводит до нашего сведения: в октябре человек «получит из Парижа письмо бесповоротно прощальное».

Дальше:

«Несколько месяцев пройдет, и жизнь поэта оборвется прежде, чем в Париже узнают от приезжих из Москвы, что в разрешении на визу за границу Маяковскому было в сентябре наотрез отказано».

Все.

Какая же «любовная лодка» разбилась? Явно их было две. А возможно — три.

Да и только ли разбились любовные лодки?

И все же выстрела Маяковского я не понимаю.

Не понимаю теперь. И не понимал тогда.

27

Иду по Невскому. День ясный. Прыгают воробьи. Так дошкольницы прыгают, играя в «классы».

Длинный золотой палец Адмиралтейства показывает путь в небо. А мне сегодня и на земле неплохо: только что я купил для своего Кирилки прелестную сучку-пойнтера. Какие уши! При насморке они вполне могут заменять ей носовые платки.

Какой смеющийся, болтливый хвост! Прошу прощения, собачники говорят не «хвост», а «прут».

Провозившись с сучкой часа два, я ее удочерил в своем сердце.

Хорошее отношение к собаке невольно перешло и на людей: улыбаюсь первым встречным. Они, вероятно, думают: «Не иначе, как по займу, подлец, выиграл!» Ведь у нас слово «подлец» почти ласковое.

— Анатолий!..

Это меня окликает актер из Александринки, полуприятель.

Мы сворачиваем в скверик и останавливаемся возле вогнутого фронта морщинистых колонн Казанского собора. Кирилка когда-то называл его Казанским забором, и я не поправлял малыша, так как это довольно точно.

Актер целует меня. Все они поцелуйники. И гудит, словно из пустой бочки:

— Как жизнь молодая?

Такие голоса почему-то ценятся в театральном мире. Даже Мейерхольд их ценил. Мой полуприятель плохо играл у него хорошие роли. А ведь Всеволод Эмильевич обладал изощренным вкусом и относился с надменной иронией к своему миру.

— Эти... — говаривал он, — двухфамильные: Орлов-Чужбинин! Блюменталь-Тамарин! Коваль-Самборский!..

И брезгливо морщил сиранодебержеваковский нос.

Или:

— Ужас! Среднего образования им не хватает! Вместо «и» — говорят «ы». Далекый, дикий, великий!.. А кто виноват?.. Малый театр! Перепортил он интеллигентную русскую речь!

Я защищаю Дом Щепкина:

— Перепортил не русскую речь, а Санкт-Петербургскую.

Серое облако с Финского залива закутывает солнце.

— Присядем, Анатолий.

— Пожалуй.

На скамейке расчихался старичок. У него в ушах ватка. Молодой командир неловко нянчит на руках плачущего младенца в голубом одеяльце. Шестилетняя девочка в больших металлических очках прыгает через веревочку. Скиснув, я мысленно спрашиваю: «Веселый пойнтерок, где ты?» Удрал, каналья, из моего сердца.

Старичок с ваткой в ушах, молодой командир с плачущим младенцем на руках, полурбенок в больших металлических очках — все они вызывают у меня грусть как недобрая на-смешка над человеком.

— Живет человек, живет и... в ящик! — продолжает гудеть актер. — И гений в ящик, и бездарь в ящик. Так сказать, на равных демократических началах. Экое хамство!

— Да кто умер-то? — спрашиваю я, поднимаясь со скамьи. Он широко, как на сцене, разводит руками:

— Ка-а-ак! Ты не знаешь?.. Качалов помер.

У меня подкашиваются ноги. В самом прямом смысле слова — подкашиваются.

— Качалов?

— Ну да! Наш Василий Иванович!

Так называла его вся Россия.

Я знал, что Качалов лежал в Кремлевке с воспалением легких.

— Когда? Когда это случилось?

— Сегодня, в шесть тридцать утра.

— Кто тебе сообщил?

— Господи, да у нас весь театр только об этом и говорит. Все актрисы зареванные, артисты за помин души пьют. Пойдем, Анатоль, выпьем по стопочке.

— Нет, нет!

Этим гудящим актерам только бы случай подвернулся, за что им выпить.

Я спешу домой. У меня странно заплетаются ноги, словно несущий очень тяжелый чемодан.

Никритина уже все знает. Я понимаю это по ее глазам — сухим, расширенным и опустевшим.

— Надо, Толя, дать телеграмму.

— Да.

— Напиши.

— Напиши ты.

— Я?..

— Будь добра. Не умею я этого делать.

— Чего же тут не уметь? Ну, напиши так...

И молчит. Она тоже не знает, какие в эту минуту нужны слова.

— По-моему, Нюша, надо позвонить сначала в Москву. Пыжовой или Саррушке. А вдруг...

Спутница моей жизни безнадежно машет рукой:

— Сейчас в театре я подписалась под коллективной телеграммой. Какие уж тут могут быть «вдруг»?

И наконец-то вытирает пальцем первую скупую слезу.

Минут через десять междугородная соединяет меня с Пыжовой. В этот недомашний час она неожиданно оказывается дома.

— Ольга?.. Ты?.. Говорит Анатолий... Это верно, что...

Закончить фразу, слава Богу, мне не пришлось.

— Да иди ты к чертовой маме!

— Ньюша!.. Ньюшка!.. — кричу я, захлебываясь от счастья. — Ольга ругается!

— Что? Ругается?

— Ого!.. Как настоящая леди!

В сущности, это была цитата из Шекспира. Может быть, вы помните слова Генри Перси: «Выругайся, Кэт, хорошим крепким ругательством, как настоящая леди!»

— Дай, Длинный, трубку! Дай!

Передаю.

Вот что выясняется довольно быстро. Пыжову замучил проклятый телефон: дребезжит с самого раннего утра — разные москвичи задают тот же дурацкий вопрос: «Это верно, что...»

А Василий Иванович еще третьего дня перебрался из Кремлевки домой и сейчас с хохотом читает — телеграммы, телеграммы, телеграммы, выражающие соболезнования по поводу его «безвременной кончины».

Неясно только одно: каким образом вся наша немаленькая страна в течение нескольких часов узнала об этой качаловской «безвременной кончине»?

— Мистика! — говорит Никритина.

А разве не мистически путешествует анекдот? Сегодня, скажем, в полдень Ося Прут обмолвился им в киностудии, а к вечеру этот его анекдот уже гуляет по Ленинграду, Одессе, Киеву.

— Мистика! — отзываюсь я.

Примерно через неделю я был вызван в Москву Комитетом по делам искусств. Опять собрались запрещать мою пьесу. Скучная история, повторяющаяся из года в год. У чиновников комитета это называется: «Помогать драматургам в работе».

Приезжаю в Москву, устраиваюсь в гостинице, оставляю чемодан в номере и прежде комитета иду к Качаловым.

В коридоре встречает меня Василий Иванович. Он в суконной синей пижаме с витыми шнурами на груди, в мягких клетчатых туфлях. Гладко выбрит. Подстрижен ниже обыкновенного. Это всегда молодит.

От него пахнет крепким тройным одеколоном. Запах мужчины!

Чуть изменив классику, он жизнерадостно баритонит:

— Умерший тебя приветствует!

В углу на банкетке стоит большая именная корзина изпод шампанского и фруктов, доверху наполненная телеграммами.

— А нашей здесь нет! — с гордостью говорю я. — Не поймал на удочку.

-- Сорвался карась.

— Э, чего тут хвастать! Просто бездарен я в этом деле: не умею выражать соболезнования.

В кабинет входит Нина Николаевна.

— Да уж, конечно, — подергивает она плечиком, — если и по-настоящему умрешь, ты не пошевелишься подать телеграмму.

— Не пошевелюсь, Ниночка. Поэтому не умирай. Не советую.

— А я и не собираюсь, друг мой.

И, прихрамывая, она бежит вокруг письменного стола, что-то на ходу переставляя и перекладывая на нем, к огорчению хозяина. Но он мужественно это выдерживает.

Я спрашиваю Качалова:

— Что же все-таки было? Что за безвременная кончина?

— Была, Анатолий, генеральная репетиция. А скоро и спектакль.

— Да ну тебя, Василий Иванович!

И Нина Николаевна, прихрамывая, выбегает из кабинета.

После завтрака мы с Качаловым отправляемся в Александровский сад.

Литовцева напутствует:

— Ты, Василий Иванович, на воздухе не дыши. Не дыши!

— А носом можно?

— Нет, нет! И носом нельзя! Ничем нельзя! А то опять воспаление легких схватишь. Ведь хуже ребенка малого! Еще

начнешь на ветру во весь голос «Фауста» читать. Сейчас же дай слово, что не раскроешь рта. Пусть Анатолий свои стихи декламирует. А ты, Василий Иванович, только слушай. Клянись!

— В чем, Нина?

— А в том, что ни разу не раскроешь рта.

— А если я задохнусь?

— Задыхайся на здоровье. Это тебе полезно.

От Брюсовского до Александровского сада рукой подать. Но мы идем долго. Через каждые десять шагов приходится минуту-другую постоять: Василий Иванович раскланивается, благодарит, отвечает рукопожатием на рукопожатие, поцелуем на поцелуй незнакомых людей, радующихся его воскресению из мертвых.

— Интересно, однако ж, кто первый этот слушок пустил? — любопытствую я.

— Артист, конечно! — благодушно отвечает Качалов.

— Похоже на то.

— Как-то, видишь ли, температура у меня упала до тридцати пяти градусов. Один артист узнал об этом от нашей Нины. Побежал в пивнушку. А за столиком сидел второй артист. «Петенька, — кинулся к нему первый, — беда! Качалов отходит!» В Камергерском второй артист подлетел к третьему: «Коленька, друг, трагедия-то какая — Василий Иванович помер!» И пошло и поехало. Они ж знаменитые преувеличители, эти господа артисты.

— О-о-о! — обрадовался я. — Фантазеры, эффектеры!

Садимся на скамью.

Иссиня-черная ворона гаркает над нашими головами:

— Прра!.. Прра!.. Прра!..

— Слышишь, поэт, она говорит: «Прра-вда!.. Прра-вда!..

Прра-вда!..»

— Вот, Вася, и еще один артистический рассказ набежал.

— Что?

— Про говорящую ворону, которая вмешалась в нашу беседу.

Качалов хохочет.

— Стоп! Стоп! — останавливаю я. — Тебе не разрешено рта раскрывать.

На кремлевской башне звенят черные куранты с золотыми прыгающими стрелками.

Моя мысль отвлекается к общему, и я сетую:

— Ох, и подозрительная наука!

— Ты это про что, Анатоль?

— Да про историю. Она так же треплется, как товарищи актеры.

— История?

— Да, история. «Историческая наука». Наивные легковверные люди так ее называют.

— Треплется, говоришь?

— Конечно! Превращает в дикую чепуху всякий жизненный факт.

— К примеру, синьор?

— Ну, хотя бы об Иисусе Христе. Существовал довольно интересный человек. Слегка эпатируя, он гуманно философствовал в неподходящем месте — в Иудее. Среди фанатичных варваров. Если бы то же самое он говорил в Афинах, никто бы и внимания не обратил. А варвары его распяли. Так поступают во всем мире и в наши дни. Только распинают теперь не на деревяшке, а на газетной бумаге. Разница, в сущности, пустяковая. Возражаешь?

— Нет, не возражаю.

— Да уж ты мне, Вася, поверь: болтливая старуха-история мало чем отличается от актеров, только что тебя похоронивших.

Качалов умел великолепно слушать. Для больших артистов это так же обязательно, как великолепно говорить. Только еще трудней.

28

Шла финская война. По улицам Ленинграда люди ходили ссутулившись, как во время сильного дождя. С вечера город погружался в раздражающий мрак.

— К тебе можно, папа?

— Конечно.

Кирка входит, целует меня в затылок, берет газету, берет со стола папиросу, закуривает и садится на низкую скамейку возле потрескивающего камина. Это теперь его любимое место.

— Что скажешь, Кирка?

— Да все то же, папа.
— А именно?
— Война.
— Ну?
— Она, папа, действует мне на нервы. Словно кто-то омерзительно скребет ногтем по стеклу. Так бы и дал в морду: не воюй!

— Ну и дай.
— Кому?
— Человечеству, которое еще не поумнело, хотя и живет на этом комочке грязи не первую тысячу лет.
— К сожалению, папа, я не Бернард Шоу.
— Неужели?
— Да и он только гладит по щекам, а не бьет по физиономии.

Кирка глубоко затягивается:

— Валя мне не звонила по телефону?

— Нет.

Он бросает окурок в камин:

— Может быть, Шура подходила к телефону?

И кричит:

— Шура-а-а!.. Валечка мне не звонила?

— Не-е-ет!

Между его бровей ложится тоненькая морщинка.

— Тебя, Кирюха, это волнует?

— Как будто.

— Тогда позвони ты Валечке.

— Не желаю.

Со двора раздается резкий дребезжащий свисток.

— Это, пожалуй, нам свистят, — говорит он. — Шторы плохо задернуты. В наш век мир предпочитает темноту.

И, задернув поплотней шторы, он добавляет:

— Мы потерянное поколение, папа.

— А уж это литературщина. Терпеть ее не могу.

И добавляю:

— Бодрей, Кирюха, бодрей. Держи хвост пистолетом.

4 марта Кира сделал то же, что Есенин, его неудавшийся крестный.

Родился Кира 10 июля 23-го года.

В 40-м, когда это случилось, он был в девятом классе.

На его письменном столе, среди блокнотов и записных книжек, я нашел посмертное письмо:

Дорогие папка и мамка!
Я думал сделать это давно.

Целую.

Кира

В глубокой старости благополучнейший Гете сказал, что за свою длинную жизнь он, в общем счете, был счастлив не больше пятнадцати минут.

Моя жизнь не так уж благополучна. Но счастлив я был больше пятнадцати минут. Однако ни разу не мог сказать: «Сегодня я самый счастливый человек на земле!»

А вот в страшные мартовские дни я был убежден, что среди миллиардов людей, населяющих землю, я самый несчастный человек.

В том же, конечно, была уверена и мать Киры.

Друг мой, живу, как во сне.

Не разговаривай строго.

Вот бы поверить мне

В этого глупого бога!

Все время вспоминаю разговор с Ольгой Ивановной Пыжовой о счастье:

— Вот оно, вот оно, и... нет его!

Из Киркиных записных книжек, тетрадей и блокнотов. Почти без выбора.

«Поздно вечером я возвращался домой. На дворе, прислонившись к стене, стоял пьяный. Он был маленький, лысый. Рядом в грязи валялась его шапка. Пьяный стоял и плакал. К нему подошел мальчишка и ударил его по лицу. За что? Так. Пьяный плакал. Он чувствовал, что его жизнь горька, как дешевая папироса. Он побежал за мальчишкой. Другой мальчишка дал пьяному подножку и тоже ударил его. Пьяный упал в лужу. Стукнулся головой об асфальт.

Мне показалось, что люди все-таки очень жестоки».

* * *

«Я занимаюсь с немкой. У нее серые грязные волосы и нависшие брови. Она побывала в Париже, в Лондоне, в Берлине, в Риме. Даже в Шанхае. А сидит и рассказывает мне старые сентиментальные истории из учебника немецкого языка».

* * *

«Будущее поэзии, если у нее вообще есть будущее, заключается в коротких лирических стихах, которые можно будет успеть прочитать, стоя в небольшой очереди за хлебом».

* * *

«Не надо употреблять слов “всегда” и “никогда”. За них мы не можем ручаться».

* * *

Давно забытое свиданье,
Многоречивое прощанье
В нас вызывают легкий шум,
Приподнятую цельность дум,
Скептическое замечанье.

* * *

«Я сижу один, и мне хочется, чтобы кто-нибудь позвонил, поздравил с Новым годом. Зачем скрывать? Именно, чтобы она позвонила и сказала издалека: “Киру можно?” В эту минуту я слышу телефонный звонок. Я бегу, перескакиваю через тахту и хватаю трубку. “Алло!.. Киру можно?” — “Это я... Кира!” — “Не Киру, а Шуру...”

Шура — наша домработница».

* * *

«Слово “грусть” вызывает у меня тошноту. Всякий дрянной поэтишка, недалекий составитель романсов, глупый человек стараются скрыть недостаток мыслей и чувств словом “грусть”».

* * *

«Секрет театральности Шекспира в том, что он своими метафорами, рассуждениями и мыслями не тормозит развития пьесы, а наоборот — ускоряет».

* * *

«На ночь приходили меня целовать папа и мама. Сначала целовал папа, и обязательно в лоб, потом мама — в щеки и губы. Мама целовала так, как будто прощалась надолго и не могла насмотреться».

* * *

«Я хочу, чтобы Валя была около меня и чтобы она любила меня. А если нет, то и не надо, можно и так».

* * *

«Презирал, любил, ненавидел, возмущался, восторгался, и это — в течение одного какого-нибудь дня, даже в течение часа».

* * *

«Иногда мне кажется, что я неспособен чувствовать. Всякое возникающее во мне чувство я стараюсь проанализировать, разобрать по винтикам, и оно делается каким-то мелочно-ничтожным».

* * *

«Им нравились фотографические карточки, где они совершенно не были похожи на себя. Эти карточки награждали их чертами, которых у них не было, и они начинали верить в них, воображать, что они действительно ими обладают».

* * *

«Я все время думаю о ней, а о чем она сейчас думает? Вдруг она сейчас с кем-нибудь танцует? Вдруг кто-нибудь обнимает сейчас ее? А? Нет, не может быть, она, наверно, с родителями».

* * *

«По-моему, я довольно мелкими шагами иду к славе. Но мне еще мало лет.

Успеется».

* * *

«Женщина вспоминает дни, которые ушли. Она видит их перед собой такими, какими они были, с той разницей, что в хороших днях она опускает плохие мелочи, а в плохих днях — хорошие».

* * *

«А вдруг я бездарный? Вдруг я действительно бездарный? Вдруг все мечты разлетятся? Нет, этого не может быть. А вдруг?..

И это “вдруг” растет, увеличивается, делается совершенно вероятным и отчетливым. Кажется, что оно-то и случится в жизни. Ну нет! Тогда я покончу самоубийством. Но я чувствую, что это самоубийство — сплошная литература и никогда я не сделаю этого. Становится совсем тяжело. Неужели даже наедине не можешь быть искренним? Нет, не могу.

Я могу быть искренним, когда говорю с другими. Тогда это у меня получается. А наедине ничего не выходит».

* * *

«В самой философствующей пьесе, то есть в “Гамлете”, действия не меньше, чем в любом авантюрном романе».

* * *

«Когда ей исполнилось шестнадцать лет, какая-то чертова сила потянула ее к мужчине. Сначала ей нравилось разговаривать с ними, потом ей стало нравиться сидеть с ними рядом, потом она стала прижиматься к ним, а потом она уже захотела, чтобы ее обнимали».

* * *

«Оставляя две копейки на стеклянной тарелочке кассы, они уходят с таким видом, будто подарили сто рублей».

* * *

«Я ехал в Москву и оттуда в Крым в Коктебель. Я очутился на верхней полке и смотрел на женщину, которая сидела против меня на нижней полке. У нее были красивые ноги и узкий носок туфли. Как я понял из разговора, она была актрисой Камерного театра. К ней подошел мужчина, по-моему тоже актер, и сказал, что купил консервы и что везет их домой. Женщина запрыгала вокруг него, запищала и очень неуклюже старалась изобразить маленькую девочку, как это любят делать многие женщины. Мужчина растерялся, начал заискивающе улыбаться и отдал ей одну банку. Она заплатила ему за нее, долго роясь в сумочке. Мужчина взял деньги, сначала отказываясь, хотя протянутая рука сразу выдала его. Видно было, что они небогаты. Мужчина долго еще говорил о консервах, о том, как ему удалось достать эти несколько банок, как он рад, что везет их домой.

Я улыбнулся.

Потом еще долго не мог заснуть. Мне почему-то жалко было этого актера с его консервами».

* * *

«Очень часто героем романа является идея автора».

* * *

«Она смотрелась в каждое оконное стекло и перед каждым стеклом поправляла шапочку и подслюнявливала брови. А когда проходила мимо подвальных стекол, любовалась своими ногами. Нечто вроде болезни: постоянное желание видеть себя. Она смотрелась даже в чайник, в кастрюлю, в полиро-

ванную поверхность буфета, шкафа и столов из красного дерева. Всюду, где можно было увидеть собственное отражение. А своей тени она боялась, потому что думала: “Тень делает меня смешной”».

* * *

«Конечно, неприятно сознавать, что вы уйдете, исчезнете, провалитесь в ничто, а ваши знакомые будут есть, спать, целоваться, стонать, веселиться, грустить и говорить фразы. Но что делать! Мы — только люди, то есть высшие животные класса млекопитающих».

* * *

«Преклоняйтесь перед “Гамлетом”. Лучшего создать невозможно».

* * *

«Мы с ней шли под руку по только что выпавшему снегу, и он хрустел под нашими ногами, как огурец».

* * *

«Он мог бы сказать: “Я родился случайно, как плохой сюрприз недоумевавшей матери”. Никто не ждал его, никому он был не нужен, а только мешал. Он старил уже состарившуюся женщину и неприятно тревожил спокойного мужчину — своего отца».

* * *

«Иметь дело с женщиной — иногда счастье, с двумя — сущее бедствие».

* * *

«Она говорила, что Мопассан — хороший писатель, и при этом хитро посматривала. Говорила, что Шекспир — великий, что Байрон — гений, что Пушкин — замечательный. Но стихов не любила, считая, что предложения в них составлены неправильно».

Она была такой же, как все, говорила то же, что все, и совсем не была повинна в этом».

* * *

«Я хотел бы положить голову к ней на колени и лежать так. А ведь больше всего не люблю сентиментальность».

* * *

«Годы, как столбы, ужасно похожи один на другой, хотя некоторые бывают и повыше».

В этом году я ехал в Москву один, в этом году я стоял на площадке до часу ночи, в этом году я курил папиросу.

Этот год был немного повыше. Я чувствовал себя взрослым, и от этого чувства я понимал, что еще ребенок».

Кире казалось, что он похож на Байрона. Он и в самом деле был несколько похож на него, но гораздо больше на мать, хотя и без ее «мартышкости».

А чтобы сильнее подчеркнуть приятное сходство с автором «Чайльд Гарольда», он носил отложные белые воротнички наружу, а не внутрь — под тужурку.

И тормозил темные волнистые волосы, чтобы они были еще волнистей.

Фигурка же у него была моя: безбедрая, тонкая, прямая. Но я длинный, а он, вероятно, был бы чуть повыше среднего роста. Впрочем, ребята очень вытягиваются после шестнадцати лет.

Сейчас проклиная свою идиотскую, слюнявую интеллигентность. Так называемую интеллигентность.

Ведь я не только никогда не позволял себе войти в Кирину комнату без стука или порыться в ящиках его письменного стола, но даже не заглядывал в тетради-дневнички, если они лежали, по случайности, раскрытыми.

То, что он писал роман, писал короткие рассказы, стихи, «мысли», драму («Робеспьер») — явилось для меня полнейшей неожиданностью.

А работал он много, тщательно, со многими черновиками и вариантами, кропотливо отделявая фразу, подыскивая то единственное слово, сплошь и рядом коварно ускользающее, без которого фраза неточна или мертва.

Для каждого человека своего будущего романа у Киры имелась тетрадь с подбором поступков, выражений, черточек характера и бытовых деталей. На полях то и дело стояло: «Мало мелочей!», «Больше мелочей!».

До сих пор я не могу понять, где он брал время на такую работу. Школа, теннис (зимой тренировался на закрытом корте), немка, англичанка, французенка, которая у него сидела по два, по три часа. Наконец, театр, кино и шумная ватага веселых друзей, являвшихся к нему поздним вечером.

Вероятно, мальчуган очень мало спал.

Среди его рукописей я обнаружил и новеллу, страшную новеллу о том, что он сделал. С философией этого, с психо-

логическим анализом, с мучительно-точным описанием — как это делают.

Боже мой, почему я не прочел эти страшные страницы прежде? Вовремя?

Уберечь можно. Можно! Ему же и семнадцати еще не исполнилось. Впрочем, в Древнем Риме мужскую тогу надевали даже несколько раньше.

Тропинка ль, берег, подойду к окну ли,
Лежу, стою...
Вот, милая, и протолкнули
Мы жизнь свою.

Отцы, матери, умоляю вас: читайте дневники ваших детей, письма к ним, записочки, прислушивайтесь к их телефонным разговорам, входите в комнату без стука, ройтесь в ящиках, шкатулочках, сундучках. Умоляю: не будьте жалкими, трусливыми «интеллигентами»! Не бойтесь презрительной фразы вашего сына или дочери: «Ты что — шпионишь за мной?»

Это шпионство святое.

И еще: никогда не забывайте, что дети очень скрытны, закрыты. Закрыты хитро, тонко, умело, упрямо. И особенно — для родителей. Даже если они дружат с ними. Почему закрыты? Да потому, что они — дети, а мы — взрослые. Два мира. Причем взрослый мир при всяком удобном и неудобном случае говорит: «Я большой, я умней тебя». А малый мир в этом сомневается. И порой довольно справедливо сомневается.

Перед тем как это сделать, Кира позвонил ей по телефону.

Они встретились на Кирочной, где мы жили, и долго ходили по затемненной улице туда и обратно. И он сказал ей, что сейчас это сделает. А она, поверив, отпустила его одного. Только позвонила к его другу — к Рокфеллеру. Тот сразу прибежал. Но было уже поздно.

Домработница Шура в это время собирала к ужину. А мы отправились «прошвырнуться».

«Прошвырнулись» до Невского. Думали повернуть обратно, но потом захотелось «еще кварталчик».

Была звездная безветренная ночь. Мороз не сильный. Этот «квартирчик» все и решил. Мы тоже опоздали. Всего на несколько минут.

Многие спрашивали:

— Кира это сделал из-за той девчонки?

— Нет, нет!

Вообще, мне кажется, что человек не уходит самовольно из жизни из-за чего-то одного. Почти всегда существует страшный круг, смыкающийся постепенно.

— Это ужасно! — говорит человек сам себе.

— И это ужасно.

— И это.

— И это.

И стреляет себе в сердце, принимает яд или накидывает петлю.

Не слишком задумывающиеся люди принимают за причину наиболее доступное их пониманию «это». Причем особенно для них убедительно, я даже решусь сказать — привлекательно: человек убил себя из-за любви.

Могут ли теперь мои стихи быть веселыми?

Никритиной

С тобою, нежная подруга
И верный друг,
Как цирковые лошади по кругу,
Мы проскакали жизни круг.

29

Война. Немцы в бинокль видели золотой купол московской колокольни Ивана Великого и без бинокля — простым глазом — Адмиралтейскую иглу, сверкающую над Ленинградом. Они взбирались на Машук, пытались лечить свои сифилисы в Пятигорске, валялись на ялтинском пляже и мыли в Волге свои мотоциклы. А сегодня мы их моем в Эльбе.

Это — ход истории. Кстати, довольно банальный ход.

Пожалуй, на острове Св. Елены подобная мысль и Наполеону приходила в голову. А раньше того — шведскому королю

Карлу XII, ускокавшему из России в Турцию верхом на лошади.

А может быть, эта мысль и не приходила? Вероятно, и Наполеону, и Карлу XII не приходила. Ведь головы-то у них были генеральские. Наполеон, вероятно, наморщив свой лысый лоб, тяжело думал: «Если бы я при Ватерлоо бросил гвардию на левый фланг...» и т. д. А Карл XII грыз самого себя: «Черт побери, дернуло ж меня при Полтаве...» и т. д.

Какой идиотизм!

Голова Адольфа Гитлера меня не интересует.

Вернувшись из эвакуации, Василий Иванович Качалов зашел ко мне в номер гостиницы «Москва»:

— По стихам, Толя, соскучился. Новенькие имеются?

— Имеются...

— Не считаешь ли?

— С удовольствием.

По своей всегдашней манере он подпер ладонями гладко выбритые скулы. В тот день я бы не сказал, что они выютужены горячим утюгом. Война, эвакуация, повторяющееся и повторяющееся воспаление легких — плохой утюг, плохой массаж лица.

Перед тем как заняться стихами, мы, разумеется, поговорили о наших победах на фронте.

Отлично понимая всю необходимость этой кровавой драмы, радуясь сокрушению мерзкого фашизма, я относился к существованию войны в моем веке с неиссякаемой ненавистью, кровно унаследованной от покойного отца. Вообще, невольно приглядываясь и прислушиваясь к себе, то и дело я замечал срывающиеся у меня с языка отцовские словечки, любимую его поговорку, его привычные жесты.

Это прекрасно, что ушедший человек продолжает удивительно жить в оставшемся на земле. Продолжает жить, скажем, в цвете глаз своего сына, а потом внука, в зализах на лбу, в сорок втором номере ботинок. И в мыслях, и в страстях, и во вкусе. И Бог ты мой, как грустно, если человек наперед знает, что ему не в ком жить после своего ухода. Я и врагу своему не пожелаю этого.

— Ну-с, товарищ стихотворец, начали.

Читаю:

От свиста этого меча
Потух
Мой дух,
Как в сквозняке свеча.
Осталось стеариновое тело,
Которому ни до чего нет дела.

— Следующее.

Читаю:

Наш век мне кажется смешным немножко,
Когда кончается бомбежка.

— Следующее.

— «Войне».

Давайте так условимся, мадам;
Свою вам жизнь, извольте, я отдам.
Но руку — нет, простите, не подам.
Пусть нас рассудит время и потомство —
С убийцами я не веду знакомства.

— Следующее!

Когда война легла,
Как мгла,
Когда легла на век мой тенью,
Прилично опоздав,
И я пришел к высокому презрению.

— Следующее.

— «Эй, человек!..»
И человек летит со счетом.
И человеку платит этот век
С широкой щедростью из пулемета.

— Следующее.

— Неужели?

— Всенепременно.

— И в этот мрак —
Живи!
Живи, дурак.

- Следующее.
- Есть!

Последнее. Я ставлю душу. Ну!
Тасуй-ка и сдавай, насмешливый партнер.
Так... Потяну... Еще... Еще одну...
Довольно. Хватит. Перебор.

Черт побери, какое невезенье!
Я рву и комкаю крапленые листы.
Вот так игралось и продулось ты,
Мое шизофреническое поколение.

- Следующее.
- Читаю:

Мир в затемненьи. Черное в окне.
И жизнь моя напоминает мне
Обед, что получаю по талону.
Из милости дарованный обед.
К нему, признаюсь, вкуса нет.

- Следующее.

— «Понять — простить...» Но я не вмешаю.
Бог не дал мне тишайших сил.
Я понял все. И не простил
Мою запятнанную землю.
Так не простил бы я жену,
Мне изменившую однажды.
Так не прощаю я войну
С ее неукротимой жаждой.

- Следующее.
- Не хватит ли?
- Читай и не разговаривай.

— Вот эти горькие слова:
Живут писатели в гостинице «Москва»,
Окружены официанской службой,
Любовью без любви и дружбою без дружбы.
А чтоб витать под облаками,
Закусывают водку балыками.

— Следующее, — приказывает величайший из стихолюбов.

А ну — со смертью будем храбры!
Ведь все равно возьмет за жабры.

После чего он вытащил из наружного кармана пиджака вечное перо, а из внутреннего — записную книжку в темно-синем переплете, перепоясанную резинкой.

— Диктуй.
— Все? Подряд?
— Конечно.

Я повиновался.

Он снял резинку, старательно записал стихи и сказал:

— Стало быть: «А ну — со смертью будем храбры...». Что ж, попробуем.

— Что попробуем?
— Да вот... быть храбрым с ней.
— Не дури, Вася.

Опять перепоясав резинкой книжку, он бережно ее спрятал.

— Представь, мой друг, я только сегодня узнал, что умер Шершеневич. Где-то у черта на куличках.

— В Барнауле, — подтвердил я. — Он туда эвакуировался из Москвы. Вместе с Камерным театром.

— Да. Таиров с Алисой его и похоронили.

— Почему «Таиров с Алисой»? Его хоронили все камерники.

Качалов повертел в пальцах вечное перо, как на сцене вертел карандаш, играя Ведущего в толстовском «Воскресении».

— Алиса сказала: «Бедный Дима ужасно не хотел умирать. Он очень любил жизнь».

— Да. Очень.

— Я тоже ее очень люблю, — тихо признался Качалов. — И тоже, вероятно, ужасно не захочу умирать.

Надо было чуть пошутить.

— А тебе, Вася, и не придется. Ты уже бессмертен.

— Ну да, бессмертен! Бессмертны, дружище, только граммофонные пластинки, которые третьего дня я гнусно наговорил. И голос-то на пластинках будто не мой, а из пустой бочки. Голос огромной пустой бочки.

Мне это понравилось — «голос бочки».

Василий Иванович в редчайших случаях был доволен собой. «Да нет, друзья мои, я сегодня паршиво играл», — частенько жаловался он без всякого кокетства.

Шершеневич не выходил из головы.

— И умер-то он непонятно. От какого-то «милиарного туберкулеза».

Качалов широко развел руками. У него и в жизни были крупные жесты. Редкие, но крупные.

— Туберкулез и Шершеневич. Не укладывается это в мозгу. Не вяжется одно с другим.

— Да. Не вяжется, — коротко ответил я.

Мне всегда было стыдно говорить высокие слова. Но иногда хотелось. И тогда я говорил пышно. Конечно, так, в уме говорил, а не вслух. И сейчас захотелось поговорить пышно. И я произнес в уме: «Шершеневич был похож на свой портрет, высеченный из камня. На портрет в римском стиле императорской эпохи».

— Туберкулез и... Шершеневич! — повторил Качалов.

Он любил повторять слова, фразы. Думается, это было в актерской природе — от привычной работы над ролью.

— Шершеневич умер от туберкулеза. Черт знает что!

— Лечили от одного, — сказал я, — а умер он от другого.

— Неужели? Вот негодяи!

— Это частенько случается. Лечат, скажем, от вирусного гриппа, оказывается рак. Диму лечили от тифа, а умер он от милиарного!

— Эскулапы!.. А знаешь, мой друг, чем теперь меня спасают? — усмехнулся Качалов. — Мочой беременной женщины.

— Ого!

— В задницу эту мочу каждый день впрыскивают.

— От какой же болезни?

— От всех сразу.

И он назвал имя модного врача, который в те годы ле-

чил этим могучим средством самых знаменитых в Москве людей.

— Вот шарлатан! — воскликнул я.

— Ну да.

— Для чего же, Вася, ты позволяешь дурачить себя?

— А я, видишь ли, друг мой, люблю шарлатанов. Я их и в театре люблю.

Он не назвал имен, но я сразу понял, в чей огород камушек.

— И в жизни люблю шарлатанов. Они талантливые. А вот всякие там академики...

Качалов махнул рукой.

— До революции у врачей одно верное средство было. Здорово помогало!

— Какое ж это?

— Сюртук! Придет эдакий важный дядя в черном сюртуке ниже колен, от хорошего портного...

Я грустно улыбнулся, вспомнив врача, который лечил покойную маму.

— Придет, пощупает пульс с серьезной рожей. И сразу тебе лучше. Даже температура у меня спадала. Честное слово! От этих сюртуков я и при воспалении легких быстро выздоравливал. Не то что теперь. То и дело по месяцу и больше в Кремлевке валяюсь.

Он снова завертел в пальцах вечное перо:

— Стало быть, друг мой...

Испугавшись, что гость опять процитирует мое злосчастное двустиише, я попытался перевести разговор:

— В двадцатых годах Шершеневич работал вместе с Таировым. Ведал у него в театре литературой. И на приемных экзаменах в студию сидел по левую руку от Александра Яковлевича. Экзаменующиеся мальчики и девочки с косичками это сразу учили: «Имеет-де вес...»

— Еще бы! Они смекалистые, эти мальчики и девочки.

— И вот все, как один, — сказал я, — перед экзаменационным столом читали нараспев:

Другим надо славы, серебряных ложечек,

Другим стоит много слез, —

А мне бы только любви немножечко

Да десятка два папирос...

Василий Иванович тут же продолжил своим зачаровывающим голосом знаменитое стихотворение Шершеневича:

А мне бы только любви вот столечко,
Без истерик, без клятв, без тревог,
Чтоб мог как-то просто какую-то Олечку
Обсосать с головы до ног.

Ах, Шершеневич, Шершеневич!..

И мы оба с нежностью посмеялись над лирикой тех неповторимых лет.

После чего Качалов вскинул правую бровь. Так была она вскинута у него в «Анатэме» Леонида Андреева. Эту роль он играл «потрясающе!», как говорят нынешние театралы. Качаловская «Анатэма» живет и поныне в моем воображении. Живет прочно. Словно с этим хозяином преисподней я знаком ближайшим образом. Даже лучше, чем со Спасителем Леонардо из «Тайной вечери».

— А какой был блестящий оратор Вадим Габриэлевич! — сказал Качалов.

— Ого!

— Я, собственно, лучшего не слышал.

— Да, лихо говорил.

— Как Бог!

Другие в Москве называли Шершеневича: «Этот имажинистский Цицерон».

Качалов опять развел руками:

— И вот закопали Вадима Габриэлевича. У черта на куличках закопали. В барнаульской яме.

Как будто лучше и легче, когда нас закапывают в московских и ленинградских ямах.

— Стало быть, друг мой...

— А у тебя, Вася, еще имеется монокль в жилетном кармашке? — спросил я, чтобы отвлечь своего гостя от проклятой цитаты.

Со стеклышком в глазу вернулся Качалов в Советскую Россию из заграничного турне по Европе и Америке.

— Имеется. А как же!

— Вставь, пожалуйста. Поучиться хочу. Противно стариковские очки на нос надевать. А уж пора.

— Эх ты, денди!

И он, элегантно подбросив стеклышко, вынудое двумя пальцами из жилетного кармашка, поймал его глазом.

— Блеск!..

Качалов опять поднял бровь. Стало ясным, что все мои старания напрасны — от разговора о гибелях не убежать.

— А Николай Церетелли?.. Почему же ты молчишь про Церетелли? Алиса сказала, что он скончался у вас в Вятке.

Я кивнул головой.

Подобно Никритиной, Церетелли ушел из Камерного театра. И тоже в Ленинград. Нюша поступила в БДТ, а Николай — в «Комедию» к Акимову.

— Замечательный артист скончался. — Качалов вздохнул. — Какой великолепный был Король-Арлекин! А какой Мараскин в «Жирофле-Жирофля»! Мне так двигаться и во сне не снилось.

— Ты же, Вася, «Гамлета» играл да Ивана Карамазова, а не у Таирова в оперетке.

— А что? Я бы с удовольствием и в оперетке потанцевал. Это тоже прямое наше дело. Комедиантское дело. Но вот Господь не дал этого таланта.

— Обидел тебя Господь. Обошел талантом.

— Серьезно.

Я взглянул на него искоса. Он действительно говорил серьезно.

Впрочем, Николай Церетелли в самом деле двигался по сценической площадке необыкновенно. Я об этом и раньше упоминал. А сейчас мне снова захотелось сказать пышно. И я сказал. Разумеется, в уме. «Молодым оленям, — сказал я, — следовало бы поучиться у Церетелли красоте движения».

— Как же он попал к вам в Вятку? Эвакуировался? — спросил Качалов. — Из голодного Ленинграда эвакуировался?

— Да. С акимовской «Комедией». Мы с Нюшей встречали их на вокзале. Все артисты выходили из вагонов сами. Серые, как тени. Пиджаки висели на их плечах, как на слишком маленьких вешалках. Но все-таки, повторяю, все выходили из вагонов сами. А Церетелли, одного Церетелли, вынесли на носилках. Он уже не мог ходить. Он лежал на спине, подложив правую руку под голову, а изо рта у него торчал кусок бутерброда с вареной колбасой. Это было очень страшно.

— Представляю себе, — промолвил Качалов.

— На другой день мы с Никритиной навестили Церетелли. «Теперь, Николаша, — сказал я, — на наших вятских хлебах ты начнешь сразу поправляться». Он попытался ответить с улыбкой: «Нет, не начну. Уже поздно. Финита ля комедия». Я, конечно, что-то сказал. То, что все говорят в таких случаях. А Нюша положила плитку шоколада на больничную тумбочку. В ногах его койки стояла немолодая нянечка в больших металлических очках на совершенно круглой розовой картошке, зажатой скулами. «Нет, нет! Примите-ка свой гостинец, — распорядилась она. — Примите, примите. Имям нельзя кушать. Имям полную ночь худо было. Очинно, значит, тошнило. Имям, как воробью, дозволено кушать — по зернышку, по крупиночке. А в поезде-то колбасу поднесли. Это после страшного-то голода в блокаде. Вот какие у вас некультурные люди. Да разве имям можно колбасу? Примите, примите, гражданочка, свою конфетинку». Нянечка скомандовала это на чистом вятском языке, везде говоря «имям» вместо «им». Коренных вятичей мы так и называли: «имямы» да «имямки», а хорошеньких — «имямочками». Церетелли опять попытался сказать с улыбкой: «Финита ля комедия». А я опять попытался возразить ему, как это делают почти все в таких случаях. Тогда он вытащил из-под одеяла руку, закатал рукав больничной рубахи со штемпелями и показал нам эту свою руку. Право, я никогда не видел ничего более страшного. Это была голая тонкая кость, обтянутая темным старым пергаментом. И ничего больше. Ничего, кроме кости и пергаamenta. «Теперь, Анатолий, ты понимаешь, почему — финита ля комедия? Скелеты не возвращаются к жизни. Так ведь, нянечка?» Хорошая женщина только поправила очки на носу. Она еще не научилась врать, как полагается медицинскому персоналу. Да и всем интеллигентным людям. Само собой, мы навещали Церетелли ежедневно, иногда перешагивая через трупы, которые лежали прямо на полу в длинных коридорах. Но в конце недели неожиданно (все-таки неожиданно!) — нашли на койке Николая Михайловича другой ленинградский скелет. Вот, Вася, вот, дорогой, как дело было.

Я закурил.

А Качалов только сказал:

— Н-н-да, финита ля комедия.

Меня не слишком интересовали Ершов, изображающий князя Нежлудова, и Еланская в арестантском халате Катюши Масловой. Бог с ними!

В третий раз я пришел на «Воскресение» в Художественный театр ради Толстого. Ради странного Льва Николаевича: без толстовки, без седой раскольниковой бороды, без библейской пророческой лысины, без длинноволосых грозных бровей над пронизывающими маленькими глазами.

Бывший настоящий граф (как сказали бы нынче) и ростом не вышел. Дубовое жилище его, как известно, было длиною в два аршина девять вершков. И говорил он жиденьким теновым голосом. Яснополянская старушка-крестьянка так про него говорила: «Он при жизни-то, последние годы, такой был худенький да маленький. В чем душа держалась. Износил он тело-то свое здесь, на земле».

И добавляла в утешение: «А там оно ему не понадобится».

А Лев Толстой Художественного театра был высок, красив, брит, золотисто-рыжеват, с нечетким пробором. И очень элегантен в мягкой домашней куртке. Аристократические пальцы с изящной небрежностью играли тонким длинным карандашом, искусно отточенным. И говорил он покоряющим голосом. Россия, Европа и Америка называли его «органом», «совершенным органом». И уж нисколько, разумеется, не прищепывал, подобно Саваофу, у которого, по свидетельству Гольденвейзера, слово «лучше» звучало как «лутце». А слова «первый», «зеркало» произносил: «первьый», «зерькало»; «скрипку» называл «скрыпкой», а вместо «три рубля» — говорил: «три рубли». И т. д.

Впрочем, я считаю, что это страшное и губительное для актера дело — владеть «совершенным органом». И еще губительней говорить «совершенно правильно».

Вспоминаю замечательного Певцова. Он был заикой. Вспоминаю Горина-Горяинова, неповторимого и в драме, и в комедии. Он был шепелявым. А Михаил Чехов! Право, его бы никогда не взяли в протодиаконы, даже в наш пензенский кафедральный собор. Куда там!

Признаюсь, еще я очень люблю, когда средне-хорошие актеры играют больными. То ли у них несмыкание связок, то ли трахеит, то ли попросту «голос сел», потому что наглотались

ледяного пива или перекричали, играя Шиллера. До чего же они тогда делаются на сцене человеческими — говорят тихо, сдержанно, умно.

К сожалению, это бывает не часто — не часто они играют большими.

Итак: все было не то у Качалова — мхатовского Льва Толстого. И голос не тот, и лицо, и рост, и жест, и костюм.

Этому ли мхатовскому Толстому валить на себя шкап, делая несвойственную годам гимнастику, а потом записывать в дневнике: «То-то дурень!»

Не тот как будто!

Не то, право!

А был он — *тот*. Именно — *тот*. И все это было *то*, потому что главное, самое главное — было *то!* Мысли Толстого стали мыслями Качалова. Толстовская душа — качаловской душой.

Душа, сердце... Эти слова всякий раз мне писать неловко. Какие-то сладенькие они! Лет через сто, думается, они станут совсем старомодными. Как в городе лошадь.

Когда Качалов вышел на сцену, весь театр встал и с умилением несколько минут бил в ладоши. А не вовремя бить в ладоши в этом театре запрещалось. К несчастью, тот, кто запрещал, окончательно успокоился, отволновался, отзапрещался.

Во время войны МХАТ играл в Куйбышеве. Артисты тогда любили говорить: «Вот прилетит сюда немец, бросит на нас бомбу и — здравствуйте, Константин Сергеевич!»

Есть такое выражение: актерское чудо.

Я в своей жизни не много их видел: Михаил Чехов — Хлестаков, Хмелев — Каренин, Певцов — император Павел, Качалов — Иван Карамазов, Качалов — Карено, Качалов — Барон из «На дне», Качалов — Лев Толстой (по ремарке инсценировщика — Ведущий). Всякий раз это было актерское чудо.

«Василий Иванович... вы счастливец! Вам дан природой высший артистический дар».

Так в тридцать пятом году написал Качалову их театральный бог.

Ленинград.

Громадные хрустальные люстры, отражаясь в толстых мраморных колоннах, заливают зал филармонии праздничным потоком искусственного света.

Партер и хоры густо усеяны головами.

Плотная толпа замазывает черной краской широкие коридоры за креслами.

Выходит Качалов. Зал встает. Встают хоры.

Лермонтов бы сказал:

«Р-р-укоплесканьями гр-ремит шир-рокая ар-рена».

Качалов кланяется.

Зал и хоры стоят.

Качалов кланяется, кланяется, кланяется.

Надо же когда-нибудь начать!

И он начинает:

Толстой, Достоевский, Шекспир, Байрон, Гете, Блок, Есенин.

Нет, он не читает Толстого, Достоевского, Шекспира, Байрона, Гете, Блока, Есенина. Качалов читает — себя.

«Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что свяшенно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, — красота, располагающая к миру, согласию и любви, а свяшенно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом».

Это он! Это философ Качалов, стоящий тут, перед нами, на фоне длинных серебряных труб филармонийского органа, это Василий Иванович Качалов любит человеческую жизнь и «красоту мира Божия».

Только я в эту цветь, в эту гладь
Под тальянку веселого мая
Ничего не смогу пожелать,
Все как есть, без конца принимая.

Принимаю — приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.

И это не Сергей Есенин, а Качалов.
И опять:

«Рукоплесканьями гремит широкая арена».

Наклонясь к Никритиной, я шепчу:

— Вот тебе, Нюха, и эстрадник!

— Ух, какой великий эстрадник!

Василий Иванович внутренне давно ушел из Художественного театра. Он даже говорил «они» о работающих, вернее — служащих в невысоком серо-зеленом доме с чайкой над входом.

Станиславский пугал:

— Ни один театр в мире не может так быстро рассыпаться, как Художественный. Он может рассыпаться в два месяца или даже в два спектакля, и ничего от него не останется.

Над этими словами надо бы призадуматься.

Когда смерть подошла и встала возле примятых подушек Качалова, опершись на невысокую спинку его больничной кровати, Василий Иванович, не надевая пенсне, ясно ее увидел.

— А знаешь, Нина, — очень тихо сказал он, — мне уже это не страшно. Но и не любопытно.

Нина Николаевна сухими губами припала к его руке.

Потом, постаравшись улыбнуться, он сказал голосом, почти лишенным звука:

— А ну — со смертью будем храбры!
Ведь все равно возьмет за жабры.

Нина Николаевна заплакала.

Она плакала и рассказывая мне это.

Качалова нет.

Я не в первый раз без него сижу в его кабинете. И всегда сжимается сердце. До чего же он не похож на его кабинет!

Словно не только переставили мебель, перевесили картины, убрали из-под стекла книжного шкафа фотографии его друзей, но и переменяли воздух. Качаловский воздух ушел из дома вслед за Василием Ивановичем.

Я спорю с его сыном:

— Нет, Дима, не могу, не могу с этим согласиться. Нельзя было сжигать его дневники.

— Отец перед смертью взял с меня честное слово, что я это сделаю.

— Но это история всей жизни Качалова! Он писал их десятки лет. Писал почти ежедневно.

— Мне пришлось сжечь два больших сундука. Они стояли на даче. На Николиной горе.

— Ужасно!

— Это была его последняя воля.

— А если бы Шекспир завещал сжечь свои сонеты? И вы сын его? Вообразите это. Вы сожгли бы их?

— Я не сын Шекспира.

— Это мне известно. Поэтому я и сказал: вообразите это.

— Не могу. Вероятно, у меня нет воображения.

И молчит.

— Вы, Дима, прочли их?

Он молчит.

— Вы прочли эти дневники?

— От первой до последней строчки.

— И не колеблясь сожгли?

— Почти не колеблясь.

— Сожгли историю его ума, его души, его сердца?

— Отец был гораздо умней, крупней и сердечней, чем его дневники. Они никуда не годились. Плохие, жалкие! Кроме того, повторяю еще раз: я дал честное слово умирающему отцу. Вы знаете, Толя, что он умирал в полном и глубоком сознании. Только в последние дни отец примирился со смертью. Примирили физические страдания. Он принял ее, как избавленье.

— Что значит, Дима, это ваше честное слово! Скажу больше: что значит даже последняя воля?

— Воля отца! — упрямо повторяет он.

— Даже отца! Может быть, с точки зрения общепринятой морали я говорю сейчас кощунственные слова. Но ведь я чуть-чуть историк. Всю жизнь я возился с ней. А дневни-

ки Качалова, какие бы они ни были, это история русской культуры моего века. Воображаю, какие громы и молнии, какие проклятья будут метать потомки на вашу бедную голову.

Мы говорили долго, страстно, с болью, с гневом, порой со злобой, но так, разумеется, и не переубедили друг друга. Так и не сговорились.

Кто же из нас прав?

Жизненная дорога Димы была нелегка: белая армия, эмиграция, возвращение на родину, война, плен.

Отец был уверен, что он погиб. Мать хваталась за ускользающую от нее надежду. И говорила, говорила о сыне. Как о живом.

Василий Иванович слушал с окаменевшим лицом.

Потом ронял:

— Отмаялся Димка.

Нина Николаевна вскидывалась:

— Да что ты все: отмаялся, отмаялся!..

Это повторялось изо дня в день.

У Василия Ивановича было только одно слово:

— Отмаялся.

В 1942-м Никритина с актерской бригадой Большого драматического театра отправилась на Московский фронт. Как-то бригада заночевала в деревне, только что оставленной немцами.

Неожиданно старая крестьянка сказала:

— Тут у нас немцы стояли. С ними один наш был. Переводчиком, стало. Молоденький такой, белобрысенький. Уходя, значит, он попросил меня: «Скажите, мол, нашим, когда придут с освобождением, что я, мол, живой. Я, мол, сын очень знаменитого в России артиста. Имя ему: Качалов. Пусть, мол, наши скажут об том моим родителям. Меня, мол, увели с собой немцы».

Это и сделала Никритина. Разумеется, немедленно.

Вот и не отмаялся Дима.

Нина Николаевна умерла в 1956 году «у Ганнушкина». Это старинный московский сумасшедший дом. Незадолго до смерти «у Ганнушкина» в нервном отделении находился и Есенин.

Ольга Пыжова с дочкой, с Ольгушей, воспитанной в доме Качаловых, навестила Нину Николаевну.

Легенда называет Ольгушу дочерью Качалова. Это вздор, это чепуха.

У Литовцевой в последние годы вырос горбик. Еще резче она хромала. И словно усохла вся. И стала желтая, как березовый увядший лист, пролежавший не один год в толстой книге.

Увидав Ольгу и Ольгушу, Нина Николаевна кинулась к ним. Обцеловала Ольгушу, ставшую крупной красивой женщиной. Обняла Ольгу. Прильнула усохшим листиком головы к ее груди. И горестно заплакала. И стала умолять:

— Оля, возьми меня отсюда! Увези меня отсюда! Увези! Здесь страшно. Это сумасшедший дом. А я нормальная. Совершенно нормальная.

А через минуту она уже не узнавала Пыжову.

— Это же Ольга. Это моя мама, Ольга Пыжова. Ольга Ивановна! — испуганно повторяла Ольгуша.

— Кто?.. Пыжова?.. Ольга Пыжова?..

И глаза у Нины Николаевны налились кровью, пальцы скрючились, ногти превратились в когти злой птицы, и она закаркала, махая руками, как большими крыльями:

— Зло!.. Зло!.. Пыжова мне сделала много зла!.. Зла!..

Я молюсь словами Пушкина:

Не дай мне Бог сойти с ума,
Нет, легче посох и сума.

Итак, итог.

В. Шершеневич

ЭТО ВАМ,
ПОТОМКИ!

Трое суток лил холодный дождь. Лифт был в ремонте. Репетиция у Никритиной прошла плохо. С мокрым зонтиком в руке, в промокшем пальто она плюхнулась в широкое кресло, что стояло у нас в передней:

— Ах, как мне надоела эта трудная жизнь!

— Что делать, дорогая, — ответил я. — Легко только в гробу лежать.

— А где Сережа?

Так звали нашего кота-сиамца.

— Почему он меня не встречает?

— Спит на моей рукописи. Я мечтаю поработать, да вот не решился потревожить его.

Никритина взглянула на меня испуганно: не спятил ли ее муженек со своим котом?

Дело в том, что я очень сочувствовал ему. Ведь самое трудное в жизни ничего не делать, а он не пишет, не репетирует, не читает газет, не бывает в кино... Бедный кот!

* * *

Михаил Яковлевич Вайнштейн, член партии с 1903 года, сказал мне доверительно:

— С дурой я даже спать не могу.

— Да что вы в этом понимаете, Михаил Яковлевич! — улыбнулся я.

В этом он действительно понимал не слишком много, так как в общей сложности около двенадцати лет просидел в одиночке Петропавловской крепости. Да еще — остроги, тюрьмы, этапы, подполье...

Свою золотую свадьбу он только что справил с Розой Яковлевной, несмотря на то, что она была закоренелой и отчаянной меньшевичкой.

В доме у них — и в Берлине (где мы познакомились), и в Париже (где подружились), и в Москве (где закрепились наша

дружба) — постоянно шли горячие политические споры. Меньшевичка Роза Яковлевна не могла простить своему обожаемому «отпетому большевику» ни единой оплошности наркома, Политбюро и ЦК ВКП(б).

Споря, они переходили на «вы» и называли друг друга по имени-отчеству. Их бесконечно добрые глаза пылали гневом.

Когда Михаил Яковлевич сидел в кресле, он казался высоким мужчиной. Плотное сложение, широкие плечи, большая чадаевская голова «как череп голый». Нос увесистый. А над ним предельно черные, словно подкрашенные, брови шириной в два пальца.

Но стоило Михаилу Яковлевичу встать с кресла на свои чрезвычайно коротенькие ножки с изящными дамскими ступнями, и вы невольно улыбались от неожиданности: высокий мужчина оказывался очень маленьким. Даже пониже Розалии Яковлевны. Она словно сошла со старой гравюры «Нигилистка». Так же стрижены волосы, те же роговые очки на энергичном носу, та же строгая кофточка с глухим воротничком и широкий кожаный пояс.

В эмиграции Михаил Яковлевич был близок к Владимиру Ильичу, находясь у него как бы в личных политических секретарях.

— Вы, Михаил Яковлевич, любите Ленина? — однажды спросил я. — Очень?

— То не то слово, — ответил он. — Что это такое «любить Ленина»? Нет, он всегда висит в красном углу большевистской души, как икона в крестьянской хате.

А ведь Михаил Яковлевич с Лениным за домашним столом чай пил!

И еще существенно, что мой сереброголовый друг терпеть не мог красивых слов из арсенала Троцкого. А тут выдал этакий образ!

Розалия Яковлевна и Михаил Яковлевич всю жизнь спали на разных кроватях. В ту страшную ночь меньшевичку разбудил его шепот:

— Розка, умирать приполз к тебе.

И, взобравшись на высокую постель, он тихо отошел, прижавшись к теплому плечу своего политического прогивника.

Ах, какие это были люди!

* * *

Чрезмерный пессимизм так же противен, как и чрезмерный оптимизм. Два дурака только разного цвета — черный и розовый.

* * *

В 1909 году Лев Толстой записал в дневнике:

«Чтобы быть художником слова, надо, чтобы было свойственно высоко подниматься душою и низко падать».

Падать-то низко мы умеем.

Ни за что не написать мне так, чтобы понравилось нашему министру культуры.

А вот по Чехову, «заяц, ежели его бить, спички может зажигать».

Значит, он, этот заяц-то, поумней будет.

* * *

Был Зошенко. Лицо у него словно из холодного пепла. Тех, кого не прорабатывал Сталин, кладут в гроб краше. А ведь Зошенко сейчас «благополучен» — его однотомник издан «Советским писателем».

Он в шелковой рубашке и отличном костюме из английского материала. К сожалению, нервных клеток, сожженных Сталиным, не сошьешь себе из английского материала.

Когда за столом кто-нибудь произносил фразу погромче, Михаил Михайлович болезненно морщился и на лице возникали морщины, как у глубокого старика.

К коньяку он не прикоснулся. Пил только шампанское. Пил безрадостно, редкими маленькими глотками, как остывший чай с молоком.

Как-то в сорок восьмом году я зашел к нему. С большими ножницами в руках Михаил Михайлович ползал по полу, выкраивая из старого пыльного войлока толстые подметки для какой-то «Артели инвалидов». Не помню точно, сколько ему платили за сотню пар. Во всяком случае, обед в дрянной столовке обходился дороже.

Мы жили в Пицунде. Это Абхазия. Это под синим небом теплое море, такое же красивое, как все теплые моря. Это берег в мелкую округлую гальку, к которому с гор спустились сосны. Пятисотлетние сосны и постарше. Нам особенно нравились те, что постарше. Мы могли их обнять только вдвоем с Никритиной. Рядом с ними наши подмосковные вековые сосны казались тонкими юными деревцами. Я был так увлечен Пицундой, что даже перестал читать газеты. А у себя дома, в Ленинграде, они мне казались столь же необходимы, как две утренние чашки крепкого кофе.

Мы с Никритиной ходили и ходили по толстым мягким ков-

рам из желтой хвои. До войны в царскосельских дворцах лежали почти такие же роскошные ковры.

И вот в одну из прекрасных пятниц, самую обычную в этих местах, я получил письмо от приятеля. Сначала он, конечно, сообщил про погоду: «Лето у нас в Ленинграде препротивное — холод, дождь», а потом, в конце четвертой страницы среди прочих новостей сообщил, не выделяя особо: «Вы, конечно, знаете, что умер М. М.».

— Какой М. М.?

— Ничего не понимаю... М. М. ... Кто бы это мог быть?

— Какая-то идиотская конспирация!

И вдруг Никритина горестно всплеснула руками:

— Это Михал Михалыч!

У меня перехватило дыхание:

— Да, Михал Михалыч.

Перед нашим отъездом из Ленинграда он заглянул на Бородинку. Был неразговорчив и трудно улыбался.

Перечитали строчку письма. Сомнений не было.

— Он.

Так мы узнали о смерти Зощенко.

* * *

Месяца через три, промозглым туманным днем, классическим для Ленинграда, мы поджидали к завтраку Шостаковича.

— А ты, Нюша, выпьешь рюмочку? — спросил я, откупоривая «маленькую» армянского коньяка.

— Непременно. По погодке.

Дмитрий Дмитриевич пришел, как всегда, точно в условленное время. Аккуратность, исполнительность, безусловно сдержанное слово, жизненный порядок являлись неизменными свойствами этого музыканта, самого вдохновенного в нашем веке.

Шостакович приподнял рюмку:

— Мне бы хотелось выпить в память Михал Михалыча.

Молча выпили.

Мы все по-настоящему любили Зощенко.

— Мне передавали, Дмитрий Дмитриевич, что вы были на его похоронах.

— Да, да, был. Конечно, был. Он лежал в гробу такой красивый.

И, сморщив переносицу под очками, повторил резко и быстро, словно рассердившись на кого-то:

— Очень красивый. Очень, очень.

И сам разлил по рюмкам коньяк.

— Давайте по второй. В его же память. Он был великий писатель.

И опять сердито сморщил переносицу.

— Великий, великий. А вот в покер играл отвратительно! Я терпеть не мог с ним играть. Как дурак он играл. Всегда проигрывал. Помните, как я убежал, швырнув карты? Это, Анатолий Борисович, у вас приключилось, на Кирочной. У Зошенко на руках флешь-рояль был. От короля-флешь. С джокером. А у меня тузовый покер. Так он, дурак, после третьего повышения — открыл меня. А ведь раздеть мог. Я бы лез и лез. Помните?

— Конечно, помню. Разве такие случаи в жизни забываются? Это ведь, Дмитрий Дмитриевич, не вторая или третья любовь.

Шостакович улыбнулся, обрадовался:

— Да-да! Мой тузовый покер нарвался на флешь. Такое в жизни не забывается. Это верно, это верно.

Я был в добрых отношениях с Михал Михалычем больше четверти века. С молодых лет он очень уважительно относился к медицине — к врачам, к аптекам, к лекарствам, к диетам, к медицинской литературе, наивно считая ее научной. Здоровья он был неплохого, я бы сказал — среднеинтеллигентского, но обожал лечиться, добросовестно выполняя советы врачей. Он очень боялся умереть. А вот в это трагическое лето, заболев совсем несерьезно, вдруг испугался *не* умереть. И до последнего вздоха решительно и упорно отказывался от врачей, от лекарств и даже от еды.

Устал. Устал жить.

Его жену, Нину Владимировну, в Союзе писателей спросили: «Где бы вы хотели похоронить Михал Михалыча?» Она ответила: «На Литераторских мостках». Но ей в этом отказали под каким-то глупым предлогом. «В таком случае, — сказала она, — я хочу похоронить мужа в Сестрорецке». Там была у Зошенко дача. Вернее — половина дачи. Этому желанию вдовы в Союзе обрадовались: «Пожалуйста, мы сегодня же договоримся с похоронным бюро».

А вечером того же дня наше Правление долго обсуждало текст траурного объявления в газете.

Обычно извещали так: «С глубоким прискорбием сообщаем о

кончине...» и т. д. Но умер не кто-то, а Зощенко. Правлению Союза писателей пришлось всерьез задуматься: «Уместно ли о Зощенко печатать “с глубоким прискорбием”?» Нет, не уместно! И в «Ленинградской правде» появилось в черной рамке:

«Правление Ленинградского Отделения Союза Советских писателей РСФСР с прискорбием извещает о смерти М. М. Зощенко».

Но вынос тела все-таки попытались обставить внушительно. Замдиректора нашего клуба тов. Миллер, выглянув из окна, поразился, что знаменитое здание на ул. Воинова окружено плотным кольцом милиционеров в форме — красные околыши, погоны и канты. Обескураженный, он немедленно позвонил в отделение милиции:

— В чем дело, товарищ начальник? Мы не привыкли хоронить писателей с милиционерами в форме.

— Так, так. Не привыкли, чтобы в форме? Ну, в таком случае мы их переоденем в штатское.

И действительно переодели.

* * *

Было сказано: «Собаке — собачья смерть».

Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича, последовавшей 30 мая с. г. на семьдесят первом году жизни после тяжелой продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного.

Вот и сделали по сказанному.

* * *

Собираюсь шить себе шубу. Разумеется, она будет последней в жизни. И от этой мысли почему-то не грустно. Но и не радостно.

* * *

Про одного своего полуприятеля, полуписателя, полубиллиардиста и покериста Маяковский презрительно сказал:

— Он хорошо настроен, потому что плохо осведомлен.

Это было уже в сталинскую «эпоху».

* * *

Хорошенькая Валя, свернувшись клубочком на тахте, одним ухом слушала по радио приглушенного Ойстраха, а другим — разговор за чайным столом трех бабушек. Они говорили

о недавних смертях: у одной бабушки умерла ее школьная подруга, у другой — ее первый возлюбленный, у третьей — двоюродная сестра.

Не выдержав, Валя буркнула с сердцем:

— Не знаю! У нас вот никто не умирает!

Бабушки смущенно замолчали. Даже не стали оправдываться. Даже не сказали: «У вас!..».

Хорошенькая Валечка была студенткой второго курса.

* * *

Был Образцов. Не виделись около года. В разных городах жить — это не на разных улицах. У него дела превосходны. Пишет книги, статьи, издается, печатается в журналах, в газетах, с успехом ведет театр, режиссирует, концертирует, снимается в кино, ставит там, разъезжает по Европе, Азии и Африке, обласкан Кремлем. Словом — и в деньгах, и в славе! Кажалось бы, кроме усталости, что-то и другое должно быть в глазах. А я вижу одну усталость.

Ночью говорю Никритиной:

— Сережа очень постарел.

— Ужасно!

— И внутренне постарел.

— Да.

— И не слишком счастлив.

— Да.

— Почему?

— Я только что хотела этот вопрос задать тебе: почему?

* * *

Один неглупый старый холостяк сказал мне:

— Жениться еще страшней, чем в первый раз влезть в новые ботинки и отправиться пешком от Пяти Углов на Каменный Остров.

* * *

— Мама, а бабушка может рожать? — спрашивает шестилетний Кирка.

— Нет.

— Ага! Я же сказал, что она самец.

Дело в том, что у бабушки свисают с верхней губы черные усики.

* * *

Мы жили в донской станице. Хозяйка, кормя своих уток, каждую называла по имени, и те, поклевывая, откликались.

— Утки умные? — спросил я.

Седоусый казак хмуро ответил:

— Жрать все умные.

Он был философ, а в эту минуту лениво читал роман-газету.

* * *

Мне нравится мудрый гуманизм всех сук земных (за исключением женщин): доведя до возмужания своих щенят, они напроць о них забывают и не требуют благодарности, признательности, почтения. За что? Брюхатели-то суки, расплачиваясь за полученное удовольствие. И все.

* * *

Буржуазная мудрость: в жизни надо иметь одну жену, а менять — любовниц.

* * *

Жду приятеля, с которым не виделся лет двадцать, и прихорашиваюсь, как перед свиданием с женщиной.

Очевидно, не очень-то хочется, чтобы он сочувственно вздохнул:

— Э, брат, постарел, постарел!

* * *

Врач рассказал:

— У нас в родильном доме женщина родила китайчонка. И скандалит: «Подменили! Подменили!» Отказывается кормить его грудью. А через несколько дней к подъезду подкатывает вЗИМе молодой китаец с букетом роз.

Я самодовольно улыбаюсь, так как всегда утверждал, что женщины несравненно лживей нашего брата.

* * *

Для большей убедительности газетчики пишут: «как всем известно» или еще лучше: «как всему миру известно». Это даже в том случае, когда никому не известно.

И на глупого читателя это действует.

* * *

Государство, как надоедливая муха, жужжит. Жужжит, жужжит тебе в уши. Потом садится на тебя, кусается, как собака. О, Боже мой!

* * *

На свете довольно много женщин, которые очень любят собак, кошек, птичек в клетках, а людей не любят. Такие мужчины тоже попадают, но, к счастью, пореже.

* * *

Где жар страстей? Он мне не дорог.
Других восторгов будь знаток.
С улыбкою приму, под сорок
Я октября легчайший холодок.

* * *

Жена донжуанствующего приятеля сказала:

— И все-таки я предпочитаю быть женщиной, *которой* изменяют, а не женщиной, *с которой* изменяют.

И я понял ее. Ведь в театр, на концерты и к друзьям Дон-Жуан ходил с женой, а не с женщинами, с которыми изменял ей.

* * *

Женщины часто говорят:

— Я его люблю сама не знаю за что...
Вот суки!

* * *

«Это» часто проделывают без всякой лирики. Для здоровья. От головной боли. От скуки. И мужчина по-честному не называет это высокими словами. А женщина обязательно — *любобвю!*

И еще: женщина легко, запросто говорит «он влюблен в меня» о мужчине, который ни разу не сказал подобной фразы ни себе самому, ни ей, ни своему приятелю.

* * *

Наполеон принимал министра. Беседа затянулась. Неожиданно министр упал в обморок. Впоследствии императору объяснили:

— Ваше величество, он боялся сказать, что ему необходимо в уборную.

— Человек, которого я сделал министром, должен отвыкнуть мочиться, — изрек Наполеон.

Деспотов, разумеется, надо вешать на фонарях. Даже гениальных.

* * *

Когда весть о смерти Александра Македонского долетела до Афин, один свободолюбивый грек воскликнул:

— Не верю! Иначе смрад от его трупа провонял бы уже всю вселенную.

* * *

Шестилетний Мишка, поссорившись из-за гамака с ребятами, орал на свою мать и тетку:

— Зачем вы привезли меня на эту проклятую дачу? Чтобы я трепал свои последние нервы? Зачем?

И дрыгал, как истеричка, ногами. А интеллигентная тетка, бледная, как полупокройница, целовала его в глазки дрожащими губами:

— Успокойся, маленький... Успокойся, моя крошка.

* * *

К старости почти перестаешь чувствовать весну, лето, осень, зиму. Только: тепло, холодно, мокро, ветрено.

Какая скука!

* * *

Растирая мне молодыми сильными руками поясницу, массажистка вдруг сказала:

— Вчера развелась с мужем.

— А кто он был, этот ваш муж?

— Знаете пословицу: не стал инженером, будь офицером, — ответила она.

Хорошая пословица. Я не знал ее.

* * *

В приемной сановника маститый NN кладет на язык таблетку.

Хорошенькая секретарша лукаво спрашивает:

— Министра культуры боитесь?

— Нет, — отвечает NN, — я боюсь культуры министра.

* * *

— Я молю Бога, Боренька, чтобы у тебя всегда был один лишний рубль, — говорила мудрая еврейская мама своему сыну, у которого всегда не хватало по крайней мере одной тысячи.

Боренька — Борис Евсеевич Гусман. Лицом этакий курносый еврейский император Павел. Только добрый, симпатичный и совсем не сумасшедший.

Он написал интересные книги — «Сто поэтов», «Чайковский» (монография; света не увидела). Он много лет подряд работал с Марьей Ильиничной Ульяновой в «Правде». Сталин турнул его оттуда, но почему-то не посадил, а отправил в Большой театр.

Мой друг руководил им «со свежинкой». Сталин и оттуда турнул его за эту самую «свежинку». Но опять не посадил, а «кинул», как тогда говорили, в Радиокомитет. После чего, не слишком канителюсь, конечно, посадил за... «аристократизм в

музыке», то есть за передачу по радио симфоний Бетховена, Скрябина, Равеля, Дебюсси и Шостаковича.

В обвинительном заключении было сказано: «Гусман завербован во “враги народа” Керженцевым».

Керженцев, его патрон по Радиокомитету, умер, никем никогда не потревоженный, с пышным некрологом в «Правде».

* * *

Самое убийственное для женщины, если она не слишком молода и хороша, вести себя, как юная красавица.

А ведут, ведут. И даже совсем не дуры.

* * *

Жена выставила мужа из спальни. Поссорились. Тот перелазил спать в другую комнату.

Забравшись к матери в кровать, дочурка спрашивает:

— Значит, наш папа теперь уже не папа, а просто сосед?

* * *

Хорошие писатели поступают так: берут живых людей и всаживают их в свою книгу. Потом те вылезают из книги и снова уходят в жизнь, только в несколько ином виде, я бы сказал, менее смертном.

* * *

Надо быть животным, чтобы хоть раз в жизни не подумать о самоубийстве.

Мне кажется, что это моя мысль. А может быть, и не моя.

* * *

Меня так замучили «проработками», что я уже не охаю, а только смеюсь. Совсем как дочка Пыжовой. У девчушки как-то заболел зубок. Мать повезла ее к врачу. Вернулись. Ольгуша залезла в кроватку и смеется.

— Ты чему радуешься? Зубок выздоровел?

— Нет, не потому.

— А почему?

— Ковыряли, ковыряли, а зубок-то все болит.

* * *

Наш Игорь, наш герой-любовник бывшего Александринского театра, одеваясь в передней, вытер пыль на ботинках своим кашне, а потом шикарно накинул его на шею.

Он из интеллигентской семьи — прадед, дед и отец архитекторы, мама педагог (преподает французский язык), сам чуть-чуть не кончил философский факультет, в театре играет не только Ваську Пепла из «На дне», но и дона Цезаря де Базана,

который, как известно, и «перед королем Испании не снимал своей шляпы».

И вот это «кашне»!

Воистину наша эпоха удивительная.

* * *

Старый Эйх — так называли мы в домашнем кругу профессора Бориса Михайловича Эйхенбаума — однажды без улыбки спросил меня:

— А знаешь, Толя, что во Французской Академии сказал о тебе Виктор Гюго?

— Нет, к стыду своему, не знаю.

— Может, тебе это интересно?

— Очень!

Тогда старый Эйх снял с полки только что вышедший XV том Гюго и с отличной выразительностью стал читать двадцать пятую страницу:

«Ни один поэт не заставлял свои трагедии и комедии сражаться с такой геройской отвагой. Он посылал свои пьесы, как генерал отправляет на приступ своих солдат. Запрещенная драма немедленно заменялась другой, но и ее постигала та же участь».

Эйх захлопнул книгу и замолчал, не без самоудовлетворения и торжественности.

— Да, профессор, Виктор Гюго это сказал обо мне. И это святая истина. Сегодня, то есть 9 февраля 1957 года, ВСЕ мои пьесы запрещены.

— Сколько их?

— Больших девять. Юношеские не в счет, очень плохие — тоже. Одни запрещали накануне первой репетиции, другие накануне премьеры, третьи — после нее, четвертые — после со- того спектакля («Люди и свиньи»), пятые — после двухсотого («Золотой обруч»).

* * *

У молодых советских супругов частенько жизнь идет по трагической песенке:

Дунька дома — Ваньки нет,

Ванька дома — Дуньки нет.

* * *

Ребята на улице:

— Закрой поддувало!

— Не сифонь, — отвечает семилетний пузырь.
Я учусь у них сегодняшнему языку.

* * *

Женщина забывает даже имя своего возлюбленного (если их было порядочно). Но обязательно помнит с мельчайшими подробностями все платья, которые она носила примерно с двенадцатилетнего возраста.

* * *

Коктебельское небо в июле — синяя клеенка, протертая мокрой тряпкой.

Сентябрьский луг в Солнечном словно забрызган хорошим одеколоном.

Моя юношеская любовь — ее звали Танечкой — всегда выскальзывала из рук, как кусок мокрого мыла.

Эти образы мне когда-то казались удачными. А потом я стал их вычеркивать из своих рукописей.

* * *

Мао Цзедуна почему-то банкетировали не в Георгиевском зале Кремля, как было принято, а в гостинице «Метрополь».

Мао со своим окружением и Сталин со своими «соратниками» расположились в Малом зале по соседству с Большим залом, где за многоместными столами ели и пили те, кого неизменно вызывали на все правительственные банкеты.

Двери из Малого зала в Большой были раскрыты.

Детский поэт Сергей Михалков, чтобы его «там» заметили, упорно и взволнованно прохаживался на своих длинных ногах перед дверями Малого зала.

В конце концов Сталин поманил его толстым коротким пальцем, согнутым в суставе.

— Пожалуйте к нам, пожалуйста, милости просим.

И представил китайцам:

— Наш знаменитый детский поэт товарищ Михалков.

Потом о чем-то спросил его, что-то сказал ему и улыбнулся на какую-то его остроту.

Вдруг Михалков увидел недоеденный чебурек на тарелке генералиссимуса.

— Иосиф Виссарионович, у меня к вам большая просьба! — отчаянно заикался искусный советский царедворец.

— Какая?

Превосходно зная, что заиканье нравится Сталину — сме-

шит его, — Михалков заикался в три раза сильнее, чем в жизни.

— Подарите мне, Иосиф Виссарионович, на память ваш чебурек.

— Какой чебурек?

Михалков устремил восторженный взгляд на сталинскую жирную тарелку.

— А?.. Этот?..

— Этот, Иосиф Виссарионович, этот!

— Берите, пожалуйста.

И наш избранник муз благоговейно завернул в белоснежный платок сталинский огрызок, истекающий бараньим жиром.

* * *

— Мамочка, роди меня, пожалуйста, обратно, — сказал, Кинька.

Ему тогда уже исполнилось пять лет, и он был в мрачном настроении.

* * *

Флобер и Мопассан считали, что Бальзак, при всем его величии, не то что неважный писатель, а вообще не писатель.

Вот вам!

* * *

— Опять суп с фрикадельками!

Мы всегда едим, что любит наша домработница, а не то, что нам по вкусу.

Совсем как в литературе. Разве читателя у нас кормят тем, что ему нравится?

* * *

Бетховен выучился музыке из-под палки.

А про Христа он сказал:

— В конце концов, это только распятый еврей.

* * *

В 1789 году Марат в своем «Друге Народа» писал: «Вчера в 5 ч. вечера прибыли в столицу король и дофин. Для добрых парижан это настоящий праздник, что их король среди них».

Хороший писатель и этим воспользуется, если будет писать роман о Марате. Плохой — никогда!

* * *

Я как-то сказал старому Эйху о коротеньком, круглом, талантливом и очень умном Викторе Шкловском:

— Гибкий мужчина! Лет тридцать он публично кается и

признает свои ошибки, разумеется, ничего не признавая и ни в чем не раскаиваясь.

— А что делать? — вздохнул старый Эйх, этот честнейший и принципиальнейший из всех смертных россиян моего века.

* * *

Как известно, даже французы (Флобер, Гонкуры, Мопассан и др.) считали нашего Ивана Сергеевича Тургенева арбитром литературы.

И вот этот-то европейский арбитр поначалу не понял, не почувствовал, не оценил «Войны и Мира».

Он писал:

«Как все это мелко и хитро и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том — трус, мол, я или нет?.. Где тут черты эпохи? Где краски исторические?»

А в другом письме:

«...Автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то рабски списанных современных генеральчиков».

Ну?

И про «Анну Каренину» не лучше:

«...Все это кисло, пахнет Москвой, ладаном, старой девой, славянщиной, дворянщиной и т. д.»

А Салтыков-Щедрин! Как он изволил высказываться:

«Читали роман Толстого о наилучшем устройстве быта детородных частей? Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на одних половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного кобеля Вронского...»

Вот они, современники! Вот их суд! А ведь Тургенев и Щедрин, пожалуй, не глупей будут Ермилова. Этого нашего «арбитра», с позволения сказать.

* * *

Юлий Цезарь был изнеженным женственным щеголем. Сулла называл его «мальчиком в юбке». В походы Цезарь брал с собой роскошные мозаичные полы и был окружен генералами-литераторами.

И даже такого деспота зарезали.

Очень хорошо, что зарезали.

* * *

Гете говорил, что поэзия действует всего сильнее в начале культурных эпох, когда они еще совершенно грубы.

Конечно!

* * *

Рейнольдс:

«Назойливое выставление напоказ простоты так же неприятно и противно, как всякий другой род неестественности».

Нашим писателям это полезно знать.

* * *

«Старый дурак глупей молодого».

Конечно!

* * *

Наш министр культуры говорит о живописи, о музыке, о театре, о литературе.

— Товарищ Михайлов, — хочется спросить его, — а знаете ли вы, что у Антона Павловича Чехова была такая молитва: «Боже, не позволяй мне говорить о том, что я не знаю и не понимаю».

* * *

Из пушкинского «Путешествия в Арзрум»:

«У Пушкина на столе (это во Владикавказе) нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух...

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве».

Признаюсь: читаю эти строчки, перечитываю и по сердцу как бархатной лапкой.

«Похоже, говоришь? Знакомо?»

«О!..»

«А что дурень — “О!” Что знакомо?.. То, брат, Пушкин, понимаешь, Пушкин! А то...»

Внутренний диалог довольно убедителен. И все-таки приятно.

* * *

Вот ведь какое гнусное почти правило — как подлец, негодяй, предатель, хапуга, человек злой, коварный — умен, обязательно умен! А среди добряков, среди милых, среди хороших — днем с огнем поищи-ка умного. Редчайшая редкость.

* * *

В эпоху Возрождения Англия являлась маленькой страной — около пяти миллионов жителей, из них четыре пятых — неграмотных, а писателей было около трехсот — среди которых Шекспир, Бен Джонсон, Спенсер, Томас Мор, Марло, Флетчер, Мильтон...

А нас сколько? 200 миллионов. И почти все умеют писать-читать. Но где же Бен Джонсон хотя бы? Или Томас Мор?

Грустно.

К слову, о Томасе Море. Как известно, он был лордом-канцлером Генриха VIII. Потом, что являлось не редкостью в ту эпоху, король решил обезглавить его. Поднимаясь на эшафот, автор «Острова Утопии», обращаясь к палачу, шутил:

«Пожалуйста, сэра, помогите мне взойти. А вниз я уж как-нибудь сам спущусь».

До чего же прелестны англичане в своем чувстве юмора!

Завидую. Надо признаться, что мы этого лишены совершенно. Даже Мейерхольд, когда Сталин поставил его к стенке, не нашел ничего более остроумного, как закричать:

— Да здравствует революция!

* * *

Автор «Анатомии меланхолии» Бертон, из той же очаровательной компании англосаксов, предложил:

«Заберись повыше и смотри, и ты увидишь, что весь мир безумен».

Через три столетия, в наш век атомной и водородной бомбы, я не могу посоветовать ничего другого.

* * *

Гуляли по Московскому зоологическому саду. К железным клеткам, в которых помещались не слишком благородные животные, иногда были прикреплены металлические дощечки с надписью: «Хорошо переносят неволю».

К сожалению, на мою клетку нельзя повесить дощечку с такой утешительной надписью.

* * *

Начальник американского генерального штаба Риджуэй рассказывает: было совещание перед крупной операцией; какой-то генерал, согнувшись над картой, сказал: «За эту высоту я бы отдал десять тысяч человек». В комнате стало тихо. И вдруг из глубины раздался спокойный голос: «Щедрый мерзавец».

Вот и Сталин тоже был *щедрым мерзавцем*. Я даже думаю — самый щедрый из тех, кого запомнила история.

* * *

Только писатели-подлецы могут говорить на собраниях (дома они этого не говорят), что отсутствие свободы делает нас счастливыми, а литературу... великой!

* * *

- Я тебя очень люблю.
- Как это грустно!
- Грустно?
- Да. Я надеялась, что ты скажешь: «Я тебя люблю».

* * *

Я писал «Мой век, мои друзья и подруги» три года, и мне казалось, что это долго. А вот один опыт Дарвина над земляными червями тянулся 29 лет.

В следующий раз я буду говорить себе:

— Помни о червях Дарвина! Литература не менее важна в жизни.

* * *

Получив через восемь месяцев корректуру своей книги, Зощенко сказал:

— У нас все делают так медленно, как будто мы живем триста лет.

* * *

Мастерство актера!.. А?.. Что же это такое?.. Что за мистика?

* * *

У кого-то я прочел, что прославленную Садовскую однажды спросили:

— Как это вы, Ольга Осиповна, можете так играть?

— А я не играю, мой милый. Вот выхожу на сцену, да и говорю. Так же я и дома разговариваю.

Оказывается, это самое трудное. То есть самое трудное для актера — это не быть на сцене актером.

* * *

Когда я пишу пьесу — большую или маленькую — впрочем, не только пьесу, а и прозу, — всегда помню слова Станиславского:

«В четвертом акте “Трех сестер” опустившийся Андрей разговаривает с Фералпонтом... описывает ему, что такое жена. Это был великолепный монолог страницы в две. Вдруг мы получаем записочку, в которой говорится, что весь этот монолог надо вычеркнуть и заменить его тремя словами:

— Жена есть жена!»

* * *

Взглянув на сковородку, я прищелкнул языком:

— О, навага!

— Это известно... коты и мужчины обожают навагу, — брезгливо сказала моя аристократическая тетушка.

Она вообще находила, что у нас с котами много общего. Пожалуй, это справедливо.

* * *

Со злостью скомкав «Литературку», я вспомнил слова Салтыкова-Щедрина про какую-то газетенку его времени:

«Как принесут ее, так и кажется, что дурак вошел в комнату».

Я бы только добавил: дурак и подлец.

* * *

Ковыряюсь, канителюсь, потею над словом... Да, к сожалению, я не Достоевский, я не имею права писать плохо.

* * *

В ВТО, в «Доме актера», был творческий вечер Никритиной.

Чтобы поговорить о ней перед началом концерта приехал с Карельского перешейка Герман Юрий Павлович. Так значится он по паспорту. А по жизни — Юрочка Герман. Ведь в художественной среде — главным образом писательской и актерской — люди изо всех сил стараются сделать вид, что они не стареют, а умирают по недоразумению. Вот и меня по сегодняшний день называют Толей Мариенгофом. Называют так не только члены Союза писателей, но и уважаемые граждане, которых я не имею чести знать ни по фамилии, ни в лицо.

Небось, к примеру, Ивана Сергеевича Тургенева читатели XIX века не называли «Ванечка Тургенев», а Короленко — «Вовочка Короленко!» «Почему же советская эпоха уж больно с нами запанибратски? — не раз спрашивал я себя. — Может быть, потому, что Тургенев и Короленко с бородами были, а мы бритые? Этакие старенькие мальчишки».

У сорокалетнего Германа — семидесятилетние седые волосы и живот старого чревоугодника боярской Руси. Этот его живот могучей волной переливается через узкий ремешок, заменивший теперь благородные подтяжки.

Работает, то есть пишет, Юрий Павлович много, без устали, каждодневно, и, несмотря на это свехусердие, пишет хорошо. А порой отлично.

Свое «слово» он не говорит, а читал — веско и отчетливо.

Вот оно с большими сокращениями:

«Много лет тому назад в городе Киеве из окна учреждения со

странным названием ОПРОДКОМ осторожно вылезла тоненькая, смуглая, черноволосая девушка. Она огляделась по сторонам и, охнув от испуга и собственной неслыханной смелости, — прыгнула вниз. Беглянку сочувственными взглядами провожали пом- и замзава бухгалтерии, замначканц и делопроизводитель. Девушка потирала ушибленную ногу, а сослуживцы шепотом напутствовали:

— Ты там, Анна, не подкачай!

— Все придем тебя смотреть!

— Роль чтобы зубок знала. Мы за тебя несем ответственность.

— И говори громко. Нет, понимаешь, хуже, как если артисты шепчутся. Любопытно узнать про что, а не слышишь. Ты давай, Анна, погромче, не робей.

— И галерку учитывай. Там тоже люди. Так играй, чтобы с галерки тебя видели всякую минуту. Лицом к публике играй.

Нюша смеялась, сверкая белыми зубами, кивала, обещала. А большой начальник Анны Борисовны Никритиной замзава бухгалтерии опродкома пообещал:

— Твою работу всю сделаем, не сомневайся. Исходящий и входящий запишем как надо. Ты только наше опродкомовское знамя в театре высоко держи.

Облетели осенние каштаны.

С колотящимся сердцем, черненькая, молоденькая, совсем еще девчонка, Нюша Никритина бежала в Соловцовский театр. Бежала в театр, в котором играли многие артисты — славные имена их вошли в летопись русского театра. Бежала на репетицию, на настоящую репетицию. Бежала, сжимая в руке тетрадку роли. Настоящую роль, с ниточкой! Настоящую первую роль!

Под руководством Марджанова и Дуван-Торцова начиналась сценическая жизнь Анны Борисовны Никритиной. И роль «внучки» в ходкой пьесе «Роман» Никритина сыграла с настоящим блеском. Киевские опродкомовцы — те самые, которые работали за Нюшу, — все явились на премьеру. Нет, недаром они заполняли журналы — «исходящий» и «входящий»! — артистка Никритина не посрамила киевское советское учреждение.

От имени канцелярии опродкома Анна Борисовна получила свои первые цветы — большой красно-белый букет. А замзава бухгалтерии сказал после спектакля:

— Хорошо дала типа, Ньюшечка! Хотя и немного было этого типа твоего в постановке, а все же хорошо! Погоди, мащюпунсенькая. Погоди, нэнько. Я тоже не враз замзава сделался. Потоптал стежки и дорожки, покуда до своего кабинета с телефоном дошел. И-и-и-и потоптал! А ты побыстрее пойдешь...

Так Анна Борисовна стала артисткой».

Потом Юрий Павлович стал читать о ролях, ролях, ролях, сыгранных Никритиной в Полтаве, Киеве, Воронеже, Москве и Ленинграде.

А кончил следующим образом:

«Анна Борисовна артистка всем сердцем, всем своим существом. Вне театра для нее нет радостей. Мне довелось следить за Никритиной, когда в театре читались новые пьесы. Каждой удачной строке, каждой реплике, написанной остро, хлестко, театрально — она радовалась. Но как только драматург погружался в тестообразное драмателство, Анна Борисовна словно бы грустнела, я бы даже сказал, — обижалась! По ходу чтения было ясно, что для Никритиной в пьесе нет роли, однако она радовалась и огорчалась так, как будто это имеет к ней самое прямое, личное отношение. Так же радуется она и огорчается на каждом просмотре спектакля в своем театре. Если все хорошо — Анна Борисовна сияет, хотя она в данном случае только зритель, если худо — она погружается в черную меланхолию...

— Я позволю себе кончить свое краткое вступительное слово, — продолжал Герман, — тем же самым опродкомовским окном, с которого я начал. На мой взгляд, Анна Борисовна по своему характеру с тех опродкомовских времен нисколько не изменилась. Ради роли с ниточкой, ради образа, который интересно сыграть, заслуженная артистка РСФСР, как та киевская девочка Ньюша, и теперь вылезет из окна, но не только из первого этажа, и Анатолий Борисович возражать не будет, но только даст руководящее указание:

— По трубе, по трубе, по водосточной трубе спускайся, Ньюшка. Небось не семнадцать тебе годков-то... к сожалению.

В этом секрет успехов Анны Борисовны Никритиной, в этом залог ее будущих удач».

* * *

Возобновили старый-престарый фильм «Отец Сергей» по Толстому.

В кино «Аврора», что на Невском возле «Гастронома» № 1,

в переполненном зале было так тихо, словно затаил дыхание один человек, а не тысяча.

Вдруг из тишины, из темноты раздался низкий женский голос:

— Ему надо бы не палец рубить!

* * *

Моя утренняя и ежевечерняя молитва:

— Господи, не делай из меня ханжи. Не делай, пожалуйста, и после шестидесяти, когда стану пенсионером.

* * *

Встретился с Шостаковичем в филармонической ложе. Шестьсот километров, отделяющие Москву от Ленинграда, жестоко развели нас.

— Это сущее безобразие! — сказал Шостакович, сведя брови.

Дело в том, что опять по всей Руси меня прорабатывали за «Наследного принца». Усердствовали в этом (устно и печатно) те дисциплинированные товарищи, которые не читали и не видели моей новой пьесы. Изъяли все стеклографические экземпляры сразу же, а запретили «Наследного принца» накануне московских генеральных репетиций.

— Ничего, ничего, Анатолий Борисович, будет у вас лучше...

Фраза эта меня несколько удивила. Она была неожиданна для Шостаковича. При Сталине он обычно говорил:

— Ничего, ничего, Анатолий Борисович, будет хуже.

Когда-то в одном эстетствующем доме я любовался превосходным портретом кисти Серова. Но картина была повешена криво. И от этого, рядом с восторгом, во мне все время пульсировало другое чувство — какое-то раздражение. В жизни необыкновенный Шостакович, выражаясь образно, тоже был «подвешен криво». Требовались очень хорошие нервы, чтобы полностью наслаждаться встречей с ним.

* * *

Съезд партии. Троцкий покаялся. Выступает Надежда Константиновна Крупская. Она говорит, что вот-де Лев Давыдович признал свои ошибки, и теперь можно прекратить проработку его (смысл выступления).

Сталин в гневе. Насупился. Шевелятся его усы. Бурчит. Но довольно громко, чтобы сидящие поблизости слышали его:

— Еще одно такое ее выступление, и я сделаю Фотиеву вдовой Ленина.

Это мне рассказал Борис Евгеньевич Этингф. Он сидел в первом ряду и собственными ушами слышал сталинское бурчание.

* * *

У нас выпустили два фильма о Глинке. Оба, как положено, самые мармеладные. А глинковский приятель, бывший в Берлине у смертного одра композитора, писал Ивану Сергеевичу Тургеневу, что Глинка умирал в обществе двух девок и до последнего издыхания он глумился над жизнью, глумился над смертью и просил своих девок сделать «по-маленькому и по-большому» на его могиле. Потом-де на ней «цветы вырастут».

Презираю, презираю, презираю наше мармеладное искусство!

* * *

Решил купить себе палку. Захожу в магазин, прошу: «Покажите мне, пожалуйста, вон ту». Работник прилавка протягивает. Пробую, опираюсь.

— Коротковата! Дайте, пожалуйста, подлинней.

— Все палки, гражданин, стандартные.

— Да что вы! А вот Господь Бог делает людей не стандартными.

Поправив на носу очки, работник прилавка спрашивает меня со строгой иронией:

— Не работает ли ваш Господь Бог лучше советской власти?

Храбро отвечаю:

— Чуть-чуть.

При Сталине после такого ответа работник прилавка уже звонил бы в ГПУ, а ночью за мной приехал «черный ворон».

Мой потомок, вероятно, скажет:

— Неправдоподобно! Невероятно!

Поверьте мне, любезный потомок, при Сталине я бы никогда не был столь храбр в магазине.

* * *

— Папа, когда ты умрешь, я буду носить твои костюмы. Правда?

— А я мамины платья, когда она тоже умрет.

— Папа умрет раньше. У него сердце большое.

— Нет, мама! Нет, мама!..

И сестренка, хлопая в ладоши, прыгает на одной ноге.

— Наследники!.. — бурчит папа.

В эту минуту входит мама.

- Что у вас тут за спор?
- Выпори их, пожалуйста.
- А чем они провинились?

Папа рассказывает.

— Ах ты, дрянь! — восклицает мама. И отдирает за уши свою размечтавшуюся наследницу.

— Будешь ты у меня радоваться!.. будешь... что я скоро умру!..

А наследник выходит сухим из воды.

— Так он же главный ожидатель, — обиженно говорит папа.

— Оставь!.. Ты всегда за эту противную девчонку заступаешься. А ведь она...

Папа перебивает:

— Ты, Варя, совершенно лишена чувства юмора. Впрочем, как и еще девяносто девять процентов женщин.

— Но и тебе, дорогой, не очень-то весело от всего этого.

Украдкой пощупывая пульс, папа признается самому себе, что ему действительно от всего этого не очень весело.

Словом, воскресенье было испорчено.

* * *

В Древнем Риме у ног статуй Свободы, этих прекрасных женщин с величаво поднятой головой, всегда лежала кошка. Она являлась символом свободы.

Великолепный символ!

Умная преданная собака — всегда раб человека. Кошка — ни при каких условиях. Эта маленькая гордая родственница тигра — существо свободное. Сколько бы ни пытались люди полностью подчинить ее своей воле, это им не удавалось. Львы и тигры более податливы. Кошка поступает так, как ей хочется, как ей нравится, как ей угодно, нагло пренебрегая нашими желаниями. А понимает их превосходно. Право, не хуже собаки.

Не зная души, ума и характера кошки, глупцы говорят: «Глупое животное!» Стоит ли следовать за глупцами?

У нас в доме кошек не заводили. Отец сначала был страстным лошадиником, потом — собачником. Это стало семейным. Поэтому с кошкой, вернее с котом, я познакомился поздно, когда мне уже перевалило за пятьдесят.

Вот как это случилось.

Прихожу поздним вечером к Сергею Образцову (он только что вернулся из Чехословакии) и... разеваю от изумления рот: в

передней на полу возятся какие-то непонятные зверьки, словно убежавшие с формалистической картины.

— Что это такое?

— Кот и кошка.

— Это... кот и кошка?

— Да.

— Перестань, перестань. Я что-то таких не видывал.

— Вероятно. У нас в России сиамцев как будто нет. Мне их подарили в Праге.

— Это что... супруги?

— Да. Папа и мама. Она уже в интересном положении.

— В таком случае, Сережа, первенца ты подаришь мне.

— Обязательно.

И 7 ноября 1950 года мы его получили.

«Окрещен Сережей», — немедленно протелеграфировал я в Москву.

К вечеру пришла ответная телеграмма:

«Спасибо. Образцов».

Сиамец стал третьим человеком у нас в семье.

Об его поразительном интеллекте я не напишу книгу только из страха, что мне, автору «Романа без вранья», читатели не поверят. Но об одной черте характера сиамца, о его необыкновенной обидчивости, я все-таки расскажу, причем самую чистую правду, хотя она может показаться неправдоподобной.

Всякую ночь Сережа спал третьим в нашей кровати. Сон у него, впрочем, как и у всех его сородичей, был завидным. Ложился он в ноги и спал, не шевельнув ухом, ровно до шести. Точен он был, как старинный будильник Мозера. В шесть часов кот открывал глаза, позевывал, потягивался и нежнейшими шажками направлялся к Никритиной — поцеловать ее. Обязательно в губы. После чего забирался под одеяло, клал морду на ее плечо и опять сладко, с посапыванием, засыпал до начала девятого — это значит до той минуты, как проснусь я и, заложив руки за голову, лягу на спину. Тогда кот переползал на мой живот и, свернувшись в клубочек, нежился на нем еще минут двадцать. Само собой, я не смел шевельнуться. Всю эту неизменную ночную процедуру Фрейд бы назвал «ритуалом сна». Боже, до чего же он был точен, этот ритуал!

Но вот однажды мы явились из гостей под утро. Когда наступила минута «поцелуя в губы», Никритина только что засну-

ла. «Отстань, Сережа!» — сердито сказала она и спихнула с кровати нашего «третьего».

Сиамец воспринял это как незаслуженное оскорбление, как измену. А может быть, как покушение на его права, на его безусловную свободу — всегда поступать, как угодно кошачьей его душе. Не повернув головы и важно вытянув хвост, неторопливо вышел он из комнаты. Нет, разумеется, не вышел, а удалился. Именно удалился. И... решительно прекратил с нами всякие отношения.

— Но почему же с нами обоими? — недоумевал я.

— Вероятно, по пословице: муж и жена — одна сатана, — сказала Никритина.

Раньше было так: где мы, там и Сережа. А после этой, нанесенной ему смертельной обиды, стало: где мы — там его нет.

Я нервничал, горевал, сокрушался, подлизывался, заискивал, вымаливал у него прощение. Напрасно! Сиамец был неумолим целую неделю. И только когда он решил, что достаточно проучил нас, милостиво снял опалу. Теперь, слава Богу, все по-прежнему: в доме опять мир, покой, хорошее настроение, улыбка; кот по-прежнему за завтраком, обедом и ужином сидит на своем стуле за овальным столом, лежит у меня на коленях, когда я работаю, слушает наши разговоры и ровно в шесть часов утра целует Никритину в губы.

* * *

Лев Толстой сообщил Лескову:

«Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная изжила, повести отживают или я отживаю?»

Это и меня (как Толстого!) преследует постоянно. Но я посамоуверенней Льва Николаевича. Я говорю: «К черту все высосанное из пальца! К чему валять дурака и морочить людей старомодными романами и повестушками». Впрочем, люди, по-настоящему интеллигентные, давно уж этой муры не читают, предпочитая ей мемуары, дневники, письма.

* * *

Почти все женщины — сводни. Даже в молодости. Даже если они носят корону. И неплохо носят. Так было с Екатериной II, с Елизаветой Петровной. Обожают это дело, обожают сводничать.

* * *

Станиславский сказал Книппер-Чеховой про «Вишневый сад»:

«Первый акт читал, комедию, второй сильно захватил, в 3-м потел, а в 4-м ревел сплошь».

Вот это читатель! Да и автор ничего себе. От нашего Софронова не вспотеешь.

А Горький в «Вишневом саде» ничего не понял.

«Слушал пьесу Чехова, — пишет он, — в чтении она не производит впечатления сильной вещи...»

* * *

— Говорят, что самоубийство — слабость. Нет, нет! А я уважаю, завидую. Это сила. Завидую Маяковскому, Есенину!

Это сказал мне Шостакович в сорок восьмом году, летом, в Келломяках.

До переезда его в Москву мы хорошо дружили. Не было вечерушки у Дмитрия Дмитриевича без нас и в нашем доме без него.

* * *

Как-то я гулял с одним остроумцем по Невскому. На углу Караванной появился Шостакович.

Остроумец сказал:

— Вот идет самый обыкновенный гений.

* * *

— Чехов — это Пушкин в прозе.

Лучше не определишь!

* * *

Возвращаюсь к назойливым мыслям.

Как-то Лев Николаевич сказал:

«Возьмешься иногда за перо, напишешь вроде того, что «Рано утром Иван Никитич встал с постели и позвал к себе сына...» и вдруг совестно делается и бросишь перо. Зачем врать, старик? Ведь этого не было и никакого Ивана Никитича ты не знаешь».

Мне думается, что состояние это самое общеписательское, если, разумеется, писатель не форменная дубина. Именно поэтому я перешел от романов к мемуарам, к дневникам.

Сочинять пьесы тоже совестно.

* * *

Философы предпочитали быть холостяками: Кант, Спиноза, Декарт, Лейбниц.

Не завидую им. Но жену надо с умом выбирать. Это по-трудней, чем написать «Критику чистого разума».

* * *

Спиноза, между прочим, считал, что профессиональные политики скорее злоумышляют против людей, чем заботятся о них.

Какое огромное количество людей Сталин сделал подлецами, то есть доносчиками, лжецами, шпионами, палачами, убийцами, изменниками. Друзья стали предавать своих друзей, дети — матерей и отцов, отцы и матери — детей, мужья — жен, жены — мужей, возлюбленные — возлюбленных.

А где Шекспир, где Данте, где Байрон этой непостижимой эпохи?

* * *

Встречаясь с нашими чиновниками, даже высокопоставленными, я невольно вспоминаю слова Кромвеля:

«Меня больше теперь беспокоят дураки, чем мерзавцы».

* * *

Платон говорил:

«Человек любящий божественнее человека любимого».

Конечно!

* * *

Сократ даже философствовать предпочитал с красивыми людьми. Преимущественно молодыми.

Ну что ж — древние греки за это и поступили с ним по-сталински: сначала посадили, а потом отправили на тот свет.

* * *

Древние Афины были очень маленькой страной. Меньше какого-нибудь нашего района. А какие сверстники были у Платона: Софокл, Еврипид, Аристофан, Фукидид, Ксенофонт, Пракситель, Фидий!..

Это значит, что на гениев бывают эпохи урожайные и неурожайные. Почему? Отчего?.. Не забыть бы, в свое время, спросить об этом у Бога. Только он один и может ответить.

* * *

Секст Эмпирик цитировал великого Зенона:

«Если бы женщина была больна и он помог ей, растирая ее тело, — кто счел бы это постыдным? А если мужчина радуется другим трением и успокаивает этим ее желания и она от этого рождает прекрасных детей, — неужели это постыдно?»

* * *

Писатель больше, чем неписатель, думает о жизни. Это, в сущности, и есть его основное дело — думать «вообще», думать о жизни. Занимаются этим или с пером в руке, или за пишущей машинкой, или лежа на тахте, заложив руки под голову. Суть не в том — где и как... Это второстепенная деталь! Главное же и необходимейшее, как сказано, думать о жизни. Этим писатель и отличается от инженеров, врачей, рабочих, крестьян, футболистов, артистов, художников и всех прочих. Их главное дело в другом. О жизни они могут думать только в свободное время, которого у людей пока не слишком много. А если думать «вообще» не хочется, и не надо. Беды большой нет. От этого, скажем, футболист не будет хуже бить по воротам.

Один довольно известный газетчик, выйдя из больницы, рассказывал:

— Рядом со мной на койке лежал Лев Григорьевич из обувной артели. Он от радикулита маялся. Как-то просыпаюсь я от его стога. Ну, само собой, спрашиваю:

— Что, Лев Григорьевич, больно?

Он отвечает со стоном:

— Не-е-т.

Недоумеваю:

— А что же вы стонете?

— Было больно. Третьего дня очень больно было.

Надо зарубить себе на носу: уж если стонать, то от сегодняшней боли.

* * *

Про режиссера Хохлова, с сонными глазами посапывающего на репетициях, актеры Большого драматического театра говорили:

— Хохлов умер, но тело его живет.

А другого режиссера, тоже довольно известного и того же «почтенного» возраста, актеры прозвали:

— Бодрый маразм!

Вот бы под конец жизни угодить в золотую середину.

* * *

Мишке Софронову дали трешницу. Он сказал:

— На эти деньги я куплю барбарисок и раздам всем хулиганам в классе. Тогда они меня не будут бить.

И еще: как-то вхожу во двор и вижу такую картину — стоит, подбоченившись, глухонемой Петька, а перед ним на коленях Мишка. И бьет земные поклоны. Они сверстники.

— Миша! Миша! — подзываю я коленопреклоненного.

Он поднимается, неторопливо отряхивает штаны и, пригладив хохолок, подходит ко мне.

— Чего это ты перед Петькой распластался?

— Да так, на всякий случай. Он ведь гроза нашего двора.

Поразительный парень этот Мишка. Очень современен. Да-леко пойдет.

* * *

В последней сценической редакции Городничий у Гоголя, как известно, говорит:

«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам неприятное известие: к нам едет ревизор».

Пятнадцать слов.

А в первой редакции было:

«Я пригласил вас, господа... Вот и Антона Антоновича, и Григория Петровича, и Христиана Ивановича, и всех вас для того, чтобы сообщить одно чрезвычайно важное известие, которое, признаюсь вам, чрезвычайно меня потревожило. И вдруг сего дня неожиданное известие, что отправился из Петербурга чиновник с секретным предписанием обревизовать все относящееся по части управления и именно в нашу губернию, что уже выехал десять дней назад тому и с часу на час должен быть, если не действительно уже находится в нашем городе».

То есть 78 слов.

Во второй редакции было — 45.

В третьей — 32.

А в четвертой, как сказано, в белой — 15.

Ну, а у нас? Где они — эти четвертые редакции? Не приучены. Некогда. Заседания в Союзе писателей, совещания, собрания, партсобрания, бюро, партбюро, секретариат, президиум, правление, выборы, перевыборы... Трудятся товарищи писатели. Запыхались.

Вот и результаты!

* * *

Это хорошо сказано про язык: «за белыми березками мокрый теленочек».

* * *

В девятнадцатом году выходил на трибуну Вадим Шершеневич и говорил:

«Видите ли, товарищи, я поэт гениальный».

Примерно то же самое говорили и Есенин, и я, и даже Рюрик Ивнев своим тоненьким девическим голоском.

В больших переполненных залах — умные улыбались, наивные верили, дураки злились и негодовали. А говорилось это главным образом для них — для дураков.

«Гусей хочется подразнить», — пояснял Есенин.

Древняя традиция! Очень древняя. Вот Иисус еще посмелей был. Забирался на крышу и объявлял, что он сын Бога и сошел с небес.

Евангелист замечает, что при этом зеваки обычно судачили:

— Не Иисус ли это, сын плотника Иосифа? Ведь мы знаем его мать и отца, как же он говорит, что сошел с неба!

Четыре родных брата «сошедшего с небес» — Иаков, Иосий, Иуда и Симеон — тут же мозолили глаза.

Даже нехитрые доверчивые ученики Иисуса, по словам евангелиста, очень удивлялись:

«Как, мол, такое можно слушать!»

Значит, надо признать, что мы не очень-то были оригинальны со своим эпатажем. Ему две тысячи лет без малого.

А распяли Иисуса дураки. Их ведь много, и они всегда очень деятельные, крикливые.

Лев Толстой в 1850 году (запись в дневнике) ставил перед собой три цели, чтобы «поправить свои дела»:

1) Попасть в круг игроков и при деньгах играть.

2) Попасть в высокий свет и при известных условиях жечься.

3) Найти место, выгодное для службы.

Вот был парень!..

Французы в таких случаях заключают:

«Когда бес стареет, он делается отшельником».

* * *

Есенин говорил:

— Ничего, Толя, все образуется.

Прошла жизнь, и ничего не образовалось.

* * *

Я, пожалуй, эпикуреец.

«Смерть не имеет к нам никакого отношения, — говорил Эпикур, — так как когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем».

Примерно так же и я отношусь к «не жизни» (по мягкому философскому выражению). Но, когда уходит близкое люби-

мое существо — очень близкое, очень любимое, — я совершенно бессилён и всякое утешительное умничанье вызывает у меня бешеную злобу.

* * *

Нетерпимость? Конечно! Какое же без нее искусство?

«...Корнель, Расин, Мольер, Вольтер, Гюго, Дюма... об них мы, не задумываясь, скажем, что они, может быть, отличные, превосходные литераторы, стихотворцы, искусники, риторы, декламаторы, фразеры, но вместе с тем мы, не задумываясь же, скажем, что они и не художники, не поэты, но что их невинно оклеветали художниками и поэтами люди, которые от природы лишены чувства изящного».

Да это же Белинский написал. Какая прелесть! Какая нетерпимость! — Да — Неистовый!

А у нас?.. «Будь паинькой. Люби всех классиков. Чти Алексея Максимовича и Владимира Владимировича».

Скука, скука!

* * *

Аристотель говорил: «рабы и другие животные».

Как будто это про нас сказано. Именно: выдрессированные животные.

* * *

Сталин превосходно знал не только Макиавелли, но и Аристотеля.

Вот что писал этот древний грек о мерах, способствующих «сохранению тирании»:

«Необходимо — угнетение людей, возвышающихся над общим уровнем, вытеснение людей мыслящих... строгий надсмотр за всем, что возбуждает в гражданах предприимчивость и взаимное доверие, запрещение всех тех обществ, в которых может быть обмен мыслей; напротив, дозволение всего того, что способствует к возможно большему разобщению граждан... Не оставаться в неведении того, что говорят или что делают подданные, но иметь соглядатаев... сеять раздоры и поселять вражду между гражданами... ссорить друзей между собой... и чтобы подданные, занятые каждодневной работой, не имели разговоров».

Что из этого упустил Сталин? Ничего. Все использовал.

Поразительно!

* * *

Один болтун, заглянув ко мне «на огонек», просидел часа три, безостановочно тараторя литературные сплетни.

Проводив дорогого гостя до парадной двери и крепко пожал на прощанье руку, я сказал ему, исходя злобой:

— Всего доброго. Заходите почаще. Не забывайте.

И, вернувшись в кабинет — усталый, с головной болью, — повалился на диван в полном изнеможении.

Вошла Никритина.

— Что с тобой, Толя? — спросила она испуганно. — Почему ты такой бледный? Тебе плохо?

— Ничего, ничего. Сейчас отойду.

— Но что случилось? Что у вас тут было?

Я пролепетал голосом умирающего:

— Он меня говорил. Два часа, проклятый, меня говорил.

Никритина рассмеялась.

С этого тяжелого дня эта фраза утвердилась в нашем доме.

* * *

Из всех братьев Толстых один только Лев не кончил курса в университете. Сергей (старший) очень любил его, однако называл:

«Самый пустячный малый!»

А одевался будущий Саваоф у лучшего в Петербурге портного — Шармера.

* * *

Очень хорошо: мету, мету — не вымету; мою, мою — не отмою; рублю, рублю — не вырублю; и в сундук не запереть!

Что это? — Солнечный луч.

Им — этим лучом — обязана быть литература, а иначе на черта она нужна?

* * *

Глядя, как наш сангвиник Юрочка Герман ест или даже говорит об еде, вспоминаю:

«Назначение человека — обедать».

Его жена Танечка говорит:

— Хочу иметь очень много денег. Чтобы класть, класть и класть на сберкнижку.

Отвечаю:

— Я, Танечка, тоже хочу иметь много денег. Чтобы брать, брать и брать со сберкнижки.

* * *

Ранняя весна, вечер, через открытую форточку со двора доносятся звонкие детские голоса. Это лучше самой хорошей музыки.

Только что прошел дождь. Малыши прыгают по лужам.

И я так же звенел, прыгая по лужам. Потом мой сын...
А вот внучат у меня нет. Это ужасно.

* * *

Мне скоро шестьдесят, черт побери! И у меня появилось странное чувство, что меня отрезали. Так отрезают на любительской фотографии чужого человека, случайно попавшего на снимок.

* * *

Князь Вяземский заметил:

«На русской сцене мало смеются и мало смешат. Мы почти можем сказать, что русской комедии не до смеха».

Точно. Мне даже в моих маленьких комедиях не до смеха. Все караю, караю. А вместе с тем совершенно согласен с тем же Вяземским, что литература ни в коем случае не должна быть «учреждением, параллельным уголовной палате».

* * *

Вересаев рассказывает:

«Какой-то актер спросил Андреева:

— Леонид Николаевич, мне очень интересно, на какую часть нашего организма, по-вашему, действует музыка?

Глаза Андреева озорно блеснули:

— Это я вам могу сказать только на ухо: тут дамы!»

Вот бы написать книгу *«Хула старости»*. Я ее, проклятую, ненавижу! Какое презрение она вызывает во мне! Какое отвращение! Какую брезгливость! И не только за телесное, за физическое, за эти сморканья, сипенья, покашливанья, похаркиванья и ватку в ушах. За эти обезьяньи морщины, жидкие ноги, тугой желудок, тугие уши, подслеповатые глаза, сутулые спины, облезшие черепа, рты со вставными челюстями и пузырьками слюны в уголках дряблых губ. Нет, я терпеть не могу и стариковскую душу — сварливую, чванливую, завистливую на молодость, обозленную на нее или сопливо-умиленную. И то и другое гадость. А ее хваленая мудрость? Вздор! Только простачки могут принять за мудрость скучный и сухой опыт.

Друзья мои, молодые мои друзья, неужели и в самом деле вы уважаете старость? Расшаркиваетесь перед ней? Развешиваете уши?

К черту ее! В шею! Пинок в зад!

И не верьте, пожалуйста, древним философам, классиче-

ским обманщикам, которые называли гнусное десятилетие от шестидесяти до семидесяти — «желанным возрастом».

* * *

Под Новый год, как заведено, произносили тосты. Встретили на этот раз у нашего старого Эйха. Разумеется, и я что-то «протостил». Евгений Львович Шварц (для нас Женя) взглянул на меня из-под желтых нависших век скорбно-лукавым взглядом и сказал со вздохом:

— Когда уж ты перестанешь безобразничать!

Действительно, пора. Мне ведь *шестьдесят скоро*.

* * *

Я пишу сравнительно грамотно. Не то что рафинированный Виктор Шкловский. Он, к примеру, вот так выводит: «искусство». Но я справляюсь почти без грамматических ошибок, не потому что знаю, как надо писать по правилам, а просто — если поставлю в слове неверную букву и взгляну — «Нет, некрасиво что-то!» — и сразу исправлю на красивую букву, то есть верную.

Пушкин и Лермонтов — два наших великих прозаика — умерли перед началом своей большой прозы.

«Пла-акать хочется», — говорил Есенин в таких случаях.

* * *

Прелестен воровской язык:

набрать снегу — это украсть белье

плевательница — револьвер

подсолнух — золотые часы

караулки — глаза

колокольчик — собака

крыша — шляпа, с разговором — с перестрелкой и т. д.

* * *

Проехали деревню. Собаки и собачонки, задрав хвосты, словно переругивались и сквернословили.

А один рыжий, косолапый, вихрастый, весь в репейниках, так и посылал нас:

— На!.. На!.. На!!!

* * *

Кинька довольно реалистично нарисовал трубящего пионера, но с одной рукой.

Спрашиваю:

— Почему у твоего трубача нет второй руки?

— Для чего же она? Ей делать нечего.

Это и есть секрет прекрасного художественного реализма.

* * *

Алексей Толстой тогда жил в Царском Селе. Там он и справлял свое пятидесятилетие. Водку в его доме пили стопками. Рюмки презирали. Среди ужина я нагнул к Никритиной. Всю жизнь она была моим цензором, к счастью, либеральным.

— Ньюшка, я сочинил эпиграмму. Послушай:

Толстовых род, знать, Аполлону люб.
Их на Олимпе лес. Счастливая судьбина!
В лесу том Лев — могучий дуб,
А ты — могучая дубина.

Она улыбнулась:

— Ничего. С перчиком.

— Как ты думаешь, можно ее сейчас прочесть вслух?

— Да ты что, Длинный, совсем опупел? — И добавила довольно строго: — Пора уж немного остепениться.

Так погибла и эта моя эпиграмма.

* * *

В город к матери приехала дочка, годиков так двенадцати. Очень ей понравилось: фонари, автобусы, витрины, кино... Через две недели мать отправила девочку обратно — «хату беречь».

Та вернулась и через несколько дней сожгла всю деревню — чтобы нечего было беречь и жить в городе.

* * *

В 1918 году золотоливрейный старый швейцар в изразцовой уборной Большого театра, презрительно кивая на нового зрителя, говорил мне:

— Да какие ж это люди — мочатся и рук не моют!

Доходы швейцара тогда очень упали.

* * *

Ночь. Я прохожу по жесткому вагону. В три яруса, используя и полки для чемоданов, спят люди — старые и молодые, мужчины и женщины. Почесываются, похрапывают, посапывают. Меня поражает, что почти все спят с полуоткрытыми ртами. По напряженным складкам на лбах и между бровей я вижу, что во сне они о чем-то думают. Но не головами, а позвоночниками. Поэтому лица у них неприятные, полудиотские. Некоторые пускают слюну и во сне улыбаются. Тоже как

полуидиоты. И тут я вспоминаю прекрасные лица покойников, с опущенными веками цвета церковного воска. Лица, лишенные всякой мысли. Чистая форма. Как она бывает благородна! Как хороша! Эта чистая форма, не потревоженная мыслями головного и спинного мозга.

* * *

У Таировых за столом затеяли разговор о демократии. В нашем понимании и в американском.

Насмешливо почесав свои рыжие бакенбарды, Карл Радек сказал:

— Конечно, и у нас могут быть две партии... одна у власти, другая в тюрьме.

И в столовой стало тихо. Никому больше не захотелось разговаривать о демократии.

Радек мне понравился.

* * *

Куртизанка сказала Жан-Жаку Руссо, принявшемуся изучать ее тело:

— Оставь женщин и займись математикой.

А Рембо овладел несколькими туземными диалектами самым приятным способом — он завел нечто вроде гарема из женщин, принадлежащих различным племенам.

— Я приобрел целую серию словарей, переплетенных в кожу, — говорил он.

Француз!

* * *

Умнейший из наших философов Григорий Саввич Сковорода говорил:

«Пес бережет стадо день и ночь по врожденной любви и терзает волка по врожденной склонности. Ни конь, ни свинья не сделают сего, понеже не имеют природы к тому».

А человек?.. У каждого, разумеется, своя врожденная склонность. Однако, во вред жизни, наши политики упрямо пытаются сделать из коня свинью и собаку из волка, которому по природе своей надлежит драть овец. А все потому, что людей считают и называют «кадрами».

Сковорода учил, что «нужное не трудно, а трудное не нужно».

В моей жизни это стало первой заповедью. И до чего ж здорово ругался этот великий философ:

— Рухлядь!.. Смесь!.. Сволочь!.. Сечь!.. Лом!.. Сплочь!.. Хвост!.. и т. д.

А это разве не великолепно:

«Телишко мое есть маленькая кучка, но и та мне скучна».

Умер «старец» Скворода на мешке с книгами.

* * *

Наши критики взяли меня в обработку со дня литературного рождения. Пенза не в счет, а в Москве я впервые напечатал цикл стихов в альманахе поэтов «Явь» (1918 г.). Соседей были Андрей Белый, Борис Пастернак, Есенин и др. Но навалились почему-то на меня одного. Кампанию открыла «Правда». Сразу же после появления в книжных витринах «Яви» на первой странице могущественной газеты были тиснуты две колонки под внушительной «шапкой» — «Оглушительное твяканье». А за «Правдой», как и следовало ожидать, «пошла писать губерния!».

В таких прискорбных случаях наш брат обычно находит себе утешение в высоких исторических аналогиях. Меня, как помнится, больше других утешал Антон Павлович Чехов. После выхода в свет его книги «Пестрые рассказы» писали так: «Чехов, увешавшись побрякушками шута...» «Книги Чехова... представляют собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта...» и т. д.

Много лет спустя Антон Павлович жаловался Горькому и Бунину: «Один критик написал, что я умру пьяным под забором».

Чудно!

* * *

Какие острые, умные речи произношу я... на улице, на Литейном, на Загородном, при фонарях, при звездах, шагая к себе на Бородинку после очередного собрания в Союзе писателей.

— Ба! Мысль! — ударяю себя по лбу, поднимаясь домой на лифте. — Напишу книгу: «Непроизнесенные речи».

И тут же вздыхаю:

— А где печатать? Когда? Опять после смерти? К черту! Надоело!..

И, конечно, не пишу и не напишу.

Сколько таким образом у меня погибло романов, пьес, стихов.

* * *

Зимой 1942 года Никритина с бригадой большедраматургов была на московском фронте, под Сухиничами. Армией командовал Рокоссовский. Он был необычайно любим и солдатами,

и офицерами, и колхозными старухами, и ребятишками. Можно было часами ехать по лесной дороге и видеть букву «Р», вырезанную на коре деревьев.

После выступлений артистов на передовых позициях Рокоссовский устроил для них банкет.

Водку, конечно, пили стаканами.

Гости и командиры шумели:

— За Рокоссовского!.. За Рокоссовского!..

А тот, не так давно выпущенный из тюрьмы, сквозь зубы сердито кидал:

— За Сталина!.. За Сталина!..

Он хорошо понимал, зная азиатскую ревность нашего «фюрера», что эти тосты «За Рокоссовского!» могут ему недешево обойтись. Доносчиками-то кишмя кишела социалистическая республика.

После ужина стали танцевать.

Рокоссовский пригласил Никритину.

Так как женщины считают, что бестактность разрешена им самой природой, после первого круга Никритина спросила своего кавалера:

— Вот вы, Константин Константинович, ни за что ни про что сидели в тюрьме. Ну и как — простили это?

Рокоссовский ответил дипломатично:

— Да. Родина — как мать. А мать все равно простишь, если она даже несправедливо наказала.

Все когда-либо сидевшие за решеткой, как я заметил, потом годами обожают вспоминать это. Одни с юмором, другие — лирически, третьи — зло.

Крутясь в вальсе, стал вспоминать и Рокоссовский:

— Подлец следовательно однажды спросил меня: «А как, проститутка, ты пролез в нашу партию?»

— И вы не проломили ему череп?

— Нет. Подлец вовремя отскочил. А табуретку я действительно уж поднял над башкой.

Вальс продолжался.

— Между прочим, с нами в камере сидел один ваш известный режиссер.

— Мейерхольд? — взволнованно спросила Никритина.

— Нет. Алексей Дикий. Мы его били «в темную».

Никритина знала, что так говорят, когда бьют, накрыв шубой.

— За что?

— За дело. Он был вреднейшей «наседкой».

В тюрьме так называют осведомителя, посаженного в камеру.

* * *

Полуцыган Сергей Сорокин, после вальса, играл на гитаре и пел старинные цыганские романсы. Я еще не встречал равных ему в этом. На своей книжице, некогда подаренной Сорокину, я написал:

Я люблю гитару Вашу,
У нее душа большая.
Ни о чем меня не спрашивает,
Только очень утешает.

Дождик, дождик в Ленинграде.
Не купить ли с горя зонтик?..
— Друг Сорокин, дружбы ради,
Сердце песней урезоньте!..

И он «урезонивал».

Подперев щеку кулаком, Рокоссовский слушал Сорокина. И плакал.

Потом — за столом — Никритина говорила с командиром о храбрости.

— А что такое храбрость? — задумался Рокоссовский. — Вот когда меня бомбят, я дисциплину нарушаю — не прячусь в щель. Стою, гляжу на небо... Это надо. Для бойцов надо. А ноги мои так и бегут, и бегут. Бегут... стоя на месте. И душа в пятки уходит. А надо улыбаться. И я улыбаюсь. Вот она — храбрость! — сказал он с усмешкой. — Ее, Анна Борисовна, эту храбрость, плохие писатели придумали.

— Рокоссовский, — рассказывала мне Никритина, — польски элегантен. Несмотря на свой громадный рост. Он выше тебя. Но глаза у него не элегантные. Они с внутренней темнинкой. Глаза у него русские.

— Вероятно, Ньюша, они стали русскими. После этих знаменитых допросов в сталинской тюрьме.

— Возможно.

* * *

Наша приятельница — крохотная, горбатенькая, сорокалетняя Валечка — доцент, литературовед — неожиданно вы-

шла замуж. Очень уж неожиданно. Стремительно. Где-то познакомилась с солидным немолодым человеком, только что вернувшимся из ссылки, а через несколько дней он (уже в качестве мужа) переехал в ее маленькую комнату с узкой девической кроваткой, застланной белым пикейным одеялом.

И вот Валечка звонит по телефону:

— В понедельник мы с Яковом Захаровичем собираемся к вам... С визитом...

В телефонную трубку слышно, как супруг поправляет ее:

— Не с Яковом Захаровичем, а с Захаром Яковлевичем.

— Прости, милый, я забыла, как тебя зовут, — весело извиняется Валечка.

* * *

В театре, если смотреть сверху, предательски поблескивают из партера не только сегодняшние лысины и плеши, но и будущие.

Пожалуй, и в литературе полезно смотреть на людей с галерки.

* * *

Париж. Небольшой отель на Рю Лористон. Мадам, что сидит за конторкой, говорит мне со шпилечкой:

— Вы, русские, очень любите мыться!

— Да. Любим.

— Я заметила, месье, что вы каждый день принимаете ванну.

— А вы, мадам? Французы?

— О нет, месье! Для чего же нам часто мыться? Ведь мы чистые.

Поразительная нация.

* * *

Я минут пять рассказывал официанту, как мне приготовить «свиную отбивную».

Он с внимательнейшей мордой, кивая, говорил мне:

— Слушаюсь!..

— Понятно-с!..

— Непременно-с!..

— Так-с!..

— Не извольте беспокоиться, все будет по вашему вкусу.

Потом подошел к окошечку и крикнул:

— Один раз свинная отбивная!

Этот урок, полученный в задрипанной столовке, мне в жиз-

ни пригодился. Причем я вспоминал и вспоминаю его в самых разнообразных случаях.

* * *

Рабле — этот медик, юрист, филолог, археолог, натуралист, гуманист, богослов — считался самым блестящим собеседником «на пиршестве человеческого ума».

За несколько минут до смерти он сказал:

— Закройте занавес. Фарс сыгран.

Боже мой, он украл у меня предсмертную фразу!

* * *

Меня веселит известное мнение Толстого, кинутое им Чехову:

— Вы знаете, я терпеть не могу шекспировских пьес, но ваши еще хуже!

* * *

Умный Владимир Нарбут (был такой стоящий поэт, тоже поставленный к стенке Сталиным) как-то сказал про меня: «Мне нравится Мариенгоф. В нем говна много». А вот в Шалапине этого самого достоинства куда было побольше! Да и позловонней!

Фу!

ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ ГОСПОДИНУ

(управляющему конторой императорских театров)

от

солиста его величества

Федора Ивановича Шалапина

12/25 ноября 1913

ЗАЯВЛЕНИЕ

Находясь на службе в императорских Московских и Петербургских театрах в течение более чем пятнадцати лет, я с великим долготерпением следил за наградами, коими пользуются даже капельдинеры выше-названных театров, то есть получают ежегодно медали, ордена и прочие регалии; получают эти знаки отличия буквально все; я же благодаря каким-то темным интригам конторы и других, заведующих этим делом, отличия знаков лишен.

Не понимая, за что именно я состою в игнорировании, покорно прошу Ваше высокородие немедленно представить меня к наградам и выдать мне какой-нибудь орден за № конторы и приложением печати.

Солист его величества

Ф. Шалапин

Вот! Только ему в жизни и не хватало, что паршивенького орденочка от идиота-царя!

Говно!

* * *

Мы жалуемся, удивляемся, негодуем на плохих матерей. Природа! Проклятая природа! Ведь и куры-наседки, куры-матери не одинаковые. Одна хорошо ухаживает за выводком, а другая, как злая мачеха: топчет своих цыплят, плохо укрывает их, поедает их корм, а иногда даже свирепо убивает. Словом, хорошо выращивают потомство не более 50% кур. Среди женщин примерно тот же процент.

* * *

Петрарка, как известно, воспевал Лауру двадцать один год. А она все рожала и рожала детей своему мужу, какому-то авиньонцу. Одиннадцать нарожала. Дело для нас простое, понятное. Как-никак Петрарка свой брат из пиитического цеха. Ему, разумеется, нужна была тема, а вовсе не женщина. Женщины и без Лауры были и, как положено, от него брюхатели. Когда Лаура умерла (от чумы), Петрарка продолжал посвящать ей сонеты.

Тема бессмертна!

* * *

Черт знает кого и черт знает за что хвалят журналы и газеты... Впрочем, нам не привыкать! У нас ведь и в сказках дурак называет лягушку — зеленой птичкой.

* * *

«Роман без вранья» я написал меньше чем в месяц. На даче, под Москвой, в Пушкино. Трудился, почти как Флобер над «Саламбо», когда тот приказал своему слуге разговаривать с ним только по воскресеньям, да и то, чтобы сказать ему всего три слова: «Сударь, сегодня воскресенье».

* * *

Французы заметили, что у Мольера сорокалетний мужчина всегда — рогоносец, старик.

До чего же приятно изменилось время! Теперь пятидесятилетние и шестидесятилетние мужчины, седые и в лысинах, сами Дон-Жуаны, не без успеха наставляющие рога молодым мужьям.

В старину бы сказали: духом к небу парят, а ножками в аду перебирают.

«Как хороши, как свежи были розы!»

Это первая строчка стихотворения Мятлева.
Многие ли теперь знают фамилию этого автора?

* * *

«...Лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых вопросов люди топятяся, стреляются, делаются пьяницами, — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли, — лично для меня первая привлекательней последней, и потому, например, лично на меня ваши пьесы (стихи) без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденцией...»

Это же не Мариенгоф писал Есенину, а Чернышевский... и кому? Некрасову!

* * *

В двадцатых годах у нас в Москве спрашивали:

— Кому на Руси живется хорошо?

И отвечали:

— Максиму Горькому в Сорренто.

Он тогда был невозвращенцем. С Лениным не сговорился. А вот со Сталиным, видите ли, и с его Ягодами нашел общий язык!

* * *

Чистейшего Чехова цензура запрещала «по цинизму и сальности».

Она всегда идиотка, эта цензура. Если она будет существовать и при коммунизме (а это не исключено), так идиоткой и останется.

Умнеют-то машины, а не люди.

Вот три века тому назад, к примеру, Мильтон не только понимал, но и требовал, чтобы книга рождалась так же свободно, как человек, чтобы на ней стояло лишь имя автора и издателя и чтобы она, как человек, сама за себя отвечала.

Ан, нет! И через триста лет какому-нибудь невежде и подлецу у нас платят деньги, чтобы он, шлепнув блямбу, изволил надписать «разрешено к печати».

* * *

Достоевский писал жене: «Роман Толстого (про Анну Каренину) довольно скучный и уж слишком не бог знает что. Чем они восхищаются, понять не могу».

Вот они — современники. И какие! Достоевский!

* * *

Европейские ученые называли российскую революцию Петра Великого «самым красивым опытом XVIII века».

Опыт Владимира Ильича не менее красив.

* * *

Смерть это факт. Иван Петрович любил говорить:

«Перед господином фактом снимаю шляпу».

Я человек вежливый — снимаю.

А какое-то дурацкое дерево макроцамия, растущее в Австралии, живет 15 000 лет!

* * *

Микеланджело прожил 88 лет, Бах — 88, Тициан — 99. О чем это говорит? Ни о чем... А сколько гениев умерло совсем молодыми людьми.

* * *

Древние египтяне для удлинения жизни принимали рвотное и старались побольше потеть. При встрече они приветствовали друг друга словами:

— Как вы, сударыня, потеете?.. Как вас рвет?..

Все условно. И очень по-разному. Но авторы исторических романов и пьес даже таких пустяков не понимают. Они только переодевают своих героев: вместо римской тоги — боярский кафтан, потом камзол с короткими штанами, потом клетчатые брюки со штрипками.

* * *

Выдающийся врач XVII века Сиденгэм утверждал, что прибытие в город паяца значит для здоровья жителей больше, чем десяток мулов, нагруженных лекарствами.

Вот это был невропатолог!

* * *

Не анекдот. Везут покойника; случайный прохожий спрашивает:

— Отчего помер? От рака?

— Нет.

— Инфаркт?

— Нет.

— Туберкулез?

— Нет, от гриппа.

Случайный прохожий машет рукой:

— А! Это пустяки!

* * *

— Возмутительно! — негодует Никритина. — Он же его лучший друг! Спать с женой своего лучшего друга!..

И разводит руками.

— Ну чему ты, Нюха, удивляешься? Это было, есть и всегда будет.

И шикарно цитирую пророка Иеремию:

«Они откормленные лошади: каждый из них ржет на жену другого».

* * *

«Мне скучно, бес».

Милый Пушкин, как я вас понимаю!.. Но вам же тогда двадцать шесть лет было! А каково на седьмом десятке?

* * *

«Записки Бога»!.. Нет, я уже не пишу их. Поздно. А жаль все-таки.

Примерно четверть века тому назад они были у меня задуманы, продуманы — эти «Записки». Собрал материал. Все казалось: поднакоплю немного денег (годика на полтора) и засяду. Но никак не мог накопить больше, чем на месяц. Это в самое благополучное время, когда еще не запрещали все, подряд все, что я писал, — прозу, стихи и для театра.

Вот вкратце эти «Записки Бога»:

Голгофа. Стража, конечно, и там была, но деньги, вино и поцелуи тоже издревле существовали. Женщины, обожавшие Иисуса, сняли его с креста прежде, чем он умер. На крестах умирали от голода, а не от легких ран на ступнях и ладонях. Учеников и в помине поблизости не оказалось — они покинули своего учителя еще до того, как он поднялся на Голгофу, таща на плечах тяжелый крест. Покинул Иисуса даже Иоанн, его юный нежный возлюбленный, которого все называли — «маленький». Про таких во «Второзаконии» упомянуто: «Мужчина не должен одеваться в женское платье». А в книге «Левит» сказано: «Не ложись с мужчиною, как с женщиной». Спасенному Иисусу пришлось бежать без оглядки из фанатичной страны, где людей за философию распинали, сбрасывали с крутых обрывов и побивали камнями. Он не простился даже с матерью, перебравшейся после смерти Иосифа в Кану. Не простился с братьями и с замужними сестрами, жившими в Назарете.

Как известно, Галилею пересекала старинная проезжая до-

рога — по ней он и зашагал с посохом в руке. Его привлекала Греция, привлекали Афины — город философов. Там Иисус и поселился, смешавшись с говорливой толпой стоиков, эпикурейцев и киников. Красивые юноши были его друзьями. Прошли годы. Уже слегка засеребрились волосы Иисуса. И вот в афинском ареопаге неожиданно появился тщедушный рыжий человек с красными веками. Это был апостол Павел. Он привлек внимание горожан красноречием и горячностью, чрезмерной даже для греков. Иисус, опершись на посох, остановился послушать оратора. «Что такое!» Он услышал рассказ о себе. Рассказ фантастический, наивный, приукрашенный какими-то глупыми чудесами, вызывавшими смех у афинян.

Вернувшись домой, Иисус сказал себе: Пожалуй, стоит написать «Записки Бога». И написал. То есть должен был написать я за него.

* * *

С самого раннего детства и до глубокой старости мы больше всего любим, когда день быстро проходит. И обычно стараемся для этого делать все, что можем. А когда не удастся, вздыхаем: «Боже, как медленно тянется время!» Но ведь быстро пробегающие дни — это быстро пробегающая жизнь. А она и так не слишком длинна. К сожалению, мы начинаем ощутительно понимать это только на пороге, перед дверью, настезь открытой для ухода.

* * *

Вчера был у меня Н. В. Он говорил со всеми знаками препинания, как школьник, получающий за сочинения круглые пятерки. Он доктор филологических наук. Он заведует кафедрой русской литературы. Он владеет девятью языками. Он окончил четыре факультета. И... два часа я подыхал с ним от скуки. А в голове у меня вертелась фраза Чехова:

«Университет развивает все способности, в том числе — глупость».

* * *

Шаляпин называл критику *хавроньей*. Очень точно. Была, есть и, очевидно, будет ею. И что поразительно — не стареет, не меняется. Во всяком случае, наша российская. Бессмертная хавронья.

* * *

«Когда совесть раздавали, его дома не было».

Это сказано про писателя Константина Симонова.

* * *

Часто бывает так: превосходно знаешь, говорить не следует, не надо. А тебя словно черт изнутри подмывает: «Скажи!.. Скажи!..» «Нет! — убеждаешь себя. — Молчи!» А изнутри: «Скажи, скажи». Ну в конце концов и брякнешь. Не хочешь, а брякнешь.

Встретил сегодня в театре приятельницу. Давненько не виделись. Отношусь к ней наилучшим образом. Милая и красивая женщина понабрала мяса и жиров. Это, разумеется, не красит, не молодит. Располневшая красавица сама это превосходно знала. Ну и помолчать бы. К чему портить настроение приятельнице? Так нет! Черт меня за язык дернул раз, два, три, а на четвертый я уже не сдержался и ляпнул, как в комедии:

— Э, мать, да ты за эти два года раздалась, как корзина!

Моя приятельница, до того веселая, кокетливая, счастливая, сразу потускнела, увяла, скисла.

— Да, дружок... — неприятно вздохнула она, — старею, старею...

Ну к чему ляпнул? К чему разогорчил хорошую женщину!
Вот свинья!

* * *

Никритиной

Тропинка... Берег... Подойду к окну ли...

Лежу... Стою...

А мысль одна: «Вот, милая, и протолкнули

Мы жизнь свою».

* * *

Средние писатели — вроде Тургенева, Гончарова, Гюго, Дюма — после смерти довольно быстро начинают превращаться сначала в писателей для юношества, потом для отрочества.

А вот с Толстым, Чеховым, Достоевским, Мопассаном, Флобером ничего не делается, никаких превращений.

Горький, конечно, принадлежит к плеяде писателей XIX века. Только он худший из лучших, самый маленький из самых больших.

* * *

С некоторых пор я в жизни делаю только то, что мне хочется, а не то, что надо. И получается как будто получше. Но, конечно, не в смысле карманного благополучия.

* * *

На концерте встретился с Шостаковичем в филармонической ложе. На минуту-другую мне показалось, что его лицо, руки — спокойней, сдержанней, чем обычно. Я обрадовался. Зря обрадовался. Когда заиграл оркестр, Дмитрий Дмитриевич стал нервно покусывать нижнюю губу и чесать — то нос, то подбородок, то возле ушей, то брови. Захотелось с нежностью взять его руки в свои, гладить их, пожимать. Любящая женщина, вероятно, так и поступила бы. Но я никогда не видел возле него любящей женщины. Очень любящей. Не видел женщины с большим сердцем, которое было бы отдано ему. Никто другой из людей, с которыми я в жизни встречался, не имеет на это такого абсолютного права.

После концерта мы сговорились с Дмитрием Дмитриевичем, что он придет к нам на пельмени.

К сожалению, вместо него пришла открытка:

Дорогие Анна Борисовна и Анатолий Борисович!

После концерта мне пришлось выехать в Москву и поэтому я не позвонил Вам. Надеюсь скоро быть опять в Ленинграде, и тогда мы с Вами встретимся.

Ваш Д. Шостакович

Прошел год, но мы еще не встретились.

Мне рассказывали, что он женился на молодой приятной женщине, читающей лекции по истории партии. Берет ли она его руки в свои и с нежностью гладит их? Дай Бог!

А вот Зинаида Райх покровительственно похлопывала по плечу седовласого Мейерхольда. Это в лучшем случае.

В худшем она, как царевококшайская примадонна, орала при актерам и актрисам на своего старого мужа — великого «Доктора Дапертутто»:

— Ничтожество!.. — орала она. — Бездарность!..

Что давало ей это омерзительное право? Кровать? Да?

«О мертвых — или хорошо, или ничего». Какая сентиментальная чепуха! Да еще древнеримская.

По-моему, о мертвых надо говорить так же, как о живых, — правду. О негодяе, что он бывший негодяй, о стоящем человеке, что он был стоящий.

* * *

Когда-то говорили: «Тайна исповеди». И только со временем поняли, что это вздор. Попы — православные, католи-

ческие и все прочие — были болтунами и никакой «тайны исповеди» не существовало. Не существует и знаменитой «врачебной тайны». Врачи тоже болтуны. А что уж говорить о наших житейских тайнах, маленьких и больших? Право, только дураки просят: «Дай честное слово, что ни одной живой душе не скажешь». Или: «Поклянись счастьем матери». Разумеется, и «слово» дадут, и «поклонятся», и при первом соблазнительном случае с наслаждением выложат, сказав:

«Только дай слово, что ни одной живой душе».

* * *

Терпеть не могу жить на даче. Терпеть не могу даже приезжать в гости на дачу. Заборы, заборы, заборы и малособлазнительные домики уборных.

— Какой красивый закат!

Отвечаю:

— Да. Очень красивый. Розовый, как ветчина.

Очень интеллигентная хозяйка дачи взглянула на меня с ужасом:

— А еще поэт!

* * *

Я опять и опять ковырялся в третьей неладившейся сцене «Шута Балакирева», а Кирка (ему тогда было двенадцать лет), взяв с моего рабочего бюро том Л. Н. Толстого, стал с середины читать его, важно развалившись в широком кожаном кресле, что стояло в эркере моего семиугольного кабинета.

— Вот ерунда!

— Что ерунда?.. — не поднимая глаз от рукописи, рассеянно спросил я.

— Да этот... твой Лев Толстой.

Я обернулся. Рассеянности как не бывало.

— Что?.. Толстой ерунда?..

С мнением Кирки я уже привык считаться.

— Ну да!

И малыш прочитал вслух из статьи о непротивлении злу, где говорилось, что если тебе дадут по левой щеке — подставь и правую.

— Дурак! — заключил Кирка.

Это относилось к Льву Николаевичу, к моему богу литературы, к Саваофу.

Я даже растерялся.

А малыш дополнил:

— Попробуй-ка у нас в классе — подставь правую, когда тебе звезданули по левой... Попробуй-ка... Так разукрасят!

И Кирка презрительно отбросил книгу.

А вот еще разговор.

Мы всем семейством, то есть втроем, пьем утренний кофе.

— Кируха, что ты сегодня такой мрачный?.. — участливо спрашивает мамаша, как всегда торопящаяся на репетицию.

Малыш, посапывая, молчит.

— Ну, брат?.. — встречаю в разговор я. — В чем дело?.. Выкладывай.

— В школу идти неохота, — нехотя отвечает он. — Ску-ука!

— Скука?.. — переспрашиваю я. — Да откуда ей взяться?.. Сколько вас в классе-то?

— Тридцать пять.

— Вот!.. У тебя там тридцать пять друзей, а ты — «ску-ука».

— Непонятно, непонятно... — уже думая совсем о другом, говорит торопящаяся, всегда торопящаяся, мама.

Кирка смотрит со снисходительной иронией на нее, укоризненно на меня, встает из-за стола, целует ее в губы, меня — в лоб, как старший младшего, и говорит коротко:

— Не тридцать пять друзей, а тридцать пять врагов.

А на пороге задает философский вопрос:

— Разве, папа, и в жизни не так?

В те дни меня в очередной раз за что-то прорабатывали газеты, и малыш огорчился, переживая это гораздо сильнее и глубже, чем я.

* * *

Виктор Шкловский был человеком благородным, хоть и не слишком мужественным. В жилах его текла кровь революционера. Тем не менее Сталин его почему-то не посадил. В конце тридцатых годов это удивляло и самого непосаженного, и его друзей.

Округляя и без того круглые глаза свои, приутихший формалист шепотом говорил:

— Я чувствую себя в нашей стране, как живая чернобурка в меховом магазине.

* * *

«Какое грубое, безнравственное, пошлое и бессмысленное произведение — «Гамлет»».

Вот какого был мнения Толстой о «Гамлете»! О моем «Гам-

лете!» О «Гамлете», которого я считаю вершиной мирового драматического искусства.

Ну?.. И кто из нас прав — я или Толстой? А хуже всего, что он не кривлялся, не эпатировал, а действительно так думал.

* * *

Очень любят посочувствовать чужому горю, постонатьazole, получая при этом удовольствие и от своего сочувствия, и от чужого горя.

Стоящий человек не вздыхает, не стонет, не сочувствует, а делом помогает в беде.

Но такие не слишком часто попадают.

* * *

Вспоминаю свою бабушку. Она ходила всегда в черном, шуршащем. И на белой голове, и на плечах у нее лежали черные кружева. Я привык, что все про нее говорили: «О, какая она была красавица!» А малознакомым гостям мама показывала фотографию крупной стройной женщины с огромными темными глазами, нежным овалом лица и тонким носом. Почти весь день бабушка сидела у окна с книгой в большом удобном кресле, положив ноги на мягкую ковровую скамеечку. А когда она опускала книгу на колени, чтобы протереть платочком золотые очки и взглянуть на улицу или понюхать из серебряного флакончика какую-то крепкую душистую соль, — она вздыхала. Глубоко вздыхала. Бабушка казалась мне очень старой. Она умерла на шестьдесят первом году жизни от разрыва сердца.

Когда бабушка вздыхала, я обычно спрашивал ее:

- У тебя что-нибудь болит?
- Нет, Толечка.
- Тебе очень грустно?
- Нет, Толечка, не очень.
- А почему же ты вздыхаешь?

Вместо ответа она с улыбкой гладила меня по голове.

И вот сегодня я в ее возрасте. Правда, я не сижу целыми днями в кресле, положив ноги на ковровую скамеечку, и не нюхаю душистую соль. У меня еще мало седых волос. Но я тоже глубоко вздыхаю.

Нюша всякий раз меня спрашивает:

- Толя, у тебя что-нибудь болит?
- Нет.
- Тебе грустно?

- Не очень.
- Что же ты вздыхаешь?
- Разве?

Я думаю об ее словах и понимаю, что это вздыхают мои шестьдесят лет.

* * *

Вы только подумайте, одновременно в России жили — Толстой, Достоевский, Чехов!

Уже сегодня это кажется невероятным.

И я совершенно убежден, что подобное не повторится в течение столетий.

Как в Англии за три с половиной века не повторился Шекспир.

* * *

Шостакович находился тогда на Севере. Если память меня не обманывает — в Архангельске. В солнечный морозный день (было больше тридцати градусов) он в хорошем настроении вышел из гостиницы, чтобы купить в киоске газету. Заплатив двугривенный за московскую «Правду», он тут же на морозе стал просматривать ее и сразу увидел жирную «шапку» над подвалом: «СУМБУР ВМЕСТО МУЗЫКИ».

Эту преступную статью написал Заславский, обожавший музыку Шостаковича, считавший его гением. Газетный негодяй написал ее по конспекту Сталина.

Шостакович прочитал статью от первой до последней строчки тут же на морозе, не отходя от киоска. У него потемнело в глазах, и чтобы не упасть, он прислонился к стене.

Это рассказал мне сам Дмитрий Дмитриевич. Он забежал к нам на Кировскую в первый же день своего возвращения в Ленинград.

* * *

На девятнадцатом году революции Сталину пришла мысль (назовем это так) устроить в Ленинграде «чистку». Он изобрел способ, который казался ему тонким: обмен паспортов. И десяткам тысяч людей, главным образом дворянам, стали отказывать в них. А эти дворяне давным-давно превратились в добросовестных советских служащих с дешевенькими портфелями из свиной кожи. За отказом в паспорте следовала немедленная высылка: либо поближе к тундре, либо — к раскаленным пескам Каракума.

Ленинград плакал.

Незадолго до этого Шостакович получил новую квартиру. Она была раза в три больше его прежней на улице Марата. Не стоять же квартире пустой, голой. Шостакович наскреб немного денег, принес их Софье Васильевне и сказал:

— Пожалуйста, купи, мама, чего-нибудь из мебели.

И уехал по делам в Москву, где пробыл недели две. А когда вернулся в новую квартиру, глазам своим не поверил: в комнатах стояли павловские и александровские стулья красного дерева, столики, шкаф, бюро. Почти в достаточном количестве.

— И все это, мама, ты купила на те гроши, что я тебе оставил?

— У нас, видишь ли, страшно подешевела мебель, — ответила Софья Васильевна.

— С чего бы?

— Дворян высылали. Ну, они в спешке чуть ли не даром отдавали вещи. Вот, скажем, это бюро раньше стоило...

И Софья Васильевна стала рассказывать, сколько раньше стоила такая и такая вещь и сколько теперь за нее заплачено.

Дмитрий Дмитриевич посерел. Тонкие губы его сжались.

— Боже мой!..

И, торопливо вынув из кармана записную книжку, он взял со стола карандаш.

Сколько стоили эти стулья до несчастья, мама?.. А теперь сколько ты заплатила?.. Где ты их купила?.. А это бюро?.. А диван?.. и т. д.

Софья Васильевна точно отвечала, не совсем понимая, для чего он ее об этом спрашивает.

Все записав своим острым, тонким, шатающимся почерком, Дмитрий Дмитриевич нервно вырвал из книжицы лист и сказал, передавая его матери:

— Я сейчас поеду раздобывать деньги. Хоть из-под земли. А завтра, мама, с утра ты развези их по этим адресам. У всех ведь остались в Ленинграде близкие люди. Они и перешлют деньги — туда, тем... Эти стулья раньше стоили полторы тысячи, ты их купила за четыреста, — верни тысячу сто... И за бюро, и за диван... За все... У людей, мама, несчастье, как же этим пользоваться?.. Правда, мама?..

— Я, разумеется, сделала все так, как хотел Митя, — сказала мне Софья Васильевна.

— Не сомневаюсь.

Что это?..

Пожалуй, обыкновенная порядочность. Но как же нам не хватает ее в жизни! Этой обыкновенной порядочности!

* * *

Труп тирана, кровавого тирана, верховного палача, государственного преступника следует бросать в помойную яму, а не помещать его в мраморном мавзолее-усыпальнице рядом с Лениным.

* * *

Вождями Октябрьской революции были идеалисты-интеллигенты с бородками второй половины XIX века (Ленин, Троцкий, Луначарский, Бухарин и др.).

Кончились бородки — кончилась революция.

* * *

Мне очень по сердцу красивое мужское братство (*fraternité!*), которое я бы назвал «банным».

Да, как в бане! — где голые люди, не знающие друг друга по имени-отчеству, старательно трут намыленной мочалкой друг другу спины. А потом, сделав дело, звонко дружески хлопают ладошкой по мокрой заднице.

Надели люди штаны, и все кончилось.

Боже, как грустно!

Тыфу! Да ведь это трюизм, что писатель должен видеть жизнь собственными глазами, слышать собственными ушами, думать о ней собственной головой. А у нас хотят и настаивают, чтобы — по газетной передовице.

Чудаки, право!

* * *

Федин и Леонов — не русская литература. Это подделка под великую русскую литературу. Старательная, добросовестная, трудолюбивая подделка. Я бы даже сказал — честная.

* * *

У Чехова где-то брошено: «Напрасно Горький с таким серьезным лицом творит (не пишет, а именно творит), надо бы полегче...»

Вот и Федин с Леоновым тоже — творят. А Пушкин — «бумагу марал». Конечно, на то он и Пушкин. Не каждому позволено.

И чего это я рассердился на наших «классиков»?

Бог с ними!

* * *

Не выношу полуинтеллигентов. Или — или. Куда лучше ремесленник, мужик, рабочий. А искусством управляют и о нем пишут сплошь полуинтеллигенты. Беда!

Такие курортные одноэтажные длинные дома с верандами, похожими на палубу, и с комнатками, похожими на каюты второго класса, назывались «кораблями». Да и окрашены они были в голубой пароходный цвет. Только и не хватало что трубы с дымом.

В полотняном кресле, шикарно именующемся «шезлонгом», спиной ко мне сидел приехавший ночью человек с волнистыми есенинскими волосами. Не слишком внимательно он читал газету. А у меня на коленях лежал третий том Чехова. Упиваясь, наслаждаясь, я перечитывал Антона Павловича всякое лето.

Сосед с есенинскими волосами, не повернувшись лицом, кинул какую-то фразу. Я ответил ему, также не меняя позы.

От фразы к фразе, лениво смакуя утреннюю евпаторийскую прохладу, мы разговорились часа на два, вплоть до полуденного купанья.

Перед тем как подняться за полотенцем, я спросил его:

— Ваша жена умеет плавать?

— Не знаю, — ответил он просто. — Я еще мало знаком с ней.

С этого пошла наша с Образцовым дружба — крепкая, спокойная, на три десятка лет.

Мы оба, разумеется, очень постарели. Но дружба постарела еще больше нас. Того и гляди, протянет ноги.

Мне очень нравился Владимир Николаевич Образцов, отец Сережи. Крупный, грузный старик с большим красивым (для меня) животом, с седой герценовской бородой, мягким значительным носом и глазами добрыми, счастливыми, любящими вас.

Когда я с ним познакомился, он уже был академиком во всех орденах. Беспартийный любимец правительства.

Сережа говорил про него:

— Папа за всю жизнь знал одну женщину.

На белом свете я перевидал немало. Но такое, признаюсь, впервые — одна женщина! Чудеса в решете. Не правда ли?

Вот случай из жениховских месяцев Владимира Николаевича.

На балконе подмосковной дачи за вечерним чаем сидело пятнадцать человек — полностью две семьи жениха и невесты.

Вошел жених и долго внимательно смотрел на попивающих чай.

— Добрый вечер... Приятного аппетита...

После чего, не найдя среди этих пятнадцати своей невесты, он спросил с огорчением:

— А где все?

Будущий тесть ответил ему без улыбки:

— Все в малиннике!

И жених побежал туда.

* * *

В Вятке на моем вечере, после того как я «отчитал» стихи, из зрительного зала пришла записка:

«Тов. Мариенгоф!

Как вы считаете — поэтами рождаются или они делаются ими?»

Я прочел записку вслух и без паузы ответил:

— Сначала делаются, потом рождаются.

Вятики были очень довольны моим ответом.

* * *

Наконец-то при Мономахе россияне скинули в Днепр каменного идола. А потом, спохватившись, стали кричать:

— Выплывай, Перуне! Выплывай!..

Слава Богу, Перун не выплыл.

Так и со Сталиным. Впрочем, этот еще в истории выплывет. Но каким же чудовищем кровавого деспотизма!

* * *

В мастерской у Коненкова.

Вторично остановившись перед мраморным Паганини, я сказал:

— Ты, Сергей Тимофеевич, русский Микеланджело.

Он насупил густые длинноволосые брови:

— Я Коненков!.. А не твой Микель.

Очень старик обиделся — как это я мог сравнить его с тем, кого сам же он считал гением, но, очевидно, по сравнению с собой, — гением второго рода.

Потом мы пили чай. Чашки стояли на столе в зверях, птицах и гадах ползучих, рожденных резцом великого скульптора из могучего древнего корня. Такая же деревянная в чудищах люстра висела над нами. На таких же стульях сидели мы. Сидели на бессмертных, на прекрасных произведениях коненковского искусства.

Я сказал:

— Если бы, Сережа, я был Рокфеллером, купил бы у тебя все это.

Он усмехнулся и почесал белую патриаршую бороду:

— Рокфеллер хотел купить. Очень! (Коненков сверх двадцати лет прожил в Америке.) Да я не продал ему. России они нужней.

Вернулся я от Коненкова тихим, «в раздумьях», как пишут плохие писатели, склонные к высокому стилю. Своим «домом» я называл квартиру Сарры Лебедевой, нашего старинного друга (тоже дай Бог скульптор!), у которой я обычно жил, приезжая в Москву.

— Саррушка, — сказал я, снимая шубу, — а ведь Коненков самый большой русский скульптор.

— Теперь?

— Да нет — вообще. От сотворения русского мира.

Она пожала плечами.

— Не согласны?

— На это трудно ответить.

— А кто же тогда, если не он? Трубецкой?

— Раздевайтесь, Толя, раздевайтесь. Вешайте свою трехпудовую шубу. Давайте ужинать.

За ужином этот разговор не возобновился.

В двадцатых годах Коненкову заказали мой портрет.

Не знаю, как теперь, но в то время, прежде чем подойти к мрамору или дереву, он много и долго рисовал свою натуру.

Я с утра приходил к нему на Плющиху в мастерскую.

На столе все уже было приготовлено: карандаши, листы ватмана, штоф зеленого самогона, два граненых стакана, две луковицы, два ломтя черного хлеба, соль.

Коненков кончал работу, когда пустел штоф. Одновременно.

Пить с утра, да еще вонючий самогон, да под луковицу — это оказалось выше моих сил. А пощады не было. После четвертого сеанса я смылся.

— Читывали мне вчерась старенький французский журнальчик, — рассказывал Коненков. — Этот журнальчик, видишь ли, распространил среди парижских художников и скульпторов анкету: «Кто и как работает?» Только один ответил: «Я — пьяным!» Этот один и был гением! Вот какое дело, Анатолий.

Фамилии этого французского «гения» Сергей Тимофеевич, разумеется, не запомнил.

— А все остальные, — убежденно заключил он, — бездарности!

— Среди них и Ренуар был? — спросил я. — Среди этих бездарностей?

— Кажется.

— И Роден?

— Как будто.

Я кивнул головой без всяких возражений. А Коненков надулся.

После возвращения из Америки с белыми космами и патриаршей бородой Сергей Тимофеевич уже не прикасался к спиртному.

При первой же встрече он снисходительно поставил передо мной графинчик хорошего коньяка и рюмочку, величиной с наперсток. А сам пил чай с лимоном.

Однако бездарностью он, пожалуй, не стал.

* * *

Я заметил: если человек поумней, а главное, поинтеллигентней, к медицине он относится насмешливо, иронически, сверху вниз. И лечиться очень не любит. Разумеется, пока серьезно не заболит...

Когда черноглазая «приготовишка» Нюрочка Никритина после уроков бежала домой, постукивая, как лошадка, копытцами, уже на Большой Васильковской (это в Киеве) она начала молиться: «Боженька, миленький, ты все можешь, устрой, пожалуйста, чтобы у нас были к обеду гости!»

Так она их любила, этих гостей.

Прошло полвека, и ничего в этом ее свойстве не изменилось: «Гости! Гости!»

Вообще, по моему мнению, меняются в человеке только самые пустяки, самое неважное.

Была у меня приятельница — умная, интересная и актриса отличная. Романов у нее было, романов! Если кто-нибудь принимался считать их — пальцев не хватало.

И вот однажды иду я с ней по Садовому кольцу. Она прищурилась, кинула взгляд направо и сказала:

— Нет, этот не был моим любовником.

— Безусловно, — ответил я.

Потому что «этот» был... лошадь. Которая и фыркнула кстати.

— Ах, какой ужас, я обозналась! — воскликнула прелестница.

— Совершенно случайно, — пробормотал я.

Это было в отдаленные извозчицьи времена.

Вскоре моя приятельница родила дочку и назвала ее Татьяной, в честь себя.

— Пусть величают Татьяной Татьяновной! — объявила она.

Отец был абсолютно неясен.

Впоследствии, когда Татьяночку спрашивали:

— А кто твой папа?

Она отвечала с гордостью:

— Мой папа моя мама.

Жизнь разбросала нас. Никритина из Камерного перешла в Большой драматический, и мы перебрались в Ленинград. Встречались с Татьяной редко.

На генеральной репетиции у Мейерхольда меня кто-то по-свойски взял под руку:

— Ну и негодник! Ну и безобразник! Ну и гнусная личность! — с нежностью сказала Татьяна. — У меня уже дочь невеста, а ты и не видел ее. Потом ведь не простишь себе этого. Красавица! В твоем вкусе. Носик не римский и не греческий, а как у мартышек. Как у твоей Нюхи.

Само собой не прошло и суток, как я уже стоял перед крохотной дачной кроваткой из белых прутьев.

— Какова? — спросила счастливая мать.

Заломив пухлые ручки в складочках, сверкая карими глазами и округлыми плечиками, созданными как будто для бального декольте, в кроватке лежала годовалая красавица-кокетка.

— Ну, какова? — переспросила мать, восторженно улыбаясь.

— Очаровательна! Прелестна! — ответил я. — Лет через восемнадцать, гарантирую, будет такой же неотразимой потаскушкой, как ты, мой друг.

— Что?..

И мать, мгновенье тому назад блаженно-счастливая, ринулась на меня:

— Хам!.. Хам!.. Хам!..

И, упав на диван, горько зарыдала.

Стоя перед ней на коленях, я целовал ее мокрые от слез руки и молил о прощенье.

— Ну конечно, хам. Конечно! — говорил я. — Но разве, дружок, это для тебя новость? Разве ты не знала этого? Вспомни, как ты объявляла: «Я в восторге: Мариенгоф зверски мне хамит. Это значит, что я ему нравлюсь и он ухаживает за

мной...» Теперь, дружок, у тебя появилась соперница — твоя прелестная дочка. И я хамлю ей. И это значит, что я влюблен в нее по уши.

Татьяна рассмеялась сквозь слезы. В нашем кругу это называлось «ее грибной дожидчик».

— Значит, мир?

— Мир, негодяй.

Важный Татьянин дядюшка, бывший полковник-кавалергард, с усами, словно сделанными из ваты, снисходительно улыбался из вольтеровского кресла, единственной роскошной вещи в комнате.

Ровно через восемнадцать лет, при случайной встрече на Невском, я спросил этого пышного мужчину:

— А как Татьяна дочка? Как Татьяночка?

— Да ведь вы же, сударь, предсказали ее будущее. И не ошиблись... Романы, романы, романы!

Право, я нимало не удивился, — эти «романы, романы, романы» были уже написаны в сверкающих глазищах Татьяночки, когда она еще лежала в дачной кроватке из белых прутьев.

* * *

Взяв рюмку за талию, Эрдман сказал:

— Кто мои настоящие друзья, это я узнаю сразу после моих похорон.

— Почему так, Николаша?

— Твое здоровье!.. — И он большим глотком выпил ледяную водку.

— Видишь ли, цыганская карта предсказала, что хоронить меня будут в дождь, в слякоть. А ведь в такую погоду пойдут провожать меня на Ваганьковское только настоящие друзья.

Он налил вторую рюмку.

— За дружбу, Толя!.. Сколько, нашей-то?

Без малого сорок.

В тот вечер мы крепко выпили.

* * *

Двухлетняя Олечка, внучка актрисы Казико, увидела в гостях большой портрет Толстого.

— Борода!.. — сказала она уважительно. — Больша-ая бе-е-лая... Деда хоро-ший.

— И умный, — вставила Казико. — Очень умный.

— И у-умный... всегда в горшок писает.

Я не убежден, права ли Олечка, если это понимать как образ примерного литературного поведения.

* * *

«ПОКАЗУХА!»

Это слово только вчера родилось, а сегодня его уже говорит город, говорит деревня, говорит интеллигент, говорит молочница.

* * *

Мимо моего окна опять шеренгочкой проводят малышей. Да это же трехлетние старики и старушки! Так же они повязаны поверх меховых шапок теплыми шарфами и платками; так же трудно, неровно передвигают жиденькие ноги в суконных калошах; такие же у них мрачные задумчивые физиономии. Словно головы обременены философскими мыслями. Чистый обман!.. Впрочем, старики и старушки тоже нас надувают — философских мыслей у них в головах не больше, чем у трехлетних.

Ночь, как старуха в черном шерстяном платке, повязанном ниже бровей.

* * *

Уметь любить — это редкое свойство. Особенно для мужчин. Я бы даже сказал — это талант. Прекрасный талант! Он делает людей счастливыми. Ту, которую любят. И того, который любит.

* * *

Старый Эйх передал Юлиану Григорьевичу Оксману мою рукопись «Как цирковые лошади по кругу...». Это название мне больше нравится, чем безразличное «Мой век, мои друзья и подруги».

Первое название я взял из собственного ненапечатанного стихотворения:

С тобою нежная подруга
И верный друг,
Как цирковые лошади по кругу,
Мы проскакали жизни круг.

С Юлианом Григорьевичем я познакомился в тридцать шестом году. Познакомился, и все! Одна случайная встреча, но очень приятная, упавшая в память и сохранившаяся в ней.

Оксманов в нашем литературном мире было — раз, два и обчелся. Он понимал литературу несравненно лучше, чувство-

вал ее глубже, судил строже и любил бескорыстней, чем наши многочисленные преуспевающие Ермиловы.

В том — тридцать шестом — году Юлиан Григорьевич был, как говорили, «без одной минуты академиком».

А стал... каторжником.

И неудивительно. Немногие крупные и порядочные люди уцелели в знаменитую эпоху. Потом, как бы оправдываясь, уцелевшие говорили:

— Я выиграл свою жизнь по трамвайному билету.

Теперь всем понятно, что люди тогда гибли, как говорится, — «за здорово живешь».

По этой же мудрой причине получил и Оксман свои десять лет магаданской каторги.

Спасибо еще, к стенке не поставили.

Но и там, в Магадане, наш «без минуты академик» сумел прославиться как... сапожник.

— Великолепные дамские туфельки делает! — рассказывали возвращенцы.

Было и такое: на одном длинном этапе (чем-то Оксман тяжело болел) его уже вытащили в мертвецкую. К счастью, на той узловой станции работал не медицинский чиновник, а горячий молодой врач. Он не только живых осматривал, но и покойников.

— Да ведь этот ваш труп дышит, — сердито сказал он служителю морга. — Вынести!

И Оксмана вынесли.

Жизнь! Жизнь!

«Все с пестрыми ручьями протечет...» — как сказано у одного поэта (могу же я, наконец, и себя процитировать).

И вот Юлиан Григорьевич Оксман — снова профессор, опять историк литературы, главный редактор... и прочее, и прочее.

Старый Эйх с удовольствием посылает ему «письмишки» не в каторжный Магадан, а в столицу Мира.

В последнем он лестно упомянул моих «Цирковых лошадей».

Ответ был написан 25/IV.

Дорогой Борис Михайлович.

Вот уже и май через неделю. Хотел поехать в Ленинград, но паспорт пришлось сдать на прописку — так и остался без документа, не с чем в

гостиницу попасть. А в гостях жить мне неудобно, старому каторжнику нужен комфорт, я уже не могу быть целый день на людях.

Устал безмерно — и никаких перспектив на передышку. Хочу в Саратов смыться недели на две перед дачей, но и там ждет работа — надо сборник своих старых статей подготовить к печати, да всякие чужие сборники ждут в гранках, в верстке, в рукописях. Иногда мне кажется, что я делаю один больше, чем весь Институт мировой литературы...

Я прочел все шесть тетрадей воспоминаний А. Б. Мариенгофа. Прочел не отрываясь, это был ведь настоящий разговор с умным и много думающим современником о многих людях, которых я и сам знал (немного, правда, со стороны). Я не сомневаюсь, что для наших потомков записки А. Б. Мариенгофа будут значить то же самое, что нам дают в наших работах воспоминания Анненкова, Панаева, Юрия Арнольда, — м. б., даже больше в некоторых отношениях, так как Мариенгоф совсем не книжный, не тенденциозный, не зализанный. Но сейчас об опубликовании этих воспоминаний отдельной книгой не может быть и речи. Погода не та. Еще в прошлом году можно было об этом думать, но печататься, пожалуй, все равно не пришлось бы. Во-первых, имя не каноническое, во-вторых, молодость не героическая, в-третьих — интонация непривычная. Что же с этим делать? Я думаю, что надо печатать кусками, м. б., кое-что перемонтировать. Вот, например, Илья в «Литературном наследстве» готовит том по советской литературе 20-х годов. Я бы для этого тома «Мой век» приготовил, кое-что изъяв, кое-что взяв из других разделов, нарушив хронологию в порядке «лирических отступлений» и проекции в будущее. Совершенно неожиданный, но исключительно интересный получился в воспоминаниях А. Б. не кто иной, как В. И. Качалов... Менее интересен Маяковский — как-то скуповато о нем сказано, много знакомо в лучших вариантах. Никто никогда не пройдет мимо того, что написал А. Б. о ~~Есе~~нине. Все это, мне кажется, еще более значительно, чем «Роман без вранья». Как мне жаль, что я не редактор большого журнала!.. Я бы на свой риск напечатал А. Б. Мариенгофа, как К. Симонов печатает воспоминания Любимова или как «Литер. Москва» печатала стихи Заболоцкого.

* * *

Салтыкову уже было совсем плохо. Неожиданно кто-то явился проведать его.

— Занят, скажите, — прохрипел Салтыков, — умираю.

Форму объявления о своей смерти он написал сам:

«Такого-то числа и месяца скончался писатель М. Е. Салтыков (Щедрин).

Погребение там-то и тогда-то».

И распорядился напечатать это объявление в «Новом времени», «Новостях» и «Русских ведомостях». В Москву же сообщить телеграфом.

Хорошо бы умереть не трусливей.

Только вот объявления о моей смерти «Известия» и «Правда» не напечатают. И превосходно! Биография должна быть цельной. Портить ее не надо.

* * *

Одну очень знаменитую актрису, не слишком разборчивую в своих любовных встречах, я спросил:

— Для чего вам нужны эти ничтожные романы?

— Для блеска глаз, Толечка! — ответила она.

Последний роман ее с жирнозадым завмагом уж больно противен был.

— Не понимаю, милая, как вы с ним можете... — брезгливо проворчал я.

— А я, Толечка, в это время зажмуриваю глаза и шепчу: «Шляпки, шляпки».

* * *

Кирилке:

— Во, брат, это артист!.. Всем артистам артист!.. Голос-то! А?.. Пожалуй, если окошко раскрыть, его б и на Литейном слышно было, и на Невском... А?

* * *

При царе интеллигентные молодые люди сплошь и рядом с высшим образованием шли на военную службу «вольнотопределяющимися». Так это называлось. И там фельдфебель, полуграмотный хам, орал на них, обучая казарменной «словесности».

Теперь то же самое происходит в литературе. Полуинтеллигенты, полунеужды, командующие Союзом писателей, орут на меня, обучая, как писать, что писать, о ком и о чем.

Мерси!

* * *

Говорили о грехопадении Анны Ахматовой.

— Разрешите, друзья, несколько осовременить афоризм Горького, — сказал детский писатель со скептическим носом, слишком тонким и острым для рядового человека.

— Ну, осовременивай.

И воспитатель молодого поколения отчеканил:

— Летать рожденный могёт и ползать.

— Прелестно!

* * *

— Терпеть не могу чудес! — говорю всякий раз, когда ищю свои очки, только что снятые с носа.

Бывает, что даже умоляю, как в детстве:

— Черт, черт, поиграй и отдай.

* * *

Смерть — это неизбежный трюизм, неизбежная банальность. Так к ней и надо относиться.

Пытаюсь.

* * *

До чего преувеличен Маяковский! Не любим, но из чиновничьего, из рабского послушания преувеличен. Сталин распорядился: «Самый лучший!..» Ну, и пошла писать губерния — попал Владимир Владимирович в Пушкины нашей эпохи. «Баня» стала «Борисом Годуновым» XX века, «Облако в штанах» — «Евгением Онегиным».

Смех и слезы.

Какая же литературная «компашка» меня устраивает?

Извольте: Шекспир, Пушкин, Лев Толстой, Чехов.

Больше всего на свете я ненавижу ханжей. Но тому, кто написал «Дьявола», и это, по мне, простительно.

«...Астрову нужно взять Алену, а дяде Ване Матрену», — скрипит он.

А подальше и того пуше: «...приставать к Серебряковой нехорошо и безнравственно».

Ханжи на здоровье, ханжи, Лев Николаевич!..

А тому, кто написал «Дядю Ваню», и пококотничать не грех. Господь Бог ему все простит.

— Я же не драматург, послушайте, я — доктор.

Это он Станиславскому. И похулиганить горазд:

«На Страстной неделе у меня приключилось геморроидальное кровотечение, от которого я до сих пор не могу прийти в себя. На Святой неделе в Ялте был Художественный театр, от которого я тоже никак не могу прийти в себя...»

Вот хулиган! Вот прелесть!

* * *

— Стихов-то у меня... лирики... про любовь нет... Хоть шаром покати... — сказал Есенин. — Плохо это... Влюбиться надо... Лирически бы... Только вот не знаю в кого.

Он никогда не умел писать и не писал без жизненной подкладки.

На его счастье, в тот же день Никритина вернулась домой после вечерней репетиции с приятельницей своей Гутей Миклашевской, первой красавицей Камерного театра.

Большая, статная. Мягко покачивались бедра на длинных ногах.

Не полная, не тонкая. Античная, я бы сказал. Ну, Афродита, что ли. Голова, нос, рот, уши — точеные. Волосы цвета воробьиного крыла. Впоследствии Есенин в стихах позолотил их. Глаза, поражающие в своем широком и свободном разрезе, безукоризненном по рисунку. Негромко говорила, негромко смеялась. Да нет, пожалуй, только пленительно улыбалась.

Пушкин, казалось, угадал ее:

Стыдливо холодна, восторгу моему
Едва отвечаешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле —
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.

Александр Сергеевич не счел приличным напечатать эти свои отличные стихи, так как написал их о собственной жене.

У Сергея Александровича были другие этические правила.

Излюбили тебя, измызгали.
Невтерпеж.
Что ж ты смотришь так синими брызгами?
Или в морду хошь?

Эти стихи, тоже написанные о жене законной, зарегистрированной, об Айседоре Дункан, Есенин, разумеется, напечатал. И слава Богу! У каждого века своя повадка.

На другой же день после знакомства с Миклашевской Есенин читал мне:

В первый раз я запел о любви...

Это была чистая правда.

А ночью он читал в ресторане — своей музе из Камерного театра:

Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз златокарий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.

У Миклашевской был муж или кто-то вроде мужа — «приходящий», как говорили тогда. Она любила его — этого лысеющего профессионального танцора. Различие между приходящей домработницей и приходящим мужем в том, что домработница является на службу ежедневно, а приходящий муж — раза два в неделю.

Приезжая к Миклашевской со своими новыми стихами, Есенин раза три-четыре встретился с танцором. Безумно ревнивый, Есенин совершенно не ревновал к нему. Думается, по той причине, что роман-то у него был без романа. Странно, почти невероятно, но это так.

По-смешному я сердцем влип.
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в Рязани.
Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Это все произошло после возвращения Есенина из Америки, после развода с Изадорой Дункан. Пил он уже много и нехорошо. Но при своей музе из Камерного театра очень старался быть «дистенгэ», как любил сказануть, привезя из-за границы несколько иностранных слов.

— Подайте шампань!.. — так теперь заказывал он в ресторане «Советское шампанское».

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.
О возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Миклашевская была несколько старше Есенина.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.

Есенину было двадцать восемь.

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу — там ли, здесь ли, где-то ль, —
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.

Стихи о любви наконец-то были написаны. И муза из Камерного театра стала Есенину ни к чему.

Попав во время войны в бывшую Вятку, я неожиданно встретил там Миклашевскую. Она уже несколько лет работала на провинциальных сценах — с Таировым поссорилась из-за своего танцора. Не желая на целый год расставаться с ним, она наотрез отказалась ехать в гастрольную поездку за границу. Таиров принял это как личное оскорбление.

«Возмутительно! — говорил он. — Променяла Камерный театр на какую-то любовь к танцору!»

Война. Эвакуация. Вятка.

— А вы, Гутенька, все так же хороши! — сказал я, крепко расцеловавшись с ней при свете «коптилки» военных лет.

Есенинская муза улыбнулась не без горечи:

— Так же ли, мой друг?

На другой день, при белом свете, я не без грусти понял и оценил правдивую горечь ее вопроса. Хороша, красива, но...

О возраст осени!..

Теперь эта поэтическая строчка была к месту.

Потом я заметил, что есенинская муза говорит громче, чем в промелькнувшую эпоху, что ее мягкие бедра совсем не танцуют и что у нее под мышкой портфель свиной кожи.

— Уж не стали ли вы, Гутенька, членом партии? — с улыбкой спросил я.

— Да, — строго ответила она.

— Может быть, даже председателем месткома?

— Да.

В воображении своем я увидел всю картину, предшествующую этому: вот Гутенька перед зеркалом; она всматривается пристальней и пристальней; конечно, сама видит то, что завтра — послезавтра увидят и товарищи по труппе (о, эти товарищи!), и режиссер, и директор, и зрители с проклятыми биноклями. Скажем откровенно: Гутенька не так уж замечательно играла даже гофманскую «Принцессу Брамбиллу», свою лучшую роль в Камерном театре.

Однако:

— Ах, до чего же красива эта Миклашевская!..

— Ах, какие глаза у этой Миклашевской!..

— А эти танцующие бедра!..

— А эта античная шея!.. и т. д.

Кто же не знает, что красота неплохо служит актрисе, играющей героинь и кокет.

И вдруг — проклятое зеркало! Это бесцеремонное, это нехитрое вятское зеркало!

Вот и подала Гутенька заявление в ВКП(б). Партийные красавицы, как известно, увядают не так быстро, как беспартийные.

Перед моим отъездом из Вятки Миклашевская сказала:

— Вероятно, Толечка, в Москве вы заглянете к Таирову!

— Обязательно!

— Поговорили бы, милый, с ним обо мне. Что-то очень потянуло на Никитскую (там была ее квартира), на Тверской бульвар (там стоял Камерный).

— Охотно, Гутенька. Непременно поговорю.

Разговор с Александром Яковлевичем оказался легким. Первый бокал белого вина (теплого, военного, полученного по академическому пайку) я поднял за Камерный театр двадцатых годов.

— Выпьем, друзья, за наши чудные двадцатые годы! — чокнувшись, сказала Алиса Коонен.

— О, какое было время! Какое время! — сказал Таиров.

И его южные, маслянистые глаза загорелись.

Мы стали наперебой вспоминать спектакли тех неповторимых лет. Я, разумеется, не забыл и «Брамбиллу», прогремевшую в Москве.

— А знаешь, Саша, — обронил я, — пора тебе замиришься с Гутей. Чего там недоброе помнить! Помиришь и пригласи-ка ее обратно в театр. Гутя будет счастлива. Одним духом

прибежит. Я случайно встретился с ней в Вятке, видел на сцене.

— Она все так же красива?

— О!

— Не подувяла?

— Нисколько! — соврал я с легким сердцем.

— Давай ее адрес.

К открытию нового сезона Миклашевская снова была актрисой Камерного театра. Какие роли сыграла она там, я не помню. Вероятно, нечего было помнить. Тем не менее Таиров вскорости выхлопотал ей звание заслуженной актрисы.

А когда, по предложению Сталина, Александра Яковлевича и Алису Георгиевну выгоняли из их театра, из таировского и кооненского Камерного театра, член партбюро Августа Леонидовна Миклашевская, став оратором, пламенно ратовала за это «мудрое решение вождя человечества».

Эх, Гутенька, Гутенька!

После того я уже не встречался с ней. Что-то не хотелось.

* * *

Шел я как-то по Берлину с Никритиной и со своими приятельницами, молодыми актрисами Камерного театра — Александровой и Батаевой. Город холодный, вымуштрованный, без улыбки. Это я говорю не о людях, а о домах, о фонарях, о плевательницах.

И вдруг позади себя слышу сочные, густые, матерные слова. Самый что ни на есть первейший отбор.

— Нюшка!.. Лиза!.. Алочка!.. Вы слышали?.. Слышали?.. — кинулся я к своим дамам. Кинулся, задыхаясь, трепеща. И глаза мои, по их уверениям, сияли восторгом.

Вот как я любил свою родину.

* * *

Покойный знаменитый профессор Гергалаф как-то у себя в клинике, по необходимости, отрезал одному несчастному ступни обеих ног.

Потом, демонстрируя обезноженного, профессор говорил своей белохалатной свите, что причина причин болезни — куренье.

— Вот до чего, друзья мои, довели человека «невинные» папироски, которые через десять минут вы все закурите, — заключил прославленный хирург.

Ассистент Гergалафа стоял возле изголовья обезноженного. Тот сделал ему знак глазами — «Нагнитесь, мол, ко мне».

И прошептал:

— А ведь я, доктор, в жизни не выкурил ни одной папиросы.

— Молчите! Молчите! — испуганно отвечал ассистент.

Не слишком ли много и в нашей литературе этого трусливого — «Молчите! Молчите!».

* * *

Когда родители назвали меня Анатолием, это было редкое имя. Больше половины России тогда составляли Иваны. Теперь же кругом Тольки и Юрочки, а Иван самое избранное имя. Лишь отчаянный эстет и оригинал назовет Иваном своего сына.

* * *

Киевский стихоплетишка Микола Бажан, дослужившийся на Украине до какого-то министерского портфеля, выступая в Москве, в Союзе писателей, сказал:

«Среди нашей интеллигенции нашлись, к сожалению, неустойчивые люди, которые думали в панике, что необходима переоценка всех ценностей, полная смена всех. Неправильно ставился вопрос и о личности И. В. Сталина. Многие ретивые редакторы дошли до того, что имя Сталина стали вычеркивать из наших произведений. Один из московских писателей заявил, что он горд тем, что ни в одном его произведении никогда имя Сталина не было упомянуто. А ведь гордиться-то нечем. Зачеркивать все, что было сделано Сталиным доброго, зачеркивать весь тот путь, который мы прошли, веря в Сталина как воплощение наших мечтаний и идеалов, видя в Сталине воплощение партийной воли и партийного руководства, было бы недостойно честных советских людей и честных советских писателей».

«Веря в Сталина как воплощение наших мечтаний и идеалов».

Подлец! Подлец этот Бажан!

— А миллионы и миллионы, — спрашиваю я, — безвинных людей, замученных в застенках ГПУ пытками этим «воплощением идеалов».

Им, им! Не жалкие же его палачи в ответе! Замученных им в одиночках, в каторге, в тюрьмах, в концлагерях, в ссылках. Расстрелянных им в затылок, как Мейерхольд, Перец Мар-

киш, Бухарин, Тухачевский и тысячи, тысячи других. Раздавленных на пустынных дорогах или в темных переулках, как великий артист Михоэлс.

Среди расстрелянных, раздавленных, замученных пытками и все друзья по революции Владимира Ильича — его старая большевистская гвардия, верная своему лидеру до его смертного часа. Тут гордость нашего воинства — полководцы, разбившие Деникина, Колчака, Юденича, Врангеля. Тут цвет искусства, науки и техники. Тут ум и мускулы деревни.

Бессмысленно, совершенно бессмысленно разбитые жизни, искалеченные, оклеветанные, обесчещенные, пущенные «в расход» наши лучшие люди.

«Мокрое» сталинское дело! Самое страшное «мокрое дело» за всю историю человечества.

Ну и подлец же, подлец этот Бажан. Этот Миколушка!..

«Есть много огромного, но огромней всего человек», — говорил Сократ. Посмеемся же, друзья мои. Горестно посмеемся. Ведь и Бажан как будто тоже человек, он даже стишки пишет.

* * *

Марья Федоровна Андреева, жена Горького (после Пешковой и до фрейлины ее величества Бенкендорф) всегда говорила про Никритину:

— Моя дочка!

Действительно, играя в Киеве в Соловецком театре, Марья Федоровна пленилась (вероятно, от смешного, от неожиданного) очень тоненькой гимназисточкой четвертого класса, у которой было слишком много черных глаз и слишком мало носа. Настолько пленилась, что даже поставила в ее бедную комнату роскошный рояль, взятый где-то напрокат.

— Нюрочка хочет учиться на фортепьяно... Так вот!

Но Нюрочка собиралась стать великой драматической актрисой, а не пианисткой.

Однако брэнчать на фортепьяно она все-таки благодаря Марье Федоровне научилась.

До Киева Андреева служила в Художественном театре. Правильная красота (даже чересчур правильная), необыкновенная фигура, эффектность и хорошие манеры заменили ей талант, если только что-нибудь может его заменить.

До Горького Марья Федоровна была замужем за тайным советником Желябужским, то есть полным штатским генералом.

Это, однако, не помешало ей стать членом партии большевиков (с 1904 года!). У себя в салоне она принимала великих князей и самых на земле красных социалистов. Через Марью Федоровну миллионер Савва Морозов, влюбленный в нее, передавал деньги на большевистскую революцию. Хорошо все-таки, что он покончил жизнь самоубийством до семнадцатого года. Такая революция — это ведь не игрушка для капиталистов.

Я познакомился с Андреевой в 1919 году в Кремле на узком писательском совещании, организованном Анатолием Васильевичем Луначарским и Горьким. Как это ни странно, на совещание были приглашены и мы — скандальные лидеры имажинистов: Есенин, Шершеневич, Рюрик Ивнев и я.

Марья Федоровна в глухом длинном шелковом платье была как вылитый из чугуна памятник для собственной могилы. Устроившись в удобном кресле неподалеку от Горького, она записывала каждое его слово в сафьяновую тетрадь. Вероятно, для истории. В Кремле было холодно. Марья Федоровна не сняла с рук лайковые перчатки. В черных ее пальцах сверкал маленький золотой карандашик, прикрепленный к длинной золотой цепочке, переброшенной через шею. То, что говорили другие, в том числе и я, она не записывала. По молодости лет это приводило меня в бешенство.

Ее «дочка», то есть Никритина, вторично меня познакомила с Марьей Федоровной. Бывшая красавица, бывшая жена Горького, бывшая примадонна Художественного театра тогда заведовала каким-то крупным отделом в берлинском Торгпредстве. Отнеслась она к нам с широким радушием, сделав своими гостями не только по воскресным дням. Надо сказать, что с Марьей Федоровной было всегда интересно, но не всегда легко. Не наигравшись в театре, она продолжала играть в жизни слишком выразительными движениями и голосом сильным, красивым, но несколько театральным. Язычок у Марьи Федоровны был острый и очень злой. Попадаться на него не рекомендовалось. Как сообщали шепотом: «Опасно для жизни». Погибали даже те, кого она называла своими друзьями.

— Вам бы, Марья Федоровна, некрологи писать, — как-то сказал я.

Будучи женщиной светской, она не обиделась.

В Торгпредство как-то прислали из Москвы товарища Файнгора, не слишком старого члена ВКП(б). Его берлинские сослуживцы, говоря: «Здравствуйте, Марья Федоровна!» или «До

свиданья, Марья Федоровна!», всегда целовали у нее ручку. Приучены к тому были. Не чересчур умный, но чрезвычайно принципиальный (что нередко совпадает), товарищ Файнгор счел контрреволюцией это «прикладывание к ручке».

— Вот увидите, пальчики я ей целовать не буду! — твердо и сурово говаривал он своим сослуживцам. — Не дождется она от меня этого.

— Посмотрим, — с улыбкой отвечали ему сослуживцы.

— Посмотрим! — сердился он.

Через несколько дней, в кабинете торгпреда, перед каким-то заседанием, произошла встреча, интригующая всех. Надо сказать, что Марья Федоровна подавала свои изящные, отмажуренные пальчики так, что не поцеловать их было довольно трудно.

Но товарищ Файнгор решителен: демократически крепко пожав благоухающую ручку, милостиво протянутую ему на уровне рта, он мужественно попытался опустить ее. Не тут-то было. Ручка не поддавалась. Произошла неловкая заминка. Торгпред и ответственные работники, затаив дыхание, следили за этой волнующей сценой: «Чья возьмет?»

Снисходительно улыбнувшись, Марья Федоровна сказала громче обычного:

— Не бойтесь. Прикладывайтесь. Эту ручку Владимир Ильич целовал.

И товарищ Файнгор приложился. Да как! — с чмоком.

Торгпредство веселилось несколько дней.

Это не анекдот. А вот и еще один неанекдот.

Ленин, работая в своем кремлевском кабинете над срочным докладом, никого не принимал.

Мягко вошел секретарь и полушепотом сообщил:

— Владимир Ильич, в приемной товарищ Андреева.

— Кто?.. — рассеянно спросил Ленин, не поднимая глаз от блокнота.

— Товарищ Андреева, Владимир Ильич, — повторил секретарь.

Ленин вскинул голову:

— Марья Федоровна?

— Да, Владимир Ильич. Может быть, сказать ей, что у вас срочная работа и вы никого не принимаете?

— Что вы, что вы, помилуйте! Немедленно впустите. Ведь у нее громадные связи.

Когда Марья Федоровна вошла в кабинет, Владимир Ильич стоял, приглаживая бородку.

Почему, собственно, я написал эту главку? Да потому, что в Москве собрались выпустить сборник «Памяти Марьи Федоровны Андреевой», и какие-то дамы из редакции письмами и телефонными звонками просили Никритину написать о ней «воспоминания». Никритина отказалась: «Не умею-де этого делать».

В те берлинские времена Марья Федоровна уже была замужем за Петром Петровичем Крючковым («Пэпэкрю», как его называли). Он являлся полновластным горьковским «коммерческим директором» — вел все его обширные «иностранные дела» по изданиям, переизданиям и переводам сочинений.

Встречаясь с Крючковым у Марьи Федоровны, я ощущал его человеком любопытным, башкастым, энергичным, невыплескивавшимся. Говорил он редко, но метко. Мрачноват был. Впрочем, только снаружи. Крепкие скулы и челюсти, крепкие ноги и руки. Роста отнюдь не гренадерского. Дорогие костюмы от первоклассного портного делали коренастую фигуру его чуть ли не элегантной. Пэпэкрю умел хорошо поесть, изрядно выпить, вообще хорошо пожить, не считая рубля, благо у него было их много. Горького он очень любил. Как мне казалось, любил гораздо больше, чем его бывшую жену, а теперь свою собственную.

Марья Федоровна в присутствии этого нового мужа всегда несколько робела, что вызывало удивление, иногда улыбку, но было трогательно. Впрочем, так обычно робеет почти всякая женщина, если она не на пустяк старше своего мужа.

Мне говорили, что Алексей Максимович, знавший русского человека «на взгляд и на ощупь», относился к Пэпэкрю с сердцем.

А после кончины Горького, умершего, разумеется, обычной человеческой смертью, Сталин... расстрелял Крючкова.

За что?.. Народу сказано было: за преднамеренное злодейское убийство.

Кого?

Горького.

Фантасмагория!

* * *

Меня собираются положить для «капитального ремонта» в клинику Военно-медицинской академии. Никритина спраши-

вает нашу соседку, актрису Пушкинского театра, забежавшую навестить меня:

— Скажите, Лелечка, ваша приятельница Зоя Алексеевна как будто тоже лежала в Военно-медицинской?

— Да.

— Она довольна?

— Нет, она не довольна. Она умерла, — отвечает Лелечка со всей серьезностью.

И мне захотелось мрачно пошутить:

— Вот и я точно так же не буду доволен.

Англичане любят подобные шутки. Для них, вероятно, я бы мог написать неплохую комедию. Не там родился.

* * *

Есть такой старенький стишок:

Наши Аполлоны
Плохи с колыбели.
Снявши панталоны,
Ходят в Коктебеле.

В этом самом Коктебеле, под горячим солнцем, я неизменно спорил с Борисом Николаевичем Бугаевым, то есть Андреем Белым; спорил с ним на мелкой гальке, устилавшей берег самого красивого на свете моря всех цветов. Ну просто не море, а мокрая радуга! Спорил в голых горах, похожих на испанские Кордильеры. Спорил на скамеечке возле столовой, под разросшейся акацией с желтыми цветочками. Андрей Белый был старше меня вдвое, но отстаивал он свою веру по-юношески горячо — порой до спазм в сердце, до разбития чувств, до злых слез на глазах. Он являлся верноподданным немецкой философии и поэзии, а я отчаянным франкофилом — декартистом, вольтеровцем, раблэвцем, стэндалистом, флорберовцем, бодлеровцем, вэрлэнистом и т. д. Я считал немцев лжемудрыми, лжеглубокими, безвкусными, напыщенными. А он моих французов — легкоумными «фейерверковщиками», фразерами, иронико-скептиками, у которых ничего нет за душой.

Вероятно, оба мы были не очень-то справедливы — я по молодости лет, а он по наивности старого мистика с лицом католического монаха XII века. Ведь автор философии и теории символизма, книги стихов «Пепел», посвященной Некрасову (хорошие стихи!), и великолепного романа «Петербург», ин-

сценированного при советской власти и поставленного во 2-м МХАТе, этот полусоветский автор все еще вертел столы, беседа с бесплотными духами. К слову, и Зинаида Райх, брошенная Есениным, но еще не пленившая Мейерхольда, тоже вертела их с Борисом Николаевичем.

А Есенин, фыркая, говорил:

— Андрея Белого хочет в мужья заарканить.

Действительно: Райх и бесплотные духи!..

Весьма подозрительная была тут гармония, подозрительное родство душ.

Третьим великим спорщиком нашей компании был поэт Осип Мандельштам. Но у него на споры было меньше времени: чтобы читать в подлиннике сонеты Петрарки, он тогда рьяно изучал итальянский язык по толстому словарю, кажется, Макарова. Поэт дал зарок ежедневно до обеда зазубривать сто итальянских слов.

Наш обед состоял из прохладного супа с жесткими серыми макаронами и коровьего вымени.

Садясь за стол, коктейльеры обычно говорили:

— Что в вымени тебе моем?

А под конец лета даже произошел серьезный бунт. Беспанталонные «аполлоны» явились разъяренной толпой под окна директорского домика.

— Долой вымя!.. Долой вымя!.. — скандировали они громкоподобно.

И грозили объявлением всеобщей голодовки.

— Неужели это и вправду было? — недоверчиво спрашивает теперешняя литературная молодежь, отворачивая в Доме творчества свои избалованные носы от благородных мясных котлет.

— Ей-богу! Старые коктейльеры профессора — Десницкий, Эйхенбаум, Томашевский, Жирмунский, писатели Всеволод Иванов, Шкловский и поэтесса Ольга Берггольц могут вам подтвердить это. К счастью, все они еще здравствуют.

Андрей Белый ежедневно светился. Светились его бледно-фиалковые глаза, его лысина, похожая на фарфоровое перевернутое блюдце; его редкие серебряные космочки, красиво обрамляющие лысину. Поэтому вначале мне даже было как-то совестно спорить с Борисом Николаевичем. Но постепенно я привык.

А Мандельштам преимущественно витал в облаках и выше.

У него тоже были редкие космочки, но пегие; была и лысина, но еще не фарфоровая; он также напоминал монаха, но перешедшего в католицизм из веры иудейской. Говорил Осип Эмильевич презабавно — гнусаво, в гайморитный нос, и нараспев: «Вы зна-а-а-аете, Анато-о-олий, сего-о-о-одня вы-ы-ы-ы-ымя застря-я-я-яло у меня-я-я-я в го-о-о-орле». Так в эпоху расцвета акмеизма модные поэты читали в литературных салонах свои стихи. На первых порах это поглупение, вызывая улыбку, мешало мне дискутировать. Но мало-помалу и тут я привык.

Администрация нашего Дома творчества, вероятно из почтения к космочкам, посадила их в столовой за один столик. Доброе намерение совершенно испортило обоим лето. Ложно-классическая декламация Осипа Эмильевича и невероятное произношение итальянских слов, слов Данте и Петрарки, ужасно раздражало Андрея Белого. Мандельштам, как человек тонко чувствующий, сразу все понял. И это, в свою очередь, выводило его из душевного равновесия.

В нашей столовой перерыв между первым блюдом и вторым всякий раз был мучительно длинным. Чем же заполнить его? Как же быть-то? В придачу ко всему мнительному поэту казалось, что Андрею Белому он (Осип Мандельштам!) совершенно неизвестен.

— Вы понима-а-а-ете, мо-о-о-ой друг, он не то-о-о-о-олько никогда-а-а-а не чита-а-а-ал ни одно-о-о-о-ой моей строчки, но даже фали-и-и-илии моей не ве-е-е-едает! — пел Осип Эмильевич, отводя меня под руку за тощую акацию. Других деревьев в Коктебеле не было.

В конце концов, чтобы не сойти с ума от этой навязчивой мысли, Мандельштам сбежал из Дома творчества за десять дней до окончания путевки.

Как известно, на стихи не очень-то прокормишься. Тем более на хорошие стихи. А Мандельштам, на беду свою, писал прекрасные.

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Вот Осип Эмильевич и ходил с пустым кошельком. Тогда еще деньги в кошельки клали, а не просто совали в карман.

Чтобы и в самом деле не свезли преждевременно на кладбище, приходилось нашим поэтам все время побираться, то есть брать деньги взаймы без отдачи. Но сколько же лет можно брать таким образом? Тут-то и проявлял Осип Эмильевич поражающую виртуозность мысли.

Существовала тогда Центральная комиссия улучшения быта ученых (Цекубу). Милостью Анатолия Васильевича Луначарского к ученым причислили поэтов, прозаиков и даже критиков, которые, как мы знаем, никакого отношения к ученым не имеют. Когда умирал член Цекубу, правление выдавало некоторую сумму на его похороны. Осип Эмильевич справедливо решил, что эти могильные деньги ему живому пригодятся больше, чем ему мертвому. И своевременно подал заявление, что он-де клятвенно отказывается от похоронной суммы с тем, чтобы ему вручили ее вперед, когда еще придется кушать почти каждый день. Могильную сумму немедленно выдали под соответствующую расписку. Даже председатели правлений тогда не были лишены чувства юмора. Вот какая была эпоха!

А родной брат Осипа Эмильевича однажды показал мне следующую телеграмму:

«Прошу именем покойной мамы немедленно вышли сто рублей. Осип».

Эти образцы виртуозной мандельштамовской мысли можно без труда множить, множить и множить.

Жил Осип Эмильевич до того странно, до того нелепо, что порой мы говорили, горестно разводя руками: «Ох, у него не все дома!..» И стучали при этом указательным пальцем по лбу.

Как-то где-то Алексей Николаевич Толстой обронил о нем что-то обидное и не слишком справедливое. Разумеется, добрые друзья это немедленно передали Мандельштаму, как полагают, сильно преувеличив. Примерно через неделю, случайно встретив Толстого, кажется, в Доме Герцена, Осип Эмильевич подошел к своему обидчику, величаво встал на цыпочки и двумя пальцами правой руки едва-едва коснулся его щеки. После чего пропел торжественно:

— Счита-а-а-айте, су-у-у-ударь, что я да-а-ал ва-а-а-ам поще-е-е-ечину.

Толстой ничего не понял. По его словам, эта «пощечина»

напоминала нежную женскую ласку или прикосновение бархатной лапки котенка, спрятавшего коготки.

А Осип Эмильевич искренне был поражен, как это Толстой не вызывает его на поединок, хотя бы на рапирах, которые наш прирожденный дуэлянт своевременно раздобыл в бутафорской Камерного театра.

Ожидая секундантов, Мандельштам рьяно тренировался, фехтуя со своей рыжеволосой подругой. Она была поразительно ему под пару, сочетая в себе парение в эмпириях с виртуозностью практической мысли. В самом деле, не могла же она лишиться своего «великого поэта» чашки крепкого черного кофе с четырьмя кусочками диленого сахара!

— Умоляю вас, одолжите нам до завтра несколько рублей. Ведь мой Осенька без турецкого кофе...

И глаза ее наполнялись слезами.

Так драматически обращалась она к тем, кто был настолько богат, что мог выложить «купюрку», прекрасно зная, что она «без отдачи».

И замечательный поэт писал.

Спасибо тебе, рыжеволосая подруга Осипа Эмильевича!

А писал он все лучше, лучше и лучше.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...

Осип Эмильевич все предугадал.

Сталин, конечно, и ему кинулся «на плечи». «Век-волкодав» — это был он. Кинулся, загрыз и замучил до смерти — в ссылках, в концлагерях и каторжных тюрьмах.

* * *

Есенин на Тверском бульваре.

— Лев Николаевич считал, что плотская любовь окружена «суеверием». Надо его разоблачить! — говорил он.

Но не сделал этого. Не успел. А жаль!

Литература действительно нагородила черт-те что вокруг этого дела — естественного и необходимого, но уж больно незамысловатого.

Получаем удовольствие от этого?.. Получаем. Ну и слава Богу. Спасибо.

Но ведь обезьяны тоже удовольствие получают. Не правда ли? Да еще, как известно, куда больше, чем мы с вами.

* * *

«Роман без вранья», «Мой век, мои друзья и подруги» и эту рукопись я бы хотел издать под одной обложкой.

«Бессмертная трилогия».

Вот название. Вероятно, сделать это придется уже после меня. «Après moi», как говорят французы.

Не могу слукавить, что это приводит меня в восторг. Приятно было бы взглянуть на книгу, подержать ее в руках, перелистывать и важно поставить на полку, получив с издательства тысяч сто.

Пригодились бы нам с Ньюшкой.

* * *

Я с грустью сказал своей старой приятельнице:

— Вот, милая, и у тебя есть квартира. Поздравляю! И шкаф, и широкая кровать, и стулья из Будапешта, и холодильник, и пылесос.

— И муж, — добавила она.

— Да, и квартира, и свой муж.

Чужих мужей у нее было более чем достаточно.

— Чего же ты вздыхаешь, Анатолий?

— А вот «дома», милая... понимаешь, теплое человеческого «дома», у тебя все-таки нет. Это ведь не одно и то же. Квартира еще не дом.

Я посоветовал:

— Попробуй заведи кошку... или канарейку.

Она завела и кошку и канарейку. Не помогло. Кошка сбежала ровно через неделю. Вероятно, она сбежала от неуютности. А через полгода и муж сбежал... задушив бедную желтенькую птичку...

* * *

Машенька принесла двойку по арифметике. Мама сделала ей выговор. Машенька прослезилась. Тем не менее через два дня она принесла опять двойку — по русскому языку. На этот раз дома на нее уже покричали. И Машенька вытирала со щек слезы пухлыми кулачками. А под выходной она явилась с третьей двойкой. Мама не выдержала и отхлопала ее. Не больно, конечно, а так — «символически». Плача навзрыд, Машенька горестно повторяла:

— Господи, хоть бы скорее на пенсию выйти!

А племяннику актрисы Ольхиной за какое-то детское «преступление» надавали по попке настоящих звонких шлепков. В полном отчаянии он кричал:

— «Скорую помощь»! Скорей вызовите «скорую помощь»!
А то я никогда в жизни не смогу на горшочек садиться!

Несколько дней тому назад я познакомился с этим молодым. На нем уже была форменная школьная фуражка с золотыми листочками на околыше. Первая школьная фуражка!

Когда Ольхина вспоминала комический случай из его биографии, он, презрительно пожав плечами, сказал:

— Мало ли какие глупости бывают в дни нашей молодости!

Потом строго добавил:

— А тебе, тетя Нина, стыдно рассказывать мужчинам неприличные истории.

И, надув щеки, важно удалился.

Вот и я таким же был. Только ни одного шлепка не получил за все детство. Зато теперь...

* * *

Он спросил:

— Ты любишь, Толя, слово «покой»?

— Да.

— От него, конечно, и комнаты называют «покоями», — заметил он.

— От него и «покойник»...

— Какой, Толя, тонкий, красивый и философский у нас язык! Правда!

Это было незадолго до Серезиной смерти.

* * *

Старики говорят так:

— Я тоже был не прочь приволокнуться за пикантной бабенкой.

— Я предпочитал свиные отбивные с горчичкой!

— А у меня желудок работал, как часы.

— Я переплывал Волгу запросто.

— Я чертовски увлекался теннисом.

— У меня в волосах гребень ломался. Вот какие густые были. И ни одного настоящего времени.

Омерзительно!

* * *

Кого же я люблю больше — Толстого или Чехова? Тсс! По секрету. На ухо!

— Чехова.

* * *

В двадцатых годах психологические пьесы, психологический театр были не в моде. Это называли «психоложеством».

* * *

Мысль Толстого, Чехова, Достоевского всегда хочется «закусить» собственной мыслью.

В этом, пожалуй, самое большое достоинство хорошей литературы.

* * *

Как-то мы с Бабелем в двухместном купе отправились из Москвы в Петроград.

Во время таких путешествий, приятных и довольно комфортабельных, писатели обычно пьют коньяк и говорят о женщинах.

Но коньяк не являлся бабелевской страстью, да и я без него не умирал от грусти, — вот и пили мы чай с лимоном.

В те годы российская литература была в расцвете. Она пожирала нас, во всяком случае, не меньше, чем женщины.

До Клина, то есть около двух часов, мы говорили только о ней. Говорили с наслаждением, со страстью. Потом, примерно столько же, Бабель наизусть читал стихи Осипа Мандельштама. Он читал превосходно — не напевно, как поэты, и не бытово по-актерски, а по-своему — по-бабелевски.

— Ну-с, Анатолий, пора на боковую.

— Пора!

Мы погасили белые электрические лампочки и зажгли синий ночничок.

Я, худой и длинный, с приятностью вытянулся на своей верхней полке, а он, коротенький и уже с брюшком, съежился в комочек на своей нижней.

— Черт возьми, Анатолий, как я вам завидую! — сказал Бабель, посасывая ломтик лимона, вынутый из стакана.

— Чему ж это?

— Да вот, что стихи пишете, — ответил он. И стал аккуратно запаковываться в коричневое верблюжье одеяло. — А я за всю жизнь четырех рифмованных строчек не мог нацарапать. Бился, бился... До чего же это трудно!

— Трудно?.. — усмехнулся я.

— Так и Владимир Ильич считал. Он ведь к вашему брату, к поэтам, по-особенному относился. Мне Бонч рассказывал.

В заключение Бабель, обладавший редкой памятью, наи-

зусть процитировал пушкинского пашу из «Путешествия в Арзрум»:

«Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт — брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются», — и, натянув одеяло на лысину, мой попутчик мечтательно вздохнул: — Поэзия!.. Поэты!..

Голова у него была круглая. Нос маленький, мягкий.

— Вы чудак, Бабель.

— Почему?

— Да ведь в вашей прозе гораздо больше поэзии, чем во многих, очень многих стихах... Ну, скажем, в стихах Асеева. И, право, не меньше, чем у Маяковского. Даже во «Флейте-позвоночнике». А это его самая поэтическая вещь.

Бабель от удовольствия даже сел.

— Вы это серьезно, Мариенгоф?

— Абсолютно.

Действительно, я ему не льстил, так как никогда, к сожалению, не умел этого делать. А ведь лезть, даже глупая, так облегчает жизнь!

— Вы, Бабель, прекрасный писатель!

Для меня самого эти слова явились совершенно неожиданными. Даже прекрасному поэту Есенину я ни разу в жизни не сказал, что он прекрасный поэт.

— Спокойной ночи, брат дервиша.

Исаак Бабель тоже умер в сталинской каторжной тюрьме.

* * *

А вот анекдот:

— Вам не нравится Бабель? — спросили маршала Буденного.

— Смотря какая бабель, — ответил он.

Я очень люблю хорошие анекдоты.

И еще:

Бабель был так умен, что всегда после встречи с ним, казалось бы, ничем не примечательной, я легко понимал: «Да, именно этот человек мог написать “Конармию”, написать “За-кат”, написать своего Беню Крика».

* * *

Так же, как и после встречи с Шостаковичем — за покерным столом или за стопкой водки в Келломяжском шалмане, или за именинным пирогом у нас, или за пельменями у него —

словом, всегда я мысленно говорил себе: «Да, именно этот человек мог написать "Леди Макбет", "Пятую симфонию", "Седьмую симфонию" и т. д.»

А ведь бывает и по-другому. Раза три-четыре мне довелось разговаривать с одним очень знаменитым артистом (Хмелевым). И всякий раз была в разговоре тема: театр, пьеса, музыка, художники, политика. Однако потом, на улице, я разводил руками: «Неужели это тот самый человек, который так замечательно играет и то, и то, и то. Играет, черт побери, с божественной глубиной Толстого, с чеховской тонкостью, с дьявольским умом Горького?.. Вот подишь-ты!.. А сам...»

И опять разводил руками: «Откуда бы?.. Ничего не понимаю!»

* * *

Вот я и доигрываю свою последнюю сцену. Если бы в наши дни вдруг люди стали говорить таким же высоким слогом, как Шекспир, то через несколько реплик, как мне думается, должен прозвучать следующий диалог:

Г о р а ц и й. Покойной ночи, милый друг. Пусть ангелы баюкают твой сон.

М а р и е н г о ф. Ха-ха — ангелы! (*Умирает.*)

После этого с барабанным боем входит Фортинбрас (то есть секретарь по административной части Союза советских писателей). Потом — траурный марш и... труп уносят.

Очень смешно. Правда?

* * *

Когда женщина по-настоящему курит — папироса торчит у нее в углу рта гораздо профессиональней, чем у мужчины. Она глубже затягивается. И гораздо энергичней выпускает дым из ноздрей.

В этом, конечно, нет разврата. Но мне кажется, что-то говорит о развратности таких женщин. Они сидят, обычно закинув ногу на ногу, и на их колено можно положить руку с большей уверенностью.

Во время короткого расцвета бывшего Михайловского театра (вторая половина двадцатых годов) там пошла первая опера Шостаковича «Нос». Замечательная опера. Острая, дерзкая, по-гоголевски гротесковая и новая в каждой своей музыкальной фразе. Успех у «Носа» был необычайный. Но у немногих. А «болото», как ему — болоту — и полагается, отвратительно завакало всем своим внушительным лягушачьим хором.

Очень долго после этого Шостакович повторял:

— Тот, кто враг «Носа», — мой враг.

Я понимал Дмитрия Дмитриевича.

И сегодня — на пороге старости — скажу, как в юности:

— Тот, кто враг моей «Бессмертной трилогии» (то есть «Романа без вранья», «Моего века...» и вот этой книги), — тот мой враг.

Правда, покамест врагов у последних двух вещей совсем мало. Пожалуй, одна Вера Федоровна Панова. Ведь читают по рукописи, и только избранные. Чаще всего, разумеется, избранные мной.

Панова прочла как редактор «Ленинградского альманаха». Не желая показать свою совершенно нормальную трусость в этой должности, она предпочла прикинуться дурой.

А это ей трудно.

* * *

Мне думается, что уйти из жизни (так же, как уйти из гостей) гораздо лучше несколько раньше, чем несколько позже, когда ты уже всем здорово надоел.

* * *

Шаляпин на редкость тонко понимал литературу. Вот он прочел «Артамоновых», и что ему особенно понравилось у Горького:

«Березки стоят выгнанными из леса».

Это и вправду великолепно!

* * *

Сегодня на Невском проспекте меня оштрафовали на пять рублей за переход улицы по кривой линии.

Я, конечно, обозлился, как обозлится почти всякий человек, даже справедливо оштрафованный.

Однако через минуту, к удивлению милиционера, я громко рассмеялся. Мне вспомнился Анатолий Васильевич Луначарский. На том же Невском, на том же переходе, неподалеку от Европейской гостиницы, его тоже оштрафовал постовой милиционер, но почему-то на десятку. В те годы портреты Анатолия Васильевича уже не выставлялись в витринах, и для молодого работника рабоче-крестьянской милиции он был, судя по рыжему меху в плешинах на воротнике длинной шубы, судя по пенсне, по бородке и животу, просто старым человеком из «бывших» бар.

— Черт их знает, — сказал мне Луначарский, — только бес-

смысленно раздражают народ! Надо же все-таки соображать хоть немного. А вот они без соображения!..

Говоря «их» и «они», Анатолий Васильевич меньше всего думал о милиционерах. В ту достопамятную эпоху для большевика с 1903 года и бессменного при Ленине народного комиссара просвещения слово «они» относилось к Сталину и его правительству, называвшемуся «соратниками».

* * *

Я собирался на бал в женский институт. Белые лайковые перчатки, попахивающие бензином, лежали на столике рядом с блестящими, туго накрахмаленными манжетами. Носовой платок уже был надушен. Тетя Нина до сияния начистила плоские золотые пуговицы на моем двубортном черном мундире с высоким красным воротником.

— Когда, дружок, ты был совсем маленький, — сказала тетя Нина, — и к вам в дом приходил чужой человек, ты, шаркнув ножкой, сразу его спрашивал: «Скажите, пожалуйста, сколько вам лет?»

— Дамам я тоже задавал этот глупый вопрос?

— Нет, дружок, дамы тогда тебя еще не интересовали.

О, это все было не так просто, как предполагала тетя Нина! Дело в том, что дети начинают размышлять о жизни человека гораздо раньше, чем это думают родители. В десять лет я говорил себе:

— Не хочу жить стариком. И не буду, не буду! Обязательно умру красивым. В двадцать пять лет.

Тридцатилетние мужчины казались мне стариками.

Срок исчезновения из этого мира постепенно отодвигался.

Когда мне самому стукнуло четверть века, я уже заявлял приятелям:

— Дотяну до сорока пяти и баста! Пуля в лоб!..

У меня было брезгливое отношение к старости.

Через два месяца — то есть 7 июля — мне исполнится шестьдесят. Невольно спрашиваю: «Научила ли меня чему-нибудь жизнь?» Очень сомневаюсь. Во всяком случае, я не стал более мудрым, чем во времена тети Нины. Нисколько!

Вот только вчера среди ночи, когда я проснулся, чтобы выпить чашку боржома, вдруг совершенно твердо решил: «Хватит! Сыт по горло! Не желаю, черт возьми, превращаться в старую развалину. Ну, протяну еще три-четыре года и...»

Поучительная история.

* * *

Внучке бухгалтера БДТ Валечке третьего дня исполнилось два с половиной года, но луну она увидела первый раз в жизни.

Нахмутив тоненькие бровки, она смотрела на нее долго и серьезно. А потом сказала:

— Погляди, дядя, какая на потолке зажглась красивая лампочка!

* * *

Уж если писать, так, пожалуй, для читателя и зрителя. А у нас почему-то пользуются особой благосклонностью романы, сочиненные для книжных шкафов, и пьесы, поставленные для пустых стульев.

* * *

Когда Уланова и Завадский часа в два ночи ушли от нас, мы еще тогда жили на Кирочной, наша домработница Шура, презрительно шмыгнув носом, сказала:

— Уланова, Уланова... Вот уж обнокновенная... Вот уж...

И, не договорив, стала обиженно, со звоном, убирать со стола посуду.

После этих слов Шуры я точно понял, в чем гениальность Улановой: она «вот уж обнокновенная» и в своих условных «пачках», и в божественной пластичности своего классического танца на пуантах.

В стихах это сказано несколько иначе:

Ты такая ж простая, как все.
Как сто тысяч других в России.

Было ли когда-нибудь до Улановой нечто подобное в балете?
Не уверен.

А Качалов, наш дорогой Василий Иванович, не в пример Улановой, «дошел» до Шуры.

Слушая из детской, как он читает Ричарда III, она в полном восторге шептала...

* * *

Шкловские жили в своей новой московской квартире, а на даче у них («чтобы в тишине поработать») очутился Юлиан Григорьевич Оксман.

Дача порядочная. И три, значит, жителя: он, домработница и кот.

Стояли мягкие предвесенние дни.

Разобрав чемоданчик, Оксман позвонил в Москву:

— Я, Витя, проживу у тебя на даче недели три. Ладно?

— Да живи, пока не надоест.

— Мне здесь никогда не надоест. Красота! Сразу другим человеком стал. Четверть века с плеч скинул.

А на следующее утро Юлиан Григорьевич уже был в Москве.

— Это ты? — удивленно спросил Шкловский, отворив дверь своему дачнику.

— Я.

— И с чемоданом?

— Как видишь.

— Не понравилось?

— Нет, очень понравилось. Там у вас чудесно.

— А почему сбежал?

— С вашим котом поссорился, — мрачно ответил Оксман.

* * *

Это было в конце сталинских сороковых годов.

Келломяки. Почему-то не льет дождь. Я прихожу на вокзал, чтобы встретить Никритину. Она обещала вернуться пятичасовым, но задержалась на репетиции, и вместо нее я неожиданно встретил Шостаковича.

— Зайдем, Анатолий Борисович, в шалман.

Он своими тремя столиками раскинулся напротив станции.

— Выпьем по сто грамм. У меня сегодня большой день.

И Дмитрий Дмитриевич улыбается саркастически. Не люблю я этого слова, но другое (хорошее) не приходит в голову.

Садимся за деревянный кривой столик, к счастью, не покрытый облупившейся липкой клеенкой. Девушка в белом переднике приносит нам теплую водку и на черством хлебе заветренную полтавскую колбасу.

Шостакович чокается:

— Так вот, Анатолий Борисович, являюсь я сегодня в Консерваторию... А перед тем как войти в класс, случайно оставался перед «доской объявлений» и читаю...

Он делает паузу и с той же улыбкой потирает руки.

— Читаю, что меня выгнали из профессоров.

— Прелестно!

— Узнаю, значит, об этом из приказа, наклеенного на доску.

— Прелестно!

— Ну, выпьем, Анатолий Борисович.

— Есть за что! — говорю я.

И мы сдвигаем зеленоватые стаканы.

* * *

Позвонил художник Владимир Лебедев:

— Знаете, Толя, я до сих пор некоторые ваши стихи наизусть помню. Вы, конечно, не Пушкин, но... Вяземский.

Я не очень обиделся, потому что и Вяземских-то у нас не так много.

* * *

За несколько дней до смерти, чувствуя себя совсем не плохо, Лавренев говорил:

— Я смерти не боюсь. В 67 лет умереть уже не страшно. А вот что у моего гроба будет произносить речь Анатолий Софронов, это, друзья мои, страшно!

Так и случилось. Надгробную речь говорил Софронов. А от ленинградских писателей — пьяный Виссарион Саянов, которого Лавренев тоже терпеть не мог.

Закон жизни! Она же, чертовка, ироничней всех Вольтеров.

* * *

Знаменитое кафе «*Стоило Пегаса*» принадлежало по документам «Ассоциации вольнодумцев».

Этих вольнодумцев в Москве тогда было трое: Есенин, Шершеневич и я.

* * *

Я люблю и бульварную литературу, и уголовную, при условии, если она «качественная», как теперь говорят. К примеру — «Анну Каренину» Л. Толстого (бульварный роман), «Братья Карамазовы» Достоевского (уголовный).

* * *

Болтая, шучу, чуть-чуть кокетничаю с хорошенькой блондинкой, заполняющей мое «пенсионное удостоверение».

— Распишитесь, пожалуйста, товарищ Мариенгоф.

На мне модное светло-серое пальто, из-под которого торчит яркое клетчатое кашне.

— Желаю вам, Анатолий Борисович, жить до ста лет, — говорит девушка.

— Не слишком ли много? — отвечаю я. — В этом возрасте я, вероятно, не смогу ухаживать за вами.

— Сами не захотите. Я уже буду стара для вас.

— Ни в коем случае! Блондинки не стареют.

Продолжая болтать, я раскрываю «пенсионное удостоверение» и читаю первый пункт:

«Пенсия назначена по старости».

И сразу же улыбка на моих губах делается жалкой, а глаза тухнут, словно я узнал горькую новость.

* * *

Если бы меня спросили, что в жизни необходимей — хлеб, нефть, каменный уголь или литература, я бы, не колеблясь, ответил — литература.

Это понимают еще немногие.

* * *

Когда Андрей Белый умер, Мандельштам подвел свои счета с ним:

Скажите, говорят какой-то Гоголь умер?
Не гоголь, так себе писатель, гоголек...

Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Который шустрился, довольно уж легок,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок,
Молчит, как устрица — на полтора аршина
К нему не подойти — почетный караул,
Тут что-то кроется — должно быть, есть причина.
...Напутал и уснул.

10 янв. 1934

В ту эпоху, названную справедливо сталинской, смерть для бессмертных была довольно стандартной: в тюрьме (как Бабель), на этапе (как Мандельштам), в подвале чекушки с дыркой в затылке (как Мейерхольд) или в сумасшедшем доме (как Белый).

Осип Эмильевич начал умирать в ссылке, казавшейся посторонним почти сталинской милостью.

Но, оказывается, не ему самому.

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета.
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

А вот еще из той же «Воронежской тетради».

Пусти меня, отдай меня, Воронеж —
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня, вернешь —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож!

И еще:

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок.
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? —
И хочется мычать от всех замков и скрепок.

.....
И в яму — в бородавчатую темь —
Скольжу к обледенелой водокачке
И, задыхаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке.

А я за ними ахаю, стуча
В какой-то мерзлый деревянный короб:
— Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей — разговора б!
1937

<Конец 1950-х>

תעמולה לקליטת עליה בחיפה
רח'י. ל. פרץ 20 חיפה 33041
ספריה
3224
..... מס

СОДЕРЖАНИЕ

- 5 От Издательства
- 7 *М. Козаков.* О дяде Толе Мариенгофе
- 11 Роман без вранья
- 133 Мой век, мои друзья и подруги
- 415 Это вам, потомки!

Анатолий Борисович Мариенгоф
«Бессмертная трилогия»

РЕДАКТОР
А.Л. Костанян
МЛАДШИЙ РЕДАКТОР
Е.В. Толкачева
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
О.Г. Дмитриева
ТЕХНОЛОГ
М.С. Белоусова
ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ
И.В. Соколова
П. КОРРЕКТОРЫ
В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Оптовая торговля:
Эксклюзивный дистрибьютор издательства «Клуб 36,6»
Тел./факс: (095) 265-13-05, 267-29-62 267-28-33, 261-24-90

Фирменный магазин:
(мелкооптовая и розничная торговля)
Проезд: Рязанский пер., д. 3
(рядом с м. «Комсомольская» и «Красные ворота»)
Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93

Склад:
Тел.: 523-92-63, 523-25-56 Факс: 523-11-10
г. Балашиха, Звездный бульвар, д. 11
(от ст. м. «Щелковская», авт. 396, 338А до ост. «Химзавод»)

Книжная лавка «У Сытина»:
113054, Москва, ул. Пятницкая, д. 73
Тел.: (095) 230-89-00 Факс: (095) 959-27-00
Интернет: <http://www.kvest.com/mainmenu.htm>
Электронная почта: sylin@aha.ru или info@kvest.com
Журнал «Книжный вестник»: <http://www.kvest.com>

Издательская лицензия
№ 101053
от 4 апреля 1997 года.
Подписано в печать
26.05.98.
Формат 60 × 90/16
Гарнитура Таймс.
Печать офсетная.
Объем 32 печ. л.
Тираж 5000 экз.
Изд. № 570.
Заказ № 1417.

Издательство «ВАГРИУС»
103064, Москва, ул. Казакова, 18
Интернет/Home page —
<http://www.vagrius.com>
Электронная почта (E-Mail) —
vagrius@mail.sitek.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном
ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени
Московском предприятии
«Первая Образцовая типография»
Государственного комитета Российской
Федерации по печати
113054, Москва, Валовая, 28.

ООО «Р. Давид Типсетский» октябрь 2021 г., Хаيفа

В СЕРИИ

*Мой 20
век*

ВЫШЛИ КНИГИ

Ирина Архипова
МУЗЫКА ЖИЗНИ

Брижит Бардо
ИНИЦИАЛЫ Б.Б.

Георгий Бурков
ХРОНИКА СЕРДЦА

Константин Ваншенкин
ПИСАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Евгений Весник
ДАРЮ, ЧТО ПОМНЮ

Андрей Вознесенский
НА ВИРТУАЛЬНОМ ВЕТРУ

Егор Гайдар
ДНИ ПОРАЖЕНИЙ И ПОБЕД

Марлен Дитрих
АЗБУКА МОЕЙ ЖИЗНИ

Татьяна Доронина
ДНЕВНИК АКТРИСЫ

Евгений Евтушенко
ВОЛЧИЙ ПАСПОРТ

Лазарь Каганович
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ

Василий Катанян
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИДОЛАМ

Клаудиа Кардинале
МНЕ ПОВЕЗЛО

Михаил Козаков
АКТЕРСКАЯ КНИГА

Алексей Козлов
«КОЗЕЛ НА САКСЕ»

Юрий Никулин
ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО...

Татьяна Окуневская
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Лучано Паваротти
МОЙ МИР

Анатолий Рыбаков
РОМАН-ВОСПОМИНАНИЕ

Эльдар Рязанов
НЕПОДВЕДЕННЫЕ ИТОГИ

Лидия Смирнова
МОЯ ЛЮБОВЬ

Микаэл Таривердиев
Я ПРОСТО ЖИВУ

Олег Трояновский
ЧЕРЕЗ ГОДЫ И РАССТОЯНИЯ

Вячеслав Фетисов
ОВЕРТАЙМ

Кэтрин Хепберн
Я. ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

Никита Хрущев
ВОСПОМИНАНИЯ

Ольга Чехова
МОИ ЧАСЫ ИДУТ ИНАЧЕ

Федор Шаляпин
МАСКА И ДУША

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

Валентин Катаев
ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ

Андре Моруа
МЕМУАРЫ

Юрий Олеша
КНИГА ПРОЩАНИЯ

Юрий Сенкевич
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИННОЮ
В ЖИЗНЬ

Анатолий Борисович Мариенгоф
(1897–1962),
поэт, прозаик, драматург,
мемуарист, был яркой фигурой
литературной жизни России
первой половины нашего столетия. Один
из основателей
поэтической группы имажинистов,
оказавшей определенное влияние
на развитие российской
поэзии 10-20-х годов.
Был связан тесной личной
и творческой дружбой
с Сергеем Есениным.
Автор более десятка пьес,
шедших в ведущих театрах страны,
многочисленных стихотворных
сборников, двух романов –
«Циники» и «Екатерина» –
и автобиографической трилогии.

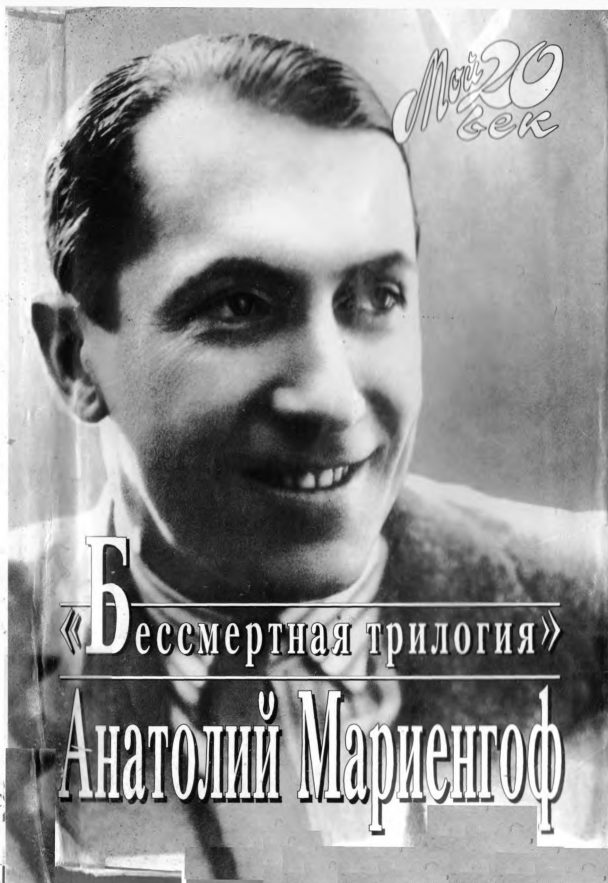
Анатолий Мариенгоф

Мой 20
век

«Бессмертная трилогия»



Анатолий Мариенгоф



«Бессмертная трилогия»

Анатолий Мариенгоф

Мемуарная проза Анатолия Мариенгофа
долгие годы оставалась
неизвестной для читателя.
Лишь в последнее десятилетие
она стала издаваться, но лишь по частям, и
никогда – в едином томе.
А ведь он рассматривал
три части своих воспоминаний
(«Роман без вранья»,
«Мой век, мои друзья и подруги»
и «Это вам, потомки!»)
как единое целое и даже дал этой
не состоявшейся при его жизни книге
название – «Бессмертная трилогия».
Впервые мемуары Мариенгофа представлены
читателю так,
как задумывал это автор.
А блестящий стиль, острая
наблюдательность, яркая образность языка,
рассказы о легендарных личностях в истории
нашей культуры
(Есенин, Мейерхольд, Качалов, Станиславский
и многие другие)
и вправду позволяют считать
трилогию Мариенгофа бессмертной.

ВАГРИУС

ВАГРИУС



ВАГРИУС

ВАГРИУС